ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[6] 2008

РОМАН ГЕОРГА КЛЯЙНА "ЛИБИДИССИ" / СТИХИ ТОНЕ ПАВЧЕКА / РАССКАЗЫ ХАВЬЕРА МАРИАСА, ИСМАИЛЯ КАДАРЭ И КЕННЕТА КУКА /ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД "СЛАВОМИР МРОЖЕК" / СТАТЬЯ РОБЕРТА ЧАНДЛЕРА "«ОЧУЖДАТЬ ИЛИ ОСВАИВАТЬ»: ПО СЛЕДАМ ПЕРЕВОДЧЕСКОГО СЕМИНАРА" В РУБРИКЕ "ТРИБУНА ПЕРЕВОДЧИКА"

Основан в 1891 году

До конца 2008 года в *ИЛ* будут напечатаны:

Отмеченный Пулицеровской премией [2007] роман американца КОРМАКА МАККАРТИ **"Дорога"**: отец с маленьким сыном странствует по пережившей чудовищную катастрофу стране, отчаянно пытаясь уцелеть и сохранить человеческий облик в постапокалиптическом мире.

"Факел в ухе" – автобиографическая книга лауреата Нобелевской премии ЭЛИАСА КАНЕТТИ, где рассказывается о жизни Вены 1924–1928 гг.

Роман хорошо известной нашему читателю английской писательницы МЮРИЭЛ СПАРК **"Не беспокоить"** с характерными для ее книг сатирой, пародией и бурлеском.

"Теракт" – роман одного из самых читаемых на Западе франкоязычных алжирских писателей ЯСМИНА ХАДРА о судьбе живущего в Израиле палестинца.

"Бумажный театр" – новая книга всемирно известного сербского писателя МИЛОРАДА ПАВИЧА. Это роман и одновременно антология выдуманных рассказов выдуманных авторов с выдуманными биографиями и библиографиями.

Американская новелла. XXI век – яркие, разностильные, иногда иронические зарисовки сегодняшней Америки, представленные разными авторами.

Три рассказа хорошо знакомого нашему читателю поляка ЕЖИ ПИЛЬХА из сборника **"Мое первое самоубийство"** – как всегда у этого автора блестяще написанные, подчас саркастические, если не гротескные, и вместе с тем полные лиризма и затрагивающие такие вечные вопросы, как одиночество, любовь и смерть.

Лекция крупнейшего английского поэта XX в. У. Х. ОДЕНА об **"Антонии и Клеопатре"** У. Шекспира.

[6]
2008

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный литературно-художественный журнал

3 Георг Кляйн *Либидиссы.* Роман. Перевод с немецкого Анатолия Егоршева. Послесловие Т. Баскаковой

103 Хавьер Мариас *Рассказы.* Перевод с испанского Н. Мечтаевой

119 Тоне Павчек *Стихи.* Перевод со словенского Жанны Перковской. Вступление Надежды Стариковой.
Ленинградская встреча с Бродским. Эссе. Перевод со словенского Татьяны Жаровой

131 Исмаиль Кадарэ *Прощальный подарок Зла.* Новелла. Перевод с албанского и послесловие В. Тюхина.
Интервью для читателей "Иностранной литературы". Запись беседы, вступление и перевод с албанского В. Тюхина

Литературный гид: Славомир Мрожек

158

159 Славомир Мрожек *Валтасар. Автобиография.* Фрагменты. Перевод Вадима Климовского

231 *Человек глазами Славомира Мрожека.* Карикатуры.

234 *Не вижу оснований оскорблять человека.* Со Славомиром Мрожеком беседует Ежи Кёниг. Перевод К. Старосельской

239 Ирина Лаппо *Мрожек на русской сцене*

Трибуна переводчика

246 Роберт Чандлер *"Очуждать или осваивать": по следам переводческого семинара.* Перевод с английского Ю. Клименовой. Под редакцией А. Борисенко

Carte blanche

252 Александр Жолковский *"Красотка очень молода..."*

Ничего смешного

255 Кеннет Кук *Страуса любить невозможно.* Рассказ. Перевод с английского Тины Васильевой

Среди книг

262 Наталья Мавлевич *"Откуда-то приходят к нам слова..."* Сергей Костырко *Феномен Рышарда Капущинского.* Михаил Айзенберг *Философия в легком жанре*

БиблиофИЛ

276 *У книжной витрины* с Михаилом Визелем

279 *По материалам зарубежной прессы.* Подготовили А. Лешневская, И. Мокин

Авторы номера

283

© "Иностранная литература", 2008

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская
заведующая отделом критики и публицистики

Общественный
редакционный совет:

В. П. Аксенов
С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Е. А. Бунимович
П. Л. Вайль
Т. Д. Венедиктова
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Н. Л. Трауберг
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Международный
совет:

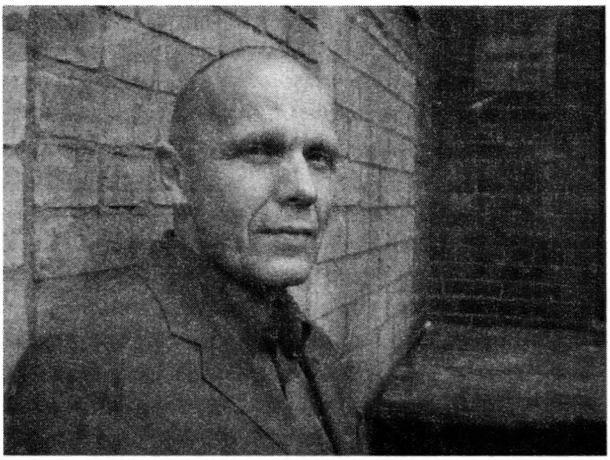
Чингиз Айтматов
Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

О. Г. Басинская
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Н. В. Елисеева
А. Ю. Лешневская
И. В. Мокин
К. Я. Старосельская
М. Н. Томашевская
Л. Г. Харлап
А. Ю. Шередега

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации
и Фонда Первого Президента России Б. Н. Ельцина

Георг Кляйн



Либидиссы

Роман

Перевод с немецкого Анатолия Егоршева
Послесловие Т. Баскаковой

1. *Глумление*

ЗДЕСЬ, близ окраины города, на кромке трамплина в мой далекий родной мир, я=Шпайк жду своего сменщика. Сообщение о его скором прибытии заставило меня выбраться в аэропорт. Взяв такси в том квартале Старого города, где веками из тряпья варили бумагу, я=Шпайк попросил водителя подъехать вплотную к лестнице, ведущей на террасу аэропорта. Пока мне еще не встречался иностранец, который рискнул бы выехать на периферию в одиночку. Мое длительное пребывание здесь тоже не дает гарантии, что, сев за руль и самостоятельно устремившись к более или менее отдаленной цели, я=Шпайк доберусь туда живым и невредимым. Не желая признать за своего, город держит меня на положении полутуриста, унижая таким и еще более изощренными способами пришельца, в коем давно уже нет былой дерзости.

Даже местные жители лишены возможности передвигаться по Старому городу с привычной вальяжностью. У водителя такси, красивого и, к счастью, одноглазого мужчины, над сросшимся веком и уцелевшим ярко-синим глазом сверкали крупные капли пота, когда после получаса езды мы вдруг опять поползли со скоростью черепахи по одной из тех кривых

© 1998 by Alexander Fest Verlag, Berlin
© Анатолий Егоршев. Перевод, 2008
© Т. Баскакова. Послесловие, 2008

улочек, откуда не видно неба и где достаточно опрокинуться простой ручной тележке, чтобы все движение встало. Застрявшему в гуще людей, двуколок и автомобилей не помогут тогда ни пронзительные возгласы, ни настойчивые попытки как-то протиснуться вперед или резко сдать назад. Приходится ждать, пока незадачливый торговец собственноручно и при деятельном участии вороватых обитателей соседних домов не погрузит опять свой товар на предательскую тележку. И терпение, терпение, само над собою глумящееся терпение требуется страстно рвущемуся к своей цели иностранцу, если чересчур поспешно водруженные на тележку вещи, будь то гора видеокассет или куча гашишных плиток, сыплются вниз во второй раз и вновь скользят по наклонной, отшлифованной босыми ногами мостовой, упрямо удаляясь от их оторопелого владельца.

Плоская крыша, она же веранда ресторана, сильно обветшала. В бетонном полу зияют трещины шириной с ладонь; их забивает приносимый ветром песок. Платформа накренилась на запад, к дорожкам для выруливания. Железные опоры, установленные под ней позднее, тоже не смогут долго препятствовать оседанию конструкции из предварительно напряженного бетона, хотя здания для обслуживания пассажиров были возведены уже в мое время — по широкомасштабному проекту консорциума западноевропейских фирм, которые и руководили строительством. Старый аэропорт был построен еще военными Иноземной державы. Ангары его сделаны из гофрированного стального листа. Поблескивая в лучах низко повисшего над горизонтом солнца, они клонятся к восточному краю новых взлетных полос. За ними виден город — тускло мерцающий поясок из крытых волнистым железом хижин и брезентовых палаток, серый шифер более зажиточных предместий, затем плотное темное скопление кварталов, расположенных выше, и наконец — на трех холмах, сливающихся вдали в один черный горб, — Гото, самая древняя часть города, заходить и въезжать куда нам, иностранцам, запрещено.

Я=Шпайк пью зулейку с колой, самый скверный из здешних напитков. Всем иноземцам его расхваливают как бренд города. И мы, пришельцы со стажем, всегда подносим зулейку с колой нашим редким гостям из родных весей в качестве приветствия — и наслаждаемся, наблюдая, как они потягивают ее с миной легкого отвращения и все же не без сладострастия, когда узнают, каким образом получают зулейку, спиртовую основу коктейля. Кобылье молоко сбраживают с помощью бактерий из кишечника забитых телят. После продолжительного встряхивания оно свертывается. Водянистую кашицу отстаивают до тех пор, пока под белесой жижей не образуется похожая на творог паста. Ее используют для откорма местной породы мелких свиней. А оставшаяся молочная сладковатая вода — это уже молодая зулейка, достигающая нужной крепости год спустя, после брожения и ферментации в бочках из кедрового дерева.

Свиноводство и изготовление зулейки испокон веку были занятиями эгихейского меньшинства. Эгихейцы берегли то, что осталось от их когда-то полнокровного языка, и, исповедуя особую религию, не позволяли себе раствориться в более крупных народностях. Веру, исчезнувшую из города вместе с эгихейцами, следует, пожалуй, назвать христианской, хотя ожидание второго мессии, вероятно, никак не согласуется с привычной трактовкой христианского исповедания. Но теперь это уже не важно: никто здесь больше не живет в ожидании Эгихея. В смутные дни после ухода

Иноземной державы эгихейцев обвинили в том, что они сотрудничали с ненавистным режимом еще более рьяно, чем все другие. Уже в первой фазе кровопролитной борьбы за власть над жителями эгихейского квартала была учинена жестокая расправа. Лишь немногим удалось как-то и где-то спрятаться, а затем найти прибежище в трюмах грузовых судов, стоявших на якоре у побережья. В Соединенных Штатах эти беженцы будто бы разом стали обладателями сказочных богатств; во всяком случае, истории о долларовых миллионерах-эгихейцах можно услышать из уст любого мелкого торговца. Громадные, высотой в человеческий рост, бочки с зулейкой, карликовые свиньи в сараях на задворках, опустевшие после страшной резни дома квартала перешли в собственность бедняков из трущоб на восточной окраине города. Люди, почти не знавшие оседлости, менее других страшились запятнанных кровью жилищ, так что продолжить выращивание чувствительной породы свинок и изготовление зулейки им удалось без ощутимых потерь в качестве. Иностранцы любят иронизировать над тем, что новые производители зулейки нарушают строгие заповеди своих правоверных предков, однако легковесность этого упрека только показывает, как мы с нашим самомнением позволяем себе не осознавать особенностей жизни этого города.

Сегодня или завтра, не позже, мой сменщик станет взмокшей от пота реальностью. Лишь прошлой ночью меня уведомили о его прибытии в один из двух следующих дней. Мое левое веко, с каждым годом службы за рубежом все больше терявшее упругость и теперь заметно обвисшее, подрагивает, когда я=Шпайк терроризирую себя, воображая человека, которому предстоит обосноваться тут после меня: крепкая плоть, свободно охваченная хлопковой тканью летнего костюма, наивно-уверенная походка, которой пойдет он по коварным улочкам старых кварталов. Этому переполненному любовью к родине умнику и храбрецу, этому закинутому на чужбину простофиле еще придется — как пришлось когда-то и мне — испытать на собственной шкуре, по каким законам живет город, открывший перед ним свои врата.

Прибыл последний вечерний рейс. Пройдя под моим наблюдательным постом в трех-четырех метрах от меня, все пассажиры скрылись в зале таможенного контроля. Их было всего десятка полтора. Делегация японских бизнесменов, горстка американских туристов, как всегда с рюкзаками, и единственный соотечественник. Город, заставивший меня забыть многое из того, что связано с родиной, обострил чутье на земляков до почти нестерпимой боли. Я=Шпайк наблюдал через бинокль, как он спускался по трапу: голова тряслась, ступал неуверенно. Одному из японцев пришлось взять его под руку, когда он взбирался на подножку электробуса. Немец тучен, не исключено, что у него проблемы с сердцем, во всяком случае, он примерно моего возраста. Значит, это не мой преемник. Центральный федеральный центр не послал бы в город сорокалетнего. Можно распрямить спину и встать. Ночью здесь садятся самолеты только с юга и востока. Нести вахту на террасе больше не имеет смысла.

Темнеет. Взлетно-посадочные полосы пусты, и я=Шпайк еще раз устремляю взгляд туда, где светится огнями город. Ошалев от внезапного спада напряжения, бормочу его название, достаю из кармана баночку с таблетками, машинально вытряхиваю на руку две-три, кидаю их в рот, делаю последний глоток и замечаю, что официант смотрит на меня с презрени-

ем. Большинство здешних жителей не омочили бы зулейкой – на публике – даже кончиков пальцев. Говорят, что в кафе и ночных барах квартала увеселительных заведений считается обычным делом плюнуть в стакан, прежде чем наполнить его зулейкой с колой и поставить перед чужаком. Из моей правой руки на столик рядом с опорожненным стаканом падают бумажные деньги. Как и у торговцев с улицы, оба кармана брюк у меня набиты сотенными и тысячными в виде маленьких круглых комочков. Инфляция не поддается описанию. Скосив глаз на небрежно брошенные деньги, я=Шпайк решаю, что их должно хватить для уплаты за выпитое и на чаевые. Среди шариков-купюр как минимум одна новая пятисотенная – из тех ярко-оранжевых, с ликом Великого Гахиса, что стали сомнительным украшением недавней денежной реформы и принимаются даже в барах отелей высшего класса и, конечно же, в бане у Фредди.

Таксист ждал меня. Он видит, как я=Шпайк спускаюсь по лестнице, и катит мимо своих коллег прямо ко входу. Те начинают гудеть, открывают дверцы машин, кричат что-то на диалектах и наречиях города, которые я=Шпайк так и не научился различать до конца. Самые грубые ругательства и оскорбительные жесты, присовокупляемые к ним, мне тем не менее известны, хотя весь спектр их применения всегда будет шире горизонта моих познаний. Водитель первого в веренице таксомоторов, мускулистый до неестественности, даже вылез из машины. Бьет ладонью по капоту и во всю силу легких беспрерывно выкрикивает одно и то же выражение, в котором сливаются три слова, – тот, кому оно адресовано, сравнивается с козлом местной породы, ставшим дегенератом в результате близкородственного размножения. Только теперь, когда я=Шпайк дошел до своего такси, мой шофер отвечает жестом, который для меня вновь, но сразу же становится понятным. Водитель сует мизинец левой руки в рот и быстро выталкивает и втягивает его, имитируя сосательное движение. И тогда противник перестает злобно вопить, тыльной стороной руки отирает слюну со светло-русых усов, пожимает плечами, отворачивается, с жалостливой ухмылкой показывает на меня и, обращаясь к своим коллегам, выкрикивает длинное, как трель, слово. Ни один слог в нем мне не понятен, но, мгновенно почувствовав стыд, я=Шпайк начинаю догадываться, в какую мишень оно направлено.

2. *Благосклонность*

Таксист везет меня обратно, пересекая широкую, дикую равнину между аэропортом и первыми нормально застроенными кварталами городской окраины. Сумерки сгущаются. Свалки, пустующие цеха, лачуги и палатки бедняков – все, что возникает справа и слева от магистрали, медленно погружается во тьму. Только костры и костерки, огоньки очагов да язычки пламени на огромных кучах мусора говорят о том, как трудно дается жизнь обитателям отдаленного предместья. Я=Шпайк еду в бывший квартал эгихейцев, в баню к Фредди. Это единственное заведение такого рода, которое иностранцы могут посещать без опаски. Мы, чужаки-старожилы, даже образуем костяк его клиентуры. Местные приходят сюда главным образом с одной целью – показать западным партнерам по бизнесу традиционную для этих краев баню. Появившись у Фредди в первый

и, как правило, последний раз и отважившись, не без колебаний, пройти в одну из сумрачных парилен, гости, случается, окидывают меня любопытным взглядом. Однако цвет моей кожи и невозмутимость моего распростертого на лежанке тела они истолковывают превратно. Движимые инстинктивным желанием разузнать как можно больше, они принимают меня, приехавшего сюда много лет назад, за уроженца здешних мест, и я=Шпайк никогда не пытался рассеять это заблуждение.

Фредди рассказывал мне, что до перестройки под баню помещения служили для подсушки окороков и хранения их в холоде. Как реликт той поры в одном из массажных отсеков с потолка свисает крюк. Полы еще старше. В вестибюле они украшены мозаикой и вкупе с расписной плиткой вокруг бассейна свидетельствуют: эгихейцы когда-то возвели это здание как Дом Господень. Разноцветные камешки, великолепный орнамент и богатая символика ничуть не пострадали ни от деревянных сандалий, коими шаркают те, что приходят к Фредди попариться, ни от грубых башмаков тех, кто разделывал тут свиные туши, ни от мозолистых, ороговелых подошв молившихся здесь в еще более давние времена. Произведения искусных мастеров никогда не вызывали у меня желания рассмотреть их получше. Сегодня, нагнувшись, чтобы ощупать онемелый палец правой ноги, я=Шпайк впервые заметил, что небольшая мозаика есть и в раздевалке, которой я пользуюсь уже много лет. Красными и белыми камешками в сером круге выложена женская фигура. Высоко подняв голую ступню, она спешит исчезнуть в воображаемой глубине пола. Локти далеко отведены, словно девушка, напрягая все силы, хочет избежать соприкосновения своего туловища с границами пространства, сквозь которое рвется уйти вниз. Голову она повернула в сторону ровно настолько, чтобы взгляд правого глаза — три белых и один красный камешек — был устремлен назад. Просовывая ноги в ремешки сандалий, я=Шпайк не мог не подивиться тому, что и спустя столетия эта стремглав убегающая заставляет случайного зрителя почувствовать себя покинутым.

Фредди сам оборудовал баню, проявив незаурядное понимание стиля. Инвентарь взял большей частью из офицерского казино времен господства Иноземной державы. У ревностных поклонников культурных ценностей неизменно вызывают интерес выполненные из дерева колонны с изображениями танцовщиц в развевающихся одеждах. Моя голая спина прислонилась к самой толстой, самой красочной опоре. Фредди установил ее в середине той парильни, где курится фимиам. Колонна окружена изящной скамеечкой. Я=Шпайк расположился на ней один, ранним вечером посетителей мало. Через застекленное оконце виден большой, в форме сердечка, бассейн, в котором можно быстро остудить горячее тело. На корточках по краям бассейна сидят, укутавшись в белые махровые полотенца, подручные Фредди; их около десяти. Сквозь клубы пара, сквозь неровности старого стекла отличить бóев друг от друга с моего места трудно. Все — по-мальчишески тонкие, чуть ли не малорослые, у всех одинаковая прическа: затылок выбрит, нет волос и над ушами. Вокруг шеи, тоже у всех, золотая цепочка с буквой Ф (от Фредди) и трехзначным номером.

Самым маленьким из встреченных мною до сих пор номеров был 003, самым большим — 243. Мне неизвестно, по какой системе Фредди нумерует своих подчиненных. Их никогда не бывает больше десяти-одиннадца-

ти. Я=Шпайк не видел тут ни одного парня, который прослужил бы дольше трех месяцев. Некоторые сразу обращают на себя внимание, однако во время моего следующего визита в баню оказывается, что их и след простыл. Последний, 243-й, запомнился потому, что необыкновенно хорошо говорил по-французски, правда со странным акцентом и заимствованиями из других языков, но бегло и с богатым запасом слов. Делая мне массаж, он рассказал, что приехал сюда с западноафриканского побережья. И пока руки парня обрабатывали мою плоть, его африканизированный вариант старого европейского языка — с укороченными слогами, похожими на лай, с вялыми носовыми, с множеством дополнительных гортанных — все легче проникал мне в уши. Спрятавшись в контейнере, куда почти не попадал свежий воздух, он и два его брата вышли в море на старом грузовом судне. Дабы не умереть от жажды, в последние дни пили собственную мочу. Но долгое плавание закончилось-таки благополучно, и теперь он счастлив, потому как его взял на работу Фредди. Со служебной точки зрения — если подумать о том рвении, которое станет выказывать мой сменщик, — имело бы смысл расспросить 243-го поподробнее. Парень был готов к разговору, а чтобы кто-нибудь из подручных Фредди умел изъясниться на английском или французском лучше, чем необходимо для обслуживания клиентов, — такое случается редко. Но молодой чернокожий массировал с необычайной ловкостью, и это навело меня на другие мысли. А следующим вечером номер 243 висел уже под другим адамовым яблоком. Его новым обладателем стал один из тех светлокожих, веснушчатых парней, что в последние два года все чаще встречаются среди подручных Фредди. Я не раз слышал, как эти бледнолицые перешептываются между собой по-русски, но они сразу же умолкают, заметив, что я прислушиваюсь, и прикидываются глухими, как только я=Шпайк пытаюсь заговорить с ними на моем жалком, но тем не менее понятном русском языке.

В парную входит Фредди. Его вид все еще пугает меня. Я=Шпайк все еще вздрагиваю, в очередной раз ощутив дисгармонию между его ростом и его худобой. Здесь, в бане, на Фредди шелковый пиджак телесного цвета, нараспашку; ниже — юбка из обернутого вокруг бедер широкого полотенца. На обнаженной груди, во впадинке между рахитично узкими дугами ребер, висит, покачиваясь, золотая буква "Ф", правда без номера. Все эти годы, с моего первого посещения бани, Фредди баловал меня маленькими знаками внимания. Стоит мне появиться здесь, как один из боев, не спросив моего согласия, подносит стакан ледяной зулейки-бренди и что-нибудь хрустящее, местного произрастания или производства, например, баснословно дорогие плоды жирного ореха, дающего урожай лишь раз в три года. Половинки их ядер хорошо смешиваются с набором моих таблеток, и когда кончики пальцев шарят в баночке, только случай решает, какие пилюли одна за другой попадут мне под язык в течение банной ночи. Предупредительность Фредди постепенно вылилась в проявления благосклонности более интимного свойства. С некоторых пор он регулярно посылает ко мне боя из вновь прибывших, всегда юного, поджарого, но не слишком худощавого — такого, какой отвечает моему вкусу в моем возрасте. Около года тому назад, в день, когда мне стукнуло сорок, Фредди вдруг устроил в мою честь вечеринку в зале со сводчатым потолком под парильнями. Каким образом он узнал подлинную дату моего рождения, известно, наверно, одно-

му дьяволу, а тот своим секретом со мной не поделится. Пришли все, чье полуголое присутствие я=Шпайк могу переносить, когда и сам полуголый. Фредди собрал их, не делая исключений, и благодаря его безошибочному чутью среди гостей не оказалось ни одного лишнего.

Фредди присаживается на узкую скамеечку слева от меня. Даже вот так, ссутулившись, он выше меня более чем на голову. Без предисловий начинает рассказывать о японцах, которые прибыли вечерним рейсом. От одного из своих источников, как всегда чудесным образом осведомленных, он знает, что я=Шпайк только что приехал из аэропорта. Однако он не спрашивает, что погнало меня, человека, недолюбливающего движение, из старых кварталов в такую даль. Фредди доверительно сообщает мне, что один из японцев послан в город с особым заданием. Группу бизнесменов, среди которых он был замечен мною, использовали как жидкость в большом шприце — чтобы впрыснуть его в организм города. Японцы будут представлять оптовикам на видеобазарах новые компьютерные игры, модифицированные с учетом вкусов местных жителей.

У меня чешется левое ухо. Оно чувствует, что в него по каплям вливается полезная информация. Фредди кладет мне на колено правую руку. Сквозь ткань полотенца я=Шпайк чувствую силу его длинных костлявых пальцев. Мышцы моей спины напрягаются. Фредди называет мне японское конспиративное имя засланного и говорит, что джентльмену с миндалевидными глазами пришлось, наверное, изрядно попотеть, чтобы научиться правильно это имя произносить. Потом сообщает фамилию, которую мнимый японец носит на своей американской, давшей ему спецзадание родине. Оба имени, полученные им при крещении, столь восхитительно US-американские в своей наивной гордости за кровавые преступления, совершенные в ходе становления государства, и за его брутальных героев, что мы, дружно хихикнув, не можем не посчитать их подлинными.

Фредди встает, чтобы приветствовать гостей. Моей спине позволительно расслабиться. В бане я=Шпайк пробуду до утра. Следующий самолет, которым может прибыть мой сменщик, прилетает из Стамбула около полудня. Фредди здоровается с гостями за руку. Среди них я=Шпайк узнаю тучного соотечественника, за которым наблюдал в аэропорту. Вместе с представителями местной строительной фирмы он только что подошел к бассейну. Купальная простыня охватывает его дородное тело до сосков. Фредди болтает с ним. Скорее всего на *пидди-пидди*, широко распространенном в городе обиходном английском — говоре, который довел обделенность исходного языка окончаниями до предела. У существительных, например, единственное число не отличить от множественного, личное местоимение "я" вообще пропало, говорящий всегда называет себя именем, которое услышал от своего собеседника. На *пидди-пидди* не изъясняются — на нем трещат, стараясь взять максимально высокую ноту. Для заполнения пауз при заминках в процессе мышления, а также из самых различных соображений риторического характера принято повторять слово или словосочетание по нескольку раз. Поначалу я=Шпайк испытывал отвращение, осваивая такого рода заикание, теперь же практикую его не без удовольствия. В повседневную речь вошли несколько сот слов из здешних языков, главным образом названия мест, кушаний и напитков, а также ругательства — заимствования, произносимые с подчеркнутым, да-

же чуть окарикатуренным американским акцентом. Все местные жители строго придерживаются этого неписаного правила. Новоприбывшему тоже настоятельно не рекомендуется произносить отдельные слова с заученной правильностью. Иначе от него с презрением отвернутся, и это будет еще не худшей реакцией из тех, каких упрямцу следует ожидать.

Фредди выдает себя за метиса. Отец, якобы пилот местной авиакомпании, будто бы зачал его с мальтийской стюардессой и после ранней смерти матери взял мальчика к себе. Я=Шпайк не могу сказать, какова доля правды в том, что касается физиологического аспекта этой версии. Фредди понимает специфику нашей профессии, знает, как радужно-заманчивы рождаемые ею фантазии и как отупляюще-однообразны связанные с нею действия. К нему, как и ко мне, однажды просто пришло понимание того, что любое, даже самое нелепое сообщение лучше отсутствия такового. Легенда об отце-пилоте дает Фредди право порой обронить фразу на языке, который, согласно статистике, считается в стране главным. Он делает это тогда в манере технократической элиты — с ленцой и в нос. Мне довелось даже слышать, как он разговаривал на языке своей мнимой мамы — с бизнесменом, выросшим на Мальте и имевшим там свое дело. Но дороже лингвистической подкованности Фредди для меня — та оплошность, которую он допустил в моем присутствии. Случилось это давно, в ослепительно яркий начальный период моей деятельности. Армянский коммерсант отмечал в зале со сводами успешное завершение затянувшихся переговоров по очень сложной сделке. Город скрывает в себе большие возможности для крупных торговых операций, но заключить договор быстро и напрямую здесь удается не часто. Армянин, седобородый ветеран международной войны за рынки сбыта электронных полуфабрикатов, рассказывал, как были расчищены последние завалы на пути к обоюдному согласию, когда один из боев, держа перед собой уставленный стаканами поднос, споткнулся и грохнулся лицом и голыми руками на осколки. Я=Шпайк стоял у Фредди за спиной, и, видимо, только мои уши уловили бранное выражение, сорвавшееся с его уст. И если бы даже это ругательство услышал кто-нибудь еще из присутствующих, он не смог бы идентифицировать его как немецкое. Ни тогда, ни позже Фредди не дал мне понять, заметил ли он, что я=Шпайк стал невольным свидетелем его промаха. Но раз за разом, особенно когда он, как сегодня, снабжает меня полезной информацией, во мне возникает подозрение, что он вкладывает в меня капитал, по-старомодному на долгий срок, уже чуть ли не из чувства преданности — но в конечном счете все-таки потому, что надеется использовать когда-нибудь те тайные узы, которые связывают нас как соотечественников.

3. *Заманчивость*

Мы двинулись к нашей цели кружным путем, избрав маршрут, о котором Шпайк не мог догадаться. Приказ Федерального центра о начале операции пришел в тренировочный лагерь на Корсике. Занятия предписывалось немедленно прервать, что нас ничуть не огорчило. И не могло огорчить: изо дня в день повторяющиеся упражнения, изнурительные при всей их безобидности, приводили тебя в уныние. И это безотрадное настроение усиливалось. Мы оба любим свежесть уникальной ситуации, ос-

лепительно яркий свет настоящего дела. Судно на подводных крыльях за ночь доставило нас к побережью Кипра. На микроавтобусе мы приехали в отель столичного аэропорта. Там был заказан двухместный номер.

Нас ждал человек по фамилии Куль. Не кто иной, как специальный уполномоченный из Центрального федерального ведомства, который уже много лет вел Шпайка. Куль прилетел на Кипр, чтобы проинструктировать нас. Беспрецедентный случай. Нам не приходилось слышать, чтобы сотрудника в такой должности отправляли в загранкомандировку. Кроме того, нарушалось одно из основных Правил ведения особо важных агентов: мы оба вступали в тесный контакт с личным куратором Шпайка. Обменявшись понимающими улыбками, мы постарались, чтобы Куль не заметил нашего удивления. Тут же начался инструктаж. Куль установил в нашей комнате необходимую аппаратуру. Используя видеопроектор и голую стену над двуспальной кроватью, показывал фильм о деятельности Шпайка. Лента была очень тщательно, почти любовно смонтирована из материала многих лет. Изображение и звук, за малыми исключениями, были превосходны. Небольшими изъянами страдал только сам показ. Куль был чересчур словоохотлив. В стремлении прокомментировать отдельные кадры редко соблюдал меру. Часто натыкался на запись своего же голоса и говорил то же самое, только нескладно. Кроме того, нам следовало бы заранее сдвинуть кровать в сторону. Вставая на колени, чтобы отметить телескопической указкой какую-нибудь деталь в череде кадров, он терял на пружинном матрасе равновесие и попадал рукой в луч света.

Мы оба, конечно, заметили, как стар был куратор Шпайка. Подобно многим своим коллегам по внутренней службе он, очевидно, пользовался увлажняющим, питающим и, в результате, омолаживающим кожу кремом. Он красил волосы, отполировал зубную эмаль и покрыл ее бесцветным лаком. Видя, как Куля покачивало на кровати, слыша, как он перебивает сам себя, мы решили, что он вышел за пределы пенсионного возраста лет на пять. Насколько нам было известно, это не разрешается и Кодексом правил внутренней службы. Сопоставляя картинки на стене, текст к ним и комментарий Куля, мы пришли к выводу, что он вел Шпайка с самого начала, с момента прибытия того в город. Значение Шпайка, его загадочная плодовитость, перманентная шаткость его положения — все это вносило разлад в нормальное течение дел и избавило ветерана внутренней службы от неминуемой отправки на пенсию.

Пройдя инструктаж, мы отправились дальше. Грузовой самолет должен был доставить в город от Детского фонда ООН вакцину и медицинское оборудование. И мы стали австрийскими офтальмологами, которым предстояло провести там три дня — по поручению Всемирной организации здравоохранения, для сбора информации. От Куля мы получили обычный набор личных документов. Биографические данные ужаты до минимума. Чтобы заучить их, хватит пяти минут летного времени. Маленький турбовинтовой аэроплан российского производства оказался доверху забитым аккуратно уложенными ящиками и коробками. Мы были единственными пассажирами. Отделенные от пилотов перегородкой, сидели в хвостовой части, рядом с окошком, на единственном двойном сиденье. Сразу после взлета ты достал Последнее распоряжение Федерального центра, которое Куль вручил нам в запечатанном конверте. В нем была дискета, и ты вставил ее в ноутбук. Мы расшифровали сообщение с трой-

ной защитой. Последнее распоряжение было лаконичным и однозначным. Действовать только так и не иначе. Теперь нам стало ясно, почему это тактично скрывалось от Куля и делало его — ведь он не мог не догадываться о сути нашего поручения — таким испуганно-суетливым. Улыбаясь, мы кивнули друг другу. Заботы стариков — не наши заботы.

Дискета имела термохимический механизм саморазрушения. Когда выскальзывала из ноутбука, она пахла сладковато, почти как сирень. Поверхность у нее нагрелась и была липкой. Эта дедовская, физически ощутимая форма уничтожения информации тронула нас, вызвав воспоминания о давно минувших временах. Прошло более трех лет с тех пор, как, в рамках программы подготовки, нас впервые провели по отделу технической адаптации. Там тогда еще сидели эти чудаковатые парни, выдумывавшие плавкие дискеты и прочие вспомогательные средства. Теперь число их уменьшилось, но лаборатории и мастерские по-прежнему занимали весь верхний из трех подземных этажей Центра. Наш курс запустили тогда в этот сказочный мир на целый день. В начале экскурсии мы оба долго проторчали у картолога, последнего из сотрудников отдела. Он был очень толст и очень стар, пожалуй, уже лет пятидесяти с гаком, и один занимал большое квадратное помещение, все стены которого были сплошь увешаны историческими планами городов, а также копиями рисунков, гравюр, литографий, сильно увеличенными с помощью лазера. Некоторые крупноформатные изображения поднимались почти от самого пола, устланного ковром, закрывали стену по всей высоте, как обои, и местами заканчивались на потолке.

Едва мы переступили порог, как наше внимание приковала к себе карта, пришпиленная к внутренней стороне двери. Старый картолог объяснил нам, что рисунок пером, состоящий из тонких линий, есть не что иное, как вертикальная проекция некоего имперского города, каким он был в ранний период Нового времени. Клубок улочек будто парил в пространстве. Тебе сразу же бросилось в глаза, что одна из них, ведущая в гору, в самом конце расширялась воронкой, после чего дворы домов, разворачиваясь парадоксальным и тем не менее иллюзорно убедительным образом, попадали в поле зрения и просматривались целиком, вплоть до углов. Стоило смотрящему чуть повернуть, наклонить или поднять голову, как нарисованные поверхности — фахверковые стены и булыжная мостовая — приходили в движение и начинали перемещаться. Из толстых, казалось, одинаково темных крайних линий и равномерно заштрихованных контуров проступали новые виды на те или иные части целого, а взгляд неожиданно уходил далеко в глубь всей картины.

Ты обнаружил фасад ратуши, а ведь поначалу мы смогли распознать — как бы с высоты птичьего полета — лишь ее крышу и башню. Заговорщицки улыбнувшись, картолог сказал нам, что на плане города здание ратуши исторически удвоено. Дополняя сооружение с одной башней, каковое у нас перед глазами, на рисунке имеется еще и здание эпохи Ренессанса, с двумя башнями. Оно стоит во всем своем великолепии и по сей день, в то время как его средневековый предшественник после сноса обречен на прозябание в царстве призраков — среди прочих ведут[1] и картографиче-

1. Ведута — городской пейзаж (*итал.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

ских проекций. В нас вдруг заговорило профессиональное самолюбие. Дабы найти правильный угол зрения, мы принимали самые немыслимые позы, но лишь когда ты встал на офисный стул и мы начали вращать его сиденье, перед тобой мелькнули два византийских купола, две луковицы, изображенные художником в перспективе, — когда-то ви́дение будущего, а ныне исторический факт.

Картолога обрадовал наш интерес к его занятиям. Принципы смены перспектив, разработанные в ранний период Нового времени, он собирался применить при составлении графической программы для анализа снимков, сделанных со спутников. На столе посреди его кабинета возвышалась небольшая пирамида из электронных аппаратов. Сразу на нескольких экранах картолог показал нам полупустыню без единого деревца. Это был вид сверху. Надо было прийти к таким операциям с компьютером, которые позволили бы увидеть подземные промышленные установки. Усердные объяснения картолога тогда нам быстро наскучили. Сегодня, обладая практическими навыками, мы, пожалуй, поняли бы его лучше. Однако оперативники получают доступ к мастерским и лабораториям только в исключительных случаях, да и вообще грузный картолог, вероятно, стал жертвой последней проверки на профпригодность и затерялся среди таких же пенсионеров.

Юнисефовский самолет, давно устаревший даже для здешних мест, летел медленно и на небольшой высоте. За горой ящиков с приборами и коробок с препаратами мы чувствовали себя комфортно, пилоты нас ни разу не потревожили. Правда, пришлось потеть в термокомбинезонах, облачиться в которые нам настоятельно посоветовали, сославшись на ненадежность системы обогрева в грузовом отсеке. Расстегнув молнии, мы ощутили собственный запах, запах гостиничного мыла — душ в отеле мы приняли вместе — и свежий запах геля, который источали наши волосы. Вылет с Кипра сильно задерживался. Бродя поблизости от аэропорта, мы заглянули в парикмахерскую, где нам по нашей просьбе слегка укоротили и без того коротко подстриженные волосы и выбрили затылки.

Когда наш турбовинтовой неспешно по размашистой дуге заходил на посадку, мы ощутили, сколь огромен простирающийся вдали город. Мы видели край желтовато мерцающей дымки, повисшей над ним в виде гигантского колокола, видели извилины вытекающих из него магистралей и обилие электрических огней в центральных кварталах — даже сейчас, поздней ночью, жизнь там не замирала. Прильнув к крохотному оконцу, мы слышали биение наших сердец: так было, когда мы отправлялись на самое первое задание. Наши головы соприкасались, и щеточки волос на висках проникали одна в другую, отчего становилось щекотно.

4. *Изнуренность*

Среди ночи я=Шпайк вынужден был покинуть баню и отправиться домой. Из-за моего соотечественника. Безошибочным чутьем новичка в этих краях толстяк обнаружил меня в парно́й с фимиамом, здесь он и завязал со мной разговор на своем отрывистом английском. Сказал, что он инженер, специализируется на сооружении каркасов зданий из стальных конструкций. Я=Шпайк был готов внимать рассказу обо всем, что

волновало его и в профессиональном плане, и в личной жизни. Однако только как слушатель я его не устраивал, и он начал мучить меня расспросами о городе. Упорные заверения в моей неосведомленности не помогали, он пристал ко мне как репей. И когда я=Шпайк, подбирая самые отвратительные выражения, стал описывать ему паразитов, жаждущих переслащенной крови иностранцев не только в лучших отелях, но и в бане у Фредди, то даже это, казалось, интересовало немца — вплоть до тошнотворных деталей. Так что мне не оставалось ничего иного, как спасаться бегством по окутанным полуночной мглой проулкам.

В третий раз я=Шпайк пытаюсь добраться домой без помощи местных жителей. Дистанцию наверняка можно осилить пешком за час с небольшим, в худшем случае за полтора, но для этого надо преодолеть границу старого эгихейского квартала — барьер особого рода. Дома здесь были построены эгихейцами и жителями окружающего города без просвета между ними, тыльными сторонами они примыкают друг к другу. Неказистые, четырех- и пятиэтажные глинобитные здания образуют пояс шириной более пятнадцати метров. Ни одна улица его не рассекает. Проникнуть в квартал или выйти из него можно только по похожим на туннели пассажам, ведущим в каждом случае сквозь два дома — старый эгихейский и его антипод.

Когда мы возвращались из аэропорта, таксист решил попасть в замкнутую часть города через базар жестянщиков, по улочкам с очень оживленным движением — путем, которым мне довелось пользоваться не единожды. Уже на последнем его отрезке в квартале кузнецов неба с улицы, как ни старайся, не увидать. Вся проезжая часть сверху перекрыта металлическими трубками и полиэтиленом. С этой крыши-времянки свисают, едва не касаясь верха автомобилей, разного рода товары. То и дело останавливаясь, машины медленно движутся двумя встречными потоками мимо лавок и мастерских. Жестянщики работают в основном с металлоломом, в который превращается огромное число иномарок, потребляемое ненасытным городом. Говорят, что у здешних автомобилей, страдающих от убийственной давки на улицах, самый короткий в мире век. Даже наиболее выносливым двигателям не дано выработать заложенный в них ресурс. Одни винят в этом мелкий, приносимый ветрами, не улавливаемый фильтрами песок, а также мучительно медленное, со скоростью улитки, движение по безумно крутым улочкам старых кварталов; другие объясняют быстрый износ моторов неискоренимой привычкой местных жителей упорно, вопреки здравому смыслу, ездить с лихой безоглядностью, не считаясь ни с кем и ни с чем.

И вчера вечером, когда я=Шпайк ехал в такси по базару жестянщиков, мое внимание — внимание иностранца и потенциального покупателя — хотели привлечь, ударяя по стеклам типичными изделиями местных ремесленников. Затейливыми графинами для зулейки, пузатенькими кальянами, изящными, нанизанными на длинные шнуры палочками с медными или золотыми шариками по обоим концам: чтобы увеличить диаметр члена в состоянии эрекции, их, протыкая кожу, загоняют под его головку.

Все это мне давно и порядком наскучило. Будь я=Шпайк в нормальном состоянии, ни одна из этих вещиц, в том числе и мнимая новинка из листового алюминия и медной проволоки, не заинтересовала бы ме-

ня. Но томительное ожидание в аэропорту, дрожь, пробиравшая меня при мысли о скором прибытии сменщика, облегчение, которое я=Шпайк почувствовал, увидев, что его появление откладывается, — все это изнурило меня до крайности. Неумолчный стук в крышу автомобиля и мелькание лица то с просительным, то с требовательным выражением перед оконными стеклами сломили мое сопротивление. Взгляд мой, не отягченный видом сходящего по трапу сменщика, смягчился. Вещица, которую с расчетливой неторопливостью раскачивала перед лобовым стеклом опущенная сверху рука, похоже прямо-таки напрашивалась, чтобы я=Шпайк ее приобрел, хотя было во всем этом и что-то неясное, загадочное. Продавец явно распластался на крыше нашей машины. Если совершить сделку с особенно рьяным нахалом, напор со всех сторон безусловно ослабнет. Поэтому я=Шпайк опустил стекло, постучал в край крыши, и все та же рука протянула мне вещицу. Я=Шпайк взял ее левой, заплатил правой, и почти в ту же секунду мое приобретение лежало у меня на коленях. Это было своего рода колье. Пестрота сияния, исходившего от изделия, притягивала и отталкивала. Чувство было столь двойственным, что я=Шпайк стал снова разглядывать украшение, держа его теперь на растопыренных пальцах в некотором удалении от себя. Оно было сделано с помощью щипчиков и паяльника, наверняка под лупой, из начинки электронных приборов. Проводки, резисторы, диодики и триодики образовывали изящное кружево, отливавшее многоцветьем полированных благородных металлов и лаковых покрытий. На крохотных цилиндриках и брусочках блестели цифирки и буковки, словно все эти детальки должны были выполнять некую техническую функцию и на новом месте, в структуре украшения.

Попытка добраться домой пешком заканчивается, как и обе предыдущие, полным фиаско. Взгляд беспомощно скользит по мрачноватым фасадам. Где-то здесь должен быть пассаж, ведущий из эгихейского квартала к базару жестянщиков. Без сомнения в пределах уличного отрезка длиною метров двести-триста. Из-за двух более низких, чем соседние, зданий доносятся характерные шумы — звон, скрежет, звяканье, гулкие, точно в гонг, удары. Вкупе — настоящая какофония, к тому же орет радио, но пассажа все нет. Хотя я=Шпайк мучительно-четко помню: с эгихейской стороны это очень старое, без окон, строение из голубой глины. Въехав в пассаж, погружаешься в мерцающую муть. До сильно провисшего верха туннеля, кажется, достанешь рукой. Проехать тут может только один автомобиль. Дверные проемы в стенах из голубой глины заложены бетонными блоками. И без того тесный пассаж сужается в середине распахнутыми вовнутрь створками ворот. Такси едва не задевает боками их черные округлые стойки. Кажется, будто в машину проникает холодный запах, оставшийся после того, как дом был подожжен и горел вместе с его обитателями; тогда балки и закоптились чуть ли не до сплошной черноты. Но вот ты уже на более светлой, более широкой половине туннеля и почти сразу же — на базаре жестянщиков, залитом слепящим белым светом множества газовых фонарей с хромированными отражателями.

Непроницаемым мраком не встречал меня ни один проулок — даже самый глухой, в старой части города. Дело, по-видимому, в той богатой мельчайшими песчинками дымке, которая колоколом висит над центральными районами и отражает достаточно света в самые отдаленные и

укромные места. Я=Шпайк еще раз пытаюсь отличить глинобитные дома от построек из камня по их цвету в ночи. Здания из голубой глины, как тот, разыскиваемый мною, дом с пассажем, редки даже в эгихейском квартале. Некоторые историки архитектуры причисляют их к самым древним многоэтажным домам на земном шаре. Поначалу мне казалось, что пигменты голубой глины ведут себя как-то неприлично, веками сохраняя свое свечение и превосходя по яркости сопоставимые с ними современные красители. Этот эффект особенно хорошо заметен при солнечном свете, однако дает о себе знать и при резком свете ртутных ламп, освещающих ночью многие улицы, в том числе и ту, где живу я. Лишь коварное освещение эгихейского квартала не позволяет распознать голубизну глины. От коптилок на сыром масле, мигающих на высоте третьих рядов окон, исходит желтый свет с оранжевым оттенком, превращающий все фасадные цвета в более или менее безобразные вариации коричневого.

Выручает такси. Навстречу мне плывет громадный американский лимузин старой-престарой модели. Над высокими колесами вздымаются будто распухшие отчего-то крылья, а между капотом и бампером зияет огромный радиатор-гриль. Его хромированные зубья, имитируя неповторимые формы челюстей разного рода хищников, создают впечатление какой-то страшной угрозы. Притулившись в правом углу салона, где сиденье и спинка обтянуты кожзаменителем с рубцами из суровых ниток и давно продавлены человеческими телами, я почти не слышу работы объемистого мотора, скрывающегося за оскалом радиатора. Наверное, это современный агрегат, преемник четырех-пяти моторов, уже отслуживших свое. В городе, где самой разной аппаратурой пользуются так, что она изнашивается с головокружительной быстротой, исторические оболочки отдельных механизмов сохраняют с особым тщанием.

Шофер подъехал к выходу из эгихейского квартала в считаные секунды: от того места, где я=Шпайк, отчаявшись, прекратил поиски, до него было лишь несколько домов. Быстро минуем базар жестянщиков, после полуночи деловая жизнь течет тут спокойнее. И вот уже пересекаем сверкающий огнями бульвар Свободы Слова с роскошными особняками прежних властителей, над какими теперь возвышаются башни из стекла и стали, и вскоре попадаем в ту часть города, где уже давно обитаю я=Шпайк. Здесь, в бывшем квартале тряпковаров, и иностранцу живется неплохо. Таких, как я, в этом старом невзрачном районе несколько сотен. Многие, прежде всего американцы, предпочитают улицы, выходящие на бульвар. Мое жилище — в самой середине квартала, там, где двухэтажные домики обступают квадратные внутренние дворы, в которых и сегодня еще можно видеть бассейны со стенками из камня, служившие для изготовления бумаги традиционным способом. Окно задней комнаты выходит в такой двор. Три низких бассейна густо заросли колючим чертополохом. Если зимой сильно дождило и накопилось немало влаги, то за каких-нибудь два-три дня эти дебри расцветают белым цветом. Каждый стебель усеян маленькими, с запахом корицы цветочками, привлекающими мириады летающих и ползающих насекомых. Мягкие, как резина, шарики-плоды еще долго покрывают двор медленно сереющим ковром, пока, так и не пустив ростков, не растворятся в грязном верхнем слое глинистой почвы.

Нехотя, испытывая недомогание каждой своей клеточкой, мое тело выбирается из старого лимузина. Часов я=Шпайк давно уже не ношу, но, чувствуя пульс города, делаю вывод, что теперь чуть больше полуночи. Оказаться дома так рано нет никакого желания. Я занимаю только второй этаж небольшого строения, первый пустует. У подножия узкой, крутой лестницы я=Шпайк застываю в состоянии тупой, бессмысленной дремоты: с течением лет это вошло в привычку. Не ясно, что именно каждый раз мешает мне сразу подняться наверх. Сознание может помутиться и от запаха деревянной лестницы. Просыпаясь — зачастую с болью в спине, — я=Шпайк вижу, что лежу, поджав колени, на одной из нижних ступенек. И сегодня, хотя я вернулся домой много раньше обычного, меня одолевает сон. Смыкаются глаза, мысли путаются, не встречая сопротивления... Внезапно из полузабытья меня выводит звук, с каким крупные капли дождя шлепают по камням. С каждой секундой звук этот усиливается, пока не заканчивается резким ударом о металл. Усталость как рукой снимает. Редко, мучительно редко я=Шпайк получаю послания по пневматической почте. Если это происходит так, как сейчас, то во мне волной вскипает радость. Ноги спотыкаются о последние ступени. Распахнув незапертую дверь, я=Шпайк спешу через обе темные комнаты к южной глухой кирпичной стене. Дрожащими пальцами сдвигаю латунный запор с алюминиевой заслонки. Из трубы с шипением вырывается воздух, и светло-серая капсула из листового металла, длиной с хорошую ладонь, толщиной с кулак, покрытая тончайшей масляной пленкой, нагретая трением скольжения, падает мне в руки.

5. *Притяжение*

Все капсулы, полученные мною по пневмопочте, я=Шпайк поставил на полку за телевизором. Над его матово-черным корпусом серебристый ряд смотрится превосходно, а благодаря тесному соседству одинаковых предметов коллекция кажется более обширной, чем она есть на самом деле. Каждая капсула состоит из двух, открытых с одной стороны стальных цилиндров. Тот, что покороче, служит крышкой и навертывается на другой по спиральной резьбе длиною около двух дюймов. Округлая поверхность обеих частей — без украшений, абсолютно гладкая. Только на донышках глубоко, словно рукою скульптора, выбит фирменный знак с моей родины: три рельефных, расположенных треугольником пересекающихся кольца. Желающий увидеть этот символ найдет его в городе повсюду. Им мечены как чугунные решетки водостоков на бульваре Свободы Слова, так и мощные шестигранные болты, которыми скреплены в Старом городе рельсы и шпалы железной дороги. Уличные мальчишки знают о чужеземном происхождении знака. Ухватив иностранца за штанину или ремень видеокамеры, они тянут его к овальным крышкам подземных гидрантов, на которых три кольца, лишь слегка истертые подошвами пешеходов и шинами автомобилей, видны особенно хорошо.

Сегодняшняя капсула открываться не хочет. Это случается при каждом втором или третьем поступлении. Но если закапать в стык между цилиндрами немного кунжутного масла и осторожно постучать о край стола тем местом, под которым находится резьба, то развинтить капсулу можно

довольно быстро. Только один раз, в начале знакомства с пневмопочтой, я=Шпайк потерял самообладание и взрезал заклинившиеся цилиндры по всей длине. Остается загадкой, почему мой дом, неприметный и сложенный из кирпича, служивший некогда местом обитания и работы семейного клана бумажников, был подсоединен к пневматической почте. Лишь спустя недели три-четыре после вселения, когда морильщик, киренеец по национальности, отыскивая убежища тараканов, снял со стены старый ковер, я=Шпайк увидел в ней отверстие с какой-то механикой. Мне, чужаку в этих краях, было, конечно, не ясно, для чего оно предназначено. Постучав наконечником баллончика с ядовитым раствором по эмблеме на запорной крышке, а затем и по моей груди, борец с паразитами объяснил мне на *пидди-пидди*, что передо мной — принимающая станция пневмопочты, одна из немногих еще сохранившихся и даже действующих, и что уроженцу страны, где пневмопочта была изобретена, необходимо пользоваться ею, почитая это делом чести.

Следующие недели были потрачены мною — с трогательным рвением новобранца — на то, чтобы собрать информацию об этой системе. В архиве "Го́лоса Освобождения", единственной газеты города, хранившей свои подшивки прошлых лет наряду с подшивками другой газеты, ее предшественницы, нашлось немного материала о структуре сети и первоначальном этапе ее эксплуатации. На одной из фотографий я узнал здание некогда существовавшего агентства пневмопочты — укрепленный колоннами куб в беспомощно-напыщенном стиле последнего рубежа веков. Это здание на южном конце бульвара Свободы Слова уже тогда поразило меня особой уродливостью. Я=Шпайк решил попытать счастья на месте. В бывшем управлении пневмопочты находился теперь институт, занимающийся изучением и сохранением фольклора исчезающих малых кочевых народов. В институте меня принял референт по связям с общественностью. Его ответ на мой вопрос был столь же любезен, сколь и лаконичен: пневмопочтовая компания обанкротилась почти сразу же после ее создания. Важнейшие технические сооружения, в первую очередь дорогостоящие станции отправки, были в последующие годы и десятилетия демонтированы, причем без всякого плана, и, по всей вероятности, полностью превращены в металлолом.

Фредди, у которого я=Шпайк вскоре поинтересовался как-то ночью в бане, что же все-таки случилось с пневмопочтой, сказал мне, что так оно в основном и было. Правда, оценивая сей факт, необходимо знать, что вслед за официальным закрытием системы Гахис, тогда еще совсем юный, начал первую кампанию борьбы за чистоту крови и нравов. Его приверженцы, одетые во все белое, впервые стали появляться средь бела дня перед кафе на бульварах, чтобы выплескивать под ноги ошеломленным иностранцам заказанную теми зулейку. Затем с чужаков обычно срывали штаны и заставляли вытирать ими мокрую от зулейки мостовую. Гораздо более суровому наказанию подвергались местные жители, которых гахисты заставали пьющими зулейку. Фредди сам видел, как одному бизнесмену, всеми уважаемому торговцу кониной — он знал его лично, — у водостока близ отеля "Эсперанца" тесаком, которым здесь издавна рубят камыш, отсекли руку, за минуту до этого державшую стакан со злополучным напитком.

Бесчинства такого рода творились целых три года, и первая волна репрессий быстро привела к тому, что среди горожан не осталось ни хо-

зяев питейных заведений, ни торговцев, которые отважились бы в открытую предложить кому-то заказать или купить зулейку. Именно в те годы легендарный клан Агоманов, нелегально торгуя зулейкой, сумел сколотить состояние, ставшее в городе притчей во языцех. Под руководством одного из сыновей старого Аммона Агомана, изучавшего в Берлине инженерные науки, были не только восстановлены порушенные станции отправки пневмопочты, но и построены новые магистрали. Проявляя завидную находчивость, молодой Агоман пользовался для закладки трубопроводов сжатого воздуха исключительно уже имевшимися коммуникациями, причем предпочтение отдавалось мощным, износостойким керамическим трубам, из которых в прошлом веке — с щедростью, доходящей до расточительства, — в городе была сооружена первая система канализации. Бутылки под зулейку унифицировали тогда таким образом, что они как раз входили в капсулу пневмопочты. Со времен сухого закона повелось также разливать зулейку по некрасивым, но небьющимся бутылкам из поливинилхлорида.

Однако после массового самоубийства сторонников Гахиса на футбольном стадионе зулейка почти сразу же вышла из-под запрета. Контрабанда и подпольная торговля заглохли. Среди Агоманов начались кровавые разборки: мирно поделить свои богатства они не могли. Одно время двоюродные и троюродные братья даже обменивались по пневмопочте бомбами с дистанционным взрывателем. Тем не менее одному из внуков старого Аммона Агомана удалось примирить враждующие семейства, после чего почти все члены клана подались в Соединенные Штаты и Канаду. Никто, пожалуй, не может точно сказать, что произошло с бесхозной пневмопочтой потом. В отдельных кварталах станции отправки оказались в руках местных банд, но что делать с такой техникой, они явно не знают.

Это была версия Фредди, озвученная им в клубах пара с фимиамом. И мне нечего было добавить к ней из сведений, добытых мною самим, пока однажды ночью в сон, терзавший меня вереницей картин той поры, когда жизнь моя еще протекала на родине, не врезался звук, похожий на звонкую весеннюю капель. Набирая силу, он стремительно приближался и оборвался ударом с дребезгом. Вырванный из кошмарного полузабытья, я=Шпайк увидел — такое случается со мной до сих пор, — что лежу, скорчившись, на нижних ступеньках лестницы, ведущей с первого на второй этаж моего домика. Сразу стало ясно, что меня разбудило. Наконец *это* произошло. Кое-как поднявшись на ноги, я=Шпайк поспешил наверх. В первой полученной мною капсуле — дрожащими руками я развинтил ее на две части — была всего лишь пластиковая бутылка с зулейкой... Но сделав глоток прямо из горлышка, я почувствовал ту редкостную горечь, что своей двойственностью превосходит даже абсент, а в нос мне ударил отдающий тленом, мгновенно вдохновляющий на свершение чего-то высокого запах старой зулейки — зулейки-бренди. Гнать зулейку довольно трудно, годами же держать дистиллят в бочках и доводить его до кондиции удается — из-за непредсказуемости поведения микроорганизмов — и вовсе мало кому. В обычных торговых точках зулейку-бренди не продают. Нужно иметь связи с семействами-изготовителями в эгихейском квартале и в любом случае — очень толстый кошелек с твердой иностранной валютой. Моя первая собственная бутылка зулейки-бренди, емкостью в пол-литра, присла-

ная по пневмопочте, была опорожнена той же ночью. Лишь после полудня, пробудившись и окончательно протрезвев, я=Шпайк увидел прикрепленное к подарку послание: этикетка была приклеена криво и неплотно, снять ее с пластика не составляло труда. На обратной стороне бумажки было что-то написано карандашом, и я=Шпайк прочитал первое адресованное мне письмо.

Наконец капсулу удается открыть. Верхний цилиндр необычайно долго испытывал мое терпение — как оказалось, он не отвинчивался из-за вмятинки во внутренней резьбе. Послание написано, как и в двух последних случаях, на полоске черной резины. Выгнутость полосок заставляет предположить, что отправитель разреза́л на устраивающие его прямоугольнички велосипедную камеру. С одной стороны темная резина покрыта белыми буквами. Для всех посланий, пришедших из глубин пневмосистемы, характерно одно — школьный рукописный шрифт с незначительными огрехами, точно такой, каким он получался у меня, когда давным-давно, покусывая кончик ручки, осваивал его и я. Автор сохранил четкость и правильность своего детского почерка; лишь минимальные отклонения от норм каллиграфии свидетельствуют, что в жизни ему немало пришлось поводить пером по бумаге.

Самое первое послание, обнаруженное мною на обратной стороне бутылочной этикетки, было столь же лаконичным, как и все последующие. Не составляет исключения по краткости и стилю и сегодняшнее. В нем отсутствуют обращение и стереотипное словосочетание в конце, текст укладывается максимум в три фразы и производит впечатление информации для служебного пользования. За все время, что я получаю послания, обозначилась одна-единственная тенденция: число ошибок в правописании растет. Некоторые выглядят нарочито архаично, будто намекая со скрытой иронией на некую историческую взаимосвязь. Большей же частью они случайны и вызывают у меня всего лишь легкое опасение, что автор, находясь в процессе вялотекущей дегенерации, постепенно теряет уверенность в применении орфографических правил.

Я=Шпайк знаю, сколь многим моя скромная особа обязана нашептываниям большого пневмопочтового канала. Уже первое послание, извещавшее меня всего лишь о том, что по моему адресу начинается регулярная отправка сообщений, было намеком, который мой по особому тренированный мозг сумел инстинктивно понять. С тех пор мое пребывание в городе зависело от каждой новой весточки, и только на первых порах меня подчас охватывало смутное чувство стыда и неловкости перед самим собой: в те минуты, когда случалось осознать, с какой верой в предсказания я=Шпайк часами раздумывал над парой-тройкой скупых фраз. О скором прибытии сменщика туманно говорилось уже в последней и предпоследней депеше, но лишь в послании, полученном мною сегодня ночью, грозящее мне увольнение нашло достойное орфографическое выражение в разительной описке. Впервые за долгие годы мой осведомитель исказил одно из слов почти до неузнаваемости: в слове "ликвидация" правильных букв всего лишь половина.

Начав получать послания по пневматической почте, я=Шпайк не раз пытался установить контакт с хозяевами системы в квартале бумажников. Проходимцы использовали мое честное и посему неуклюжее стремление расширить познания в этой области и неоднократно наду-

вали меня, унося с собой в качестве аванса небольшие суммы. Одно время каждую неделю появлялся молодой парень, чтобы получить плату за пользование пневмопочтой, пока я не нашел его как-то утром лежащим перед моей дверью. У бедняги, избитого до бессознательного состояния, было отрезано левое ухо. Завернутое в прозрачную пленку, оно торчало из нагрудного кармана его рубашки. Мошенники такого же калибра трижды заводили меня в те места квартала, где будто бы находилась передающая станция, и дважды оставляли одного в полуразрушенных зданиях на задних дворах, однако ничто там не указывало на ее наличие. Однажды какой-то подросток завел меня в *огнум* — бывшую молельню секты Гахиса. Стены и купол простого круглого здания были разукрашены изнутри широко известными красными символами борьбы за чистоту веры, пóла же вообще не было видно под доходящим и мне до щиколотки слоем козьего навоза с большими пятнами плесени.

6. В*думчивость*

Мы приземлились в предрассветных сумерках на старом военном аэродроме. Въездные документы проверяли офицеры Народной милиции. Свирепая скрупулезность, с которой они вершили свое дело, вызвала у тебя улыбку. Заметив это, усатые стражи порядка стали действовать еще более рьяно. Заставили нас снять штиблеты, прощупали швы верхней одежды и не преминули скопировать на фотопленку все страницы и даже обложки наших австрийских загранпаспортов. Не затрудняя себя хоть каким-то объяснением, отказались вызвать из города такси. Пришлось ждать, пока багаж не перенесли на грузовик Детского фонда. В задней части кузова нашлось место и для нас с походными сумками. Занималось утро, и по испещренной трещинами и выбоинами дороге с крайне разномастным покрытием мы поехали в город.

Вспомнились слова Куля: город любит похвастаться тем, что является в здешних краях древнейшим, никогда не пустовавшим поселением. Правда, на такую почетную репутацию претендуют еще два города. Бесспорно одно: в этих широтах нет другого города, который был бы столь древним и в то же время столь крупным. Его невольничий рынок, восхищавший еще античных авторов количеством, разнообразием и качеством товара, снимали на покрытые йодистым серебром пластинки фотографы, которые первыми среди своих коллег стали путешествовать по свету. С помощью видеопроектора Куль показал нам самые впечатляющие фрагменты этих исторических фотографий.

Поудобнее устроившись в кузове грузовика и поглядывая на прямую как стрела магистраль, стремительно убегающую от нас серой лентой, мы завели друг с другом беседу на *пидди-пидди*. В учебном лагере на Корсике мы усердно занимались местным говором лишь из чувства долга, хотя приставленный к нам преподаватель был мастером своего дела. Теперь же, прибыв туда, где люди говорили на этом наречии, мы вдруг почувствовали, что можем легко следовать жестким правилам редукции, а то и вставить в подвергшийся гибридизации английский несколько исконно местных словечек. Водитель гнал грузовик по скверной дороге, нисколько не заботясь о том, чтó у него в кузове. Шоссе, соединявшее аэропорт с окраиной города,

имело шесть полос, но походило скорее на караванный путь. В свете наступающего дня по обеим сторонам дороги блестели стекла разбитых машин, мелькали остовы сгоревших танков, останки других атрибутов войны. Выбирая самые примечательные, мы старательно тренировались в их описании. Неожиданно *пидди-пидди* показался нам языком легкомысленным, кувыркающимся, как озорной мальчишка, и азартно рвущимся вперед — именно из-за неслитности речи, походящей на заикание.

В отеле "Эсперанца", где сотрудники Фонда помощи детям должны были забронировать для нас двухместный номер, нам заявили, что ничего об этом не знают. На радостном от прибытия в родные места *пидди-пидди* мы начали обрабатывать администратора, который в свою очередь, дабы отражать наши атаки, упорно изъяснялся на почти свободном от акцента французском. Но мы были свежее его, явно изнуренного работой в ночную смену. В ходе словесной дуэли его французский постепенно беднел, в нем вдруг появились даже огрехи, и наконец наш визави согласился приготовить для нас две комнатушки под крышей. Однако мы, треща на *пидди-пидди*, продолжали настаивать, что заказ должен быть исполнен, и постарались помучить крайне раздраженный слух администратора, пересыпая нашу речь словечками из местного диалекта. Неожиданно он вспомнил, что телефонная связь с заграницей какое-то время была нарушена. Порылся в решетчатой корзине с ворохом скомканных распечаток сообщений, поступивших по телефаксу, и нашел нужный лист, взглянуть на который он нам не дал. Однако искаженный помехами текст якобы все-таки поддавался прочтению, и тут же выяснилось, что для нас забронирован люкс в южном эркере.

По сравнению с тем, как обе гостиничные комнаты выглядели в кулевском видеофильме на Кипре, их облик почти не изменился. Куратор Шпайка дополнил короткую киноленту множеством обычных, разрозненных фотографий. Бледные и сильно смазанные снимки прошли в Центре электронную доработку, отдельные фрагменты были увеличены. И все-таки цвета казались такими неестественными, а контуры, из-за недостатка света — такими размытыми, что подчас только благодаря пояснениям Куля мы могли распознать в возникающих перед нашими глазами предметах ночник на столике рядом с кроватью или раковину биде.

Видеофильм был снят довольно давно неким бельгийским коммерсантом, без разведывательных целей. Шпайк поселился в южном эркере сразу же после прибытия в город и должен был использовать особенности гостиничной жизни длительное время. Бельгиец познакомился с ним в баре отеля, затем они поднялись в номер к Шпайку, чтобы провести за рюмкой и остаток ночи. В какой-то момент в кадре появляются три бутылки и две рюмки. Они стоят, тесно сдвинутые, на резко отражающем свет столике возле кушетки. За этим расплывчатым натюрмортом следуют кадры со Шпайком. Сначала он быстро касается сверху какого-то предмета в прямоугольнике, который выхвачен камерой. Видны только его голая рука и часть груди в желтовато мерцающей, по-видимому белой сетчатой майке. Затем камера устремляет свой глаз вверх и захватывает Шпайка на кушетке. Бельгийцу — к тому времени, вероятно, уже изрядно набравшемуся — удалось секунды за три снять туловище Шпайка почти целиком. Видны голые колени, темные волосатые бедра и осевший в пружинистую мякоть кушетки корпус в трусах и той же сетчатой майке. Экипировка эта кажется неподобающе тесной, будто была куплена челове-

ком менее массивного телосложения, будто за то короткое время, что Шпайк проживал в городе, он успел располнеть до обрюзглости.

Центральное ведомство получило видеофильм с месяц тому назад, в рамках международного обмена информацией. Это был единственный документ, дававший руководству наглядное представление о жизни Шпайка в городе. Запинаясь и часто переводя дыхание, Куль говорил о том, как лицо Шпайка всего лишь за несколько недель изменилось в худшую сторону. И даже позволил себе заметить, что Шпайка едва ли можно теперь узнать. При нашем непредвзятом отношении ко всему согласиться с таким утверждением мы, разумеется, не могли. В видеозаписи Шпайк действительно выглядел постаревшим и странно распухшим. Однако европейцы и североамериканцы в большинстве случаев, как нам было известно, с трудом привыкают к климату города, и поэтому мы исходили из того, что Шпайк, не уставая приспосабливаться к местным условиям, уже вновь обрел сходство с тем Шпайком, какого мы знали по более ранним фотографиям. Именно таким мы и повстречаем его тут.

Первый час в отеле мы провели, расхаживая босиком в самых разных направлениях по тяжелым коврам нашего люкса. С той поры, когда Шпайк проживал в "Эсперанце", в номере, насколько можно было судить при беглом осмотре, мало что изменилось. Телевизор поменяли на более современную модель, а в комнатном баре удвоилось количество крепких напитков. От твоего острого глаза не укрылись два стареньких микрофона. Один был чешского, другой израильского производства, установил их дилетант, и они давно обросли маслянистой пылью с дохлыми мухами. Устройство для прослушивания разговоров, обнаруженное Шпайком в спальне, из стены вырвали. И даже не попытались замести следы. Гостиница "Эсперанца", в которой со дня ее открытия предпочитают останавливаться западноевропейцы и американцы, почти назойливо пахла такими, как мы, пахла той потной деловитостью, что так характерна для представителей нашей расы, когда они объявляются в чужих краях. Ты в общем-то с пониманием отнесся к тому, что Шпайк подыскал себе другое пристанище. Однако его решение покинуть "Эсперанцу" и обосноваться в частном секторе, держа адрес в тайне от Центра, несомненно было первым серьезным промахом этого человека по служебной линии.

Вдоволь насладившись сначала удивительно горячим, а затем почти ледяным, отлично восстанавливающим силы душем, наши мокрые тела заползли в постель. Вся спальня, включая потолок, была оклеена темно-красными обоями с рисунком из роз. Мы задернули гардины, и цветки величиной чуть ли не с ладонь, с множеством прильнувших друг к другу лепестков и колючими стеблями, начали приобретать в полумраке обманчиво-неподдельную объемность. Притронувшись к розам над изголовьем кровати, мы почувствовали, что тиснение — необычайно глубокое. Тугие, переплетающиеся растения рельефно изгибались, вырастая из бумажной основы, а отчасти блестящее, отчасти матовое покрытие усиливало иллюзию их материальности. Вдруг нам стало трудно перешептываться в постели на *пидди-пидди*. Вид обоев соблазнил нас вновь заговорить на родном языке. Ощущение было такое, будто вместе с розами в листы обоев было впечатано что-то родное, староевропейское, может быть, идея их аромата. И мы поболтали еще немножко с закрытыми глазами, а потом стали молча прислушиваться к приятно непонятному

бормотанию и к то нарастающим, то затихающим шумам, проникавшим сквозь стены и окна в нашу обитель.

За ее пределами воцарялась полуденная жара, сухая, с восточным ветром, со столь горячим дыханием, что даже обычно приукрашивающие реальность путеводители называют его убийственным, в произведениях же разноязычной литературы края оно, напротив, всегда воспевалось как неиссякаемый источник вдохновения. Если верить поэтам, то восходящие потоки знойного воздуха способны склонить аборигенов к самому бурному проявлению любовных чувств. Нам же хотелось подремать, может быть даже поспать, а поисками Шпайка заняться ближе к вечеру — и посвятить им, если понадобится, всю ночь.

7. *Отвага*

Я=Шпайк предупрежден. До раннего утра страх заставлял меня изучать старые, полученные по пневмопочте сообщения, вновь и вновь прочитывать все послания прошлых лет. Как и в самом начале, как и в ту пору, когда приходили первые депеши, я=Шпайк искал какие-то зацепки, чтобы вычислить остающегося и по сей день анонимным отправителя. За стремлением разгадать не дающую мне покоя головоломку кроется в конце концов одно-единственное желание: пусть поступившее в мой адрес предупреждение утратит свой зловещий характер, когда мне удастся, путем какого-либо логического заключения, хотя бы приблизительно определить место, откуда исходят сообщения, — тогда мой осведомитель лишится ауры анонимности.

Полуденный зной окончательно обессмыслил мои отчаянные попытки напасть на его след, и я=Шпайк дрожащими руками бросаю бритвенные принадлежности в грязную пластиковую сумочку. Годами, со дня моего вселения в домик, она висела на крючке возле туалетного зеркала. Пыль и волоски свалялись на рифленом пластике в мохнатые шарики. Я=Шпайк совсем забыл и о существовании сумочки, и об особой уродливости ее цветастого узора. Унылая череда дневных сновидений, однообразное течение жизни в чужом городе не позволяли думать, что она когда-нибудь еще раз пригодится мне для транспортировки бритвенных принадлежностей и мыла.

За стеной в жилой комнате по приставной лестнице спускается Лизхен. Перекладины поскрипывают тихо: она ступает на них с осторожностью. Ноги Лизхен — в ортопедических башмаках с подошвами на гвоздях. Она не торопится сойти вниз. Еще ни разу, по крайней мере на моих глазах, она не споткнулась и тем более не упала, хотя освоила прямую походку с большим опозданием. Лизхен спускается с чердака. В городе принято держать кур на крышах. Эти птицы малорослой, с крайне бедным оперением породы, вызывающие у людей с Запада брезгливость, уничтожают вредных насекомых. Согласно старинному, не поколебленному ни одной религией поверью, своим присутствием они способствуют повышению благосостояния жильцов. Поэтому в большинстве домов, в том числе и в построенных сравнительно недавно, над последним этажом имеются невысокие чердаки, передвигаться по которым можно только ползком. Куры устраиваются там на ночь, а также с наступлением полу-

денной жары. Во время моего вселения в домик чердак в нем пустовал. Лишь изредка туда забредала какая-нибудь крыса — из тех, что устремляются ночью с реки в расположенный выше город. В такие моменты сквозь щели между досками потолка на мою кровать, телевизор и плетеное кресло перед ним просыпáлось немного куриного помета.

Когда Лизхен присоединилась ко мне, вопрос, где ей жить, решился сам собой. Я=Шпайк собственноручно сколотил лестницу, ударами молотка вскрыл люк, крышку которого заклинило засохшим пометом, после чего мы с Лизхен произвели на чердаке уборку. Самые верхние слои куриного помета частью смели в кучки веником, частью без особого труда соскребли, окаменевшие же за долгие годы отложения пришлось скалывать отвертками. Лишь усердно потрудившись несколько дней кряду, мы смогли обнажить кедровые доски настила целиком. У хозяев соседних лавчонок Лизхен купила то, без чего нельзя обойтись, обитая на чердаке: толстую пеньковую циновку, чтобы спать, и двухфитильную керосинку, чтобы готовить традиционную еду из пшена и риса. Ее маленький телевизор подключен к моей спутниковой антенне. Поселившись под крышей, Лизхен наверняка обзавелась еще какой-то домашней утварью; а я=Шпайк после той грандиозной уборки больше не протискивал свое тело наверх сквозь тесный люк и поэтому не могу сказать, как Лизхен продолжала благоустраивать свой приют и какой вид в конце концов она ему придала.

Спустившись с чердака, Лизхен сразу же села перед моим телевизором. Ее тонкое, пожалуй, не по возрасту легкое тельце находится в вопиющем противоречии с размерами кресла. Только ортопедические башмаки ошеломляют гармонией с его громоздкостью и неуклюжестью. Кресло к телевизору — подарок Фредди, преподнесенный мне в день рождения. Скорее походящее на трон, оно было изготовлено по заказу офицера Иноземной державы для его импозантной, размашистой задницы — из переплетенных традиционным способом прутьев ивы и стеблей камыша. Спинка и подлокотники инкрустированы кусочками рога, раковинами и лакированной костью. Подушка на сиденье обтянута мягкой, слегка шероховатой козьей кожей. Когда мы смотрим телевизор вдвоем, Лизхен умещается рядом со мной в этом барском кресле без проблем, она может водрузить на подушку даже свои громадные башмаки — и тогда мы не соприкасаемся друг с другом.

Лизхен спустилась из своей клетушки под крышей, чтобы посмотреть вместе со мной *German Fun*[1]. Это ежедневная передача на *International Joy Channel*[2], с 11.00 до 11.25 утра. По идее я должен был бы отслеживать *German Fun* изо дня в день — такова моя первая служебная обязанность. Но поскольку каждое послание Центра дважды повторяется, уходя в эфир три дня подряд, достаточно того, чтобы полька, на мелодию которой переложен наш национальный гимн и которой начинается *German Fun*, звучала в моих комнатах только каждое второе утро. Иногда, как это было, например, вчера и позавчера, я=Шпайк пропускаю даже две передачи, провожу в бане у Фредди не только ночь, но и утренние часы или еду оттуда, взяв такси, в *Naked Truth Club*[3] на бульваре Свободы Слова.

1. Веселье на немецкий лад (*англ.*).
2. Международный развлекательный телеканал (*англ.*).
3. Клуб Голой Правды (*англ.*).

Так небрежно обращаться с требованием быть в постоянной готовности к контактам по служебной линии мне позволяют привычки Лизхен, связанные с телевидением. Лизхен не пропускает ни одной передачи *German Fun*. От ведущего Хайнца она просто без ума. С самым серьезным видом ловит глазами каждую его гримасу, каждую ужимку. Хайнц – австралиец с немецкими корнями в третьем поколении. Его немецкий почти непонятен зрителям, сидящим перед телевизором на нашей исконной родине. Для тех же, кто давно живет на чужбине, слушать человека с жуткой кашей во рту – истинное наслаждение. Я=Шпайк не раз видел, как мои соотечественники, матерые торговцы мыслимым и самым немыслимым товаром, смеялись до слез, когда Хайнц рассказывал очередной скучнейший анекдот. В течение примерно получаса Хайнц забавляет публику, потчуя ее смесью из скетчей, рекламных сюжетиков и популярных мелодий. На нем широкие черные вельветовые штаны с подтяжками и нагрудником из красной кожи, и всякий раз, когда он прикладывает указательный и средний пальцы левой руки к золоченым пуговицам этого нагрудника, для меня в следующей рекламной заставке поступает сообщение Центрального ведомства. Лизхен тоже знает об этом и подает мне сигнал, если пальцы Хайнца прикоснулись к нагруднику. В принципе она могла бы записывать на кассету тексты таких рекламных роликов, а значит, и отправленные мне сообщения, но я=Шпайк все еще остерегаюсь поручить ей это. За долгое время проживания под одной крышей между мною и девочкой установилась вполне устраивающая меня дистанция, к тому же делиться с посторонними людьми самыми секретными деталями своей работы вообще неразумно.

Запись и расшифровка сообщения производятся одним и тем же прибором. Дешифратор подключен к телевизору с передней стороны. По виду он всего лишь отживший свой век плеер, однако под его изрядно поцарапанным пластиком скрыты относительно новые модули, скомбинированные друг с другом. Во времена, когда на работу в городах Востока отправлялись агенты моего типа, умельцам в Центральном ведомстве еще многое дозволялось. То была золотая осень искусников и виртуозов. Куль объяснял тонкости устройства прибора чуть ли не с восторгом педанта, и мне работа с дешифратором по сей день доставляет немалое удовольствие. Вслушиваясь в текст рекламного ролика, звучащий с телеэкрана, я=Шпайк ни разу не смог выделить то, что предназначалось только мне. Дешифратор записывает текст всего ролика и расшифровывает отрезок с секретной информацией одновременно с записью. Звучание оригинала, теперь уже в качестве копии на кассете, обрывается сочным чмоканьем, и истонченный электроникой голос сообщает, чего ожидает от меня Центр. Это слова Куля в цифровой обработке. Хотя регистр до смешного высок и все звучит как-то технически гнусаво, последние рудименты естественной интонации выдают Куля со всем своеобразием его речи.

Лизхен достает из-под кресельной подушки пульт дистанционного управления и включает телевизор. Мы чуть было не прозевали увертюру. Гимн заходится последними задорными тактами и заканчивается шипящим тушем литавр. Появляется Хайнц. Как всегда в начале передачи, камера показывает его снизу и наискось. Он виден на экране от нижнего края нагрудника до середины лба. В кадре никогда не бывает ступней Хайнца, колени можно узреть редко, собственно, только тогда, когда в

подкрепление какой-нибудь особо смачной шутки он бьет себя ручищами по ляжкам. Лишь по мере того как передача близится к апогею, камера поднимается дальше вверх, являя зрителям лютиковую желтизну его густых, зачесанных на левый пробор волос. Лизхен понимает, что́ говорит Хайнц, это давно вне всякого сомнения. И меня она понимает, независимо от того, обращаюсь ли я к ней, что случается редко, или бормочу себе что-нибудь под нос, непроизвольно переходя на родной язык. Никогда я=Шпайк не пытался научить чужого, порожденного этим городом ребенка моему кондовому немецкому. То немногое, о чем надо было договориться в первые дни нашего сосуществования, формулировалось мною на привычном *пидди-пидди*. И поведение Лизхен показывало, что язык, которым каждодневно пользуются жители города, она легко понимала и в моей артикуляции. То, что Лизхен почти не удостаивала меня ответами и редко о чем-нибудь спрашивала, было мне, в общем, на руку, и я=Шпайк никогда не задавался целью разгадать причины ее молчаливости.

Девочку мне навязал город. Безымянным ребенком она стала попадаться мне на глаза уже вскоре после моего переезда в квартал тряпковаров. По нашей улочке регулярно, раза два в месяц, проезжал старьевщик. Он сидел за рулем тяжелого русского военного мотоцикла, переделанного в трехколесную повозку, на днище которой в большой проволочной корзине были навалены железки, бутылки, бумага, старые носильные и прочие еще годные вещи. Старик был сейшенцем, о чем, во всяком случае, свидетельствовала похожая на феску и неизменно прикрывавшая его голову шапка из кошачьего меха — единственная еще не исчезнувшая деталь традиционной одежды сейшенских пастухов, которой упорно украшают себя живущие в городе мужчины этой национальности. Старьевщик почти не покидал седла принадлежавшего ему транспортного средства. Жители окрестных домов выходили на улицу и бросали отходы своего житья-бытья в проволочную корзину. А потом старались выторговать себе небольшое вознаграждение. Я=Шпайк тогда еще был любопытным пришельцем, и мое внимание привлекала худенькая девчушка, усердно трудившаяся в корзине. Хватаясь пальцами рук и ног за железные прутья, она с ловкостью обезьяны взбиралась по ним вверх, соскальзывала вниз и сортировала вещи по какой-то системе, выкладывая из них аккуратные стопки и кучки.

Переселение Лизхен из железной клетки на чердак, произошедшее через несколько месяцев после того, как я=Шпайк впервые увидел девочку, и обретение ею имени — это не моя заслуга, как и не моя вина. Старьевщик, можно сказать, сделал меня своим преемником. Прямо перед дверью моего домика он выпал бездыханным из седла своей мотоповозки. Свалился мне чуть ли не под ноги: я=Шпайк тогда в первый раз подошел к корзине, чтобы бросить в нее несколько бутылок из-под зулейки. У старьевщика, вероятно, началось внутреннее кровотечение, произошло прободение желудка, иначе изо рта не вылилось бы на мостовую необыкновенно большое количество темной крови. Шапка из кошачьего меха сползла с головы, обнажив голый череп, обтянутый задубелой кожей с толстыми синими прожилками вен. Оторвав от него взгляд, я=Шпайк увидел, что вокруг новоявленного инородца в моем лице, умершего старца, мотоцикла с тихо стучащим двигателем и девочки в клетке собрались

жители соседних домов. Выражение их глаз недвусмысленно говорило о том, что моя свобода действий сузилась до одного-единственного поступка. Но я=Шпайк не знал, что́ же мне надо делать, и неизбежно навлек бы на себя гнев соседей, если бы решение за меня не принял Суккум. Владелец кондитерской, у которого я каждый день, не слыша слов приветствия и читая на его лице только враждебность, покупал обильно сдобренный орехами и изюмом белый хлеб, взял и кинул мне ребенка. Мои руки не успели бы подхватить девочку, но ее тонкие конечности сами цепко обвились вокруг моего туловища, а несколько кулаков, с силой ударивших меня по спине, не дали мне, пошатнувшемуся и отпрянувшему назад, грохнуться на мостовую и расшибить затылок. После этого мои соседи обратились к имуществу покойника, заново рассортировали весь товар и затолкали его в пластиковые мешки. Даже мотоцикл разобрали на главные узлы и унесли куда-то. Лишь потом пекарь и один из его подручных завернули труп сейшенца в пластиковый тент, положили к голове шапку из кошачьего меха и отволокли тяжелый продолговатый сверток в ближайший укромный двор.

Передача *German Fun* закончилась. Хайнц не прикладывал пальцев к нагруднику. Центру нечего мне сообщить — в отличие от человека, приславшего депешу по пневмопочте. Только от него, анонима, я=Шпайк узнал, что должен позаботиться о безопасности моего бренного тела. Только ему я обязан сообщением, что сменщик может занять мое место лишь тогда, когда избавит город от моего запаха. Лизхен долго смотрит на пластиковую сумочку, которую все еще сжимают мои руки. Наконец берет ее у меня с колен и начинает рассматривать со всех сторон. Цветочный узор на замызганной сумочке, похоже, ей нравится. Как называется эта вещь, спрашивает она одним взглядом. Голосом, охрипшим в безмолвии последних часов, мне все же удается выдавить из себя точное название. Я=Шпайк уверен, что во времена моей молодости такую сумочку называли Kulturbeutel, сумочкой для туалетных принадлежностей, и предполагаю, что и сегодня на моей родине ее называют так же — во всех случаях, когда сей предмет приходится называть. Лизхен повторяет слово, повторяет беззвучно, лишь очень выразительно шевеля губами — так она делает всегда, когда хочет запомнить новое слово. Потом неожиданно вытряхивает содержимое сумочки, мои с час назад упрятанные в нее бритвенные принадлежности, на подушку телевизионного кресла, в котором мы продолжаем сидеть на некотором удалении друг от друга, разглядывает с мрачной миной бритву, помазок, обмылок, флакон с лосьоном — и вдруг резким движением руки сметает все на пол. Затем соскакивает с кресла и явно намеренно наступает каблуком левого ортопедического башмака на флакон с лосьоном. Помещение тут же наполняется запахом, избыточность и тяжелая неестественность которого в обычных условиях мною уже не воспринимаются. Толстые, с гвоздями подошвы топчут осколки и столь же беспощадно расправляются с бритвой и помазком. Грязную сумочку она бросает мне в лицо. И обзывает меня одним-единственным словом. Бранным словом, которое давно не доходило до моего слуха — вероятно, потому, что ни у весельчака Хайнца с его худосочным немецким, ни в плоских сюжетиках передачи *German Fun*, ни в моих нелепых, заунывных разговорах с самим собой никогда не появлялась возможность употребить это злое, обидное слово.

8. Привязанность

Я=Шпайк в пути. Лизхен отправила меня на крышу. Тут, наверху, меня никто не видит. Раскаленной солнцем кровли не коснутся в полдень ни загрубелые подушечки кошачьих лап, ни жесткие птичьи когти. Даже дранка такая горячая, что я=Шпайк, передвигаясь по скату крыши, отваживаюсь притронуться к ней кончиками пальцев лишь на долю секунды. Скользни рука по тонкой каменной плитке, вырубленной из розового сланца Северного нагорья, она тут же получит ожог — и пострадает еще сильнее, если схватится за свинцовый лист, отдельные неправильной формы куски которого искусно, внахлест пригнаны друг к другу и покрывают дома из голубой глины.

Нестерпимо жарко было уже у Лизхен. Я=Шпайк совсем забыл, что чердак имеет чертовски скверную теплоизоляцию. В апартаментах девчушки пот струился у меня из пор, обретая странную, чуть ли не сиропную консистенцию. Похожая на деготь масса, которой дранка проконопачена изнутри, пузырилась; пахло минеральными солями и эфиром. Удивительно, что совершенно иссохший материал все еще может источать такой запах. Как только мы вскарабкались наверх, Лизхен тут же уселась перед своим что-то лепечущим телевизором, дав мне возможность осмотреться. Я=Шпайк ползал по ее обиталищу на четвереньках, оглядывая все места, до которых доходил свет экрана. Кирпичная перегородка дома, начинаясь в подвале и проходя через оба этажа, заканчивается у моего потолка. Крыша из дранки опирается на наружные стены и множество коротких деревянных стоек, рассекающих чердак подобно рядам колонн. Возле одной из них я=Шпайк обнаружил туалет девочки. Никогда прежде мне не приходило в голову задаться вопросом, как живущий под крышей ребенок отправляет естественные потребности. Жестяное ведерко привязано шпагатом к стойке — не опрокинется, даже если случайно заденешь его. В пластиковом мешке — опилки; их назначение — вбирать в себя влагу и запах. Туалетная бумага, сквозь рулончик которой пропущен плетеный шнур, подвешена на стойке; может быть, потому, что внизу, у меня, это сделано точно так же.

Продвинувшись вперед по старой деревянной крыше, которая при каждом моем шаге стонала как живая, я=Шпайк вижу отрезок улицы, вернее устье переулка, ведущего к рынку, где торгуют видеоаппаратурой. Полпути, значит, пройдено. Тремя связными немецкими фразами Лизхен заставила меня отправиться по крышам к Аксому. Отныне я=Шпайк должен смириться с тем, что она не только понимает немецкую речь, но и сама говорит по-немецки. У меня никогда не возникало сомнений в том, что говорить свободно ей мешает вовсе не органический дефект. Оказываясь вместе со мной вне стен нашего дома — на овощном рынке квартала, на видеобазаре или в мастерской у Аксома, — она говорила на крайне экономном, отрывисто лающем *пидди-пидди*. Дома у нее с губ подолгу не сходило и полслова. Только иногда по утрам, ближе к полудню, когда по прошествии нескольких часов мой сон становился более легким, я слышал сквозь открытый люк звуки, похожие на бормотание и жужжание, — такие низкие и со столь сильным резонансом, что, казалось, они никак не могли исходить из грудной клетки худенькой девочки.

Уже виден дом Аксома, узкое строение из серого кирпича. Остается пересечь четыре крыши, все с наклоном к улице. Аксом – наш сапожник, с того момента, как из толпы мне кинули Лизхен. Когда мы первый раз пришли к нему в мастерскую – Лизхен висела у меня на спине подобно обезьянке, – я=Шпайк принял Аксома за грека. Может быть, потому, что здесь много мелких ремесленников греческого происхождения. Но Аксом опроверг мое предположение, сказав, что корни его семейства – в одном из тех воинственных горских племен, которые некогда наносили удар за ударом по торговым связям города с внешним миром. Конец разбою на большой дороге положила Иноземная держава, когда, будучи в зените своего могущества, подвергла горные селения воздушным налетам с применением осколочных бомб и отравляющих газов. Часть тех жителей, что остались в живых, – пав духом или, наоборот, решив отныне оказывать сопротивление исключительно коварными акциями, – потянулись в город, чтобы осесть там в качестве поденщиков, уборщиков мусора, портных по переделке платья, сапожников по мелкому ремонту.

Аксом – хороший сапожник. Доктор Зиналли, по совету которого мы пошли к Аксому, пообещал скорее слишком мало, нежели слишком много. У ортопедических башмаков, а таких Аксом сшил для Лизхен уже десятка полтора, безобразный вид и какая-то странная, неправильная форма. Ни одна пара не похожа на другую. Ни один левый башмак не выглядит так, как правый, а в крашенную черным цветом кожу всегда вработана какая-нибудь причудливая деталь: полоска свалявшегося меха на подъеме, кружочек резины в подошве, кусочек старого твердого дерева в заднике. На моем лице читались, наверное, недоверие и неуверенность, когда Аксом начал неторопливо примерять самую первую пару. Подъем и пальцы на обеих ногах девочки были искривлены по-разному, но они не срослись и не были покалечены. Они привыкли скрючиваться вследствие их длительного противоестественного использования – лазания по клетке. Кожа ороговела не только на подошвах, а пальцы проявляли ужасающую подвижность, смыкаясь друг над другом или друг под другом всякий раз по-новому. Аксому понадобилось более часа, чтобы погрузить ноги Лизхен в первую пару башмаков и справиться со сложной шнуровкой, то натягивая ее, то ослабляя, то стягивая вновь. Лизхен ничем не показала, испытывала ли она при столь длительной процедуре боль. Аксом же стонал и ругался последними словами. Поставив перед собой разной высоты табуретки о трех ножках, он устраивался на них в самых странных позах по отношению к ногам и башмакам девочки. Чтобы протягивать шнурки вверх, ему часто не хватало рук. Тогда он наступал шлепанцем на одну из натянутых кожаных тесемок или дергал шнурки зубами, в то время как его толстые пальцы сжимали и мяли кожу. С тех пор процедура надевания башмаков упростилась, однако Лизхен все еще не может сменить ортопедические башмаки сама, она все еще носит каждую пару и днем и ночью, пока не потребуется больший размер.

Работа Аксома стоит дорого. Пожалуй, даже безумно дорого, ибо с самого начала он потребовал, чтобы половина вознаграждения выплачивалась в твердой валюте. Кроме того, по совету доктора Зиналли мы поддерживаем в нем хорошее настроение скромными подарками, главным образом специфическими порнофильмами индийского производства; Лизхен покупает их на видеобазаре задешево, наборами по двенад-

цать штук в каждом. Охотно принимает наш сапожник и деликатесные консервы, только они должны быть завезенными издалека: Аксом любит заграничные этикетки с непонятными ему надписями. Когда мы однажды забыли принести такой презент, он отослал нас назад под явно надуманным предлогом, и Лизхен пришлось еще долго ждать новых башмаков, а были они длиннее старых на каких-нибудь три миллиметра.

Чтобы попасть на крышу аксомовского жилища, я=Шпайк должен перепрыгнуть через узенький проулок — не шире человеческого плеча. Мне удается это сделать, не опираясь при приземлении на руки. Крыша у Аксома застелена свинцом. Мои штиблеты с синтетическими подошвами отрываются от раскаленного металла с отвратительным чавканьем. Люком служит старая автомобильная дверь. Сквозь оконце в ней я=Шпайк окидываю взглядом мастерскую Аксома. Сапожник изготавливает не только обувь, но и седельную сбрую, пистолетные кобуры и короткие декоративные плетки; многие здешние парни носят их, заткнув за пояс или накинув на запястье ременную петлю. Помимо того Аксом нелегально приторговывает бывшим в употреблении ручным огнестрельным оружием. Его товар разложен на полке рядом с входной дверью. Когда Лизхен примеряла новую пару башмаков, в мастерскую нередко заходил какой-нибудь потенциальный покупатель и, слегка кивнув нам, тут же оборачивался к этой полке. В доброй дюжине коробок из-под обуви хранился скромный набор пистолетов, завернутых в шелковую бумагу и чистые тряпки, — большей частью восточноевропейского или итальянского производства. Единственным оружейно-техническим раритетом — при последнем знакомстве с аксомовским арсеналом — мне показался действительно старый, но очень обихоженный английский револьвер.

Ради этого огнестрельного оружия Лизхен и отправила меня в дорогу. На чистейшем немецком наказала обзавестись у Аксома стволом. Я=Шпайк сам виноват, что несовершеннолетняя девочка разговаривает теперь со мной в таком тоне. Ошибку, повлекшую за собой все будущие перипетии, я=Шпайк совершил давно, на второй или третий день после того, как на руки мне бросили это дитя. Мы начали освобождать чердак от куриного помета, но по-настоящему изнурительной и нудной работа стала тогда, когда мы дошли до старых, твердых как камень слоев. Я=Шпайк взял с собой на чердак термос с зулейкой-колой. Напиток очень недолго поддерживал поначалу вспыхнувший во мне энтузиазм. Вскоре тело мое уже полулежало-полусидело, прислонившись к стойке стропил, а холодная бурда перетекала в меня, всасываемая маленькими глотками через соломинку. От пыли, в которую превращался помет, в глазах немилосердно щипало, и тем не менее они видели, как девочка, доставшаяся мне после внезапной смерти старьевщика, без устали огромной, не по ее рукам, отверткой скалывает кусок за куском. Я наблюдал, как скрючивались побелевшие от пыли подошвы, когда отвертка становилась рычагом, и раза два-три из меня — тупоумным комментарием к тому, на что я=Шпайк таращил глаза, — вырвались слова: "Какая прилежная Лизхен". Это было всего лишь бормотанье, не громче тех звуков, что возникали при потягивании зулейки с колой через соломинку. Однако девочка прервала работу и обернулась. Ее напудренное птичьим пометом лицо показалось мне в своей верхней трети таким неимоверно широким, таким прямолинейно треу-

гольным и равномерно белым, что только тупое повторение короткой фразы позволяло воспринимать его более или менее спокойно. И потому из моего горла, вызывая такое ощущение, что все там страшно пересохло, раз за разом как-то по-козьи выблеивалось нелепое своей немецкостью имя. Пока оно не начало сливаться с чужим лицом.

9. *Любознательность*

К послеполуденному чаю на помпезной, обрешеченной изящными деревянными столбиками террасе "Эсперанцы" в знак приветствия со стороны дирекции гостиницы нам подали в серебряном графине охлажденную льдом зулейку. Еще не сделав первого глотка, ты понял, что этот напиток придется нам по вкусу. Но – как, наверное, и полагается врачам, находящимся в командировке, тем более посланцам всемирной благотворительной организации – мы лишь осторожно пригубили содержимое бокалов, изобразив затем на лицах двойственность ощущений.

Закончив комментировать видеоленту, Куль дал нам взглянуть на фотографию, которая казалась ему сомнительной. Ее, по словам нашего инструктора, сделал один итальянский папарацци, увлекавшийся съемками в бывшем квартале эгихейцев и в квартале увеселительных заведений неподалеку от Гото. Отлично зная, сколь заманчив и привлекателен декаданс, итальянец искал близости с осевшими в городе иностранцами. На фотографии будто бы виден Шпайк, и потому, сказал Куль, несмотря на свои сомнения, он не имеет права утаить ее от нас. В нижней части снимка на переднем плане мы смогли различить обнаженную руку и стройный, в меру мускулистый член. Рука, скорее всего, принадлежала подростку. Кончиками большого и указательного пальцев она держала пустую стеклянную розетку. На заднем плане виднелась вторая мужская фигура, с нерезкими очертаниями, хотя голова и торс занимали бóльшую часть снимка. Левым виском человек прислонился к пестро разукрашенной колонне. Кроме белого полотенца вокруг бедер на нем ничего не было. Лицо выглядело размякшим, сонным. Правый глаз закрыт, левый полуоткрыт и смотрит в камеру как-то странно – тупо и в то же время пристально. Куль не захотел, чтобы мы взяли снимок с собой. Нет никакой уверенности, что на нем действительно запечатлен Шпайк, сказал он. Служба научила принимать в расчет варианты с наихудшим исходом, но то, что Шпайк мог так измениться, – из разряда фантастических предположений. Мы согласились с Кулем. Нам было известно, что непривычный климат побуждает многих иностранцев к чрезмерному потреблению зулейки и различных лекарств; взаимодействие того и другого быстро приводит к разбуханию тела. Однако лицо на фотографии было абсолютно лишено характерных черт, отсутствовали и следы мимики, которая отличала бы только это лицо. В нем было что-то монгольское, даже лунообразное, и ни одна деталь на этой желтоватой округлости не напоминала того Шпайка, с которым вчера нас познакомил видеофильм.

Мы заказали еще по стакану чаю и попросили принести меню. В годы, когда Шпайк начинал свою деятельность, когда он еще проживал в "Эспе-

ранце", отель с его верандой, огромным баром в подвале и комнатами, нашпигованными прослушивающими устройствами, был большой биржей новостей, своего рода информационным ущельем города — и, таким образом, всего региона. Здесь скапливалось все, что только можно узнать и разведать, — беседы, возгласы, намеки, шутки; все подвергалось обработке старинными и новыми приемами, приобретая такое значение, что донесения, уходившие отсюда на север и на юг, на запад и на восток, свидетельствовали о фантастической мощи этого источника. Тебе показалось, что здесь не произошло серьезных изменений. Люди за столиками разговаривали со словоохотливостью попугая. Большие вращающиеся двери вестибюля не останавливались ни на секунду. На террасу посетители заходили и с улицы. Молодые люди, одетые с нарочитой элегантностью — из местных, — фланировали между столиками, бесцеремонно разглядывая сидящих. Для того чтобы установить контакт, требовался, видимо, сущий пустяк. Но что-то в нашей мимике отпугивало бродивших по террасе. Ты предложил не улыбаться вообще. И мы постарались выглядеть честными, порядочными австрийцами, которые, служа в международной организации, сделались угрюмыми нелюдимами. Вскоре у нашего столика остановился сперва один, а затем и второй молодой человек. Первый спросил, не заинтересуют ли нас археологические находки — маленькие, с легкостью провозимые через таможню глиняные фигурки скифских богинь охоты и плодородия. Другой предложил нам девочек подросткового возраста из сельской местности, с почасовой оплатой услуг. Раз в три месяца, а завтра именно такой день, он получает свежий товар по зубчáтой железной дороге из все еще трудно доступных долин Северного нагорья.

Лишь когда официант поставил на наш столик блюда с местными закусками, нашелся подходящий собеседник. Мы изумились, ибо никогда еще не видели столь истощенного и в то же время столь высокорослого мужчину. Полотняный пиджак сиреневого цвета так плотно облегал его туловище, как будто портной снял мерку с каждого ребра и даже счел нужным подчеркнуть выступающие кости изысканно выполненной дополнительной стежкой. Сухопарый великан представился, произнеся многосложное местное имя, и уже следующей фразой извинился за то, что оно с трудом поддается пониманию. Его *пидди-пидди* был мягким и неспешным. Вот так, сказал ты потом, звучал бы среднеевропейский вариант этого языка, если он когда-нибудь возникнет. Мы обратились к нашему первому знакомцу, как он сам предложил, назвав его Фредди, и попросили сесть за наш столик. Он не стал спрашивать, откуда и зачем мы приехали, а мы оставили при себе наше мнение о своеобразном тембре его *пидди-пидди*. Так совершенно непринужденно между нами завязался занимательный разговор — речь сначала пошла, конечно, о климате города и о его разрушительном влиянии на здоровье живущих тут иностранцев.

В пару к сиреневому пиджаку на Фредди была элегантная светлая юбка из вискозы, переливавшейся, подобно перламутру, в спектре между розовым и бежевым. Фредди растянул искусно заглаженные складки, показал, сколь широка его расклешенная юбка, и посоветовал нам обзавестись одеждой такого же свободного покроя. Оттягивая твои штанины, он объяснил, что модные ныне узкие брюки оставляют слишком мало воздуха вокруг крепких бедер, и шутливо, но в то же время настойчиво предостерег от возможных неприятных последствий для органов в нижней час-

ти живота. Каждому иноземцу рекомендуется сверх того регулярно посещать традиционную для здешних краев баню. Легендарная жизненная сила местных мужчин не в последнюю очередь объясняется тем, что каждую вторую или третью ночь они проводят в бане, где можно вволю попариться, — обычай, почти не претерпевший изменений, в отличие от многих других. К сожалению, иностранцам нет доступа в традиционные бани, а клубные сауны в квартале развлечений — это в лучшем случае пародия на старые бани; нахождение там, кстати сказать, связано с большим риском для здоровья. В саморекламе Фредди не нуждается, и все же из добрых чувств он советует таким симпатичным путешественникам, как мы, посетить его собственное заведение. Предложить образованным, с хорошими манерами иностранцам что-то более солидное, чем баня Фредди, просто невозможно. Его баня, как и он сам in persona[1], — попытка навести мостик между культурами, а что может быть важнее при нынешней напряженности в международных отношениях?

Мы согласились с Фредди и заверили его, что, несмотря на молодость, дорожим своим здоровьем. И потому не позже чем завтра — а быть может, еще сегодня — пожалуем к нему в гости. Затем мы перевели разговор на "Эсперанцу", и тут Фредди показал себя человеком знающим, готовым поделиться имеющейся у него информацией. По его словам, у этого отеля со славными традициями от прежнего блеска осталось немного. С грустью вспоминает он дни, когда жизнь тут кипела. Еще лет пять назад он — вот на этой террасе — был свидетелем того, как радикально настроенные приверженцы Гахиса, догола раздев одного швейцарца, уважаемого торговца оружием, заставили его встать на столик и рассказывать на всех языках, которыми он владел — а владел он шестью языками! — о своих сделках. Уйти триумфаторами гахистам не дал, к изумлению всех присутствующих, тогдашний ливанский нештатный консул, сейшенец, занимавшийся импортом строительных машин. Этот маленький лысый мужчина, влюбленный как в коммерцию, так и в дипломатию, с огромным револьвером в руке стремительно вбежал на террасу и потребовал на чистейшем французском, чтобы швейцарцу вернули его вещи. Потом горожане долго упражнялись в остроумии, гадая, в каком месте под одеждой отважный консул спрятал оружие таких размеров. Он сделал три оглушительных выстрела в воздух и дал гахистам пять секунд, чтобы они образумились. Один из них уже держал на изготовку израильский автомат. Держал, сам прячась за спиной другого гахиста, облаченного во все белое. Короткоствольное оружие с большим полем поражения устроило бы среди гостей и заполонивших террасу зевак кровавую бойню — но к счастью всех присутствующих, в том числе и консула, на месте происшествия вдруг появилась управляющая отелем "Эсперанца". Мадам Харури — Фредди прервал свой рассказ и поднял в честь дамы бокал, — необычайно отважная и тогда еще сильная, мускулистая женщина, обхватила коротышку гахиста сзади, оторвала от пола и так крепко прижала его сжимавшую автомат руку к низу живота, что если бы он и мог начать стрельбу, то только по своим лакированным туфлям.

Фредди показал чуть согнутым пальцем на крышу отеля. "Эсперанца" построена в пышном стиле, характерном для бывшей Иноземной держа-

1. Лично (*лат.*).

вы. Все элементы здешнего зодчества, уходящего корнями в глубь веков, — орнаменты, витые колонны, балконы, эркеры — были использованы здесь, в безудержно жадном стремлении к присвоению чужого наследия, только ради того, чтобы украсить громадный несуразный бетонный куб фасадом, создающим впечатление многообразия и глубины. Там, наверху, где в крышу из тонких каменных плиток врезаны остекленные балконы, по-прежнему живет мадам Харури. Но никто не видел ее в последние два года ни внизу, в отеле, ни в других публичных местах. Говорят, мадам давно возят в кресле-каталке, ее лицо искажено судорогами, типичными для болезни под названием *мау*. Слух этот ужаснул и озадачил не только обитателей "Эсперанцы". Ибо жертвами *мау* с ее отвратительными симптомами до сих пор, как показывала статистика, становились только пришельцы с Запада, а никто никогда не сомневался, что мадам Харури — уроженка здешних мест и, следовательно, должна иметь природный иммунитет против этого регионального вируса.

Фредди глубоко вздохнул. И впервые после того, как мы предложили ему угощаться, протянул руку к еде. Он зажал губами трубочку, скатанную из виноградного листа и начиненную ореховым муссом, наполовину засунул ее в рот, но не перекусил, а осторожно полизал и обсосал. Затем поднес, практически неповрежденную, к глазам, задумчиво оглядел и повторил процедуру еще два раза, а потом положил трубочку на край блюда с закусками — отдельно от других кушаний, словно намеревался съесть ее позднее.

10. *Провидение*

Я=Шпайк чуть было не столкнулся на виду у всех с тощим телом Фредди. Великан спускался по лестнице с веранды "Эсперанцы" на бульвар Свободы Слова. Его ноги-ходули легко шагнули через последнюю ступень. Юбку занесло далеко вперед, потом Фредди свернул, и я=Шпайк, успев спрятать половину моего корпуса за киоском торговца журналами, на глаза ему не попался. За все годы Фредди встретился мне вне стен своей бани только один раз. И произошло это как нарочно у входа в приемную доктора Зиналли. Фредди шел из кабинета, меня же влекло туда, и по злокозненной воле случая мы оказались в одних дверях в качестве пациентов — более обнаженные, чем когда-либо в парной. На сей раз удалось-таки разминуться с ним, и это видится мне добрым знаком. Но сердце под рубашкой и кожей все еще бешено колотится, меня даже бросило в пот. Прислонившись плечом к киоску, я=Шпайк достаю баночку с пилюлями, и кончики моих пальцев захватывают из разнородной смеси сначала две, потом три и наконец четыре таблетки. Сквозь горло им придется пройти всухую, ибо баклажка, которую Лизхен перед моей вылазкой к Аксому наполнила зулейкой и, обвязав горлышко шнурком, повесила мне на грудь, пуста. Последний глоток я=Шпайк сделал у двери мастерской — перед тем как продолжить путь по улицам города.

От Аксома я=Шпайк ушел с пустыми руками. Желание обзавестись оружием самообороны было высказано мною на *пидди-пидди*, запинающимся голосом. Выслушав меня, Аксом, сидевший за какой-то работой, указал сапожным молотком на полку возле двери. Мои руки принялись

открывать одну обувную коробку за другой, старательно прощупывали тонкую бумагу и мягкие тряпки, ничего не находили и тем не менее аккуратно закрывали каждую коробку, прежде чем взяться за следующую. Все это время Аксом стучал по подошве башмака, одетого на колодку, а когда я=Шпайк, напрягшись, стал заталкивать кончиками пальцев на самый верх последнюю коробку, такую же пустую, как и все остальные, вдруг разразился громоподобным смехом и резким, гортанным голосом бывшего горца выкрикнул слово, которым с наступлением темноты надсмотрщики закрывают рынки, где торгуют овощами и мелким рогатым скотом. Слово это означает "раскуплено" – в том смысле, что тот, кто хотел бы еще что-нибудь купить, опоздал.

Хотя задняя сторона киоска сплошь увешана журналами, продавец заметил мое присутствие. Он выходит из магазинчика и тычет мне в грудь стопкой заграничных газет. Я=Шпайк выбираю итальянскую спортивную. Вся в ярко-розовых тонах, зажатая у меня под мышкой, она должна облегчить мне восхождение на веранду "Эсперанцы". Когда-то, покинув люкс в южном эркере и таким образом впервые грубо нарушив правила поведения за рубежом, я=Шпайк удалил себя, накопленные здесь мною знания и стремление к их непрерывному пополнению от обмена информацией, происходящего в "Эсперанце". Даже веранда, у которой широкий, неконтролируемый вход со стороны бульвара и которая, подобно лотку золотоискателя, пропускает через свой край и только что прибывших в город, и давно осевших в нем иностранцев, ни разу с тех пор не явила меня чьим-либо пристальным взглядам.

До сих пор я=Шпайк избегал бывать в отеле и иных публичных местах не ради своей безопасности. Мне не грозили неприятности, от которых надо было бы уходить таким вот образом. Меня не пугает ни одна из трех внутренних спецслужб региона, не страшит даже пресловутый 9-й Особый отряд Народной милиции: под сомнительными предлогами эти блюстители порядка регулярно хватают пьяных иностранцев, чтобы затем подвергнуть их унизительным допросам с применением весьма специфических средств. У меня=Шпайка есть долгосрочная Голубая виза с печатями Национального Совета Освобождения и международных контрольных организаций. Это максимум того, чем может быть защищен иностранец. Запаянная в пластик голубая карточка висит на эластичном, не поддающемся разрыву – чисто мускульной силой – нейлоновом шнурке, охватывающем мои бедра. С таким пояском я=Шпайк без проблем пережил три личных обыска – первый еще здесь, в отеле, когда гахисты штурмом взяли веранду. Одному швейцарскому бизнесмену паспорт гражданина достославной страны и великолепное знание иностранных языков принесли тогда больше вреда, нежели пользы. В чем мать родила, с лицом, лоснящимся от холодного пота, стоял он на одном из столиков веранды. И лишь благодаря мадам Харури – моим глазам довелось видеть ее еще полной физических сил – ни с ним, ни с кем-либо из толпящихся вокруг не случилось большой беды; не исключено, что эта женщина спасла тогда и меня.

У Аксома, нашего сапожника, больше не было на полке ни одного ствола, и он объяснил мне, почему его запасы иссякли. Завтра – девятая годовщина гибели Великого Гахиса. Девять – магическое число в его духовном наследии, его Проповеди и Песнопения состоят из девяти частей

и распространяются на стольких же видеокассетах, хотя уже появились ленты с такой продолжительностью показа и звучания, что все можно было бы переписать на одну. Каждый местный житель — даже сейшенец с распаренными под шапкой из кошачьего меха мозгами — способен понять, какие пророчества должны сбыться в девятую годовщину ухода Гахиса в мир иной. Даже мой, иностранца, скудный дар предвидения не обходится без догадок на сей счет, и это при том, что на Западе, по известной пословице, будущее вколачивают в головы детей ржавыми гвоздями. Поэтому он, Аксом, хочет доверительно сообщить мне, где сегодня еще можно достать огнестрельное оружие, ведь все местные уже успели им запастись.

Последовав совету Аксома, я=Шпайк стою теперь перед гостиницей. Сапожник назвал мне родственника, который тоже приторговывает ручным огнестрельным оружием. И употребил длинное диалектное слово, многочленность которого, похоже, отражала степень родства между ними. Когда же наконец прозвучало имя, у меня от удивления слегка отвисла челюсть. Другой торговец оружием оказался знакомым мне. Аксом посоветовал обратиться к старому Луи. И вот теперь, когда я=Шпайк, вооруженный только итальянской спортивной газеткой, поднимаюсь на веранду "Эсперанцы", мне совсем не трудно вспомнить этого официанта: лысого, сутулого, почти горбатого, склонившегося над позолоченным столиком на колесах в позе безграничной, чуть ли не агрессивной раболепности. Луи был шеф-кельнером на моем этаже. Командовал обслуживающим персоналом и горничными гостиничного коридора, в конце которого, в южном эркере, расположен номер люкс. Аксом рассказал, что Луи удалился на покой. Почти стершийся межпозвоночный диск сделал его нетрудоспособным, и за полвека службы в отеле этого человека вознаградили тем, что разрешили ему поселиться в одной из немногих предназначенных для ветеранов каморок под крышей "Эсперанцы". Там, наверху, отделенный лишь толстой противопожарной стеной от фешенебельной квартиры мадам Харури, и обитает старый Луи, испытывая постоянные боли в спине и зарабатывая себе на хлеб и оплату электричества — по уговору с гостиницей — выполнением мелких случайных поручений.

Уперев одну ногу в верхнюю ступеньку лестницы, я=Шпайк обвожу глазами веранду. Взгляд мой, вызывая в коленях ностальгическую дрожь, останавливается на столике, за которым новоприбывший по имени Шпайк некогда и завтракал, и обедал, и ужинал. В данный момент за ним сидят два иностранца. Плечом к плечу, необычайно близко друг к другу, юноши, по виду из Западной или Центральной Европы, занимают позицию моего прежнего "я". Официант убирает с их столика серебряные блюда из-под закусок. Они почти пусты. Парни оставили на них только скатанную из виноградного листа трубочку. Уже одна наша прожорливость, приступы которой все еще случаются и со мною, давно осевшим здесь, вызывает у коренного населения презрение к нам. *Что не по нутру твоей свинье, сожрет чужак*, — гласит городская пословица. Какое-то смешанное с приязнью отвращение не дает моему взгляду оторваться от этих ребят. Один говорит что-то в ухо другому, касаясь губами ушной раковины. Сказанное должно, по-видимому, проникнуть в слуховой проход вместе с влагой дыхания. Затем кончик языка три раза подряд энергично вторгается в полость раковины. А ведь мне неизвестен европейский

язык, который требует, чтобы для произнесения какого-нибудь звука язык выходил за защитное ограждение из зубов так далеко. Может быть, молодые люди говорят на *пидди-пидди*. Начиная осваивать его, мы, иностранцы, часто прибегаем к утрированной мимике. Рывок языком вперед, с немотивированным оскаливанием рта, я=Шпайк довольно часто наблюдал у тех, кто твердо решил овладеть местным наречием.

Оба они почувствовали на себе мой взгляд. И оба смотрят в мою сторону. На загорелых лицах сияет приветливая улыбка, в ней есть даже что-то родное, и я=Шпайк замедляю шаг. Продолжая улыбаться, парни поднимают руки так, что возникает странное ощущение, будто одна рука — зеркальное отражение другой. А их сдвоенное тело недвусмысленно приглашает меня присесть к ним — за когда-то мой столик.

11. Бодрость

Вконец опустившийся иностранец — судя по газете в руке, итальянец, — которого мы, помахав ему, пригласили подсесть к нашему столику, к сожалению, не был настроен составить нам компанию. Неряшливо одетый и к тому же дурно пахнущий, он сослался на то, что у него назначена встреча в баре гостиницы. Инородцы-старожилы его пошиба, показывающие своей внешностью, как низко они пали, не устояв перед искушениями этого города, считаются словоохотливыми и заслуживающими доверия информантами. Шпайк писал об этом в своих первых, еще реалистических донесениях, и в том же духе высказался человек по имени Фредди, столь любезно и предупредительно пригласивший нас попариться в его бане. Ты же был доволен, что мужчина средних лет, успевший тем не менее безобразно состариться, не расположился рядом с нами. Вкус пикантных блюд еще приятно щекотал языки, мы предвкушали удовольствие от мокко с зулейкой и знаменитого сладко-соленого печенья, фирменного изделия города, и по-козлиному тяжелый запах, исходивший от нечистоплотного субъекта, наверняка испортил бы нам аппетит.

Мокко с зулейкой оказался бесподобным из-за сочетания сладковатых и горько-терпких ароматов. Поданное к нему печенье оправдало наши самые высокие ожидания. Ты сразу же повторил заказ, и вместе с чудесным напитком и лакомством официант принес нам формуляры, о которых сегодня утром уже говорил администратор. Это были вчетверо сложенные листы; в развернутом виде каждый из них покрывал почти весь стол. Куль предупреждал нас о возможности бюрократических каверз и придирок. Международные наблюдательные советы, уйма национальных министерств, местные органы власти с их замысловатой структурой, все обладатели какого-либо чина, пояснил он, завидуют друг другу и ведут ожесточенную борьбу за особые полномочия и за привилегии, даже крохотные. То, что лежало перед нами, было совместным указом Министерства народного здравоохранения и местной полиции по делам иностранцев. Указ обязывал всех прибывающих в город иноземцев пройти в течение первых сорока восьми часов их нахождения здесь медицинское освидетельствование. Якобы для того, чтобы немедленно выявились зараженные вирусом *мау*.

Мы знали о феномене под названием *мау*. Вводя нас в курс дела, куратор Шпайка коснулся и этого весьма примечательного для региона явления. Заразная болезнь пока не вышла за пределы города и его предместий. И есть пока основания полагать, что она со своими отвратительными симптомами может по-настоящему развиться только у прибывших из западного зарубежья. Куль проинформировал нас о бытующей среди наших медиков точке зрения, согласно которой жители города обладают иммунитетом против древнего местного вируса, однако передают его не имеющим такой защиты пришельцам. В городе, напротив, считают *мау* новой, занесенной с гнилого Запада венерической болезнью. И не упускают случая похвалиться в разговоре с чужаками тем, что мужчины и женщины местных племен здоровой силой своих неиспорченных тел не дают проникнуть в них ядовитым сокам презренной болезни.

В одном из донесений Шпайка приводилась пословица, процитированная Кулем: *Лучше сунуть голову в задний проход собаки, чем держать нос по зловонному западному ветру.* С нескрываемой гордостью куратор Шпайка заметил, что его подопечный раньше других, задолго до первых сообщений в прессе, осознал опасность, которую несет заразная болезнь для мирового сообщества, и известил об этом свое начальство на родине. Более того, Шпайк употребил обозначение *мау* в самом первом своем донесении, и лишь год спустя, на симпозиуме Международного агентства по борьбе с эпидемиологическими заболеваниями, оно было официально введено в медицинскую терминологию в качестве аббревиатуры. Сентиментальные нотки, неожиданно зазвучавшие в речи Куля, резали слух. Хвастаться способностью своего воспитанника добывать информацию — такое считается грубым нарушением служебной дисциплины в отношениях между сотрудниками. Нам стало неловко, будто мы услышали скабрезную шутку из уст старика. Желания задавать какие-либо вопросы о *мау* поэтому не было.

Формуляр с плотным текстом, набранным чуть ли не каллиграфическими буквами, мы изучали очень внимательно. Указ министерства был переведен на пять европейских языков и японский. Перевод на наш добрый старый немецкий был ужасно корявым и пестрел несуразностями. По-видимому, его выполнили без знания языка, с помощью устаревшего программного обеспечения. Мы принялись вчитываться в английский вариант текста. Обследования, которое предписывалось указом, похоже, было не избежать. Буклет содержал перечень городских народных амбулаторий, занимающихся таким освидетельствованием, и составленный в алфавитном порядке список врачей с собственной практикой, также уполномоченных его проводить. Кончик твоего указательного пальца прошелся по напечатанным мельчайшим шрифтом именам и остановился под тем из них, последовательность слогов которого позволяла предположить, что оно — западного происхождения: Линч Зиналли. В пользу этого доктора Зиналли говорило и то, что его клиника находится на бульваре Свободы Слова. Почти все остальные адреса представляли собой типичные для города сокращения — комбинации из цифр и букв, насчитывающие порой не менее десяти знаков. Мы знали, что таким образом не просто зашифрованы названия улиц, но создана стройная, с собственной логикой, система определения их координат. Создана в первый период расцвета гахисизма, в те годы, когда секта, находясь в подполье, только набирала силу, причем автором системы называют — с гордостью за ее хитроумную слож-

ность — самого Великого Гахиса. Даже посредственные таксисты должны знать наизусть более ста сокращений и уметь истолковать их как указатели путей, ведущих к нужным целям. В повседневной жизни коренное население ориентируется в городе по именам давно осевших здесь родов и семейств, по зданиям с характерными чертами в архитектурном облике, а то и по событиям, флюиды которых еще витают над теми местами, где они произошли. Употреблять же названия улиц времен иноземного владычества запрещено под угрозой наказания, и Куль решительно отсоветовал нам пользоваться ими в общении с горожанами.

Куль сказал, что детального плана города нет даже у Центрального ведомства. Существующие карты — еще дореволюционных времен, и полагаться на них нельзя. Так, широко разрекламированные пятилетние планы предусматривали снос целых улиц; бессовестные чиновники колониальной администрации просто заменили их в макетах города муляжами новых аллей в спроектированных, но так и не построенных кварталах. Тем дело и кончилось. Снимки, сделанные со спутников, в нашем ведомстве только начали анализировать. Пыльная шапка над городом и крайне интенсивное образование облаков между морем и горами отрицательно сказываются на качестве съемки. Расстелив перед нами чертеж, Куль объяснил, как расположены по отношению друг к другу основные кварталы города, и ты сразу воспринял странную форму бульвара Свободы Слова как нечто вполне естественное. Его южный конец открытой петлей охватывает Гетто Великого Пророчества, или Гото, как его называют на городских диалектах и *пидди-пидди*. После ухода Иноземной державы доступ в этот квартал иностранцам заказан. Однако соблазнительно парадоксальным образом на единственной улице, пролегающей между бульваром и Гото, обосновались бордели, танцевальные зальчики и клубы с сауной. Увеселительные заведения образуют узкую, но очень длинную буферную зону между главной городской магистралью и запретным кварталом. Гото, старейший из единообразных по архитектурному облику районов города, расположен на трех холмах, и его тесно стоящие, многоэтажные, невероятно узкие здания из голубой глины, воздвигнутые еще в Средние века, были бы достопримечательностью мирового значения, если бы туристические группы имели доступ туда.

Кивком головы ты показал, что нам пора идти. Идти в клинику к доктору Линчу Зиналли — и начинать знакомиться с жизнью города. Мы решили не торопиться. Даже позволили себе прогуляться вверх по бульвару в ненужном для нас направлении. Три дня и три ночи дал нам Центр, чтобы найти Шпайка и решить связанную с ним проблему. Мы чувствовали в наших жилах свежесть, твоя улыбка была непринужденной, походка — пружинистой. Как всегда, когда нам предстояло трудное задание, мы словно обрели крылья, а мир, в котором нужно было действовать, встречал нас струями восходящих воздушных потоков.

12. *Свежесть*

"Эсперанца", куда я=Шпайк вошел с обильной испариной по всему телу и дрожью в коленях, похоже, не затаила на меня никакой обиды. Как приемная мать, которую ее воспитанники окончательно настроили на

мирный лад, гостиница вновь приняла блудного постояльца. С веранды, оставив позади себя иностранцев, сидящих за моим бывшим столиком, я=Шпайк, набравшись духу, спускаюсь в бар. Бурый полумрак в нем за последние годы не претерпел изменений, разве лишь чуть потемнел. Я=Шпайк пробираюсь между тесно поставленными, еще пустыми столиками, кладу руки на латунную кромку стойки — точь-в-точь как прежде, сцепив большие пальцы, — и тут же возникает многообещающий контакт: дверь в стенке за стойкой открыта и позволяет видеть маленькую кухню. Чернокожий парень нарезает для коктейлей лимоны, необыкновенно горький местный сорт, — ломтиками. Почувствовав на себе мой взгляд, он поднимает глаза — и лицо его искажается гримасой узнавания. Наверно, ему хочется, чтобы оскал его был принят за улыбку радостного удивления, однако впечатление скорее такое, будто парень, впав в панику и ощутив свою беспомощность, пытается этим оскалом угрожать — мне, возвращенцу из былых времен.

Испуг 243-го, выражение страха, долго не сходящее с его лица, заряжают меня энергией. Тихо произнеся старый номер, я=Шпайк подзываю малого к стойке. Он повинуется и таким образом рассеивает последние мои сомнения. Это тот самый 243-й, что свободно говорил по-французски и после памятной для меня ночи вдруг исчез из бани. Первый раз мне встречается парень, служивший у Фредди боем и начавший потом другую жизнь. И вот он уже выслушивает, чего я=Шпайк от него хочу. Подгоняемый страхом, тут же придумывает, как исполнить мое желание. Мы покидаем бар через кухню. Старенький грузовой лифт приходит в движение почти бесшумно. В его кабине 243-му приходится выдержать осмотр с кратчайшего расстояния. Я=Шпайк удивлен: служа в отеле, молодой человек очень окреп. Мощные мышцы шеи распирают воротник форменной куртки. Память рисует мне его плечи более узкими, ягодицы — более плоскими. Сегодня 243-й был бы для меня староват, но трепетный взгляд вновь делает моего спутника юным и прелестным. Наверху нас встречает коридор без окон; с потолка, на большом удалении друг от друга, свисают тусклые лампочки. Перед одной из низких дверей мой проводник останавливается и показывает на ручку. Вопрос, не передать ли Фредди от него привет, бросает парня в жар. Обхватив мою правую руку длинными пальцами, он шепотом умоляет меня не рассказывать ни Фредди, ни Аксому, ни Луи, что именно он привел меня к этой двери. Потом припадает к той же руке губами, целует ее, лижет теплым влажным языком — и, не оборачиваясь, бросается вниз по лестнице.

Свидание со старым Луи, родственником Аксома, длилось недолго. Чтобы зайти в узкую каморку, понадобилось три шага, и три шага — чтобы, стремительно пятясь, вновь оказаться в коридоре. Пока дверное полотно не заслонило мне вид, я=Шпайк смотрел на лицо старого Луи. Когда еще увидишь такое... Заразившиеся вирусом *мау* угасают медленно, борьба со смертью происходит вдали от посторонних глаз, большей частью в дешевых пансионах на задворках квартала увеселительных заведений. Луи — второй мертвец, с которым меня свела *мау*. Первое обезображенное этой болезнью и увиденное мною тело было трупом итальянского фоторепортера, который жил до меня в моем нынешнем домике. Прошло лишь несколько недель с того дня, как я=Шпайк прибыл в город, и болезнь даже еще не имела названия. Итальянец лечился у Зиналли. Доктор рассказал

мне, искавшему пристанище, что один тяжело больной человек вынужден покинуть место своего постоянного проживания в квартале бумажников. Я=Шпайк решил посетить журналиста, с которым меня связывало мимолетное знакомство, и нашел его точно в таком виде, в каком минуту назад обнаружил старого Луи. Поразительно, как борьба со смертью может напрячь черты изнуренного и истощенного лица. Предельное натяжение всех мышц разверзло рот Луи до самой глотки и поставило одеревенелый язык торчком по центру. Старческое лицо Луи в этой, сводящей все к категории *мау*, окоченелости можно было узнать только по периферийному элементу — ушам, не имеющим мускулатуры и потому сохранившим свою форму вопреки стремлению беспощадного недуга искорежить и их. Я=Шпайк еще раз увидел большие, бесподобно безобразные уши Луи с волосатыми, искривленными мочками — это свидание навсегда связалось в моей памяти с чувством болезненного сожаления: как легко было бы заронить шепотком в огромные слуховые воронки бывшего кельнера мое желание обзавестись оружием.

Труп Луи был не совсем свежим. И без проверки прикосновением пальцев он показался мне основательно остывшим. Душа, которую Великий Гахис в одном из своих девяти Песнопений будто бы называет последним теплым газоизвержением умирающего тела, наверняка покинула старого Луи уже несколько часов назад. Итальянский фотограф пролежал тогда мертвым в моей теперешней постели, пожалуй, не менее трех или даже четырех суток. Его длинный, сведенный судорогой и оттого вертикально застывший язык был весь в глубоких трещинах — результат обезвоживания. Нёбо, вплоть до язычка перед гортанью, блестело, как черная чешуя копченых выловленных из солоноватой воды окуней, что продаются здесь в закусочных — вкладышами меж двух лепешек. От сухой жары, столь характерной для города, мертвая плоть быстро отвердевает. Не исключено, что итальянец и дальше мог бы лежать в кровати без признаков разложения. Пергаментность кожи и мутная остекленелость глазных яблок вселяли надежду на постепенную мумификацию.

Владелец домика, занимавшийся убоем ослов и коз на южной окраине квартала, согласился сдать мне жилище внаем, потребовав, чтобы я уплатил ему за год вперед и сам незаметно убрал итальянца. Фредди порекомендовал мне обратиться к хозяину бюро ритуальных услуг, киренейцу, который на известных условиях вывозит из города и мертвых иностранцев, а потом кремирует их в низовьях реки на заводе, где утилизируют павших животных. Посланцы похоронных дел мастера появились, как и было условлено, с наступлением темноты — однако отказались притронуться к мертвецу и тем более положить его в гроб, сославшись на необычность позы находившегося в постели. Мне предложили сначала упаковать труп в пластиковый мешок. Для чего тело должно было распрямиться — в последний раз. Скупыми словами и жестами гробовщики объяснили, что у мертвеца надо переломить пальцы рук, дабы освободить обхваченные ими лодыжки. Труднее было растолковать мне, как разогнуть дугообразно застывшее туловище. Наконец один из гробовщиков изобразил из себя покойника, а другой оседлал его высоко поднятую задницу, давая мне понять, что сильным раскачиванием с использованием веса собственного тела можно сломать тазобедренные суставы и поясничные позвонки трупа и придать ему сносное горизонтальное положение. Я тру-

дился что было сил, но когда умерший лежал уже более или менее прямо, обернутый в черную пленку и готовый к отправке, я=Шпайк вынужден был констатировать, что киренейские утилизаторы под каким-то предлогом исчезли, — разумеется, с полученными деньгами...

Труп Луи испортил мне перспективу раздобыть ствол. С другой стороны, приятно сознавать, что в лице кельнера от *мау* умер коренной житель. Желание рассказать об этом доктору Зиналли наполняет меня злобным предвкушением радости. И вот я=Шпайк уже достаю из кармана баночку с таблетками. Со щелчком открываю крышку. Шарю в баночке кончиками пальцев — и нахожу маленькую яйцевидную капсулу. Она разделена на небесно-голубую и белую половинки. В смеси таблеток от доктора Зиналли, насколько мне помнится, такой до сих пор не было. Мой врач изменяет состав постепенно и с осторожностью. Каждого вида таблетку я=Шпайк помню еще по первым неделям моего пребывания в городе, когда избавить меня от недомогания безуспешно пытались другие врачи. Названия лекарств давно улетучились из памяти, однако форма и цвет некоторых таблеток, капсул и драже столь типичны, что выделяются даже из той очень пестрой смеси, которую доктор Зиналли обыкновенно прописывает нам, его благодарным пациентам.

Моя рука подносит баночку с пилюлями к уху и встряхивает ее — пока новая капсула не размягчилась между языком и нёбом. У капсулы вкус ванилина; я=Шпайк узнаю этот ни с чем не сравнимый аромат, плод доброй старой немецкой изобретательности, и наслаждаюсь его неестественной однозначностью. Доктор Зиналли — американский эмигрант и патриот. В комнатах его клиники развешаны фотографии, запечатлевшие исторически важные эпизоды гражданской войны в Северной Америке — войны, которая, как говорит Зиналли, кровавой нитью сшила разорванный звездно-полосатый флаг. Ложась раз в месяц голым на обтянутую кожей кушетку, чтобы подвергнуться весьма своеобразному ритуалу медицинского осмотра, я=Шпайк вижу на стене слева снимок, показывающий, как негр в форме Северных Штатов вытаскивает с поля боя на плащ-палатке израненного пулями белого товарища. Зиналли — знаток расовых теорий, и желающему подлечиться у этого искусного врачевателя приходится выслушивать тирады о достоинствах и недостатках разных народов и народностей. Всякий раз, когда я=Шпайк растягиваюсь на кушетке в его клинике, Зиналли начинает ощупывать мой череп и с мрачным видом туманно рассуждать о расовой неоднородности тевтонских племен, которая с трудом поддается интерпретации. Зиналли сомневается и в чистоте собственной крови. Артрит рук, рано вынудивший его отказаться от карьеры хирурга, он объясняет еврейскими соками в ветвях родословной по отцовской линии.

Моя баночка с пилюлями издает при встряхивании глухой звук. Значит, запас таблеток почти иссяк, и я=Шпайк должен отправиться к Зиналли, чтобы пополнить его. В приемной висит огромный стеклянный шар с той пестрой смесью, какую доктор рекомендует принимать в настоящий момент. Снизу к шару прикреплена механическая часть автомата — ржавый жестяной кубик с прорезью для монет, неказистой вертушкой и патрубком, из которого сыплются таблетки. Монету пациенты приобретают в лечебном кабинете. Это истертый серебряный доллар, за него мы выкладываем сегодня три оранжевых пятисотенных с портретом Гахиса.

Моя первая попытка получить из автомата прописанную порцию пилюль закончилась обидной промашкой. Я=Шпайк не заметил, что под патрубком нет никакой плошки. Таблетки, капсулы и драже рассыпались по полу приемной. Долго ползал тогда я=Шпайк, собирая их вокруг и между ног молча ожидавших своей очереди пациентов со стажем, которые и не подумали предупредить меня, новичка, но если бы сегодня к стеклянному шару впервые подошел какой-нибудь другой человек, держа между большим и указательным пальцами серебряный доллар, моя осведомленность тоже, не говоря ни слова, обреталась бы среди осведомленных — и не избавила бы дебютанта от такого же ощущения досадной оплошности.

13. *Неспешность*

Ты первым ответил на приветствие доктора Линча Зиналли, подав ему руку, но твои пальцы сразу же исчезли в его мускулистой лапе с густым волосяным покровом. Хватка была сухой и жесткой. Зиналли выпустил наши руки из своей лишь после того, как немного притянул каждого из нас к себе и обвел пристальным взглядом светлых, серых, как камень, глаз, будто собираясь уже ставить диагноз. Мы представились, назвав имена и профессию, и ожидали вопросов о цели нашего приезда. Однако доктор Зиналли не стал притворяться, выказывая интерес к коллегам. Задачи Чрезвычайного фонда помощи детям были ему столь же безразличны, как и планы молодых австрийских офтальмологов. Про указ городских властей об обязательном обследовании всех приезжих иностранцев на предмет наличия у них признаков *мау* он еще не знал. Покачивая головой, читал буклет, который мы положили перед ним, и между делом процитировал поговорку, уже слышанную нами от Фредди, правда, по другому поводу: *Во дворце султана евнухи склоняются даже перед ветрами их спящего господина.* Затем Зиналли велел нам раздеться; вскоре мы сидели голыми, рядышком друг с другом, на кожаной кушетке и, состроив серьезные мины, терпеливо сносили свершавшиеся над нами странные манипуляции.

Огромные руки врача начали обследовать наши черепа, с ласковой силой проходились по затылкам, осторожно ощупывали виски, скуловые кости и челюсти, в то время как сам Зиналли, словно желая не дать нам заскучать, рассказывал о *мау*. Осмелюсь утверждать, заметил он, что одним из первых обратил внимание на то, как болезнь стала приобретать характер эпидемии. Среди его пациентов был итальянский фоторепортер, который с давних пор проводил лето в городе и, будучи, так сказать, придворным фотографом местной художественной элиты, немало способствовал тому, что богатство и экстравагантное поведение этих людей получили международную известность. Так вот, журналист пришел как-то к нему в клинику с жалобами на недомогание, типичное для ранней стадии болезни. *Мау* всегда проявляется сначала в правой половине тела, обычно с несущественными симптомами в конечностях. Или маленький палец правой ноги становится холодным на ощупь, или, с каждым разом на все более длительное время, онемевает кончик правого мизинца, пока окончательно не потеряет чувствительность. Одновременно появляются легкие нарушения подвижности левого глазного яблока, глаз вдруг начинает едва заметно косить, веко подергивается или порой свисает, пока не об-

виснет совсем. Это незначительные дефекты, почти не стесняющие заболевшего в повседневной жизни, однако их совокупность свидетельствует о серьезных сбоях в деятельности нервной системы.

Ты спросил, когда именно разразилась эпидемия и как она протекает, и Зиналли посетовал на никудышную организацию учета инфицированных и умерших. Вопреки расхожему мнению, он убежден, что в таких масштабах эта болезнь свирепствует не впервые. Местные врачи старшего поколения, состоявшие на службе у Иноземной державы, рассказывают о двух вспышках массового заболевания, предшествовавших нынешней волне. По распоряжению тогдашнего руководства в архиве Центральной больницы была организована секретная часть для хранения соответствующей документации. Даже с помощью простейшей картотеки удалось доказать тождественность протекания болезни у разных пациентов и безуспешность традиционных методов лечения. После того как случаю было угодно свести в могилу сначала военного коменданта города, а затем, в том же году, его преемника на этом посту — они умерли в схожих конвульсиях, — покойников стали фотографировать. Все документы снабдили номерами, что свидетельствовало об их важности и секретности, а затем, незадолго до Революции, перенесли весь материал из архива Центральной больницы во Дворец Народной безопасности. В дни, названные Фиалковыми, это здание, где размещались спецслужбы, военная полиция и телецентр всего региона, взяли штурмом гахисты. Начальник управления разведки и контрразведки — отпрыск старинного рода, брошенный военными Иноземной державы на произвол судьбы, — забаррикадировался со своими сторонниками на верхних этажах здания. Лишь после боя, длившегося три дня и три ночи — сражались врукопашную, за каждый кабинет, — его труп с венком из белых горных фиалок вокруг шеи был сброшен с крыши дворца и под клики ликующей толпы упал на мостовую, усеянную папками с делами ликвидированного учреждения.

Стоя на коленях и тяжело дыша, доктор Зиналли сгибал и вращал пальцы наших ног, а также массировал подошвы — якобы для того, чтобы проверить рефлексы. Мы спросили его, каково в данный момент число *мау*-инфицированных среди постоянно проживающих в городе иностранцев, однако Зиналли, сардонически усмехнувшись, только махнул рукой. Хотя Министерство народного здравоохранения требует от врачей, чтобы они немедленно сообщали о появлении пациентов с подозрением на *мау*, чиновники, получая обильную информацию, не выдают ее ни в какой форме, утаивая даже простейшую статистику общего характера. С тех пор как международные организации здравоохранения и большие, надрегиональные спутниковые телеканалы открыто заговорили о том, сколь отвратительна эта заразная болезнь, и стало передаваться из уст в уста ее легко запоминающееся название, бюрократы ведут себя так, словно столбняк у них переходит в дрожательный паралич, а это симптоматично для *мау* в ее конечной стадии. У него самого в настоящее время под наблюдением, к счастью, лишь один человек с заболеванием в острой форме, однако немалое число его пациентов страдает хронически слабой сопротивляемостью по отношению к местным вирусам, и многое говорит за то, что *мау* начинает подтачивать организм лишь тогда, когда он до известной степени уже разрушен иными болезнями. Тот итальянский фотограф, к примеру, был очень крепким, двужильным парнем, страст-

ным любителем велоспорта. На своем гоночном он одолевал в Старом городе улочки необыкновенной крутизны. И мог бы войти в историю города как весьма неординарная личность, что чужеземцам удается крайне редко, но несчастная любовь к кельнерше из местных подорвала психическое здоровье спортсмена и помогла *мау* одержать над ним победу.

Зиналли взял у нас кровь – в таком количестве, что это нас и ошеломило, и озадачило. Ты спросил его о причине, и он объяснил, что обязан при первом обследовании каждого иностранца брать донорскую порцию. Вот уже полгода, как в больницах начали собирать консервированную кровь для иноземцев отдельно. Якобы чистую кровь местных доноров надо запасать для коренного населения. Такое решение принято, вероятно, под давлением одной из многочисленных нелегальных постгахистских группировок. Приверженность вере в чистоту крови у членов этой секты и обскурантистских организаций, на которые она распалась, принимает все более причудливые формы. Тенденция, достойная сожаления, ибо творения самого Великого Гахиса – и прежде всего Блеяние Овна, Третье Песнопение Пророка – недалеки от фундаментальной расовой теории, разработанной в соответствии с принципами учения Дарвина.

Доктор Зиналли посоветовал нам приобрести эти Песнопения. Девять кассет с записью эпических поэм Народного Пиита и Пророка Революции в его собственном исполнении – лучшее из того, что город может предложить своим гостям в качестве сувенира. Существует вариант с субтитрами на *пидди-пидди*, бесспорно, переводческий паллиатив, но то, что бессилен передать английский, на котором говорят в городе, доходит до слушателя и зрителя благодаря великолепному мелодраматическому исполнению. В любом случае он не советует нам оскорблять свой слух той дублированной версией, которая еще гуляет по различным зарубежным телеканалам. Одному лихому голливудскому ветерану взбрело в голову сослаться на то, что его дед-киренеец был выходцем из этого города, и выступить с дубляжем в роли Великого Гахиса. Наглое искажение девяти Песнопений, якобы в стремлении придать им еще более совершенную форму, вызвало мощную волну возмущения и протеста. Старый мим лишь чудом не стал жертвой покушения, совершенного в далеком Лос-Анджелесе с целью искалечить его, обладателя трех Оскаров. А вот его техническому консультанту как бы невзначай отрезали пол-языка. И уже через два дня гахисты с закутанными лицами передали трофей репортерам местного телевидения – вместе с туманным заявлением по случаю девятой годовщины гибели Гахиса, которая, как мы наверняка уже слышали, отмечается завтра.

Мы пообещали доктору Зиналли, что купим кассеты на видеобазаре еще сегодня, и налили себе по чашке горького кофе, который он приготовил нам для поддержания сердечно-сосудистой системы – потеря крови у нас действительно была нешуточной. Настал момент изложить ему нашу личную просьбу. Ты обстоятельно рассказал о приятеле твоего отца, который, занимаясь тем же, что и отец, бизнесом, прислал в свое время на родину из этого города открытку – и дал таким образом знать о себе в последний раз. На открытке видны Голубые Врата Пророчества, и твой отец нередко погружается в задумчивость, перечитывая пришедшее издалека дружеское послание. Трогательно-наглядной была твоя придумка, и ты не произносил имя Шпайка так долго, что потом оно вонзилось

в Зиналли своим единственным слогом, как спрятанный в наживке крючок. Оторопев от неожиданности, доктор и не пытался отрицать, что знаком со Шпайком. Да, иностранец с этим редким именем, немец по национальности, ему встречался. Когда-то он лечил Шпайка, столкнувшегося с обычными трудностями акклиматизации. Однако о дальнейшем пребывании этого человека в городе сказать ничего не может. В подвале среди прочей документации, должно быть, сохранилась его карточка. Завтра после обеда будет готов анализ крови, к тому времени он постарается отыскать карточку Шпайка, хотя не уверен, что из записи на ней удастся почерпнуть какие-либо полезные для нас сведения.

Мы благодарно улыбнулись. Фортуна снова благоволила к нам. Мы наблюдали, как доктор Зиналли взял наши карточки, нерешительно повертел их в руках — и уронил на стол. Видеть его страх — это доставляло прямо-таки физическое удовольствие. Он раздувал ноздри своего пористого красного носа, будто обнюхивал нас на расстоянии. Еще на Корсике ты прочитал вслух заметку из американского научного журнала о том, как ведут себя самые крупные приматы, когда в родных тропических лесах впервые видят перед собой свое зеркальное отражение — человека. Подобно этим лесным гориллам, доктор Зиналли, кажется, учуял талантливость представителей другого биологического вида и уловил их превосходство над ним.

Внизу, на бульваре Свободы Слова, ты взял меня под руку, и мы пошли так, как без стеснения ходят и многие местные мужчины. Направлялись мы к южному концу роскошной улицы, которая открытой дугой охватывает Гетто Пророчества. Фредди посоветовал нам провести вечер в так называемом Клубе Голой Правды. Задуманное во время Революции как место, где собирались бы активисты из буржуазных прозападных кругов, это заведение мутировало с течением лет в своего рода арт-кафе. С некоторых пор тон в среде художественной интеллигенции задают литераторы, и каждую ночь в клубе с чтением своих опусов выступает талантливая молодежь, вызывая среди слушателей бурные дискуссии. *Пидди-пидди* явно превращается в литературный язык. Видеоклипы о поэтических вечерах, на которых песни и эпические повествования в стихах исполняются лающим речитативом, уже транслируются международными музыкальными каналами в *World Music Specials*[1]; популярное песенное творчество находится сейчас на подъеме, и многие из постоянно проживающих в городе иностранцев, набиваясь в друзья к исполнителям, что выглядит весьма забавно, стали фанатами таких представлений.

Тем временем стемнело, но мы не ощущали необходимости спешить. Нравился нам и ночной лик города. А поскольку потеря крови заставила тебя почувствовать голод, ты, ведя поиск со свойственной тебе разборчивостью, зигзагом потянул меня по широкому, окаймленному лавками и тележками торговцев тротуару. Наконец ты остановился у одного из ларьков, и мы решили подкрепиться местной снедью. В свете газового фонаря, в слепящей белизне искусственных огней наши зубы впились сквозь свежую мякоть лепешек в сочную, жирную плоть копченых окуньков.

1. Специальные передачи о последних достижениях мировой музыкальной культуры (*англ.*).

14. *Омерзение*

Впервые я=Шпайк, привыкший брать авто, взял *вуспи* — один из тех покрытых оранжевым лаком мотороллеров, которые на хронически заторенных магистралях города можно подозвать взмахом руки, как такси. Сейчас, с приходом ночи, их мигающие диоды, наполняя воздух сумбуром светящихся линий, проносятся над потоком автомобильных крыш. Водители роллеров вихляют по шести полосам проезжей части бульвара, используя, с риском для жизни, малейшую брешь. И там, где такой лихач вклинивается в ряды машин поблизости от тротуара, пешеходы быстро ретируются с его края, ибо стекловолоконные шесты, на концах которых закреплены оранжевые маячки, раскачиваются во все стороны и могут нанести зазевавшемуся чувствительный удар. Примостившись на задней, немного приподнятой части продолговатого сиденья, вынуждаемый непрерывными хаотичными бросками роллера к тому, чтобы чуть ли не мертвой хваткой держаться за что-нибудь, пассажир со всей силой прижимается к спине сгорбившегося над рулем водителя. Оберегая голову, я=Шпайк то и дело откидываю ее назад, но при каждом резком торможении нос мой все равно утопает в сальных, пахнущих розовым маслом кудрях молодого штурвального.

В клинике доктора Зиналли было пусто. Отлучаясь, Зиналли оставляет двери открытыми. В таких случаях пациенты обычно убивают время до возвращения врача, задремав в кресле, уснув на кушетке или уставившись в беззвучно работающий телевизор. Сегодня здесь не было ни души. Миновав приемную, я=Шпайк заглянул в лечебный кабинет, процедурную, крохотную спаленку и даже в уборную. У Зиналли нет собственной квартиры. Заботясь о своем здоровье, он проводит свободное от работы время в бане у Фредди или поглядывая на молодежь в одной из уютных, с мягкой красной обивкой ниш Клуба Голой Правды. Туда меня кратчайшим путем и должен доставить *вуспи*. Молодые поэты торгуют в клубе всем, что обещает прибыль, — гашишным маслом в ампулах, имеющих форму яйца, гостиничными адресами американских покровительниц, искусно украшенными кортиками, их делают в квартале кузнецов из дешевых импортных отверток. Быть может, сегодня ночью на обшарпанный черного дерева стол выложат вместе с прочим товаром и пригодный для стрельбы пистолет. Я=Шпайк не привередлив и, поторговавшись надлежащим образом, — так, чтобы это польстило самолюбию и покупателя, и продавца, — безропотно заплачу даже сильно завышенную цену.

Город и дешев, и дорог. Остановив *вуспи* у клуба, шофер потребует от меня в десять раз больше того, что должен был бы выложить его клиент из аборигенов. Я=Шпайк дам половину и, согласно кивая головой, выслушаю тираду из ругательств, стенаний и слов благодарности. В Клубе Голой Правды только туристы обращают внимание на цены в карте напитков. Подобно некоторым другим иностранцам, я=Шпайк, неуклонно появляясь там и давая на чай по своему усмотрению, обрел статус гостя, которого терпят, предпочитая иным посетителям, и кладу на столик примерно вдвое больше той суммы, что показалась бы приличной коренному горожанину. Я=Шпайк могу это себе позволить. Центральное ведомство аккуратно снабжало меня деньгами и в трудные времена. Между прочим, к выгоде обеих сторон, ибо без регулярного превращения назна-

ченного мне оклада в наличные я непременно усомнился бы в существовании высшей инстанции с ее якобы материнской заботой о своих подчиненных, после чего источнику информации, каковым долгие годы верно служил я=Шпайк, пришлось бы незаметно и бесславно иссякнуть.

В начале каждого месяца такси доставляет меня на восточную окраину города. Там, среди новых кварталов с домами, которые уже успели приобрести неприглядный вид, находится Восточный автовокзал, самый большой из четырех городских автовокзалов. Громадная камера хранения встроена в заднюю стену главного здания. Таксист ждет, не заглушив мотора, а я=Шпайк подскакиваю, преодолев три ступеньки, к стальным дверцам, чтобы, стоя плечом к плечу с каким-нибудь жующим *чугг* крестьянином-горцем, отпереть мою ячейку. Восточный автовокзал — самый значительный перевалочный пункт в торговле *чуггом*. *Чугг* выращивается на крутых южных склонах Восточного нагорья, урожай с расположенных уступами плантаций снимают круглый год. Крестьяне, преимущественно мелкие, делают это всем семейством. С кустов срывают начавшие распускаться почки и, выдерживая в темноте и сырости, дают им — для ферментации — покрыться белой, серебристо мерцающей плесенью. Хороший *чугг* крошится, имеет грибной вкус и, оказавшись во рту в виде жвачки, почти полностью растворяется. Встав на цыпочки, чтобы протянуть руку в глубь ячейки, я=Шпайк чувствую, как под ногами у меня пружинит войлок, в который скатались малюсенькие волокнистые шарики, выплюнутые любителями *чугга*. На издержки удовольствия, получаемого при жевании, намекает известная всем горожанам пословица: *Чугг — ковер для бедолаг в бездне всяких передряг.*

Я=Шпайк не знаю ни одного иностранца, который употреблял бы *чугг* без проблем. Все иноземцы, что поддаются соблазну скатать горсть заплесневелых почек в круглый комочек и положить его себе в рот, поначалу приходят в восторг от ощущения сладостной окрыленности. По словам Зиналли, *чугг* вообще не позволяет печали овладеть душой человека. Не случайно старики издавна пользуются им, дабы смягчить невыносимые боли при загноении последнего коренного зуба, подагре или появлении первых признаков надвигающейся смерти. Как-то в начале моего пребывания здесь я=Шпайк тоже попросил жующего *чугг* старика продать мне пакетик с этим наркотиком. Горец извлек его из ячейки обширной камеры хранения, а я надорвал у него на глазах серый конверт с деньгами и расплатился, выдернув из пухлой, неровной пачки несколько местных и иностранных купюр. С упорством, какое ныне лишь изредка заявляет о себе, а в прежние времена было, по мнению начальства, моим отличительным качеством, я=Шпайк не раз и не два пытался привыкнуть к этому наркотику. Однако в моем кишечнике — как и у всех западных людей, а также, странным образом, у японцев — нет фермента, который расщепляет *чугг*. Поэтому вызванная им релаксация духа каждый раз проходила уже через пару часов, сменяясь водянистым поносом и жуткими спазмами в брюшной полости.

В движении по бульвару беспрестанно возникают заторы. Водитель *вуспи* тщетно пытается пробиться вперед по левому краю, едва не задевая бока машин из встречного потока. Что-то случилось, ибо все полосы нашей проезжей части вдруг оказываются заблокированными. И хотя нам удается проскользнуть к правой обочине, тротуар там забит зеваками. Мо-

тороллер врезается в толпу, но она тут же смыкается вокруг нас. Кудрявый с трудом удерживает *вуспи* в равновесии, а я=Шпайк на всякий случай придерживаю правой рукой карман, где лежат деньги. Ключ от ячейки на автовокзале мне отдал когда-то мой первый и единственный связник. Даже сейчас, праздно торча в заторе, я=Шпайк не могу вспомнить ни его имени, ни лица. Числясь атташе по вопросам спорта в тогда еще существовавшем Культурном центре имени Гёте, он должен был помочь мне освоиться на новом месте. Вместо имени в памяти у меня неожиданно всплывают первые цифры его телефонного номера. Связаться с ним, как и с сотрудниками торговых миссий и крупных зарубежных фирм, можно было с помощью мобильной радиосистемы "Луксор", в то время еще надежной. Я=Шпайк уверен, что этого атташе уже нет в живых. Когда в день третьей годовщины Революции гахисты использовали финальный матч футбольного турнира, чтобы инсценировать массовое самоубийство, событие беспрецедентное — по крайней мере в новейшей истории города, — зрителей на трибунах переполненного стадиона охватила паника. Трупы затоптанных насмерть и задохнувшихся в давке лежали потом на газоне несколько суток: родственники распознавали своих отцов, братьев, сыновей... А телевидение в конце каждого выпуска новостей с откровенным злорадством показывало посиневшие лица еще не убранных иностранцев. Вместе с воспоминанием о тех кадрах крупным планом, появлявшихся на экране без звука, перед моим мысленным взглядом все-таки возникает лицо бывшего связника: атташе был толстощеким, моложавым мужчиной. На телевизионной картинке его широко раскрытые глаза выражали неверие в то, что такое могло произойти с ним, кончик языка был зажат между зубами. Разодранный воротник рубашки уже не прикрывал цепочку с крестиком на изящной подвеске, которая так укладывалась во впадинку под гортанью, будто была к ней подогнана.

В движении по бульвару между тем произошли перемены. Машины с нашей стороны заняли внутренний край встречной полосы и катят по нему до следующего светофора. Мой *вуспи* проезжает мимо места дорожно-транспортного происшествия. Лобовое столкновение, пострадало не менее шести машин. Водители сидят на мостовой под прикрытием своих покореженных авто и решают, кому за какую вмятину платить. Скорее всего, как только они договорятся, с ближайшей улочки пригласят старейшину какого-нибудь рода, и тот за соответствующий гонорар позаботится о выполнении взятых водителями обязательств. Народная милиция регулирует уличное движение лишь в дни парадов или визитов государственных деятелей, но и то и другое стало теперь редкостью. После бойни на стадионе общенациональный праздник больше не отмечается с прежним размахом, и если не считать посещений города эмиссарами ООН в связи с возникновением в нем кризисных ситуаций, то приходится признать, что в последние годы сюда не наведался ни один зарубежный политик высокого ранга.

На месте аварии я=Шпайк не увидел ни крови, ни получивших телесные повреждения. Если таковые и были, их наверняка уже увезли. Пострадавшие в автокатастрофах — ходкий товар, своего рода полуфабрикат, за сбыт которого борются перекупщики. У машин "скорой помощи" больниц и традиционных травмопунктов появились преуспевающие конкуренты в виде мотоциклов с прицепами и нехитрой аптечкой — изо-

бретение ловкого сейшенца, владельца небольшого таксопарка. Уложив пострадавшего в кузов узкого прицепа и привязав ремнями к днищу, о нем сообщают по рации в офис, откуда несчастного продают той больнице, которая предложит наибольшую цену и получит его со всеми потрохами в свое распоряжение. Чтобы вызволить беднягу из западни, родственники должны покрыть издержки по его содержанию в лечебнице и уплатить подать, размер которой определяется их имущественным положением. Ну а тот, кто не найдет желающего за него раскошелиться, вынужден будет заплатить за выписку из больницы — так по крайней мере гласит молва — своей почкой или порцией костного мозга.

Пробки постепенно рассасываются, и водитель *вуспи* пользуется этим, чтобы лихо перескакивать с одной полосы на другую. Мои пальцы вцепились в пряжку его пояса, подбородок нашел опору у парня под мышкой. Здесь, на южном конце бульвара, полотно дороги совсем износилось. Тонкий слой гудрона, которым покрыли старую, не раз чиненную мостовую, пестрит трещинами и провалами, а проступившие сквозь него гранитные глыбы, как и оголившиеся плиты из песчаника, предательски гладки даже в сушь. Если мы кувыркнемся, то моему телу придется расплатиться за это переломами. Какой-нибудь мотоцикл доставит меня на прицепе в бывший военный госпиталь, что совсем недалеко отсюда — на восточной окраине Гото. Репутация у него не хуже, чем у других больниц. Иностранцев, которые теряют сознание в квартале увеселительных заведений, испробовав новый наркотик или перебрав дозу давно знакомого, нередко подбирают жадные до подушной подати санитары этого госпиталя. Если там в одном из коридоров я=Шпайк паче чаяния очнусь, то дам знать о себе Лизхен. Какой-нибудь малый, получив от меня мзду, помчится на своем *вуспи* в квартал тряпковаров, чтобы привезти девочку в госпиталь. Стук ортопедических башмаков возвестит о моем спасении. В пластиковом пакете у нее будет с собой толстая пачка банкнот — наш неприкосновенный запас; по совету Лизхен я храню его в морозильной камере холодильника за рыбьими тушками. Этих денег хватит, чтобы обеспечить меня импортными медикаментами, стерильными бинтами, а также быстро доставить в присмотренное девочкой укромное место.

Но мы не опрокидываемся на гудрон. Уже виден клуб, водитель сворачивает на широкий тротуар и, притормаживая, объезжает стоящие там двухколесные средства передвижения. Отпрыски недавно разбогатевших семей, составляющие основную массу посетителей клуба, предпочитают легкие мотоциклы — внедорожники с высокой, смахивающей на ходули передней вилкой — и определенного типа японские мотороллеры. Парни стоят перед входом группами. С некоторых пор в моде узкие солнцезащитные очки, тонированные желтым; их не снимают ни темной ночью на улице, ни в полумраке клуба. Очень популярен и еще один аксессуар — короткая нарядная плетка, сделанная по образцу тех плеток, которыми здесь спокон веку погоняли ослов. Ею постегивают себя в ритме речи по подколенным впадинам, а при встрече дружески ударяют друг друга по бедрам. На меня никто не обращает внимания. Я не удостаиваюсь даже столь незначительных знаков пренебрежения, как резкое отворачивание лица или брошенная под ноги сигарета. В отношении золотой молодежи к оседлым иностранцам есть свои приливы и отливы. Фазы насмешливого интереса сменяются периодами пол-

ного безразличия. Над входом в клуб светится голубая неоновая надпись — слово *Club*, выведенное на восточный манер размашистой вязью. Название *Naked Truth Club* я=Шпайк долго считал своего рода шуткой, пока Зиналли не объяснил мне, что оно восходит к одной из сентенций Великого Гахиса. Поэтому посещающему клуб иностранцу ни в коем случае не следует произносить это название с иронией или хоть какой-то долей юмора. Мудрее же всех, несомненно, поступит тот, кто вообще не допустит, чтобы оно сходило у него с уст.

15. Высокомерие

Хотя над входной дверью нежно-голубым неоном сияло всего лишь слово *Club*, нам не потребовалось подтверждения, что мы вышли к искомому заведению. Перед Клубом Голой Правды собралась молодежь, которой деньги родителей позволяют думать о возвышенном — эксклюзивных наркотиках, искусстве и разных обличьях правды. Семейные состояния, рассказывал Зиналли, редко старше, а зачастую моложе тех юнцов, которые ими пользуются. Нувориши бравируют своим богатством, его уровень изменчив, зависит от темпов инфляции, но поддерживается материальными и валютными потоками, питающими легальную и нелегальную торговлю в городе.

Утром мы положили на стойку перед дежурным администратором наши старомодные дорожные чеки и получили взамен по толстой пачке банкнот. *Леви*, главная денежная единица города, находится в обращении в виде "старого", "среднего" и "молодого" *леви*, различаемых по стоимости. Купюры этих трех поколений обмениваются в соотношении 1:10:100. Самая крупная из них в настоящее время — десятитысячная. Это новый *леви*, простроченный золотой нитью. Основным повседневным платежным средством служит недавно выпущенная оранжевая пятисотенная — первая банкнота с портретом Гахиса. Поместить на ней почти фотографически точное изображение Пророка Революции было, по словам Фредди, самым умным до сих пор маневром Государственного банка, нацеленным на стабилизацию национальной валюты. Авторитет Гахиса растет буквально с каждым днем, так что никому и в голову не придет нацарапать на новой пятисотенной номер телефона или, скатав ее в трубочку, использовать для чистки ушей, как некоторые горожане поступают с другими банкнотами.

Золотая молодежь реагировала на наше появление со сдержанным любопытством. Во взглядах, которыми оценивали нас, когда мы входили в клуб, сквозила, пожалуй, даже легкая доброжелательность. Не в последнюю очередь, конечно, благодаря нашей стрижке: выбранная нами случайно и, пожалуй, даже по капризу, она почти в точности повторяла прическу, которой в данный момент отдавали предпочтение эти парни. Тебе особенно понравились узкие, тонированные желтым солнцезащитные очки: при всей своей бесполезности — на улице, в светлой городской ночи, — они смотрелись великолепно, так что многие молодые люди не снимали их и в полумраке клуба. Мы заняли нишу вблизи пока еще пустой, но уже подсвеченной зелеными прожекторами сцены, подивились ценам в карте напитков, гораздо более высоким, чем в "Эсперанце", и заказали по стакану зулейки и по порции крупных, созревающих лишь раз в три года плодов жирного

ореха. Музыка была громкой. Певец своим фальцетом сливал звуки плавно, без ощутимых интервалов. Текст песни был на *пидди-пидди*, но из-за кокетливо-архаичной манеры исполнения оказался для нашего почти не тренированного слуха поначалу малопонятным. Минуту или две мы бездумно внимали тому, что лилось из динамика возле наших ушей, и вдруг ты с непоколебимой уверенностью сказал, что так звучать может только любовная песня — жалоба страстно, но безнадежно влюбленного.

Проводя на Кипре инструктаж, Куль с сожалением в голосе заметил, что отведенное для этого время не позволяет ему ознакомить нас хотя бы с одним из донесений Шпайка во всей полноте. Уже вскоре после того, как Шпайк самовольно покинул "Эсперанцу", он начал грубо нарушать Правила Свободной передачи донесений из-за рубежа. Его послания Центру через American World Net[1] стали превышать допустимое количество знаков вдвое, а затем и втрое. В легендарном донесении Шпайка — об убийстве ударом кинжала, — отправленном в первый год его деятельности и занимавшем в распечатанном виде более шестидесяти страниц, говорилось сначала не о чем ином, как о применяемых в городе способах уничтожения вредных насекомых. И лишь в пассаже о борьбе с европейским домашним тараканом, который начал расселяться и плодиться там, на чужбине, вдали от родных городов и весей, появляются — в виде слегка путаных выражений и причудливых орфографических ошибок — слабые признаки того, что Шпайк приближается к сути своего донесения. За странными размышлениями, скорее эзотерического, чем медицинского характера, о переносе вируса гепатита домашними паразитами неожиданно следует абсолютно ясное описание покушения во всех его подробностях. Через три дня после поступления сигнала Шпайка в Центр, во время тайного посещения военно-воздушной базы на юго-востоке Турции, действительно был убит американский генерал с четырьмя звездами на погонах. Полковник турецких ВВС, служивший на этой базе и в свое время изучавший в Соединенных Штатах радарную технику, человек тоже уже не молодой, вонзил высокому гостю кортик прямо в печень. И тут же казнил самого себя. Повторив последний, ставший знаменитым возглас Гахиса — переведенный даже на немецкий язык, когда убийство стало достоянием гласности, — он бросился грудью на окровавленный клинок с такой ловкостью и силой, что острие проникло в самое сердце.

Куль, вероятно, знал, что нам известна эта история, ибо ее, наряду с другими такими же легендами, любили рассказывать в коридорах Центрального ведомства — но запретил себе расхваливать осведомленность и проницательность своего воспитанника, приводя столь же сенсационные примеры из его последующей деятельности. Говорят, что это первое важное предсказание Шпайка уже содержало один из тех элементов трансинформации, которые стали затем характерной чертой его донесений. Имя и фамилия совершившего покушение переданы полностью и с правильной орфографией, а вот у жертвы, то есть заколотого кортиком генерала, в сообщении Шпайка только два имени, к тому же написанных с ошибками, причем второе было широкой публике совсем неизвестно, поскольку успешно продвигавшийся по службе офицер расстался с ним

1. Американская всемирная сеть (*англ.*).

еще в начале своей карьеры. И вот теперь это отброшенное своим носителем, но воскрешенное Шпайком имя прозвучало возле нас в Клубе Голой Правды — как фамилия. Ибо официантка, изящная молодая женщина, принесшая наш заказ и без приглашения присевшая рядом с тобой к столику, представилась, назвав себя Лейлой Кэлвин.

Мисс Лейла Кэлвин начала беседу, слегка запинаясь, на американском, но стоило нам ответить на *пидди-пидди*, как она тотчас же защебетала на городском диалекте и, благодарно улыбаясь, похвалила нас за лингвистическую эрудированность. Фройляйн Кэлвин сидела на своем месте в высшей степени неспокойно. Уже походка ее показалась нам чересчур упругой, будто сила земного притяжения в данном случае не совсем справлялась со своей задачей. А теперь, положив кончики пальцев на край стола, вроде бы для равновесия, она словно парила на очень тонкой воздушной подушке, которая, временами вздуваясь, наносила ей удары, вызывая сотрясения, переходившие во вздрагивания верхней части туловища и разряжавшиеся в резких подскоках левого плеча или запрокидывании головы. Мисс Кэлвин не спросила, откуда и с какой целью мы прибыли в город. Очевидно, само наше появление в Клубе Голой Правды с достаточной определенностью говорило о связывающих нас узах. Она попросила называть ее по имени и перечислила то, что предлагается гостям клуба: сувениры, а также различные услуги, которые запросто могут быть оказаны и в полумраке ниш, во время выступлений чтецов и других артистов. Для гостей, привыкших к комфорту, имеются комнаты на верхнем этаже с оплатой за каждую четверть часа. Опрятные туалетные кабины с надежными запорами также располагают к тому, чтобы воспользоваться той или иной услугой.

Мисс Лейла Кэлвин согласилась выпить бокал "Куба либре". Потягивая коктейль через толстую, покрытую шоколадом трубочку, она рассказывала по нашей просьбе о том, что́ может лично предложить посетителям клуба в качестве услуги. Официантка Клуба Голой Правды не без гордости назвала себя сочинительницей афоризмов. Создавая сентенции, она следует древней и славной традиции родного города. Подобно своим предкам, подчиняет себя требованию облечь мысль не более чем девятью словами. Каждый ее афоризм уникален, ибо наносится только один раз — тушью от руки, в каллиграфической манере — на карточку из пенькового картона. Изъявивший желание приобрести сентенцию вытаскивает из ящичка карточку — а их в нем всегда триста тридцать три — и становится обладателем совета, который не только исполнен мудрости, но и сугубо индивидуален. Ящичек с оракулами обыкновенно хранится у бармена, и за три новых пятисотенных можно хоть сейчас обзавестись прорицанием. Мы приняли предложение, не раздумывая ни секунды. Мисс Кэлвин поспешила к бару, но приобрести судьбоносное изречение сразу не удалось: на сцене началось действо.

В клубе между тем собралось довольно много народа. Музыка вдруг умолкла, почти все огни погасли, а сумрак наполнился шипением и ропотом. Как если бы публике пришлось ждать слишком долго, и она, в состоянии коллективного раздражения, теперь намеревалась наказать за это первого декламатора. Так оно и произошло. Едва поэт поднялся на сцену, как был встречен свистом и улюлюканьем. Нам даже показалось, что ступившему в круг зеленого света адресовались не только бранные слова, но и зара-

нее заготовленные оскорбительные речевки. Полноватый, с окладистой бородой, но еще очень молодой человек стоял, держа в руках микрофон без провода, у края сцены. На нем были кафтан из красной синтетической пленки и громадный, расширяющийся кверху тюрбан, который раскачивался при каждом движении головы так сильно и с такой размеренностью, будто под ним скрывался какой-то механизм. Поэт начал декламировать без вступления, и в зале сразу же установилась благоговейная тишина. В микрофон он говорил высоким писклявым голосом, прищелкивая языком и чмокая губами. Не трудно было догадаться, что литератор произносит названия всемирно известных фирм, переставляя ударение с привычных для нас слогов на другие, то растягивая гласные, то чуть ли не проглатывая их, в результате чего имена уважаемых концернов и корпораций звучали до смешного нелепо. Поражало количество брендов, которые он подвергал такой обработке. Будто хотел похитить у публики из памяти все когда-либо слышанные ею названия товаров и фирм. Мы узнали аббревиатуру давно обанкротившегося немецкого электротехнического концерна. Все три звука были многократно испытаны козлиным блеянием. Дошла очередь и до марок автомобилей, украсивших историю техники. Назывались они одна за другой с героическим пафосом, вновь расцвело метафорическое великолепие этих имен, чтобы увянуть в долгом гнусавом бормотании и закончиться все более дерзкими искажениями слова "фольксваген". Эта нескончаемая поэма, бесхитростная по своей идее, но явно не знавшая пределов в эпатаже, позволяла составить какое-то впечатление о творческом потенциале города и нравилась нам все больше. Мы заказали еще зулейки, и ты сказал, что острый на язык поэт, возможно, назвал в своем речитативе имена и тех фирм, которые еще не появились на свет, но уже возникли в лоне глобального предпринимательства; загипнотизированные формой декламации, мы могли этого просто не заметить.

Твое предположение превратилось в уверенность, когда поэт, поначалу только помахивавший краями кафтана и раскачивавший тюрбан, стал дополнять свое выступление жестами и разнообразными телодвижениями. Все, что он выражал, вонзая пальцы в пространство, изгибая и выворачивая конечности, проделывая короткие па, недвусмысленно намекало на половые экзерсисы, и было занятно видеть и слышать, как фирмы, которые существовали сегодня, канули в Лету или только должны были народиться, вступали таким образом в сношения друг с другом. Доктор Зиналли рассказал нам, что название "Клуб Голой Правды" восходит к одной из фраз в последнем телевизионном обращении Великого Гахиса. Незадолго до своей смерти Пророк Революции впервые высказался о сути человеческой правды, сравнив ее, к недоумению многих своих сторонников, с сукой, у которой началась течка. Облекая свои мысли в изумительные стихи, Гахис высмеял любую попытку скрыть готовность распаленной Правды к зачатию, и остается только сожалеть, что на свободную торговлю видеокопиями именно этого выступления Мастера наложен запрет.

16. *Невозмутимость*

Мое любимое место в клубе — мертвое пространство на левой стороне, угловая скамья у двери в туалеты. Там я=Шпайк сижу, свободный, к сча-

стью, от необходимости наблюдать, как Баба Бей раскачивает на сцене свой огромный тюрбан. В третий раз за несколько последних дней мое бедное ухо становится свидетелем его фирмофильного номера, но и сегодня вечером мне не кажутся убедительными ни сама идея, ни манера исполнения. Финал действа — о затяжном кризисе американских телефонных компаний, развале их региональных структур и завоевании господствующих высот в сфере коммуникаций транснациональными корпорациями-гигантами. Если я=Шпайк правильно истолковываю танец Баба Бея, его слова и выкрики слушателей, то символизировать этот экономический процесс должен хоровод: крупные акционерные компании подставляют свои обнаженные зады идущим за ними, а сами таким же образом проникают в тех, кто с приплясом шествует впереди.

Крошка Кэлвин пока не нашел времени обслужить меня. Двое молодых иностранцев, появившиеся в клубе вслед за мной, кажутся ему более выгодными клиентами. Он знает, что моя инертная масса никуда от него не уйдет, и ставит на столик перед ними свой ящичек с оракулами. Руку туда запускает только один из них, но потом они вместе склоняются над карточкой, будто афоризм предрекает им общую судьбу. Сидя вот так, висок к виску, они заставляют меня вспомнить тех двух туристов, что приветливо махали мне на террасе "Эсперанцы", приглашая присесть к ним за бывший мой столик. Может быть, это они и есть. Их смех слышен и в моей нише. Видимо, им нравится смысл девяти слов на *пидди-пидди*, которые Кэлвин нанес тушью на красную карточку, имитируя восточную вязь. Они ласково похлопывают Кэлвина по щекам. Малыш перекатывается с носков на пятки, с пяток на носки — стоять спокойно он не в состоянии. На нем фиолетовая юбочка в складку; прикрыть трусики с рюшками она могла бы лишь в том случае, если бы он вообще не двигался. Не так уж много времени прошло с тех пор, как за фривольность одеяния его исстегали в туалете клуба декоративными, украшенными жемчугом плетками. Один из ударов лишь чудом разминулся с левым глазом, бровь пришлось зашивать. И Кэлвин рассказал мне, что ему не оставалось ничего иного, кроме как обязаться всегда быть к услугам хирурга-косметолога, сирийца в эмиграции, чтобы тот при надобности подлечивал шрам.

Кэлвин несет свой ящичек обратно, к стойке бара, и мимоходом кивает мне. Ящичек с прорицаниями — его второй и, если смотреть вперед, пожалуй, единственно надежный капитал; ибо Кэлвин начинает — это хорошо видно в резком неоновом свете клубных туалетов — заметно стареть: только наверху, в полумраке, он еще некоторое время может сходить за девушку. Иностранцы, посещающие Клуб Голой Правды, помешаны на афоризмах Кэлвина. Бывают вечера, когда я=Шпайк вижу, что ему удается продать десятка полтора карточек. Нередко мои соплеменники с Запада, те, кому всегда неймется узнать, что их ожидает в будущем, требуют той же ночью продать им еще одну карточку, будто пророчество, коим они уже одарены, таким образом станет еще более достоверным. Тогда Кэлвин начинает жеманиться, прибегает, почти артистически, к разным уловкам, ссылается на положение Луны и другие высшие силы, чтобы под утро, перед закрытием бара, все же признать час благоприятным и, многообещающе покачивая юбочкой, вновь поднести ящичек с оракулами к уже мокрому от зулейки столику.

Фредди предсказывает нашему Кэлвину ужасный конец. Малыша свяжут и повесят вниз головой в один из водостоков Гото с поднимающимся оттуда болотным газом. Так поступали до сих пор с теми из местных жителей, кто позволял себе глумиться над творениями Великого Гахиса. Я=Шпайк не знаю, правда ли, что афоризмы Кэлвина, как утверждает Фредди, – всего лишь неуклюжая попытка передать в укороченной форме мысли Гахиса. Мои пальцы никогда не выдергивали карточек из ящичка с оракулами, а Песнопения и Проповеди Гахиса известны мне только понаслышке. Мы, давно осевшие здесь иностранцы, все когда-то обзавелись девятью кассетами – той версией с субтитрами на *пидди-пидди*, которую можно приобрести на видеобазарах в каждом более или менее крупном киоске по цене для туристов. Но этим дело обычно и ограничивается. Мы даже не разрываем прозрачную упаковку. От ослепительно белых футляров без всяких украшений, лишь с именем Гахиса и цифрами от 1 до 9, веет чем-то таким, что отпугивает нас. В конце концов мы закладываем видеокассеты в какой-нибудь дальний угол. Надо, пожалуй, поговорить с Лизхен, чтобы выяснить, куда девались мои копии Песнопений Пророка.

Кэлвин тащит поднос с полдюжиной бутылок крымского шампанского. Красное полусухое, оно полюбилось вдруг в последние месяцы. Молодые парни пьют его длинными глотками прямо из бутылок и, оторвавшись от горлышка, корчат странные гримасы, словно сами удивляются своему новому пристрастию. Участились случаи, когда пустые бутылки летят на сцену, но пока, насколько мне известно, ни один поэт серьезно не пострадал.

После Баба Бея на залитые зеленым светом подмостки вышел новичок, молодой сейшенец. На нем традиционная шапка из кошачьего меха, однако он привязал ее к голове широкой розовой шелковой лентой таким образом, что бант, как пропеллер, красуется перед гортанью. Дебютант начинает петь. Аккомпанирует себе сам на крошечном синтезаторе, оперев его на бедро и касаясь клавиш указательным пальцем с трогательным дилетантизмом. Песня началась словами, которыми по традиции открываются все песнопения сейшенских пастухов: *Когда молоко еще было травою – когда трава еще была землею – когда земля еще была скалою...* Отважное начало заставляет меня, хотя мой пузырь того и гляди лопнет, остановиться в дверном проеме перед туалетами. Но симпатичному юноше не суждено выйти за пределы двух или трех куплетов: чем-то он сразу же не понравился публике. На доски сцены с грохотом падают первые бутылки, а поскольку моя сострадательная душа не хочет быть свидетелем его позорного отступления, я=Шпайк скрываюсь в проходе, который с плавным наклоном ведет вниз, к туалетам.

Здесь, в ярко освещенном помещении перед кабинами, маленький Кэлвин впервые привлек мое внимание. Тогда ему еще не разрешали обслуживать посетителей в клубе, а усадили тут, за столик между умывальниками. Он продавал духи, освежающие салфетки, крохотные тюбики с вазелином и серебряные заколки, которыми парни одно время отводили длинные волосы с висков за уши. Та мода давно прошла. Сегодня даже Кэлвин, которого раньше украшал конский хвост, носит в дополнение к юбочке и шелковой блузке воинственно короткую прическу. Однако моя прихотливая память находит удовольствие в том, чтобы не забывать, как Кэлвин выглядел в прежние времена. Быть может, потому, что его манера

сидеть была для моих глаз усладой. Прикованный к банкетке за столиком с мелочным товаром, его зад тем не менее не знал покоя. Мальчуган сидел как на иголках. Плечи скользили по черной облицовке стены вверх-вниз, а общение со мной, платежеспособным иностранным клиентом, делало его еще непоседливее. Когда я окидывал взглядом аксессуары на столике, он сразу же отрывался от банкетки, и деревянной поверхности касались теперь лишь нижние части его бедер. Он стоял передо мной, слегка согнув колени, в неизменных ярко-красных штанах из эластичного рубчатого вельвета. Сегодня Кэлвин отдает предпочтение плиссированной юбочке, а мой глаз — юношам в бане у Фредди, однако это не мешает мне порой вспоминать, что тогдашний Шпайк не мог противостоять желанию взять с собой в одну из надежно запирающихся туалетных кабин — для оказания той или иной малой услуги — красноштанного Кэлвина.

Когда Кэлвин сделался официантом, человека, который сменил бы его внизу за столиком, не нашлось — однако самый ходовой товар сохранился в продаже, перейдя на лоток клубного разносчика видеокассет. Старик приходится малышу дальним родственником. Кэлвин уговорил начальство поручить ему эту работу, когда в торговлю начали поступать первые видеоклипы клубных поэтов. С тех пор беззубый старикан, жуя *чугг*, простаивает каждую ночь с лотком, подвешенным к груди на широких кожаных ремнях, у прохода от умывальников к писсуарам. Стоит он там и сейчас и наверняка заметил мое приближение. В перерыве после третьего действия зрители устремятся вниз, и ему удастся что-нибудь продать. Его лоток загораживает мне путь. Ради меня старикан не отступит и на полшага. Я=Шпайк протискиваюсь вперед, и когда мой корпус оказывается напротив его туловища, он плевком посылает большой комок чугговых волокон в ближайший писсуар.

Будничное явление в моем здешнем бытии; вероятно, ожидание сменщика изменило мой взгляд на вещи. Ибо пока опорожняется пузырь, перед глазами постепенно возникает картина того, чего заслуживает в качестве ответа престарелый любитель плевков. На обратном пути я останавливаюсь перед ним. Руки плавно уходят под деревянное днище его лотка. Сила вкупе со скоростью удивляют меня самого. В последние годы я не делал ничего, чтобы сохранить радостную готовность мускулов к сокращению и растяжению. Мне кажется, что я слышу зубодробительный удар, но это, пожалуй, всего лишь треск, с которым от контакта со лбом и скулами раскалываются на мелкие куски кассетные коробки из твердого пластика. Старик падает навзничь, и лицо его скрывается под углублением лотка. В сердце у меня — жестокость, в правой руке — боль, и я наслаждаюсь всем, что видит мое око.

Среди разлетевшихся по полу вещиц я замечаю квадрат из блестящего черного картона. Еще не нагнувшись, чтобы поднять его, я уже знаю, что это Черный компакт-диск. Просто так его не купить, в свободной продаже Черного компакт-диска нет. Иностранец, который попытается каким-либо образом добыть его, рискует очень многим. Компакт-диск содержит последнее, более чем часовое телеобращение Великого Гахиса — фонограмму той видеозаписи, ни одной копии которой, по моим данным, в продажу не поступало, ибо на сей счет существует строгий запрет. Зиналли рассказал мне, что один такой диск есть у Фредди. Однажды ночью, после бани, тот пригласил его, постоянного клиента, пройти к нему в жи-

лые помещения, чтобы вместе послушать запись. Похоже, ему был нужен сообщник. Ибо Фредди слушал последнюю речь Гахиса — в этом Зиналли вскоре уже не сомневался — точно так же, как и он сам, в первый раз. Сидели они на маленькой кушетке, щека к щеке, сдвинув головы под максимально разогнутой дужкой наушников. Последнее телеобращение Пророка в принципе не отличается от девяти известных Песнопений. Великий Гахис пользуется, как обычно, всеми языками и диалектами, на которых говорят в городе, свободно переходя от одного наречия к другому, а то и смешивая их. Он, Зиналли, понял бы только пассажи, произнесенные на *пидди-пидди*, если бы Фредди, шепотом, не переводил ему некоторые другие места синхронно. Фактически Пророк отчитывал своих сторонников, причем делал это в годовщину Освобождения, когда сердца переполняются радостью, — он распекал гахистов в то время, когда они безраздельно властвовали в городе. За мрачными, касающимися ближайшего будущего предсказаниями следует загадочный, нараспев продекламированный пассаж о сучьей природе Правды. Пассаж состоит всего лишь из нескольких стихов и неожиданно обрывается: едва с уст Пророка сходит последний звук, как слышится треск рвущегося шелка, а затем глухой удар.

Я, который есть я, нагибаюсь и поднимаю Черный компакт-диск с туалетных плиток. Из-под лотка разносчика выползает извилистый ручеек светлой крови и, следуя наклону пола, течет к смывному желобу под писсуарами. Я опускаю компакт-диск в широкий вырез моей рубашки, и он, перебравшись через левый сосок, сползает вниз, пока не утыкается в жир живота. Говорят, Великий Гахис проткнул свое белое одеяние острием традиционного кривого кинжала. На одном из кадров якобы видно, как тонкая шелковая ткань сразу же окрашивается в красный цвет от сильного кровотока. Последнее резкое движение правой рукой понадобилось Пророку, судя по всему, чтобы расширить рану и разорвать кишки изогнутым концом проникшего теперь глубже кинжала. После этого камера разворачивается объективом вверх, быстро скользит по потолку студии с его тягами и рычагами и ловит окаймленный темной зыбью блеск направленной в нее лампы. Последний звук, записанный и посланный в эфир перед внезапным прекращением передачи, не истолковать иначе как удар туловища обо что-то — или, еще вероятнее, как удар головы о крышку стола.

17. *Удовольствие*

Широко раскрыв глаза, Лейла Кэлвин наблюдала, как мы, презрев серебряные щипцы, заставляем лопаться скорлупу плодов жирного ореха, зажимая их между большим и указательным пальцами. Все зависит, как вскоре выяснилось, от умения так распределить давление, чтобы оболочка, трескаясь, не повреждала мягкое ядро. Мы знаем, какой силой и способностью осязать едва осязаемое обладают наши руки. Еще в годы учебы нам нравилось сесть друг против друга и, сцепив пальцы, развивать в них гибкость и выносливость. А став оперативниками, мы всегда испытывали особое удовольствие, если занимались каким-нибудь объектом в четыре руки. По форме и рисунку ядро жирного ореха похоже на ядро грецкого, но оно неприглядно серое и обтянуто тугой прозрачной кожицей. Лейла Кэлвин процитировала сентенцию Гахиса, в

которой, применительно к гахистскому движению, перефразировалась старая городская поговорка: *Неказистость жирного ореха таит в себе сладость за сладостью.* Мы поднесли ко рту мисс Кэлвин густо испещренную извилинами половинку ореха, и она схватила ее зубами, чтобы сохранить в неприкосновенности оранжевую помаду на губах.

В клубе тем временем не осталось свободных мест, а желающие попасть в него, судя по толпе у входа, все прибывали. Иногда кто-нибудь из тех, кого несло мимо нас, склонялся над нашим столиком, чтобы предложить свои услуги на *пидди-пидди*, американском или плохом французском; одно такое предложение прозвучало даже на сносном немецком. Лейла Кэлвин отвечала всем парой-тройкой коротких фраз, исторгая их из себя со злобным шипением и всякий раз производя на этих людей столь сильное впечатление, что они, ворча и чертыхаясь, спешили снова встроиться в общий поток и двинуться дальше. Значение слов, которыми фройляйн Кэлвин отражала любезные выпады в нашу сторону, было нам неясно, но мы поняли, что она считает нас своей добычей, и не чувствовали себя от этого менее счастливыми.

После короткого перерыва представление продолжил дуэт. Два брата, как оказалось однояйцовые близнецы, вынесли к рампе высокие стулья, похожие на табуреты у стойки бара. Усевшись на них визави, они долго испытующе смотрели друг на друга, будто в их лицах было что-то необыкновенное, доселе ими не обнаруженное, а затем начали перекликаться трубными голосами, чередуя повышения тональности с понижениями. Спросив мисс Кэлвин, на каком языке братья обращаются друг к другу и к публике, мы узнали, что они всего лишь предаются звукоподражанию нараспев. Многие поэты нового поколения пытаются, подобно неуемным археологам, вновь раскопать описания древних ритуалов, тексты давно забытых песен, сведения об исполнительской манере сказителей. Ее двоюродный брат, работающий в Институте по изучению и сохранению фольклора кочевых народов, может поведать много забавного о честолюбии и тщеславии этих новоявленных стихотворцев. После полудня они часами сидят в архиве института, прижав наушники к горящим ушам и прослушивая звукозаписи, сделанные десятилетия тому назад иностранными этнологами. При этом одни, закрыв глаза, что-нибудь напевают вполголоса, другие горланят песни на манер караоке, третьи еще и притопывают ногами. Ее кузен и второй институтский техник, двоюродный брат ее матери, нередко прокручивают ленты с удвоенной скоростью, дабы еще больше раззадорить поэтов — например, заставить их плясать, не отрываясь от стула, или со всей силою страсти предаться гортанному песнопению.

Лейла Кэлвин знала, откуда черпал вдохновение дуэт, пение которого мы слушали не без удовольствия. То, что близнецы исполняют, восседая на стульях и глядя в глаза друг другу, заимствовано ими у эгихейцев с их мужскими хоралами; как нацменьшинство те уже исчезли с лица земли. Через *American World Net* братья обзавелись записью богослужения в одной из эмигрантских общин, существующих в Торонто. Сакральный язык эгихеизма, крутой замес из древнегреческого и арамейского с латинскими, арабскими и даже староперсидскими вкраплениями, молодым пиитам совершенно непонятен. Однако именно поэтому, одним своим фонетическим великолепием, он побудил их к созданию собственных звукоподражательных

композиций, дал толчок оригинальному словотворчеству. Лейла Кэлвин сказала, что хорошо знает певцов. Вместе с ними она посещала языковые курсы при здешней миссии американских баптистов, пока эта миссия, как, впрочем, и почти все другие иностранные просветительские учреждения, не была закрыта из соображений безопасности. Молодым людям будет крайне интересно побеседовать с образованными пришельцами из других краев, и они несомненно изъявят готовность подойти после выступления к нашему столику.

Поблагодарив, мы сказали, что ребятам, пожалуй, не стоит себя утруждать. После чего Лейла Кэлвин тотчас сделала нам другое предложение. Мы наверняка слышали о *чугге*, волшебном растении из сказок "Тысячи и одной ночи". В одной из комнат наверху мы могли бы отведать самого лучшего *чугга* – вместе с изготовленной по всем правилам самогоноварения, выдержанной в бочке зулейкой. Настоящую старую зулейку в открытую не купишь. Нужны связи с умельцами, которые гонят эту редкую вещь в бывшем эгихейском квартале. Установить такой контакт не удается, как правило, даже тем иностранцам, которые осели в городе давно. А потому пришельцы оказываются обделенными вдвойне. Европейцы, американцы и японцы – последние, как известно, особенно чувствительны – могут насладиться *чуггом* без неприятных последствий лишь в том случае, если одновременно попивают зулейку-бренди. Ибо лишь такая зулейка содержит достаточное количество фермента, который делает этот жевательный наркотик приемлемым для их нежного кишечника. Доктор Линч Зиналли предостерег нас от *чугга*, подчеркнув, что местные хитрецы разного рода уловками и ложными утверждениями нередко побуждают иностранцев к одновременному употреблению *чугга* и алкоголя. Туристы, жаждущие приключений, приходят в себя, как правило, ограбленными, перепачканными блевотиной и калом, где-нибудь на задворках квартала увеселительных заведений – и потом вынуждены в довершение ко всему, будто унижениям вообще не должно быть конца, глотать зонд, который для очистки желудка заталкивает им в пищевод местный лекарь.

Мы с улыбкой приняли предложение Лейлы Кэлвин и освободили столик для других посетителей Клуба Голой Правды. Плиссированная Юбочка повела нас за собой. Лишь в толчее стало по-настоящему видно, какая маленькая наша проводница. Несмотря на высокие каблуки, она не доставала большинству мужчин и до плеч. И вдруг – точно понятия роста и пола сошлись в логическом коротком замыкании – мы стали искать среди публики представительниц женского пола. Зиналли утверждал, что генетическая витальность здешних племен наиболее ярко проявляется в высокорослости девушек и женщин. Войдя в клуб, мы не заметили за столиками ни одной дамы, и сколько ни вытягивали шеи теперь, оглядывая зал, узреть хотя бы один женский лик среди посетителей клуба нам так и не удалось. На секунду-другую мы потеряли Лейлу Кэлвин из виду, но вскоре нашли глазами снова – в нише рядом с дверью к туалетам. Лейла запустила руку под юбчонку, положила на край столика сверток и, продвинув его вперед, сунула в чьи-то растопыренные пальцы. Свет на ее клиента не падал. Но когда мы проходили мимо, то нам показалось, что в фигуре, притулившейся в дальнем углу ниши, мы распознали неряшливо одетого, обрюзглого итальянца, который пробрел неподалеку от нас по веранде отеля "Эсперанца".

Мы последовали за Лейлой Кэлвин на второй этаж, где одна дверь чуть ли не примыкала к другой. В комнатушке не оказалось ничего, кроме кровати, стула и маленького стенного шкафа, створки которого открывались тем же дверным ключом. За ними мы увидели батарею бутылок и с полдюжины небольших медных сосудов. Из-за красиво сработанного наргиле Лейла Кэлвин достала кожаный мешочек, а когда принялась – усердно, но неловко – развязывать его, мы воспользовались моментом и мгновенно взяли ее в тиски. Ты выбил у нее из рук мешочек с *чуггом* и шепнул в ухо, что нам очень даже хорошо известно, как обделываются дела с ограблением иностранцев. Наши пальцы вошли сзади в ее мокрые от пота подмышки. Каждому из нас было достаточно одной руки, чтобы взметнуть ее тельце вверх между нами. Мы дали ей немножко подрыгать ногами. У нее слетела сперва одна, потом вторая туфля. Ртом в оранжевой помаде она хватала воздух. При этом обнажались мелкие, не очень хорошие зубы. Мы молча подержали мисс Кэлвин некоторое время на весу, положили затем свободные руки на ее красивую длинную шею, помассировали на удивление крепкую гортань и прошлись гладящими движениями через вздувшиеся сонные артерии до высоко выбритого затылка. Наконец наши руки приступили к решительным действиям. Давя хорошо рассчитанным усилием вверх, на челюстные и скуловые кости, мы вытянули шейные позвонки. И пригрозили вытащить руки из подмышек. Короткого падения, вернее, той энергии ускорения, которую придется амортизировать затылку, хватит, чтобы вывихнуть один, а то и два позвонка, что может иметь, если хоть чуть-чуть не повезет, самые печальные последствия. Лейла не двигалась, лишь, едва шевеля губами, спросила, что нам от нее нужно. Ты снова приблизил рот к ее уху, захватил его зубами и слегка погрыз хрящевидную раковину. Серьга тихо позвякивала, касаясь эмали твоих зубов, пока ты не сказал, кого мы ищем. Нам доподлинно известно, напрямую заявили мы, что она знает Шпайка. К вящей нашей радости, она сразу это признала. Более того, уже второй фразой сообщила, что Шпайк сидит внизу, в клубе. Это человек, к которому она заглянула в нишу, когда мы втроем направлялись наверх.

Пожалуй, это было небрежностью – нанести Лейле Кэлвин лишь несколько ударов по низу живота и почкам. Ведь именно худые коротышки нередко оказываются крепче и выносливей, чем о них думаешь. Боль во внутренностях, так сильно деморализующая людей тучных, у тщедушных, напротив, может вызвать непредсказуемый подъем духа, эйфорию, стремление совершить отчаянный поступок. Наверное, нас подкупила красота мгновенья: Лейла Кэлвин корчилась на потертом восточном ковре, прижав руки к животу и подтянув конвульсивно подергивающиеся пятки к рюшкам своих трусиков.

18. *Великодушие*

Кэлвин влетает через дверь, обклеенную обоями. Сначала кажется, что он хочет миновать мой столик, но потом, резко развернувшись, он чуть ли не падает ко мне в нишу. Открываемую в обе стороны дверь без ручки между моим постоянным местом и спуском к туалетам легко не разглядеть. Она ведет к железной винтовой лестнице – кратчайшему пути на

оба верхних этажа — и используется обслуживающим персоналом, когда что-то надо сделать быстро. Будучи завсегдатаем клуба, я настолько посвящен в установленные здесь порядки, что примерно знаю, кого и что этим путем доставляют наверх или вниз, хотя моему собственному телу еще ни разу не приходилось протискиваться сквозь узкую, бесшумно распахивающуюся дверку. Лицо Кэлвина — в соплях и губной помаде. Тушь с ресниц растеклась от слез. Взяв его за плечо, я собираюсь спросить, что случилось за несколько минут, прошедших после совершения нашей маленькой сделки, но он тут же вырывается из моего полуобъятья. Пристально смотрит на меня, с шумом втягивает в себя воздух, плюет мне в лицо — и, схватив за волосы, выволакивает из ниши. С недюжинной силой тащит к двери, которая только что вбросила его сюда — в, казалось бы, самом жалком состоянии.

За дверью, едва ее легкое полотно успокоилось, он валится передо мной как подкошенный и корчится на нижних ступенях лестницы, будто испытывает боль уже оттого, что лежит. Задыхаясь, осыпает меня бранью. Однако исторгать проклятия для него, видимо, тоже крайне мучительно, и вскоре слов в его бормотании и стенаниях я уже разобрать не могу. Ставлю парня на ноги и слегка встряхиваю. И вот он уже выражается яснее. Если я правильно понимаю фразы на разных диалектах, срывающиеся у него с губ, то он говорит мне, что я должен немедленно драпануть через задний двор. Моим улыбчивым соотечественникам претит запах моей мошонки. Я больше не держу его, он опускается на колени и начинает карабкаться вверх по винтовой лестнице. Юбчонка задралась, и видно, что она мокрая. Трусики с рюшками, став от влаги полупрозрачными, прилипли к заднице. Почувствовав мой взгляд, Кэлвин разглаживает юбочку, насколько позволяет ее длина. Потом поворачивается ко мне лицом и цитирует на чистейшем *пидди-пидди* знаменитое изречение Великого Гахиса: *Молодые крысы вынюхивают место, где накануне переплыла реку старая крыса.* Я никогда не понимал, чего такого значительного находят гахисты в этой сентенции, тем более озадачивает меня теперь попытка применить ее в самом банальном смысле ко мне и тому человеку, который должен прийти мне на смену. На удивление самому себе, я с минуту охвачен чувством блаженства: родной Центр вновь представляется мне тем, чем он был для меня на заре моей карьеры, — оплотом знания и рукой, умеющей и дать, и взять. Я благодарю Кэлвина и протягиваю ему, уже преодолевшему на четвереньках несколько ступенек, все новые пятисотенные, которые еще остались у меня в пачке. По случайности это ровно столько, сколько я четверть часа назад заплатил ему за добытую для меня вещицу. Он прячет купюры под юбочку и показывает на дверь, за которой находится задний двор.

Нигде не написано, что Гото для иностранцев запретная территория. Ни в одном из переулков, ведущих в древнейший район города, ни пешеходы, ни транспортные средства не подвергаются контролю. Для объезда заторов, возникающих на бульваре Свободы Печати, таксисты нередко выбирают именно улицы Гото. Правда, от пассажира-иностранца на заднем сиденье потребуют в таком случае, чтобы он задернул солнцезащитные занавески и глядел на улицу, если не может без этого обойтись, только сквозь щелку меж ними. Впечатление от мельком увиденного разочаровывает. Кажется, жизнь здесь ничем не отличается от будничной

суеты в других старых кварталах. Лишь когда смуглый мальчуган или худой старик размахнется, чтобы запустить в железный бок такси камнем, прильнувший к окну чужеземец вздрогнет, внезапно осознав, что местные жители считают его шпионом, выведывающим тайны Гото ради извлечения какой-нибудь выгоды.

Мои глаза, в ту пору еще зоркие в равной степени, впервые увидели Гото с реки. Она огибает квартал и холмы, на которых он расположен, полукругом. Течение слабое, в полнолуние солоноватая вода болотистых рукавов подступает к городу. От реки тогда поднимается гнилостный и одновременно едкий запах, а дети ловят бредешками и простенькими удочками вкусных окуней того вида, который в другое время поставляется на рынки города только рыбаками из дальних окрестностей. С наступлением темноты, в свете круглого небесного диска, на берег спускаются к своим кумирням киренейцы, представители одного из нацменьшинств города. Они — в традиционном голубом одеянии, над ними плывут звуки песнопений. Подростки из общин других вероисповеданий видят в таких ритуальных шествиях возможность потешить себя и, оседлав мотоциклы, эскортируют киренейцев, кружат вокруг них с завывающими моторами, оглушительно сигналят, вопрошающе выкрикивают что-нибудь непристойное, не получая, конечно, ответа. В городе бытует мнение, что молебны киренейцев в полнолуние выливаются в сексуальные оргии, однако никакими фактами это мнение не подтверждено.

Последний раз киренейцы подверглись избиению, если верить рассказам Фредди на исторические темы, тысячу лет тому назад — со стороны монгольского войска, отряды которого, двигаясь на редкость мощной лавиной от низовьев реки, подошли по ее берегам к городу, чтобы разграбить его. В последующие столетия серьезных преступлений против этого национального меньшинства не было, хотя история города богата погромами и массовыми убийствами. И это при том, что, по сложившимся у нас, иностранцев — вдали отсюда — понятиям, именно киренейская народность прямо-таки напрашивается на стихийные расправы с ней. Она малочисленна, не может за себя постоять и сразу же привлекает к себе внимание экзотичностью своих обычаев. Однако киренейцев не трогают уже тысячу лет, и это наверняка связано с тем, что они унижают себя сами — родом своих занятий. Киренейские семейства зарабатывают на жизнь удалением фекалий, а также тем, что обеспечивают город морильщиками крыс и живодерами. Тележки с впряженными в них мулами проезжают и по кварталу тряпковаров, и мне уже не раз доводилось наблюдать, как возничие очищают выгребные ямы и сгружают возле них тюки с сечкой из сухого камыша, чтобы ею можно было посыпать жидкие отбросы.

Мне самому дважды пришлось воспользоваться услугами морильщика-киренейца. Сразу же после вселения в домик, дабы вывести в нем тараканов, и совсем недавно, когда наша крыша стала частью одного из маршрутов, по которым крысы с реки направляются к базарам. Каждую ночь Лизхен слышала шорох их лапок. Предсмертный визг тех, что попадали в расставленные крысоловки, доносился даже до меня. Киренеец приходил раз пятнадцать, чтобы ставить все новые и новые капканы — только так можно было перехитрить умных грызунов. А затем один из его сыновей караулил над нами ночь за ночью больше недели, выслеживая послед-

них, рыскающих по соседним крышам одиночек и бесшумно укладывая их стрелой из приспособления, похожего на арбалет.

Лизхен на протяжении всех тех ночей составляла охотнику компанию. Мне это известно, потому что подросток — с робким видом и даже готовый принять наказание — спросил меня на рассвете после охоты первой ночью, можно ли девочке находиться на крыше вместе с ним. Когда я дня три-четыре спустя, нагрузившись зулейкой, поднимался по лестнице, перебирая руками перила, нахаленок, тем временем совсем осмелев, поджидал меня с вопросом, может ли он разрешить Лизхен стрелять из его лука. Ей, дескать, так этого хочется... Вытаращенные глаза и весь мой озадаченный вид были для него, наверное, достаточным ответом, ибо он тотчас же исчез в направлении к приставной лестнице, ведущей на чердак. И я не сомневаюсь, что только он, а не Лизхен, ждал, как я прореагирую на сообщение о ее страстном желании поохотиться. По всей вероятности, она сопровождала парнишку с их общей добычей на пути в Гото, где травильщики сжигают мертвых крыс на больших серых лодках, окаймляющих берег реки. На этих плоских громадинах, похожих скорее на плавучие платформы, чем на лодки, днем и ночью дымятся костры. Из животного жира, золы, растертого в пыль камня и растительных экстрактов там варят знаменитое киренейское мыло, которое, говорят, можно теперь купить даже в Duty Free Shops[1] немецких аэропортов. Правда, крыс, даже очень жирных, для изготовления мыла не используют. Киренейцы считают их животными, некогда священными, но потом отвергнутыми Богом. Даже убив их, к ним относятся с известным уважением и сжигают на отдельных кострах, добавляя в огонь немного ладана или фимиама.

Я тороплюсь сойти к реке. Ее вод я не видел уже много лет. Сверток от Кэлвина, все еще не вскрытый мною, давит на ребра из внутреннего кармана куртки. Шагать с ним и неудобно, и приятно. Сейчас меня манит к себе пристань, где швартуются прогулочные катера: после наступления темноты они ждут жадных до впечатлений иностранцев. Списанные военные суда небольших размеров были перестроены с помощью простых средств, но не без умелости. Дабы не вызывать беспокойства, они ходят только ночью. В полнолуние, как сегодня, достаточно естественного источника света, чтобы получить представление об импозантных произведениях зодчества из голубой глины, возведенных на холмах Гото. Обратив триаду безобразных колонн к гавани квартала, Великие Врата Пророчества отстоят от воды менее чем на двести метров. А Голубой Храм, самое величественное монопортальное сооружение мира, огромное круглое здание без окон, можно хорошо рассмотреть за построенными еще в Средние века складами, как только матрос на катере направит прожекторы на его купол.

Сноп света с судна едва коснулся верхней части колосса, как раздались первые выстрелы. С берега древнейшего квартала по катеру открыли огонь. Однако малокалиберным пулям не пробить бронированную обшивку корпуса бывшего военного корабля и толстый плексиглас по периметру его палуб. Лишь один раз, по рассказам Фредди, — в смутное время, когда после гибели Гахиса прошел только год, — налет оказался ре-

1. Магазины беспошлинной торговли (*англ.*).

зультативным. По одному из прогулочных катеров пальнули настоящим фаустпатроном – старого натовского образца во франко-германском исполнении. И не промахнулись, после чего всем членам находившейся на борту туристической группы, торговцам мультимедийной аппаратурой из Сингапура, пришлось навсегда расстаться со своим бизнесом.

19. *Благочестие*

Место в крохотной нише, на котором сидел Шпайк, было еще теплым, когда наши руки прошлись по мягкой обивке. Обнюхивая спинку скамьи, мы ясно ощутили затхлый запах, оставленный здесь этим одичавшим типом. На столе лежала маленькая латунная баночка. С двумя одинаковыми таблетками и одной двухцветной капсулой. Ты сунул баночку в карман, и мы справились у бармена о местонахождении Шпайка. Тот сказал нам, что Шпайк с минуту как покинул клуб через главный вход. Парень, в небрежной позе облокотившийся на мотоцикл, охотно показал направление, в котором удалился старикан вместе со своим зловонием. Мы попытались догнать Шпайка, пробежали трусцой по бульвару метров сто, но поток прохожих был очень густым. К тому же наша спешка бросалась в глаза и вызывала раздражение. Когда какой-то продавец сладостей явно умышленно перекрыл нам дорогу своей тележкой и только благодаря хорошей реакции ты не полетел на мостовую, мы прекратили погоню. И, остановившись возле лоточника с кофе, удовлетворились сознанием того, что Шпайк, должно быть, давно свернул в один из переулков или взял такси. Он ушел от нас еще раз. Поскольку, однако, оставалось достаточно времени, чтобы вновь отыскать его, мы позволили себе расслабиться и не торопясь, маленькими глотками, выпить по чашке горячего мокко; ты подсластил крепкий напиток изрядной порцией ароматного, крупнозернистого коричневого сахара.

Лишь когда мы, неспешно шагая под руку, ступили на мост, то увидели луну. Очень большая, она низко висела над рекой – справа от нас. Диск был оранжевым, контур – неправильным, будто начертанным нетвердой детской рукой. Огромная луна апельсинового цвета – гордость и слава всего региона. Куль вскользь заметил, что она почему-то бродит как призрак в донесениях Шпайка. Прежде чем коротко и четко изложить суть дела, сообщить что-нибудь крайне важное, Шпайк почти всегда пускается в цветисто-путаные, с чудовищными орфографическими ошибками описания луны, ее формы и цвета. И нас тоже эта полная луна не оставила равнодушными. Поражала прежде всего резкость ее очертаний. Казалось, мы различали на краях диска ложбинки и взгорки, зубчики и расселинки... Словно кто-то вырезал его ножом из мглы городского неба.

Так мы стояли, прислонившись к перилам моста, соприкасаясь упругими мускулами плеч, и когда из-под его арки появился прогулочный катер, выглядевший скорее как военный корабль, и медленно поплыл в сторону луны, мы поняли, что перед нами – ничем не заслоняемый вид на запретный квартал. Темным и в то же время тускло поблескивающим скоплением домов на правом берегу наверняка был Гото. После гибели Гахиса, вот уже девять лет, квартал по ночам не освещается. Воинствующие элементы в раздробленном гахистском движении, они же фетишисты

слова, на основании некоторых туманно звучащих фраз в последней видеопроповеди Пророка сделали вывод, что освещать местность вокруг святынь недопустимо. Куль подробно остановился на предположении, что Шпайк скрывается в Гото. Подозрение это зиждется на скрупулезном анализе его донесений, а Центр всегда получает их через American World Net. С высокой долей вероятности можно считать, что Шпайк отправляет свои сообщения из Гото, пользуясь зданием бывшей баптистской миссии. Правда, реально телекоммуникационная сеть города находится в хаотическом состоянии: четкого представления невозможно получить даже об отдельных ее частях. В последние годы главным провайдером региона, обеспечивающим доступ к сети, стала American World Net. Успех этой компании, по международным меркам второразрядной, объясняется тем, что она устанавливала льготные тарифы для групп населения с религиозной или какой-либо иной мировоззренческой ориентацией. После того как контрольный пакет акций фактически оказался в руках различных христианских сект и фондов, American World Net распространила по всему миру заявление о том, что истинная вера восторжествует, свободно конкурируя с остальными учениями о Спасении. Даже небольшие объединения гахистов, кружки философско-либерального толка, пропагандируют свои взгляды через American World Net.

Все так же неторопливо дошли мы до верхней точки горбатого моста и смогли увидеть оттуда даже Великие Врата Пророчества, когда на них пал луч прожектора с прогулочного катера. О риске, какому подвергают себя иностранцы, появляясь в Гото, Куль не мог сказать ничего определенного. Еще на Корсике мы прочитали в одном немецком еженедельнике эксклюзивный репортаж по этой теме одного папарацци – в переодетом виде ему удалось проникнуть в Голубой Храм. Репутацию Гото как чуть ли не самого страшного места всего полушария и по сей день подкрепляет воспоминание о преступлении, жертвой которого лет десять-двенадцать тому назад стал взвод французских миротворцев. Разыскивая похищенного менеджера Международного Красного Креста, французы на бронетранспортерах вторглись в Гото, но попали там в засаду. Взятые в плен радикально настроенными гахистами, солдаты были выпущены на свободу лишь несколько недель спустя, после сложных переговоров. Все были живы, а обширные раны, образовавшиеся после отрезания носов, благодаря умелой обработке хорошо зарубцевались.

Сухощавая рука, которая вдруг оказалась меж наших головов, показывая на Великие Врата Пророчества, выглядывала из плотно облегающего ее рукава, и мы узнали Фредди, прежде чем услышали, как он говорит на *пидди-пидди* со своим прононсом. Мы тотчас же осведомились о возможности осмотреть Гото, и он, немного подумав, сказал, как поступил бы на нашем месте. Один живодер и мыловар из киренейцев устроил на своей повозке эдакий хитрый тайник и предлагает совершать в полнолуние, при малой облачности, увлекательные ночные прогулки по запретному кварталу. Осматривать достопримечательности можно по выбору, можно даже сойти с экипажа и, немного доплатив, перекусить в лодке киренейца, которая служит ему и жилищем.

Мы попросили Фредди чуть подробнее рассказать о путях подъезда к некоторым объектам, а затем ты прямо назвал среди них здание бывшей баптистской миссии. Фредди отвечал с такой невозмутимостью, как буд-

то знать планировку Гото было для него, горожанина со стажем, делом само собой разумеющимся. После того как Гахис в третьей видеопроповеди осудил преследование христианских общин, сравнив его с некрофилией, американские баптисты воспользовались благоприятным моментом и сняли для себя просторное складское помещение возле гавани. Оно является частью ансамбля такого же рода строений из голубой глины – аляповатых, без архитектурных особенностей, но почтенного возраста. Еще в то время, когда после так называемой Фиалковой революции повсюду веял ветер перемен, там обосновались разные иностранные учреждения – от общины свидетелей Иеговы до Культурного центра имени Гёте, субсидируемого, как известно, германским правительством. Так рядом со старым речным портом, поблизости от Великих Врат Пророчества, за два года возник привлекательный для горожан информационно-просветительный комплекс. Однако из-за своей неподконтрольной бурной деятельности он вскоре стал для гахистов-радикалов бельмом на глазу.

Вернувшись с Фредди на правый берег, мы последовали за ним в примыкающий к бульвару переулок, где быстро сгущались сумерки. Во дворе одного из домов стоял обещанный экипаж – повозка в форме большого, крашенного в черный цвет короба с двумя впряженными в нее мулами. Фредди договаривался с кучером на непонятной для нас смеси *пидди-пидди* и городских диалектов, но мы все же расслышали, что речь идет и о нашем желании посетить то место, где когда-то обретались баптисты. Наконец возница открыл искусно замаскированный лаз, и мы забрались в фургончик, где на скамейке с мягкой обивкой могли свободно разместиться два человека. А когда Фредди просунул в отверстие верхнюю часть своего тощего туловища, чтобы попрощаться с нами, мы схватили его под мышки и рывком втащили вовнутрь. Мягко, чуть ли не мягче, нежели, здраво рассуждая, это было возможно на нашем ново-*пидди-пидди*, ты сказал ему, что как сопровождающий он для нас просто бесценен. Раздвинувшись, мы втиснули сопротивляющегося между нами, усмирили точными ударами локтей его туловище, которое все время пыталось вздыбиться, и, огладив ладонями корпус и нижние конечности, убедились, что этот сухопарый человек не прячет под пиджаком или юбкой огнестрельное оружие.

20. Г*русть*

Я устроился на палубе, кроме меня на передних скамейках никого нет. Прогулочный катер заполнен менее чем наполовину. Почти все пассажиры разместились под палубой, где имеется маленький буфет и где, знакомя австралийских туристов с достопримечательностями, которые им еще только предстоит увидеть, трещит гид-переводчица. Лишь несколько японцев – может быть, те, что вчера в аэропорту на моих глазах вышли из самолета, – сидят вместе со мной в лунном, с оранжевым отливом, свете и наслаждаются свежестью бриза. Наше судно сначала поднялось немного вверх по реке, чтобы сделать разворот возле устья канала эгихейцев. При этом мы прошли совсем близко от моста, который считается в городе самым красивым. Имея плоский дугообразный выступ, застроенный по всей длине, он пересекает канал непосредственно пе-

ред местом его соединения с рекой. Рассказывают, что во время расправы над эгихейцами в зданиях на мосту расположились снайперы. Прицельный огонь вели и по спасающимся вплавь одиночкам, и по лодчонкам с целыми семьями: те надеялись, проскользнув под мостом, достичь реки. Работа стрелков затруднялась наличием множества трупов, брошенных в эгихейском квартале в канал и медленно двигавшихся, послушно слабому течению, к выступу моста. Когда город вспоминает о совершенных в нем злодеяниях, волны в этих рассказах всегда красны от крови. Но даже сейчас, в свете полной луны, мне видно, как по-будничному мутна вода, которая передается реке каналом. От стоков из свинарников буйно разрастаются водоросли, и просто не верится, чтобы человеческая кровь, даже в огромных количествах, могла преобразить буро-коричневый цвет в поблескивающий красноватый.

Когда я сообщил Кэлвину о своем желании обзавестись ручным огнестрельным оружием любой конструкции, он двусмысленно ухмыльнулся и, понизив голос, заявил мне, что я опоздал. И вообще: с тех пор как он меня знает, я всегда являюсь к шапочному разбору. Оставив меня в полном неведении относительно моих шансов приобрести желаемое, он вновь отправился к столику, за которым сидели те улыбчивые парни. А когда минут через пять потребовал от меня внушительную сумму в новых купюрах, я не решился спросить, что́ получу за эти деньги, — так неприятно мне было сознавать, что я со своей просьбой опоздал. Только теперь у меня есть время посмотреть, что же продал мне Кэлвин. Я достаю бумажный сверток, развертываю его и натыкаюсь пальцами на промасленную тряпицу, сквозь которую действительно проступают очертания небольшого ручного огнестрельного оружия. Внезапно инстинкт самосохранения заставляет меня оглянуться, и я вижу, что японцы наводят свои цифровые видеокамеры на правый берег. Наш катер приближается к мосту, возле которого он отчалил, чтобы пойти вверх и развернуться. Надо сдержать нетерпение. Лишь когда мы, пройдя под мостом, оставляем его позади и Гото притягивает к себе взгляды всех пассажиров, я быстро разворачиваю тряпицу.

Столетиями город славился искусством своих оружейных мастеров. Даже в музеях моей далекой родины есть сабли, кинжалы, мечи, попавшие на северо-запад по тогдашним торговым путям или в качестве трофеев. Новым владельцам они казались столь драгоценными, что не пускались в ход, а век за веком хранились в особых палатах, меж тем как другие виды оружия исчезали, уступая место более совершенным. Время заставило городских ремесленников заняться изготовлением и простого огнестрельного оружия. Сделанные в местных мастерских длинноствольные охотничьи ружья и по сей день пользуются у коллекционеров большим спросом, представляя собой, впрочем, разве что символическое орудие убийства. Не более чем украшением служат ныне и кривые кинжалы с искусной гравировкой; их по-прежнему делают в квартале кузнецов — как для внутреннего рынка, так и на экспорт.

Я держу в руках старинный пистолет столь причудливой формы, что поначалу даже возникает сомнение, а пригоден ли он вообще для стрельбы. У него два несуразных ствола: один расположен над другим и скреплен с нижним толстыми латунными кольцами. Рукоятка, напротив, — узкая и короткая, будто предназначена для очень маленькой руки. В голову сразу же приходит словосочетание "дамский пистолет", и на какое-то мгновение

я растроган, представив себе, что ради меня Кэлвин расстался со своим личным стволом. Пистолет весь покрыт гравировкой — не только стальные, медные и латунные детали, но и обрамление рукоятки из полированного рога. И когда мне после двух-трех неудачных попыток все-таки удается откинуть стволы и вытащить оба патрона, я ощущаю кончиками пальцев, что даже и внутри есть орнамент в виде тонкой насечки. Человек, который глубоко вник в историю и обычаи города и не перестает изумлять таких, как я, своими познаниями в этой области, наверняка объяснил бы мне, как из букв различных алфавитов сложилась вязь, что так богато украшает мое оружие. Передать потаенный смысл этой гравировки в форме занимательных историй лучше всех смог бы, пожалуй, Фредди.

В то время как я чуть ли не с грустью вспоминаю блестящего рассказчика Фредди, кто-то говорит мне на американском, что я — обладатель прекрасного оружия. Я не слышал, как ко мне приблизился этот японец. Дизель судна работает натужно и громко, хотя мы почти не продвигаемся вперед. Должно быть, винт вращается против течения, чтобы катер мог пройти мимо старой гавани как можно медленнее. Японец представляется. Я сразу вспоминаю это имя. Фредди назвал мне его вчера в фимиамном отделении своей бани. Моя память — обычно она любит мне отказать или дразнит бесполезными озарениями — на сей раз подсказывает, проявляя ханжескую уступчивость, даже настоящее, американское имя. Но я молчу, не прерывая собеседника. Он хвалит простой, надежный механизм пистолета и просит показать один из патронов. Патрон старый, говорит он. Из стандартного боекомплекта к винтовкам, какими была вооружена пехота союзнических войск во время Второй мировой войны. Его удивляет, что столь маленький пистолет — его, по идее, можно спрятать в любом кармашке — рассчитан на использование пуль крупного калибра. Вероятно, именно такие боеприпасы имелись здесь в изобилии в момент изготовления пистолета.

Мы приближаемся к гавани Гото, а значит, и к Великим Вратам Пророчества. Резанув слух довольно мерзким щелчком, в носовой части нашего корабля включился прожектор. Луч уходит сначала наискось вверх, к небу, и частицы зависшего над городом смога показывают, насколько хватает заключенной в нем силы света. Потом он резко идет вниз и высвечивает причальные сваи у края набережной. Там стоит группа людей. Расстояние пока велико, чтобы определить, не киренейцы ли это, совершающие молебен и ритуальные омовения. Паренек, обслуживающий прожектор, еще не направил луч на Врата Пророчества, а лже-японец уже спрашивает меня, к какому времени относится знаменитое сооружение. Я не отвечаю и думаю, стоит ли рассказать ему вместо этого, что здесь, на территории гавани, Великий Гахис собрал однажды своих самых верных сторонников — ремесленников и мелких торговцев квартала Гото, — чтобы, пройдя через Великие Врата Пророчества, направиться маршем вверх по берегу реки к казарме наводившей тогда на всех страх военной полиции. Согласно легенде, гахисты взобрались на кирпичную стену казармы, соорудив рампу из разбитых вражеским огнем повозок. Ко времени взятия штурмом полицейской казармы восходит и поверье, что Великий Гахис оставался неуязвимым для пуль, выпущенных в него погаными.

Но я не доставляю лже-японцу удовольствие услышать красивую историю. Забираю у него патрон, вкладываю в пустой ствол и опускаю писто-

лет во внутренний карман куртки. Потом пытаюсь взглянуть в слегка подкрашенное оранжевым лунным светом лицо раскосого янки пристальным взглядом. Получается лишь отчасти. Я отвык смотреть на людей в упор. Левый глаз у меня болит и начинает слезиться. Тем не менее я говорю коллеге из Нового Света, моему собрату по духу, под какой фамилией он родился, и еще раз смакую историческую курьезность его имен. По части имен в Соединенных Штатах, похоже, нет ничего невозможного. Внук военачальника, истребившего целое племя, носит имя этого племени, а правнук, не чувствуя ни малейших угрызений совести, ездит уже на автомобиле, марка которого названа именем того племени. Говорят, и на моей далекой родине новорожденным теперь нередко дают имена тех, кто в свое время подвергся массовому истреблению.

Мой визави не выказывает никаких признаков удивления. Да и чему он должен удивляться? Он погружен в те же материи, что и я. Черты его лица мягки и неопределенны. Такими мне видятся будущие президенты США: азиатское, как резиновая маска, натянуто на европеоидный череп. За моим визави, на берегу Гото, сверкнул огонек. На уровне набережной. Очень яркая, короткая вспышка. Глухой удар, сотрясающий корпус нашего судна, раздается лишь после того, как тонкая, острая молния гаснет на сетчатке моего глаза, но как раз темная пустота этой секундной заминки позволяет далекой вспышке и близкому удару слиться в сокровенном единстве причины и следствия.

21. *Благоговение*

Во Фредди мы обрели замечательного экскурсовода. Когда он, вздыбив длинный торс, еще раз попытался покинуть фургончик, который в тот момент тронулся с места, твой последний удар локтем пришелся, к несчастью, ему прямо в лицо, и нижняя губа тотчас же распухла; этим вздутием, однако, было остановлено кровотечение, так что вскоре миляга, забыв о саднящей губе, начал давать пояснения ко въезду в Гото. Он усердно сгибался как в левую, так и в правую сторону, чтобы, не обделяя никого из нас, комментировать то, что мы могли разглядеть сквозь зарешеченные тонкими брусочками окошки в дверцах экипажа. По переулкам Гото, похоже, двигались огромные толпы людей. Из-за отсутствия уличного освещения эта человеческая масса казалась в своем непрерывном ночном кружении еще более плотной и не знающей никаких преград. Мужчины большею частью были в гахистском облачении — на бульваре оно встречалось лишь изредка. В белое обрядились и многие подростки, что придавало им странно-серьезный вид.

Фредди поведал нам, как по мелким деталям — например, складкам штанов или отсутствию наружных швов — можно отличить одну группировку от другой. Сам Великий Гахис никогда не требовал обязательного ношения белых одежд. Но в своих Песнопениях он весьма эмфатически воздает хвалу этому цвету, означающему для него самоценную чистоту. В годы расцвета гахисизма в белое облачались лишь при свершении священных действ — молебна и борьбы. Так это в свое время показало всему миру и телевидение: забрызганная кровью униформа ударных отрядов и команд смертников и белое пятно на белом поле — беззвучно молящиеся.

Правда, видеозаписи гахистских молебнов делались только в главной аудитории Технического университета и относятся к краткому периоду Фиалковой революции. Поэтому Фредди посоветовал не доверять им. Распространенные по всем континентам, неизменно немые кадры скорее всего не дают правильного представления о том, как некогда протекали эти собрания. В *огнумах*, молельных залах гахистов, сложились за долгие годы угнетения весьма своеобразные ритуалы. Говорят, пение, которое раздавалось там, было бесподобным, проникнутым пленительной чувственностью, словно парящим в своем многоголосии, пьяняще колышущимся от спонтанных мелизмов и глиссанди. Его не оставляет надежда, сказал Фредди, что звукозапись этого коллективного искусства где-нибудь да сохранилась – пусть даже на одной-единственной кассете. Все без исключения *огнумы* города теперь пустуют или, хуже того, используются в целях, не имеющих ничего общего с их первоначальным назначением. В своей последней проповеди по телевидению с ее мрачно-провидческим флером Гахис фактически запретил проводить священные собрания и совершать связанные с ними ритуалы. Если верить журналисту, который якобы проник в Голубой Храм – сердце Гото – в переодетом виде и описал это в своем репортаже, то даже главный зал Храма, увенчанный громадным куполом, теперь вновь используется как складское помещение – так же, как в долгие годы унизительного чужеземного владычества.

Фредди, вероятно, заметил, что его толковые комментарии нам понравились, и попытался увлечь нас предложением заглянуть в дом к кучеру. Киренейцы славятся умением готовить кушанья из рыбы и собираются в полнолуние целыми семействами вокруг огромных медных кастрюль и противней, чтобы вдоволь насладиться произведениями своего кулинарного искусства. Фредди начал перечислять изысканные приправы и пряности, без коих оное просто немыслимо, но ты оборвал его на полуслове, не оставив сомнений в том, что мы желаем прямиком выехать к зданию, в котором размещалась миссия американских баптистов. Два года эти деловитые христиане занимались там, по словам Куля, пропагандой своего вероучения, пока им не пришлось покинуть Гото, оставив в квартале не только электронную аппаратуру, но и кончики носов особо энергичных членов миссии. По пластиковой трубе, ведущей вперед, к ко́злам, Фредди передал наше пожелание кучеру. Мы свернули в узкую, круто уходящую вниз улочку, и неожиданно на твоей стороне над плоскими крышами низких, без окон, домов проступили очертания Великих Врат Пророчества. Фредди продолжал свой рассказ и, опять же с миной знатока, сообщил нам, что это несуразное, лишенное каких-либо украшений сооружение, не имеющее аналогов в мире среди архитектурных произведений с колоннами, поскольку выстроено только из дерева и глины, исстари называлось весьма прозаически – Рыбными воротами. Ибо там правительственными чиновниками во все времена проверялся на свежесть и облагался налогом улов рыбаков, промышлявших на реке. И лишь относительно недавно, после легендарной атаки гахистов на главную казарму военной полиции, начавшейся именно отсюда и вылившейся в беспримерный акт самопожертвования и страшную резню, ворота перед гаванью получили новое название.

Не прошло и пяти минут, как Фредди, вытянув руку из нашей кареты и описав ею дугу над пустынной, грубо вымощенной площадью, показал

на здание, которое мы искали. Оно было частью ансамбля из узких, темных, блестящих, как антрацит в лунном свете, складов. Сквозь пластиковую трубу до нас дошел голос кучера, и Фредди перевел, что тот намерен подъехать к ним с тыльной, не обращенной к гавани стороны: там в них можно войти незаметно. Проезжая вдоль строений, мы не могли не заметить, что эта их сторона воспринималась в последние годы как фасадная. На стенах все еще висели остатки вывесок, и по уцелевшим буквам и слогам, фрагментам пиктограмм и знаков иной раз можно было догадаться, как звучало полное название фирмы или организации. Большие витрины, встроенные в стены первых этажей по заказу охочих до саморекламы фирм, позднее, когда силы обороняющихся, наверное, уже иссякли, были забиты досками. Кучер подвел фургон так близко к дому, что мы услышали царапанье колесных втулок о глину. Сквозь решетку правого окошка было видно, как он спрыгнул с козел и распахнул вовнутрь черную от копоти дверь. А затем завел в образовавшийся проем дверцу экипажа, так что мы смогли ступить из него — узрев на мгновенье полоску ночного неба — прямо в бывшее помещение миссии американских баптистов.

Чужая плоть смердит. Мы оба любим цитировать эту сентенцию нашего бывшего инструктора по ближнему бою к месту и не к месту — правда, в шутку. Однако наш добрый старый учитель, бритый наголо, обладатель всех высших поясов, прошедший боевую выучку в горячих точках на трех континентах, всегда вкладывал в свое любимое изречение самый серьезный смысл. Почуять запах противника означало для него мгновенно сообразить, что в поединке наступил перелом. При равенстве сил хрящ чужой гортани первым схватит железной хваткой тот, кто вдохнет "аромат" врага, говорил учитель. Запах животного происхождения, который ударил нам в нос, как только мы вошли в складское помещение, был и сладковатым, и едким. Фредди умолк, а живодер-киренеец, хотя ему, казалось бы, к такому не привыкать, быстро вытащил носовой платок и зажал им нос и рот. Подобные запахи может источать только гнилое мясо, и тот, кого профессия или беда познакомили с таким ароматом во всей его полноте, имеет собственное мнение о вкусе вяленого окорока и о том, как ночью, во сне, дышит его возлюбленный.

Возможно, вонь исходила от рыбных отбросов или от трупа большой речной крысы, чье мясо, если оно еще не утратило свежести и приготовлено со знанием дела, имеет вкус, будто бы напоминающий вкус жареной дичи. Кучер включил карманный фонарик скромной мощности и указал нам его лучиком путь к лестнице на второй этаж. Через узкие, высокие окна там лилось столько лунного света, что осмотреться мы могли и за пределами светового конуса от фонарика. Пол был густо усеян обломками офисной мебели и осколками средств коммуникации. Мониторы, клавиатуры, системные блоки, принтеры и множество других аппаратов, чье исконное назначение уже не поддавалось определению, — все это было разбито на удивительно мелкие кусочки и превратилось в бугристый слой мусора из пластика и разнообразного металла. Проход на третий, верхний этаж преграждали опрокинутые шкафы. Когда киренеец с помощью фонарика тщетно пытался найти в этой баррикаде какую-нибудь лазейку, мы увидели, что в отдельных ступенях лестницы зияют трещины, будто по доскам били кувалдой. Поэтому мы решили ограничить поиск мало-мальски пригодных доказательств вто-

рым этажом и нашли в конце концов обрывок бумаги с напечатанным текстом. Фредди зачитал его и перевел начальные строки. Текст ему знаком, сказал он, хотя переложен кое-как и к тому же с помощью фонетически сомнительной транскрипции, на сейшенский — вернее, на его основной диалект, который, по понятным причинам, никогда не достигал высот литературного языка. Это фрагмент одного из посланий апостола Павла. Продолжая поиск других отправных точек, мы опустились на колени, стали перетряхивать искореженные ящики столов, рыться в поблескивающем металлоломе, внимательно осматривать чешуйки платины, висевшие на медных проводках, как на отростках какого-нибудь корневища. Оторвали даже несколько плит коврового покрытия — но не обнаружили под ними ничего, кроме голых досок.

А надо было бы с самого начала осматриваться на уровне глаз. Масштабы разрушения чересчур быстро заставили нас устремить взгляд вниз. Ты обнаружил инсталляцию, когда распрямился, дабы размять затекшие от сидения на корточках мышцы ног. Она висела напротив окон, и полоска лунного света еще лежала на ее левой половине. Ты взял у кучера фонарик, и мы принялись молча рассматривать инсталляцию с близкого расстояния. Наконец Фредди сказал, что перед нами артефакт современного народного творчества, одна из тех скульптурных композиций, которые были созданы спонтанно, в дни наивысшего духовного подъема, в многочисленных, никогда полностью не идентичных и тем не менее всегда близких по смыслу вариантах. Стержнем произведения был простой массивный деревянный крест. Ты снял его и дал подержать каждому из нас, чтобы мы почувствовали, сколь он тяжел. Крест состоял из двух одинаковой толщины, но разной длины брусков, гладко обструганных и не подвергнутых никакой химической обработке. Такого рода распятия, убежденно сказал Фредди, как нельзя лучше соответствуют обусловленному захолустными нравами и потому косному миссионерскому рвению американских церквей. И действительно, на обратной стороне креста мы обнаружили овальную алюминиевую табличку с названием и адресом христианской столярной мастерской для умственно неполноценных мужчин: Сиэтл, штат Вашингтон.

Погромщики не обошли вниманием неброский крест. Они намеренно отделили его от всего, что, по их мнению, надлежало разбить или исковеркать. Об этом говорили изменения, которые он претерпел. К передней его стороне кто-то прикрепил кнопками аккуратную журнальную вырезку. Печатные краски на гладкой и плотной бумаге выцвели лишь слегка. Вероятно, вырезка была частью обложки общественно-политического еженедельника. Фотограф снял последнего американского президента в момент, когда хозяин Белого дома, широко разведя руки, то ли обращался с трибуны к избирателям, то ли выходил из своего самолета, прибыв куда-то с государственным визитом и готовясь ступить на чужую землю. Бумажное тело было, конечно, слишком мало, чтобы изобразить на мощной крестовине распятого человека. Тогда гахистов, которые решили украсить разгромленную ими миссию на свой манер, осенила еще одна идея: они повесили крест на стену, перевернув его. Нижняя часть вертикального бруса оказалась направленной вверх, и президент Соединенных Штатов висел теперь головой вниз, что придавало его знаменитой, с ослепительным оскалом, улыбке, излучавшей в течение двух сро-

ков правления молодость и оптимизм, выражение провидческой жестокости. Провозвестие его ранней, ужаснувшей весь мир смерти, казалось, было написано на лице этого сияющего радостью человека.

22. Радость

Экскурсионный катер тонет. Правый борт, через поручни которого экипаж и мы, пассажиры, перебрались на пристань, наклоняется к воде. Пробоина с рваными краями — следствие прямого попадания — уже скрылась под речной гладью. На нижней палубе несколько человек получили ранения. Без сознания или все еще в шоке, они лежат на одеялах, расстеленных членами экипажа посреди мола. Пожилой австралиец вдруг приподнимается и начинает выкрикивать что-то бессвязное. Гид-переводчица и один из соотечественников снова укладывают его на место и пытаются успокоить. На причале не было ни души, когда наше судно, сблизившись с ним, проскрежетало по его передней стенке накренившимся бортом. Вся портовая площадь, с мостовой из грубого камня вплоть до колонн Великих Врат Пророчества, блестит, словно надраенная лунным светом. Никто не нападает на нас, но и никто не спешит на помощь. Капитан орет в крохотный радиотелефон, лицо у него монохромно оранжевое. На самом деле оно наверняка очень бледное, если так натурально отражает цвет луны. Подмога, о которой он просит, должна бы прийти с другого берега. Но какой лодочник по своей воле отважится причалить в гавани Гото после того, что случилось с нами?

Рядом со мной возникает лже-японец. Когда он спрашивает меня, что, на мой взгляд, надо теперь делать, я разражаюсь безудержным смехом. В меня словно вселился какой-то бес, мне не хватает воздуха, напряжение голосовых связок сменяется их конвульсивным расслаблением, — и я просто перестаю владеть собой. Не сходя с места, извиваюсь всем телом, меня трясет, и в свете нашего незавидного положения я, конечно же, являю собой странное зрелище. Никто ведь не знает, что я уже много лет не смеялся вот так — от всей души. Левый глаз у меня саднит и сильно слезится. Но и одним глазом я вижу, как капитан кладет свой радиотелефон на срез причальной сваи. Переводчица тянет его за рукав к пожилому австралийцу, который только что, судорожно цепляясь за жизнь, кричал от боли, теперь же, хрипя и пуская пенистую слюну, начинает умирать. Посмеиваясь, я неровным, спотыкающимся шагом подхожу к краю причала и беру со сваи телефон. Раскосый последовал за мной, и потому складывается впечатление, что он ожидает от меня не так уж и мало.

Аппарат капитана — мобильный телефон "Луксор". Говорят, войти через "Луксор" в устаревшую городскую сеть не проблема — если немного повезет. Я набираю первые девять цифр и слышу жалобный сигнал ожидания, идущий от спутникового коммутатора. Не прерывая связи, набираю тот же номер. Раньше этот простой трюк удавался. Радиоконтакт еще существует. И я ввожу код старой военной сети и тут же слышу в ответ механический стрекот. На эту систему связи обратил мое внимание Фредди. Она была проложена специалистами Иноземной державы в канализации — независимо от надземных линий городского телефонного узла. В сети нет цельности, но она надежна и в годы после Революции использо-

валась мало. Подойдя ко мне вплотную, лже-японец слышит, как резкий свистящий звук оповещает меня о том, что третий прыжок засчитан, что я — в обычной городской сети. Теперь я набираю собственный номер.

Звуки — сонорные, почти что трубные. Я знаю, такими они и должны быть, если звонить кому-нибудь в квартал тряпковаров. Такие гудки били меня по барабанной перепонке в номере отеля "Эсперанца", когда я както пополудни в течение нескольких часов пытался связаться с фотографом-итальянцем, квартировавшим в домике до моего вселения в него. Резкий шлепок. На какое-то отрезвляющее мгновение я почти уверен, что связь прервалась. Но затем слышу лающее "алло". Лизхен у телефона. Было время — в начале нашего совместного обитания в домике, — когда я запрещал ей поднимать трубку. Но поскольку входящие звонки до сих пор почти не поступали, запрет этот невозможно было ни строго соблюдать, ни вызывающим образом нарушить. Мой раскосый заметил, что я дозвонился. Его взор загорается алчной надеждой — верный признак того, каких усилий стоит ему скрывать овладевший им страх. Прежде чем я сообразил, что надо назвать свое имя, Лизхен уже догадалась, кто дышит в трубку. Вопросы, от решения которых теперь зависит все, она задает отрывистым, жестким тоном. Я говорю ей, где нахожусь в данный момент. Но когда начинаю объяснять, какому ЧП я обязан тем, что оказался выброшенным на мол перед Гото, то улавливаю изменение шумового фона на линии. Я стараюсь докричаться до Лизхен — сначала громким, прерывистым "хэлло-хэлло" городского *пидди-пидди*, потом раза два-три менее громким, протяжным "халло" моего родного языка. Но связь прервана, и все дальнейшие старания дозвониться по собственному номеру до девчушки ни к чему не приводят. Наконец капитан забирает у меня телефон, чтобы в свою очередь попытать счастья. Стремительно набирает номер и затыкает ухо указательным пальцем правой руки. Ибо из уст умирающего австралийца вновь раздаются на удивление громкие стенания.

Я иду вдоль мола вверх по течению. Лже-японец словно приклеился ко мне. Он безусловно слышал голос Лизхен и расценил наш короткий разговор как обещание помощи. Его вера в меня явно сильнее веры в охранительные способности толпы. А может, финальные вопли и стенания австралийца гонят его, как и меня, за пределы их слышимости. Я прибавляю шагу, но он следует за мной по пятам и спрашивает, нельзя ли выбраться из Гото этим путем — держась ближе к реке. Я не отвечаю. Со скоростью, какую могу себе позволить, не переходя на бег, я устремляюсь к складским зданиям, ограничивающим портовую площадь. Там нашей западной наглости некогда удалось проникнуть в город наиболее глубоко. ЮНЕСКО внесла Гото в список Всемирного наследия и сразу же открыла в этом квартале свое представительство. Потянулись туда и другие организации, озабоченные сохранением духовного здоровья человечества. Не захотела оставаться в стороне и моя Германия, взявшая в аренду в этих зданиях последний, еще свободный этаж. Наш культурный центр расположился прямо над миссией американских баптистов. Была развернута даже некоторая деятельность: работали курсы немецкого языка для желающих овладеть экономической терминологией, немецкими юристами был прочитан на английском языке цикл лекций по административному праву. Назначили дату футбольного матча с национальной сборной немецких юниоров, однако из соображений безопасности игру решили не

проводить. Старые склады близ гавани принадлежали к числу тех мест, где начались стихийные выступления против присутствия иностранцев в городе. Местные службы безопасности заняли позицию невмешательства, собственная же охрана кучно обосновавшихся здесь иностранных учреждений культуры, хотя и оплачивалась высоко, хотя и обладала тяжелым оружием, была в численном отношении слишком слаба, чтобы воспрепятствовать взятию зданий приступом. Добыча грабителей продавалась затем на городских рынках. В офисе у Фредди целую стену занимают видеокассеты, великолепная коллекция французских, итальянских, американских и даже русских фильмов в оригинале — часть награбленного добра, купленная им тогда за бесценок.

Небольшой марш-бросок к складам действует на меня благотворно. С некоторых пор я страдаю нарушением кровообращения в пальцах правой ноги. Только в бане, попадая из жаркого пара в холодную воду бассейна и обратно, они теплеют и создают ощущение более сильное, чем слабый зуд вкупе с легким покалыванием. Сейчас я по крайней мере чувствую в пальцах боль и с удовлетворением отмечаю, что моему спутнику ходьба дается еще хуже. Кажется, он прихрамывает. То ли жмет пятку черно-лаковая остроносая туфля, то ли он подвернул ступню на неровной мостовой. Наконец до него доходит, что я направляюсь к одному из старых складских зданий, и он спрашивает, что я намерен делать. Я отвечаю на его американском, что хочу заглянуть в Культурный центр имени Гёте. А кто такой этот Гйоте и каков род его занятий, допытывается лже-японец, однако вместо того чтобы расщедриться на объяснение, я снова ускоряю шаг. Оба входа со стороны гавани закрыты горбылем. Не без злорадства разыгрывая ищущего возможность проникнуть внутрь, я пытаюсь хотя бы пошатнуть это похожее на баррикаду заграждение. Затем устремляюсь мимо соседнего здания к узкому проходу, ведущему к фасадной стороне вытянувшихся в линию домов.

Закоптелая дверь оказалась, как всегда, незапертой. Своего спутника я не предупредил ни о темноте, которая окружила нас, как только дверь захлопнулась, ни о вони, которая вновь заставляет меня — несмотря на частые визиты сюда в последние годы — подавить позыв к рвоте. Я спешу по лестнице наверх. Незначительные препятствия в виде разбитых ступенек или брешей в перилах уже давно меня не останавливают. Достигнув второго этажа, где размещалась баптистская миссия, и обернувшись, я вижу в лунном свете, падающем сквозь высокие окна, что мой лже-японец боязливо и тем не менее достаточно сноровисто выбирается вслед за мной из потемок. Все, чем был обставлен второй этаж, разбито с радикальной основательностью. Доступ к самому верхнему этажу кажется перекрытым; тяжелые металлические шкафы свалены грудой, и в ней не просматривается ни единого зазора. Но пробраться в центр имени Гёте все-таки можно: путь туда ведет сквозь один из этих предназначенных для хранения документации шкафов — через его передние дверцы и специально посаженную на петли заднюю стенку. Лестница за шкафом — опять же во мраке. Двух-трех ступенек нет, и я уже предвкушаю то мгновение, когда мой американец вскрикнет от неожиданности, шагнув в пустоту. Но лунолицый ползет за мной на четвереньках и преодолевает зияющий чернотой провал — ощупью и не без доли везения.

Все окна в бывшем культурном центре заколочены досками и завешены толстыми одеялами, чтобы не осталось и щелочки, сквозь которую свечение монитора могло бы пробиться наружу. Я не знаю, кто еще, кроме меня, пользуется этим помещением и блоком подключения для пересылки данных. Если мне надо отправить сообщение на старую родину, Фредди договаривается о времени. И тогда аппаратура на три часа в моем распоряжении. Это намного больше, чем мне требуется, но арендовать ее на меньший срок и по меньшей цене якобы невозможно. Живодеру-киренейцу, который привозит меня в Гото на своей переделанной под кибитку повозке, обычно не приходится ждать меня перед входом и получаса.

Электроника спрятана в полу. Надо снять одну за другой девять половиц, откинуть алюминиевый щиток и с помощью складного механизма поднять наверх компьютер. Когда лже-японец, все еще на карачках и с сильно кровоточащей раной на лбу, вползает в полосу света, исходящего от монитора, я уже установил связь с *American World Net*. В результате, с точки зрения логистики, мой коллега, к сожалению, не успел увидеть самое интересное. Правда, дисплей еще являет его взгляду заставку: гигантский деревянный крест скользит под мелодию американского национального гимна по медленно вращающемуся вокруг своей оси земному шару, словно утюжа на серфе атмосферу нашей голубой планеты. Нажав клавишу мышки, я как всегда выбираю один из пяти экуменических дискуссионных форумов — на сей раз круглый стол с темой "Апокалипсис и пророчество". Затем пишу пароль — их у меня несколько — и становлюсь участником полемики. Обычно я называю себя Эгихеусом, иногда использую одно из искаженных эгихейцами имен апостолов Христа. Сегодня появляюсь на виртуальном форуме под именем апостола любви, которое эгихейцы сократили, сделав односложным. Касаясь клавиатуры, пальцы дрожат. Но уже минуту спустя я печатаю то, что мне известно после получения по пневмопочте одного из последних посланий, быстро и уверенно. Описываю Центру лишь малую часть того, что произойдет в городе через несколько часов — в девятую годовщину гибели Гахиса. В виде исключения пишу донесение на английском: пусть мой бравый коллега, с сопением и пыхтением заглядывающий мне через плечо, немного пошевелит мозгами. Кодировать здесь, на простирающейся во все концы света лужайке, где резвится уйма фантазеров-эзотериков и путаников религиозного толка, надобности нет. Любая тайна и, таким образом, любое грядущее событие скрыты в этой несусветной разноголосице, в этих неистовых кликах предсказателей блаженства и бед, как семечко в тепле навозной кучи.

23. *Забава*

Фредди был прямо-таки золотым чичероне, и мы не жалели времени, чтобы хорошенько его пошлифовать. Выехать из ночного Гото оказалось делом нелегким. На улочках и в переулках царило теперь еще большее оживление, так что наш фургон продвигался вперед в пешеходном темпе. После безрезультатного посещения баптистской миссии беспокойство Фредди только возросло. Будто чувствуя себя виноватым и желая как-то компенсировать неудачу, которой закончилось ее посещение, он пустился рассказывать различные эпизоды из истории гахисизма, пыта-

ясь одновременно приковать наше внимание к тому, что творилось за стенками экипажа. Уткнувшись носом в зарешеченное оконце и чуть ли не перебравшись к тебе на колени, он собрался объяснить нам, почему новейшее облачение паломника скроено по архаичному образцу, но ты мягко водворил его на прежнее место. Затем мы взяли Фредди за длинные тонкие кисти рук так, что пальцы на сгибах хрустнули, и попросили осведомить нас о живущих в городе иностранцах. Ты напомнил ему, что на террасе "Эсперанцы" он расхваливал свою баню как место, где чужеземцы завязывают друг с другом знакомства. Он долго отрицал, что знает Шпайка, но когда ты искусным вращательным движением заставил мизинец его правой руки выскочить из сустава, ему вдруг вспомнилось, что среди неизменных посетителей его бани есть и немец с такой фамилией. В заведении Фредди этот человек проводит как минимум каждую вторую ночь, уходит обычно с рассветом, и вполне возможно, что мы еще застанем его на месте, если тотчас же, покинув Гото, отправимся туда. Готовность Фредди незамедлительно организовать встречу со Шпайком показалась нам подозрительной. Мы решили не спешить и добыть у нашего проводника побольше информации о Шпайке. Чтобы узнать его адрес, пришлось – при всем нашем терпении – выкрутить у Фредди мизинец и на левой руке. Выяснилось, что Шпайк проживает в так называемом квартале тряпковаров, в старом ремесленном поселке по ту сторону бульвара, где улочки как бы уходят от реки.

Усердно расспрашивая Фредди, мы не заметили, как выехали из Гото, и лишь рокот моторов на бульваре Свободы Слова побудил нас выглянуть наружу. Экипаж стоял на обочине проезжей части. Выйдя из него, мы заплатили киренейцу не больше, чем посоветовал Фредди. Луна зашла, и бульвар был залит смесью из различных видов искусственного света. От дуговых ламп времен иноземного владычества исходило, в курьезном контрасте с импозантными бетонными столбами, мутно-желтоватое свечение, которого хватило бы лишь на то, чтобы осветить две-три пяди земли вокруг их массивных цоколей. Но владельцы торговых лавок после ухода старых господ позаботились о дополнительном освещении. На стальных тросах, провисающих местами до голов прохожих, закреплено великое множество самых разнообразных светильников. Больше всего тебе понравились газовые фонари с раскаленными до белизны сетками под колпаками из разноцветного стекла. Еще богаче была палитра электрических ламп. Казалось, магистраты всех городов мира, где когда-либо меняли уличные фонари, прислали по одному отслужившему свой срок образцу сюда, на бульвар Свободы Слова, как в музей под открытым небом.

Мы стояли на тротуаре и взмахами рук пытались подозвать такси. Автомобили двигались в обоих направлениях сплошной массой, почти без просветов и тем не менее с поразительно высокой скоростью. Нам то и дело приходилось отступать с бордюра, спасаясь от тех грузовиков и автобусов, которые с грохотом и лязгом вдруг устремлялись прямо на нас, сбиваясь вправо с проезжей части. В потоке машин мелькало и немало такси. Некоторые еще не были заполнены до отказа, однако водители игнорировали наши призывные жесты. Наконец ты предположил, что причиной тому вид Фредди: он завис между нами огромным крючком, точно мертвецки пьяный. Отпустив его локти, мы потребовали, чтобы он сам подавал знаки таксистам. И действительно, уже следующий таксомотор – аме-

риканский лимузин преклонных лет с чувственно округлыми формами — прореагировал на них. Шофер резко затормозил и, совершив рискованный маневр, встроился в правый ряд. Покачиваясь и глубоко проседая кузовом, "линкольн" перевалил через край высокого бордюрного камня. Полетели искры, и вырванная из общего потока громадина остановилась среди прохожих и лавочников, отодвинув в сторону легкими ударами бампера двухколесную тележку продавца дынь и арбузов.

Болтая с Фредди, мы и оглянуться не успели, как оказались в квартале тряпковаров. Человек, который только что висел на наших руках так, будто у него отказали все мышцы, на заднем сиденье такси, обтянутом кожзаменителем, ожил вновь. Задавать вопросы больше не требовалось. Рассказчика окрыляло все — заинтересованный взгляд, дружеский кивок, удивленное покачивание головой. И когда в мрачной, тесной улочке — движение по ней минуты две-три блокировал завалившийся набок *вспи*, как называют здесь таксороллер, — наш гид неожиданно перешел на немецкий, ощущение было такое, словно *пидди-пидди* этого города и язык нашей далекой родины давно стали добрыми соседями и ступать через границу между их участками можно запросто, без церемоний. Фредди говорил по-немецки необычайно бегло — слышать столь беглую немецкую речь нам наверняка еще не доводилось. Слоги сокращались им до такой степени, что лишались гласных и сливались в звуки, похожие то на щелканье, то на хрюканье. При этом ни одно слово, испытывая столь мощное ускорение, не утрачивало своего исконного звучания.

Фредди рассказывал о начальном периоде своего пребывания в городе. Судя по всему, он был направлен в регион крупной немецкой компанией в качестве, так сказать, дозорного. На первых порах его задача заключалась в том, чтобы провести рекогносцировку местности, хотя и сулившей успех в бизнесе, но таившей в себе немало опасностей, и подготовить плацдарм для будущего руководителя филиала этой фирмы. Фредди с восторгом вспоминал, как жил тогда в "Эсперанце". Отель был охвачен настоящей золотой лихорадкой. Администрацию гостиницы возглавляла мадам Харури, блестяще воплощавшая характерный для города тип женской красоты. В туфлях на высоченных каблуках, делавших ее фигуру еще импозантнее, мадам Харури каждый вечер появлялась в баре, чтобы не только осушить бокал с бизнесменами и прочими солидными постояльцами, но и развлечь их анекдотом, каламбуром, а то и каким-нибудь оригинальным номером. Сам он — уж пожалуйста, поверьте мне, сказал Фредди — был в то время молодым тяжеловесом, однако не оплывшим жиром, а с литой мускулатурой, приобретенной упорными тренировками. И тому Фредди однажды ночью удалось совершить в баре, казалось бы, немыслимое. Кто только не пытался в те годы противостоять мадам Харури в традиционном для здешних мест *гивуке*, схожем с армрестлингом, — но только он смог оказать ей достойное сопротивление. Целых шесть минут понадобились директрисе с ее силой и убийственной техникой скручивания рук, чтобы припечатать его запястье к гладкому дереву стойки. В изумительно истеричном мире "Эсперанцы" эта несгибаемость сразу же принесла ему прозвище Чугунный Немец. Правда, непосредственным следствием локальной популярности стало временное удаление Фредди из города. Его тогдашний начальник, тоже молодой, но под ледяным дыханием целесообразности изрядно остывший человек, немедленно отко-

мандировал Фредди за контрпродуктивную известность на Мальту, с зачислением в разряд ожидающих нового назначения. Из вынужденной "эмиграции" он вернулся в город через полгода страшно отощавшим — чтобы, став наполовину мальтийцем, начать все заново. Открыв баню, он создал собственную оперативную базу. И по сей день она, можно сказать, идеально позволяет ему поддерживать словом и делом главного агента его фирмы, давно осевшего здесь в качестве сменщика Фредди.

Внимание, с которым мы следили за извергавшимся из Фредди словесным потоком, ослабло, когда мы свернули в улочку, где должно было находиться жилище Шпайка. Фредди заявил, что, по его скудным данным, Шпайк снимает здесь, в квартале тряпковаров, старый домик. Но вот как этот домик найти? Чуть ли не каждое строение на длинной, то и дело мучительно огибающей прямые и острые углы улочке, кажется, служило когда-то для изготовления бумаги. Прохожие, которых по нашей просьбе спрашивал Фредди, отвечали туманными фразами. Смысл большинства высказываний, если мы их правильно понимали, сводился к тому, что, мол, *вспоминая лицо инородца, наносишь вред своему здоровью.* Или нам прямо заявляли, что иностранцы изо дня в день разительно меняют свою внешность, и потому все в итоге становятся похожими на провинциала, которого невесть каким ветром занесло в город. Мы долго колесили по улочке из конца в конец, пока ты не заметил, что взгляд Фредди, в противоположность его ни на секунду не умолкающему голосу, задержался на одном из домиков вторично.

Мы нашли то, что искали. Ты расплатился с таксистом, не только выложив названную им громадную сумму, но и округлив ее более чем щедрыми чаевыми, и мы поволокли почти не сопротивляющегося Фредди к строению, особенность которого он выдал своим неосторожным взглядом. Домик имел два этажа, окна первого были закрыты ставнями. Прямо над дверью висела на железном кронштейне ртутная лампа. Хромированный колпак направлял поток ослепительного света на нас и славного Фредди. Пот покрывал его изможденное лицо подобно смазочной пленке, слова отрывались от губ с предельной скоростью. Этот немецкий был близок к тому, чтобы превратиться в не поддающееся пониманию щебетанье.

Зато каким ладным, излучающим бодрость смотрелся ты рядом с этой жалкой фигурой. Время тогда прекратило для меня свой бег, служба как бы перестала существовать. Украшением, которое невзначай нащупала твоя рука в углу мягкого заднего сиденья, можно теперь полюбоваться на свету. Пущей забавы ради ты еще в полумраке салона попросил нацепить его на тебя. Эту вещицу наверняка обронила там какая-нибудь из местных красавиц — те тоже порой пользуются услугами такси. В ядовито-ярком свете перед домиком Шпайка видно, что это своего рода колье, сделанное из начинки электронных приборов. Проводки, резисторы, диодики и триодики образуют изящное кружево, отливающее многоцветьем полированных благородных металлов и лакированных покрытий. На крохотных цилиндриках и брусочках — цифирки и буковки. Отдавшись созерцанию прекрасного, склоняешься к мысли, что детальки, служившие в свое время обработке информации, выполняют некую разумную функцию и на новом месте, определенном для них искусной рукой мастера. Твой вид — с прелестным ожерельем вокруг шеи — приводит меня в такой восторг, что,

кажется, я уже не слышу лепетания Фредди: оно походит сейчас на субмузыку, которая сама собой затихает, оно звучит как мьюзек[1].

24. Восторг

Дверь домика, где проживает Шпайк, не заперта. Мы вталкиваем Фредди в полумрак прихожей. Видим дверь, которая явно ведет в помещения первого этажа, и крутую деревянную лестницу. В домике тихо, темно и пахнет затхлостью. Прежде чем обследовать его, надо сбросить балласт. Легкими тычками под лопатки ты оттеснил Фредди к торцу коридорчика. Там тускло блестит окошко в задней двери. Через нее мы с Фредди выходим во внутренний двор. Он просторен, имеет квадратную форму и пуст – если не считать трех низких круглых бассейнов со стенками из камня. Замедлив шаг, даем бормочущему что-то себе под нос Фредди пройти немного вперед. Затем ты – с короткого разбега, высоко взметнув правую ногу, – наносишь ему удар в спину. Пошатываясь, он останавливается перед одним из бассейнов. И продолжает говорить, хотя в голосе уже нет никакого энтузиазма. Издаваемые им звуки – разве что жалкий писк. Но в этом писке, в этом дыхании с присвистом и тебе, и мне вдруг слышится что-то знакомое, трогательное, далекое. Мы обмениваемся взглядами. И несомненно думаем об одном и том же – о занятиях по основам техники связи, об упорных тренировках в пустыне Невада, о долгих ночах наедине с рацией... Вспоминаем, как замирало сердце, как к горлу подкатывал комок и к глазам подступали слезы, когда в наушниках, прорвавшись сквозь хаос голосов на длинных волнах, сквозь визгливую тарабарщину чужих языков, внезапно начинал звучать наш добрый старый немецкий...

Фредди уставился в окружье бассейна с таким видом, будто объясняет что-то буйно разросшемуся там чертополоху. После удара кулаком в затылок он валится вниз, через бортик. Перекатывается на спину, обращает к нам изодранное колючками лицо. Губы еще шевелятся, им еще хочется о чем-то поведать миру. Но какие бы слова они ни произносили, те звучат слишком тихо, чтобы достичь чьих-либо ушей. Двумя-тремя наипростейшими ударами ног, усвоенными из курса ближнего боя, мы заставляем нашего говорливого земляка сомкнуть свои уста навеки. Его почти не прикрытый жирком и мускулами скелет, его зубы и череп наполняют ночной воздух громким чистым треском. Потом наступает полная тишина. Во двор не проникает даже гул моторов с бульвара, хотя перед домом он еще воспринимался как отдаленный глухой рокот.

Теперь можно снова заняться пристанищем Шпайка. Окна, выходящие во двор, закрыты и темны. Мы возвращаемся в прихожую и с минуту ждем. Ни стука, ни шороха. Подходим к двери, ведущей в помещения первого этажа. Она не заперта. Ты ощупью находишь выключатель, и мощная неоновая лампа, мигнув раз-другой, озаряет все ярким блеском. Обе комнаты легко охватить одним взглядом; их соединяет широкий проход. Окна тщательно загерметизированы черной пленкой и клейкой лентой. Помещения явно служат лишь одной цели: посредине более просторной

1. Музыкальная запись, приглушенно звучащая в некоторых ресторанах, конторах и тому подобных местах.

комнаты стоит деревянный стол с телевизором, видеомагнитофоном и CD-плеером. Перед столом, напротив экрана, – старый офисный стул. Судя по этому ансамблю, голым стенам и обилию света, здесь кто-то регулярно работает. А вот растоптанные таблетки под столом и стулом, пустые бутылки из-под зулейки и множество скомканных бумажных платков на полу говорят скорее о неаппетитных привычках одинокого старика, чем о работе. Мы обследуем лежащие на столе кассеты. К нашему удивлению, их только девять. И на всех – что не менее удивительно – только видеозапись выступлений Гахиса, та самая версия Проповедей с субтитрами на *пидди-пидди*, ознакомиться с которой столь проникновенно рекомендовал нам доктор Зиналли. Ты берешь одну из потертых коробок, достаешь кассету и собираешься вставить ее в магнитофон. Но я, покачав головой, удерживаю тебя от этого: ленту наверняка прокручивали уже много раз, и смотреть ее нам нет надобности.

Изображение Гахиса и без того присутствует в помещении – выполненное, правда, более простым, технически более старым способом. На стене висит постер – черно-белая фотография, напечатанная на материале, имитирующем холст. Не будь здесь подписи – большими, по-восточному затейливыми буквами, – мы бы не догадались, что человек на фотографии не кто иной, как Пророк Революции. Молодой мужчина, которого вполне можно назвать красивым, сидит с обнаженным торсом за письменным столом. У него узкие плечи, но очень сильные руки. Ладонями он как бы взвешивает грозное оружие – тесак с широким клинком, похожий на мачете. И словно для того, чтобы впечатление было и вовсе противоречивым, Великий Гахис украсил себя ожерельем – цепочкой из маленьких, изящных, размытых на изображении звеньев.

Ты проводишь рукой по мускулистой груди Пророка, и под давлением кончика твоего указательного пальца постер заметно прогибается. Я снимаю его со стены, обнажая скрытое за ним полое пространство – нишу в кирпичной кладке, почти такого же размера в срезе, как закрывавший ее плакат. Ниша – глубокая, а в ней – загадочная комбинация из нескольких предметов. Сверху из кладки торчит толщиной в руку труба, отверстие которой закрыто массивной заслонкой из латуни и алюминия. Заслонка соединена жестким шлангом с газовым баллоном. Вентилем можно, по-видимому, регулировать давление. На его цилиндр посажены три рифленых медных кольца с цифрами. Кольца вращаются относительно друг друга в разных направлениях. Тебе они напоминают старые механические таймеры. Пожалуй, ты прав: с помощью этих колец можно устанавливать нужное время. Но схема работы всей инсталляции, ее назначение нам от этого понятнее не становятся.

Под установкой, на уступе ниши, стоят три стальные капсулы длиной с большую ладонь; по диаметру они, кажется, подходят к трубе. Две пусты, в третьей – полоска черной резины с надписью чем-то белым. Всего одна фраза на немецком, ты зачитываешь ее вслух. Не названному по имени адресату, к которому отправитель обращается на "вы", в скупых словах сообщается о немедленном и окончательном прекращении передачи всякой информации. Почерк выглядит по-ученически аккуратным. Обилие петелек и завитков говорит о том, что автор учился писать задолго до того, как мы пошли в первый класс. Короткий текст пестрит орфографическими ошибками. Слово "информация" искажено до такой степени, что мы ско-

рее угадываем, чем вычитываем его значение. Ты смеешься громко, от души — так действует на тебя наша находка. Похоже на установку для отправки пневмопочты, говоришь ты с улыбкой. И придаешь этой шутке пикантность, замечая, что Шпайк, наверное, собирается посылать на родину свои удивительные донесения столь же удивительным способом.

Обследование другого помещения на первом этаже оказывается делом более сложным. Из комнаты с видео- и аудиоаппаратурой в него падает достаточно света, но оно забито рухлядью с пятнами плесени и затхлым запахом. Груда мелких предметов мебели, отслужившие свой век телевизоры, пустые чемоданы, кучи одежды, стопки старых газет и журналов — будто кто-то переезжая на новое место жительства или расторгнув договор найма, временно сложил здесь ненужное барахло и забыл вывезти его на свалку. Все же мы решаем просмотреть печатные издания. Они троякого рода: несколько годовых комплектов нью-йоркского журнала художественной фотографии, итальянские спортивные газеты и своеобразный местный продукт — сентиментальные фотороманы с текстом "в облачках" на *пидди-пидди*. Не без удивления мы рассматриваем журнальчики с названиями *Sweet Emotion* и *Tender Feelings*[1] и обязательной парочкой в позе страстного взаимного влечения на обложке. Влюбленные, о тернистом пути коих друг к другу рассказывают истории в фотографиях, всегда одеты и причесаны по западной моде. Напротив, у второстепенных фигур, родственников будущей четы, соперников и соперниц, преувеличенно контрастирующих с оной, — традиционный облик представителей коренного населения. Ты просматриваешь последние страницы нескольких журнальчиков и находишь подтверждение нашему предположению: все эти романы в картинках заканчиваются большой свадебной фотографией. Гости торжества в старинных нарядах окружают невесту в белом платье и жениха в черном фраке.

Смысла во всем этом, применительно к Шпайку, не видно. С нетерпением продолжаем рыться в рухляди. Отодвинув в сторону раму и ободья велосипеда, наверняка не дешевой в прошлом шоссейной модели, натыкаемся в самом конце свалки, за прислоненным к стене матрасом, на длинный пластиковый мешок. Разрываем черную пленку и обнаруживаем в нем, к своему немалому удивлению, мумифицированный труп. Подтаскиваем высохшее и оттого ставшее легким тело туда, где света побольше. Похоже, это мужчина. Умер он в полосатой пижаме, фланель отлично сохранилась. Рот мумии широко раскрыт, и из него торчит усохший до острого узловатого конуса язык. На указательном пальце правой руки — необычно широкое золотое кольцо с треугольным камнем. Когда ты снимаешь его, палец отламывается, распадаясь на косточки, волокнистые кусочки и пыль. Дунув в кольцо, ты удаляешь из него то, что было когда-то плотью, и замечаешь гравировку — дату и короткое слово, скорее всего имя. К сожалению, золото при жизни обладателя кольца так стерлось, что однозначно распознать цифры и буквы уже нельзя. Имя, во всяком случае, начинается с буквы "П". Ты надеваешь кольцо на левую руку; оно подходит по размеру и явно идет тебе. А кроме того, я вижу, как гармонично сочетаются оба украшения — кольцо с

1. "Приятная эмоция" и "Нежные чувства" (*англ.*).

пальца мертвеца и колье, найденное тобой в такси. Они смотрятся аксессуарами городской моды, которой ты хотел бы следовать с непринужденной естественностью — и не только этой ночью.

Идем наверх, поднимаемся по крутой деревянной лестнице на второй этаж, и вскоре не остается сомнений, что именно здесь в основном и обитает Шпайк. В комнате, которая служит, по-видимому, гостиной, на передней панели телевизора висит дешифратор к передаче *German Fun*, экземпляр первой серии — с электроникой, что монтировалась еще в корпуса громоздких портативных плееров. Почти вплотную к телевизору придвинуто огромное, невероятно безобразное, сплетенное из тонкого тростника кресло. Шутки ради садимся в него на минутку вдвоем, и тут я замечаю, что пол между креслом и телевизором усеян битым стеклом. По всей видимости, это осколки флакона, в котором был лосьон для бритья. Ты осторожно опускаешься на колени и обнюхиваешь осколки и круглый коврик под телевизором. Если, однако, здесь и был пролит лосьон, то запах давно улетучился. Заднее помещение меньше "гостиной" и служит Шпайку спальней. Перед кроватью в зазорах между половицами — множество разноцветных таблеток. Ухватив одеяло кончиками пальцев, ты стягиваешь его в сторону. Шпайк спит, похоже, спокойно: в широком матрасе — узкая, но глубокая ложбинка. Простыня в ней — желтая, местами даже бурая. Слов для обозначения такого декаданса не подобрать, поэтому, испытывая сильнейшее отвращение, мы просто поочередно плюем на простыню.

Затем вновь продолжаем поиски. Вспарываем матрас и подушку с сиденья кресла, заглядываем во все ящички и за все дверцы скудной обстановки, обшариваем карманы в потертой, давно не знавшей чистки одежде Шпайка. В какой-то момент ты замечаешь, что здесь, наверху, нет ни клочка бумаги — ни газет, ни книг, ни писем, ни листка из блокнота. Среди пожитков Шпайка нет даже обыкновенного магазинного чека. На полке повыше телевизора выстроились шеренгой капсулы, точь-в-точь такие, какие стоят на первом этаже в нише за портретом Гахиса. В каждой — полоска резины или пластика с надписью. Надпись всегда на немецком, две-три мало что значащие фразы об уведомлении, информировании, передаче текста. В орфографии порой столько ошибок, что нет уверенности, понимаем ли мы надписи правильно. В одной из капсул находим-таки полоску бумаги. По-видимому, это винная этикетка. Напиток, бутылку с которым она когда-то украшала, называется *Club/True Old Suleika Brandy*. На обратной стороне что-то написано карандашом. Почерк тот же самый, но разобрать написанное невозможно: буквы смазаны, даже отчасти стерты, точно робкий первоклассник, стараясь прочитать слова по слогам, водил и водил по строчкам кончиком указательного пальца. Ставим капсулу обратно на полку, зная, что́ теперь надо искать. На стенах нет ничего, кроме небольшого выцветшего ковра. Ты срываешь его, и перед нами такой же конец трубы, как и на первом этаже. Труба идет снизу. Проходя в кладке почти вертикально, она, очевидно, всего лишь соединяет оба этажа.

Остается лестница к люку в потолке. Она деревянная, старая и, похоже, не очень прочная. Я становлюсь под нее и подпираю руками брусья. Выскользнув из туфель, ты начинаешь очень осторожно взбираться по лестнице. Но когда пытаешься плечами и затылком с силой приподнять

крышку люка, которая открывается почему-то очень туго, подгнившая перекладина под тобой трещит и ломается. В комнату сыплется белое пористое крошево, похожее на птичий помет. Просунув голову в люк, ты осматриваешься. Я гляжу на тебя снизу. Передо мной покачивается твое новое колье. И ты кажешься мне в этот момент существом необыкновенным, ты будто поднялся по лестнице, ведущей в небо, и, преодолев все преграды, проник в неземные, высшие сферы. Твоим глазам, наверное, требуется время, чтобы привыкнуть к сумраку на чердаке. Наконец ты кричишь мне, что ничего примечательного там нет. Чердак пуст, загажен и передвигаться по нему можно лишь на карачках. Тщательно обследовать его не стоит.

Итак, мы осмотрели всё. Гасим свет. Теперь надо ждать старика. Ты приоткрываешь одно из окон, выходящих на улицу. Веет прохладой. Ночь только сейчас, незадолго до нового рассвета, освободилась от жара минувшего дня. За стенами домика полная тишина. Кажется, замерло даже движение по бульвару. В квартал не доносятся ни гудки, ни шум моторов. Но через некоторое время, висок к виску в освежающем токе воздуха, мы все-таки улавливаем какие-то звуки. Перестук, сначала далекий, приближается, усиливается, обрастает разными оттенками громыхания. Такая комбинация звуков нам знакома. Это грохот изношенного железнодорожного полотна вкупе со скрежетом и лязгом старых вагонных деталей и механизмов. Шум убогости — его нам часто приходилось слышать в бедных странах. Но на сей раз эта убогость ощущается явственнее: измученный материал жалобно стонет, будто собираясь утратить контакт со щебнем и всей насыпью, более того — с самой землей. Металл поет, будто поезд устремляется ввысь — туда, где пролегают райские пути.

25. *Память*

Железная дорога Старого города везет меня домой. Я никогда ею не пользовался и только теперь, с большим опозданием, могу оценить ее преимущества. Чугунные ходули вознесли полотно дороги над улицами. Почтенные кварталы города горбятся под мрачной трассой, будто на них насела вереница племенных быков. Наш поезд — три обычных и один моторный вагон — упрямо ползет вперед над пешеходами и тележками с впряженными в них осликами, над *вуспи* и бесчисленными автофургонами японских моделей, будто железная дорога, как ни посмотреть, более древний способ передвижения, будто в последние часы этой ночи, предваряющей девятую годовщину гибели Гахиса, на средневековые глинобитные постройки и их сегодняшних обитателей упал громадный доисторический червяк. Немецкие инженеры, которые проектировали городскую железную дорогу, руководили строительством и завезли сюда морским путем из своей далекой родины весь, вплоть до болтов, материал, задумывали ее как внутреннее кольцо. Два других кольца, рассчитанных на более высокие скорости, должны были охватить кварталы не столь давней застройки и возникавшие как раз в то время окраинные районы. Но дальше старгородского кольца, а по сути, кривого овала, дело не пошло. Взрывоопасная ситуация в регионе, большие и малые войны, частая смена власти воспрепятствовали запланированному расширению. Хронический недостаток средств у городской администрации способствовал тому, что

однажды принятое в эксплуатацию не претерпело на протяжении почти целого столетия никаких изменений. Так на вокзалах с их кованным из желтой меди и затейливым по форме убранством и сохранились, и стали выглядеть нелепыми технические достижения той поры, когда железная дорога строилась, поскольку убранство это со временем истерлось, поблекло, покрылось трещинами. С окончанием иноземного владычества железная дорога была продана консорциуму западных фирм, которые собирались основательно обновить ее полотно и все технические сооружения. Но волнения на почве ксенофобии и сохраняющаяся недоступность Гото вскоре снова сделали иллюзорными надежды на использование "надземки" в туристических целях. Капитальные ремонтные работы были прекращены, и ее по-прежнему стали эксплуатировать как дорогу, по которой едешь, оглохнув от грохота, на которой постоянно что-то ломается и которую приходится то и дело чинить.

Лизхен приехала за мной. Лизхен сумела воспользоваться старой надземкой. На ней девочка отправилась в запретный квартал. Нашла меня и привела к единственной в Гото станции надземки. Станция совсем близко от старой гавани. Ее здание напоминает носовую часть огромного корабля и втиснуто между фасадами двух величественно изящных глинобитных домов. Я подивился тому, что все ячейки внешнего остекления и даже большие стеклянные вращающиеся двери целы. Хотя все покрыто вековой копотью или отшлифовано до матового блеска песком, летящим сквозь город, но охранительная рука случая, а также, может быть, страх перед аурой здания, так и оставшейся для горожан чужой, не допустили, чтобы пулеметные очереди революционных лет или камни, брошенные подростками в победном опьянении, лишили его стекол.

В темной подворотне, вдали от посторонних глаз, я маскируюсь, быстро натягивая на себя принесенный девочкой *кууд* — длинный балахон из белой козьей шерсти с просторным капюшоном. В старину так обычно одевались паломники, у нынешнего же поколения горожан это облачение приобрело популярность лишь в последние годы. *Кууд* разрешается носить гахистам, которые прошли пешком до северных соленых озер и три дня постились там на территории бывшего лагеря для заключенных. Рассказывают, что Великого Гахиса держали в этой трудовой колонии, когда он был совсем молодым человеком. Совершив дерзкий побег, он шел, если верить рассказам, три дня и три ночи, дабы вернуться в одеянии чабана к своим осиротевшим и впавшим в уныние приверженцам. Только когда они все собрались вкруг него, он откинул закрывавший лицо капюшон и помог горстке адептов распознать себя — знаменитым изречением о соли в ране народа.

Эта легенда не считается неоспоримой даже среди гахистов. Сведения о происхождении, детстве и юности Гахиса скудны и противоречивы. На единственной фотографии, относящейся к годам его молодости и обретшей широкую известность, он сидит с обнаженным торсом за грубо сколоченным столом, держа в руках тесак, которым в здешних местах пользуются для рубки камыша. Вопрос, является ли снимок моментальным, отражающим реальность, или постановочным — ради придания ему глубоко символического значения, — чреват серьезными политическими и теологическими последствиями и требует крайней осторожности при его обсуждении, если избежать такового никак нельзя. В затуманенном

фимиамом отделении своей бани Фредди как-то сказал мне шепотом, что все истории о *кууде* и пребывании Гахиса в лагере для заключенных родились в портняжных мастерских квартала Гото, где из свалянной в войлок козьей шерсти шьют старинным способом паломнические одеяния, там же и продавая их задорого. А означенную фотографию смонтировал наделенный фантазией умелец, отпрыск известного армянского рода, взяв для этого снимок неизвестного человека и портрет Гахиса в зрелые годы, отретушированный так, что пророк выглядит на нем совсем молодым. Подделанная голова оказалась на чужом туловище. Дельца от фотографии разоблачили сотрудники одного из городских комитетов борьбы за чистоту крови и нравов, органа гахистского правосудия. В наказание ему выкололи левый глаз и закрыли его студию на бульваре Свободы Слова. Но фотография, за короткое время прямо-таки заполонившая город и окрестности, уже стала предметом поклонения. Гахисты больше не отваживались называть ее подделкой. Напечатанная на имитации холста, она висит во многих мастерских и магазинах, обычно возле дверей и на высоте глаз, дабы клиенты и покупатели могли целовать руки изображенного на ней. От Фредди, который давно подкармливает меня сообщениями о больших и малых событиях, происходящих в городе и мире, и наверняка будет делать это и впредь, я также узнал, что эта икона революции попала даже в западные энциклопедии — по крайней мере в интернет-версии одной из них найти ее можно точно.

Неотъемлемая деталь *кууда* — маска, имеющая некоторое сходство с марлевой повязкой врача. Говорят, что пастухи на соленых озерах носят у рта и носа кусок войлока из козьей шерсти для защиты дыхательных путей от мельчайших частиц пыли. По представлениям паломников, *кууд*-маска означает, что правоверный оберегает себя от злых речей и вредных мыслей, от ядовитых проявлений духа, которые подчас овевают его со всех сторон. Я сам рад-радехонек, что по совету Лизхен прикрыл нижнюю часть лица войлочным четырехугольником, ибо в наш вагон вошла группа подростков: пять юнцов в бедной одежонке, с узкими белыми повязками на бедрах — это признак их принадлежности к сторонникам Гахиса. Усевшись на длинной деревянной скамье напротив нас с Лизхен, они сразу же начинают собирать из деталей, что у них в пластиковых пакетах, маленький миномет китайского производства — устаревший, но славящийся своей надежностью и потому все еще популярный вид оружия. Одну из трех сошек заменяет грубо подогнанный по длине сук, примотанный к остову проволокой. Без лишних слов мальчишки быстро решают, как состыковать отдельные части. Под конец один из них обрабатывает молотком ствол, в который уже вставлена мина, похожая на большой огурец.

Лизхен с интересом наблюдала за сборкой миномета. В какой-то момент даже встала, приблизилась к паренькам и сказала, что один болт у них поставлен неправильно, и те отнеслись к ее словам с вниманием. Взаимоотношения полов среди приверженцев гахисизма всегда оставались для меня неясными. Рассказывают, что в Голубом Храме одно время находился Ларец Матери, небольшой сундучок черного дерева, в котором хранились простые украшения и зачитанные книги матери Гахиса. Труды Пророка якобы содержат не допускающее отклонений учение о наследственности, согласно которому все добродетели — а гахисизм знает ис-

ключительно бойцовские — заключены в материнских генах. С другой стороны, ни одна религиозная община не испытывает такого трепета перед менструацией, какой свойственно испытывать гахистам. Мелкие группировки радикального толка даже считают запах разлагающейся женской крови смертельным. И если верить сообщениям западной прессы, то эта догма уже использовалась для обвинения женщин в убийстве супругов. Зиналли, который видит в Пророке законного наследника великого Дарвина, знает об этом всё. Панический страх суеверных сектантов, говорит он, может основываться лишь на том изречении Гахиса, которое гласит: *Волчонок боится крови волчихи.* Но не следует, конечно, понимать этот тезис буквально — уразуметь его глубокий смысл можно только в контексте биоисторического учения Пророка.

На первой станции у бульвара юные гахисты выходят. Им стоит немалых усилий протащить миномет через двери: сошки у монстра сильно раздвинуты. Когда это наконец удается, один из подростков еще раз заглядывает в вагон и, обращаясь не столько к нам обоим, сколько ко мне, паломнику, выкликает прощальное приветствие. Это просьба о благословении в пространной, архаичной формулировке; последние слова разобрать невозможно: они поглощаются шипением пневматических дверей.

Нет сомнения, что Лизхен отправилась в дорогу сразу же после моего звонка. Я, местный иностранец, даже не знаю, где находится станция надземки в квартале тряпковаров. Лизхен подходила к гавани в Гото как раз в ту минуту, когда я возвращался туда из здания бывшей баптистской миссии. Звонкий стук ортопедических башмаков доносился до меня через всю площадь. Девчонка шла быстрым твердым шагом. В лунном сиянии Лизхен показалась мне более высокой, чем в обычной обстановке, — впечатление было такое, будто она неудержимо росла в тени моего внимания, рядом с унылым течением моих лет. Она энергично, чуть ли не весело помахивала пакетом с тесемками. Его пластик был явно белым-пребелым, ибо светился оранжевым светом — в тон луне. Прежде чем я спросил, что у нее в пакете, она заметила мою рану: задумавшись, я поднес правую кисть ко рту, чтобы слизнуть кровь. Лизхен тотчас же велела мне показать руку, и вместе с девочкой я впервые увидел рваную рану. Ткань правого указательного пальца глубоко разошлась над средним суставом. Лизхен поставила пакет на мостовую и запустила в него обе руки. Я услышал похожий на жужжание звук открываемой молнии, после чего в руках у девочки оказались пакетик с липким пластырем и маникюрные ножницы.

Теперь, в свете вагона надземки, боль, появившаяся в руке лишь после ее врачевания девочкой, еще раз напоминает о моем коллеге. В темноте Культурного центра им. Гёте лунолицый американец помог мне напоследок спрятать электронику в полу. Складной механизм, в общем-то практичный, но всегда работавший с натугой, впервые заклинило, и пришлось дружно и ритмично надавливать на него с обеих сторон, чтобы разблокировать шарниры. Во избежание повторения такой загвоздки надо бы при следующем визите туда принести с собой какую-нибудь смазку. На сей раз, во всяком случае, я был ужасно рад, что американец мне так ловко подсобил. Мы вместе стали спускаться вниз. Коварная лестница в баптистскую миссию при спуске требует гораздо большей осто-

рожности, чем при подъеме. Я шел первым и предупреждал моего спутника, если ступеньки в том или ином месте отсутствовали. Лишь у подножия лестницы я пропустил его вперед. Благоприятствуя моему замыслу, луна висела теперь низко, свет ее широкими полосами падал на обломки мебели и аппаратуры. С любопытством осмотревшись, коллега склонился над грудой старых дискет. Я не мешал ему, я ковырял носком туфли в мусоре, будто там могло найтись что-нибудь и для меня. Он опустился на корточки и вынул из внутреннего кармана очки, чтобы прочесть какую-то надпись. Подойдя сзади, я спросил, что там написано. Однако первые слова ответа, который, вероятно, мог бы быть куда более пространным, потерялись для меня и, таким образом, для потомков в инфернальном грохоте, которым сопровождался выстрел из дамского пистолета. Мой коллега рухнул на баптистские дискеты так, будто я не только выстрелил ему в голову, но еще и пнул ногой в спину.

Только теперь, в погромыхивающем вагоне надземки, слушая напевное бормотание Лизхен, положив ноющую руку на пластиковый пакет, я решаю осмотреть оружие, которым был ранен. Запускаю левую руку под подол *кууда* и достаю пистолет. Сразу становится ясно, что с ним случилось: одно из латунных колец, охватывавших оба ствола, при выстреле лопнуло и вонзилось острой верхней кромкой в мой палец, который лежал на спусковом крючке.

26. Н*адежда*

И в Гото, и только что в вагоне надземки *кууд*, облегая мои плечи и спину, приятно согревал меня. В последние ночные часы, особенно при ясном небе, в городе может ощутимо похолодать. И все же теперь, преодолевая короткое расстояние в квартале тряпковаров от станции надземки до нашего домика и следуя за Лизхен, я обливаюсь потом в этом балахоне из козьей шерсти. Правая нога болит все сильнее. О размеренной ходьбе нечего и думать. До лодыжки нога онемела, и все чаще, возникая в пальцах, сквозь подъем и голень с захватом колена, ее пронизывает страшная колющая боль. Хромая, я отстаю от Лизхен на два, три, а вскоре уже и на пять шагов, она же шагает в своей ортопедической обувке так, будто громадные черные башмаки стали невесомыми и она больше не нуждается в них как в жесткой опоре. Правая рука тоже делает мое продвижение вперед мучительным. Хотя я, напрягая мышцы до судороги, держу ее на высоте плеча, в рассеченном пальце бьется пульс. Кровь давно пропитала пластырь и стекает по запястью в рукав. Когда мы пересекаем безлюдный овощной рынок, я окликаю удаляющуюся от меня девочку и прошу ее остановиться: мне надо перевести дух.

Сажусь на край фонтана, кладу больную ногу на парапет и вытягиваю руку для осмотра. Но Лизхен начинает копаться в своем пластиковом пакете и извлекает оттуда толстую пачку денег. Я узнаю ее по шнурку от ботинок, которым в свое время перевязал банкноты. Это наш "неприкосновенный запас". Лизхен рассказывает, что деньги ей уже пригодились. Когда она ехала в Гото, на одной из станций в вагон вошли три гахиста преклонного возраста с автоматами новейшего образца. И потребовали от нее и упитанного молодого сейшенца — больше пассажиров в вагоне

не было — сделать пожертвование в честь Великого Гахиса и девятой годовщины его гибели. Хоть и не без труда, но ей удалось-таки выдернуть из толком еще не оттаявшей пачки все новые пятисотенные и сунуть их одному из этой троицы в костлявую длань. Сейшенец же по молодости лет сглупил: дал старую, дореформенную десятитысячную, к тому же истертую и грязную. Словно это могло быть единственно возможным ответом, один из старцев всадил парню в нижнюю часть живота целую очередь. Из окна отходящего поезда было видно, как они выволокли его, еще живого, на платформу, оставили там лежать, а сами преспокойно сели в поезд, шедший в противоположном направлении.

Не помню, чтобы Лизхен когда-нибудь прежде рассказывала мне такую же длинную историю. Не исключено, что она это сделала, дабы я поменьше приглядывался к ее хлопотам вокруг моего пальца. И действительно, слушая, я не почувствовал, как она сняла набухший от крови пластырь. На сей раз она хочет заняться раной всерьез и разложила все необходимое для этого на краю фонтана. Кроме пачки денег в ее пластиковом пакете находилась моя бывшая сумочка для туалетных принадлежностей. В мое отсутствие ее обладательницей стала Лизхен. Даже мне бросается в глаза, что некогда засаленную и замусоленную сумочку Лизхен сумела отчистить чуть ли не до блеска. Теперь, когда ею распоряжается девочка, она набита до отказа, и я с удивлением рассматриваю самый верхний слой вещиц, которые Лизхен уложила в несессер по неизвестной мне системе. Девочка достала оттуда катушку ниток и обвязывает мой палец так туго, что края раны сходятся. Смотреть на кровоточащую плоть мне не по душе, и потому я вглядываюсь в раскрытую сумочку, пытаюсь, словно соревнуясь с самим собой, распознать в плотной массе как можно больше отдельных вещиц и найти им название. Из-за того, что молния уже не стягивает боковые стенки, все уложенное в несессер слегка расползлось. А изящная красная пластмассовая расческа даже торчит, выйдя наполовину за край сумочки. Я хочу поправить ее, но сделать это левой, не искушенной в тонких движениях рукой трудно, и сумочка теряет равновесие, падает с парапета, и все ее содержимое, множество самых разных вещиц, разлетается по мостовой.

Левая щека у меня горит, левое ухо гудит, и каким-то чудесным образом, кажется, даже ожил левый глаз, хотя размашистый удар девочки задел только его нижний край. Значит, верхнее веко поднялось. Звонкая оплеуха словно напомнила ему о его давнем, нормальном положении, и оно вновь, пусть всего лишь на несколько мгновений, пока длится шок, туго облекло верх глазного яблока. С тех пор как веко занедужило, доктор Зиналли скрупулезно обследовал его при каждом моем визите к нему — с использованием экзотичной, старинной аппаратуры. На лице у меня, болезненно ущемляя кожу, закреплялись приспособления с зажимами, а над ними перемещались огромные, смонтированные на передвижных штативах линзы. На мои вопросы о причинах паралича века и возможном обострении симптомов Зиналли всегда отвечал уклончиво. Обычно начинал рассуждать в своей пространной манере, не допускающей ни возражений, ни попыток что-нибудь уточнить. Туманно говорил о неясном происхождении германской расы, сетовал на ее слишком долгое пребывание в регионе к востоку от Черного моря, где якобы находились ее корни. И всегда звучало это так, будто он хотел объяснить мою глазную болезнь мрачным

характером событий тысячелетней давности, представить ее — может быть, чтобы меня утешить — как унаследованный расовый дефект, как следствие близкородственного размножения, проявившееся только теперь, в наше время. Я чувствую, что Лизхен смотрит на меня. Все еще освеженный ее ударом, я стараюсь ответить взглядом такой же силы. Это не удается; но мгновенье, когда наши глаза встречаются, длится достаточно долго, чтобы я понял: девочка ждет, что я встану и двинусь дальше.

Мы ждем Шпайка, и я наслаждаюсь тем видом, с каким ты ждешь Шпайка. Ты стоишь у окна, выходящего на улицу. Правой рукой, на которой кольцо со шпайковской мумии, ты слегка сдвинул занавеску и придерживаешь ее в этом положении. Мы знаем, что с наступлением утра начнутся празднества в честь девятой годовщины гибели Великого Гахиса. За двадцать четыре часа нашего вполне комфортного пребывания в городе мы неоднократно, в последний раз от Фредди, слышали, что все иностранцы проведут этот день в безопасном месте, ибо предсказать, как он пройдет, очень трудно. Шпайк наверняка вскоре вернется домой. Ты говоришь, что чувствуешь, как он приближается к нам. Я протягиваю тебе пластиковую бутылку, взятую из холодильника. Ты делаешь три небольших глотка и, закрыв глаза, подергиваешь плечами. Изящные металлические детальки твоего колье позвякивают. В безобразной бутылке определенно та легендарная зулейка-бренди, какой пыталась соблазнить нас крошка Кэлвин. Меж тем на улице появляется одинокая фигура с внешними признаками старого гахиста. Это первый прохожий, которого мы видим с тех пор, как встали у окна. Он припадает на правую ногу, однако в его походке чувствуется решительность. Старик приближается, и сквозь приоткрытое окно нам слышно теперь, как твердо ступают его кованые сапоги на булыжную мостовую — и это при его хромоте. На нем ряса с капюшоном: Фредди говорил нам, что так обыкновенно одеваются паломники. Лицо скрыто маской, через которую он дышит. У нее довольно забавный вид, но она должна защищать паломника от всех дурных ветров и даже от рассеянных в воздухе скверных мыслей. Наверное, старик торопится к заутрене, или, быть может, направляется к тому месту, где гахисты скрытно соберутся, чтобы с рассветом начать свое шествие. У соседнего дома, в свете лампы над входом, он останавливается и прислоняется к дверному косяку, давая отдохнуть нездоровой ноге.

У дверей нашего соседа, кондитера Суккума, я вынужден сделать еще одну остановку. Убираю руку с плеча девочки, прислоняюсь к косяку и пробую разгрузить больную ногу. На последнем отрезке пути, от рыночной площади до нашего переулка, Лизхен пришлось поддерживать меня. Не только кисть моей правой руки — вся она тяжелым грузом лежала на плечах и на шее девочки. Не понимаю, как она незаметно для меня могла вырасти за прошедшие годы так, что при необходимости служит мне опорой. Терпеливо ждет, пока я собираюсь с силами, чтобы двинуться дальше. Лизхен говорит, что завтра, когда минет девятая годовщина гибели Гахиса, она отвезет меня на такси к доктору Зиналли. Утренние сумерки смешиваются на мостовой нашего переулка с отраженным светом лампы у входа в дом. Кусочек картона, который лежит там, я заметил еще в тот момент, когда мы остановились у дверей кондитера. Но только теперь, с ослаблением острой, колющей боли в пальцах

ноги и с их прогрессирующим онемением, я прошу Лизхен поднять его, ибо мне видится в нем нечто определенное.

С трудом сделав три шага к середине улицы, старик гахист нагибается, чтобы что-то поднять. Потом, все так же прихрамывая, возвращается в круг света от лампы, подносит к глазам поднятое с земли — скорее всего это клочок бумаги — и долго всматривается в этот клочок, словно изучая какую-то надпись. Мы наблюдаем за ним. Ты видишь только то, что вижу и я, однако затем ты неожиданно спрашиваешь, почему Куль ничего не сказал нам о девятой годовщине гибели Гахиса, не упомянул ее ни единым словечком, почему не счел заслуживающим упоминания даже то простое обстоятельство, что наше пребывание в городе пересечется по времени с юбилеем, чреватым самыми разными последствиями. Я удивлен вдвойне: тем, что до сих пор сам не задался этим напрашивающимся вопросом, и серьезным служебным проступком, каким, несомненно, является сокрытие информации. Что бы ни подвигло на это Куля, после нашего возвращения ему придется подать прошение об отставке... Старый гахист прячет записку, которую так долго рассматривал, под своей рясой. Делает он это не спеша, задирает рясу чуть ли не до бедер, и мы видим, что под ней обыкновенные брюки. Затем ковыляет дальше и, дойдя до угла шпайковского дома, пропадает из нашего поля зрения. Миновав непростреливаемое пространство, он должен через несколько секунд появиться перед другим соседним домом. Вместо этого мы слышим, как хлопает входная дверь.

Я — дома. Мне еще раз пришлось опереться на Лизхен, которая и дотащила меня, еле волочащего ноги, до наших дверей. В прихожей я опускаюсь на вторую ступеньку лестницы, чтобы в темноте набраться сил для подъема к себе наверх. Сидеть у подножия крутой лестницы с годами вошло у меня в привычку. Какую-то гипнотическую усталость я почувствовал на этом месте еще тогда, когда, возвращаясь из парной от Фредди, первый раз ранним утром вошел в мой домик на одной из улиц квартала тряпковаров. Дабы немного вздремнуть, иногда я всего лишь повисаю на нижней стойке перил. Обычно же сижу, как теперь, на второй ступеньке и впадаю в тяжелый полусон, из которого меня в какой-то момент вырывает хлопок или шелест — звуки, проникающие сюда, вероятно, из помещений первого этажа. С тех пор как поселился здесь, я больше не был ни в одной из двух комнат. Не исключено, что там за это время завелась нечисть среднего или даже крупного калибра. Сегодня я не могу даже сказать, что находится в этих помещениях. Возможно, я когда-то составил туда лишнюю мебель моего предшественника. Но одну вещь из того, что осталось после смерти итальянца, я помню очень хорошо — его велосипед, появление которого на улицах города всякий раз производило фурор. В голове у меня начинают мелькать картины прошлого, не оставляя сомнений в том, что вместе с другими вещами я занес в одну из комнат и красавец велосипед. Тут же дверь в помещения первого этажа опять кажется мне такой чужой, будто я ее вообще никогда не открывал. Лизхен, которая ориентируется в доме лучше меня, наверняка знает, что там скопилось. Сверху, из моих комнат, я, случается, слышу шаги, нежное поскрипывание старых-престарых половиц. И не перестаю удивляться тому, с какой грациозностью девочка может ступать в тяжелых башмаках, если хочет передвигаться по дому бесшумно.

Я встаю, но у меня кружится голова, и, с трудом преодолев три ступеньки, я опускаюсь на лестницу во второй раз, чтобы на минутку-другую сомкнуть веки перед тем как продолжить мучительное восхождение.

Старик — на первом этаже. Возится с чем-то в нижних помещениях. Слышно, как передвигает стул. Потом к нам наверх прорывается гуденье телевизора. Мы осторожно идем к двери, старые половицы тихо поскрипывают. Если эти звуки и доходят до первого этажа, то там их должен заглушить шум от телевизора. Слышен мужской голос, изрекающий что-то энергичным, чуть ли не карающим тоном, голос, предсказывающий, вероятно, какую-то катастрофу. Я смотрю на тебя. Ты пожимаешь плечами и улыбаешься, будто говоря тем самым, что не нужно стремиться понять каждую заумь, рождающуюся в головах жителей этого города. Тебя тоже устраивает предположение, что там, внизу, упрятав свой западноевропейский жир в экзотичный костюм, сидит и в очередной раз просматривает одну из видеозаписей славный малый по имени Шпайк. Проповедь, похоже, приближается к своему апогею, Гахис впал в ритмичную вокальную декламацию, она становится все более быстрой и все более высокой по тональности. Звучит она безобразно, по-бабски истерично, и заканчивается жалобным, чуть ли не собачьим воем. Раздаются звуки дрр!, трр!, тоже, наверное, с диска — звуки раздираемой ткани и глухой удар. Ты берешься за ручку двери, я прижимаюсь к тебе сзади, чтобы выскользнуть вместе с тобой на лестничную площадку. Но какой-то непонятный звук внезапно заставляет нас отпрянуть друг от друга. Я вижу белок вокруг твоих зрачков, и в испуге, который, как ничто прежде, способен нас разъединить, ты видишь мои — наверняка не менее широко распахнутые — глаза. Страшный грохот, вернее, омерзительный рев, стремительно нараставший и сразу же с дребезжаньем оборвавшийся, врывается к нам в комнату, точно возникнув из ничего. Ты первым понимаешь, что произошло, выходишь из сковавшего нас оцепенения, возвращаешься в комнату и откидываешь коврик, закрывающий в стене нишу с трубой пневмопочты. Рывком отодвигаешь заслонку, и из трубы со злобным шипением уходит избыток давления. Дрожащими руками я развинчиваю капсулу. И мы извлекаем из нее — разве мы ожидали найти там что-то иное? — полоску резины с белой полуграмотной надписью, из которой следует, что передача любой информации прекращается. Мы смотрим друг на друга. Зрачки глаз сужаются. Кто бы то ни был — Шпайк собственной ожиревшей персоной или квартирант из местных, — отправитель послания ответит мне и тебе за постыдную разницу между скудостью сообщения и безмерностью нашего испуга.

27. Любовь к жизни

Давно наступил день, и Шпайк понимает, что правый указательный палец уже не спасти. Этого кусочка своей плоти он лишится. Шпайк сидит перед телевизором, положив обмотанную полотенцем руку на спинку кресла. Кровь просочилась сквозь толстую материю, капала ему на череп и стекала по волосам на лоб. Там и запеклась, свежей крови больше не подтекает. Несмотря на величину вторично образовавшейся раны пораженные сосуды вновь закрылись — в результате чудесной самодеятель-

ности, вследствие опухания тканей и свертывания крови. Доктор Зиналли сказал по телефону, что у него будет с собой все необходимое для квалифицированной ампутации пальца. Шпайк спокоен. Прежде чем опуститься в кресло, он здоровой левой рукой выгреб из-под кровати и собрал перед ней все таблетки из пестрой смеси доктора Зиналли, накопившиеся там за последние годы. Приникая вытянутыми губами к полу и втягивая ими воздух, он смог запустить в себя даже те крохотные драже, подобрать которые было непросто, потому как они закатились в щели между досками.

Объясниться с врачом по телефону оказалось делом нелегким. Линчу Зиналли было трудно сконцентрировать внимание на том, что говорил ему Шпайк. Его профессиональный интерес не подогрело, казалось, даже описание порванного пальца. Зиналли не хотел слушать — он хотел рассказывать. С раннего утра он сидел перед телевизором и теперь горел желанием поведать об увиденном понятливой душе. На рассвете два новостных канала начали вести передачи прямо из города. Спозаранку гахисты пошли на штурм аэропорта Либидисси. Международные органы безопасности и местные власти были предупреждены секретным источником о предстоящем нападении еще ночью и, на редкость быстро договорившись, стянули к аэропорту всю живую силу и боевую технику, какой в тот момент располагали. Меж тем подозрение, что гахисты сами распространили информацию о своих намерениях, дабы обеспечить кровопролитие по максимуму, трактовалось уже как почти неоспоримый факт.

Первую волну атакующих возглавляли опытные гахисты-ветераны. Седобородые старики, покрывшие себя неувядаемой славой еще на ранней стадии сопротивления оккупантам, когда они совершали дерзкие теракты, закладывая взрывные устройства или действуя кинжалом, стояли теперь на буферах боевых машин подобно величественным резным украшениям в носовой части старинных кораблей. Боевыми машинами, двигавшимися к передней линии обороны, навстречу окрашенным в белый цвет танкам международного отряда миротворцев, были по большей части грузовички мелких торговцев, укрепленные щитами из досок и мешками с песком. Перед началом сражения командование гахистов подключилось к спутниковой связи, и едва раздались первые выстрелы, как в глобальную телесеть пошли первые снимки. Среди атакующих находились операторы. Ежеминутно рискуя жизнью, они давали превосходный материал. Кассеты доставлялись нарочными по цепочке к замаскированным автомобилям с трансляторами, а вскоре одна из телекамер начала работать из захваченного танка даже в режиме реального времени.

Когда же восток загорелся дивной зарею, — продолжая рассказ по телефону, доктор Зиналли чуть ли не рыдал от волнения, — гахисты бросили в бой свою юную гвардию — подростков из Гото, городских предместий и бедных селений Северного нагорья. Шлемы над тонкими телами смотрелись как шляпки грибов. Вооруженные самыми разными автоматами и карабинами иностранного производства, обученные ведению боя мелкими группами, они, неся страшные потери, прорвали-таки оборону противника. Защитники аэропорта в панике отступали. Танки, орудия, ракетные противотанковые гранатометы оказались в руках гахистов и были тут же обращены против тех, кто только что обладал этими тяжелыми видами вооружения. Американским морским пехотинцам и военизи-

рованным отрядам Народной милиции удалось создать вокруг старого военного аэродрома новую линию обороны. Однако уже часа через полтора, около полудня, несмотря на массивную поддержку с воздуха, неприятель был сбит и с этих позиций. Только начальник пресловутого 9-го отдела Народной милиции, в прошлом соратник Гахиса, еще удерживал со своими телохранителями и сильно поредевшим взводом американских солдат толстостенную башню военного аэродрома, отбивая натиск юных гвардейцев. Но летчик американской военно-морской авиации сбросил одну из бомб крайне неудачно: она разорвалась в метре от этого бравого рубаки, прошедшего горнило гражданской войны, а затем с успехом руководившего целым рядом хитроумных операций спецслужб. Башня до сих пор объята пламенем, рассказывал Зиналли.

Шпайк прислушивается к проникающим сверху звукам. Порой ему кажется, что на чердаке работает телевизор или что-то в своей манере, вперемежку с бормотанием, напевает сама Лизхен. Но полной уверенности у него нет: из-за потери крови шумит в ушах. Может быть, то, что он принимает за отдаленный человеческий голос, за перепады речи, – всего лишь следствие бессонной ночи или его полуобморочного состояния. Лизхен, наверное, давно спит, не узнав, что случилось тут после их возвращения домой. Когда капсула пневмопочты ударилась о заслонку трубы с таким грохотом, какого никогда не бывало раньше, она мгновенно вывела Шпайка из состояния странного беспамятства. Испуг прояснил его сознание, он пришел в себя, будто вынырнув из небытия, и снова стоял у подножия лестницы, по которой, как ему казалось, уже смог немного подняться. Наверху, во мраке, открылась дверь его жилища. Он услышал шаги, вернее, сторожкое шарканье, причем ноги переступали так, что их должно было быть больше, чем одна пара. Из далекого далека пришло воспоминание о сменщике, и от внезапно возникшей мысли, как бы чего не случилось с Лизхен, у Шпайка что-то сжалось внутри, дрогнул какой-то мускул слева за ребрами – такой боли в груди он до сих пор не испытывал. Пригнувшись, он шагнул в темное пространство под лестницей, приподнял левой рукой полу *кууда* и достал подлеченной правой дамский пистолет. Страх за судьбу девочки помог ему втиснуть облепленный тремя слоями пластыря палец в кольцо с курком. Он уперся головой в нетесаные доски, чтобы вот так, будучи зажатым между полом и лестницей, обрести нечто вроде самообладания. Не получалось. От жгучего стыда дрожали колени: занятый болячками на периферии своего тела, он позволил Лизхен пойти наверх одной. Теменем он чувствовал, как над ним слегка прогибаются ступени. Теперь, когда оба Улыбчивых, сопровождаемые тихим позвякиванием, которое показалось ему знакомым, спускались по лестнице, он не знал, что́ его сменщики сделали Лизхен – или что они еще сделают ей, как только переломают ему все кости, не пощадив, конечно, ни больной ноги, ни больной руки.

Полуденный свет пронизывает грязные стекла, и стоящее перед телевизором кресло отбрасывает узкую тень на север. Шпайк отделяется от плетеной спинки, повертывает правое, затем левое ухо кверху. Из владений девочки до него дошел скребущий звук. Наверное, от днища передвинутого туалетного ведра. Представление об этом вызывает у Шпайка чувство неловкости. Со щекой, горящей от свежей затрещины, он наблюдал ночью на рыночной площади, как Лизхен тщательно и с умом подбирала рассыпанное им содержимое ее сумочки и опять складывала в нее по сво-

ей системе. Взгляд его скользил по множеству вещиц. Он увидел несколько крохотных, но безукоризненно заточенных карандашных огрызков, рядом с ними большой белый ластик, затем пилочку для ногтей с блестящей перламутровой ручкой, двое маникюрных ножниц, две музыкальные кассеты без коробочек, книжечку с золотым обрезом, несколько разных расчесок, электрическую лампочку почему-то овальной формы, изящную крестовидную отвертку и стеклянный флакон с пульверизатором — полетев на мостовую, он, к счастью, остался цел. Потом Шпайк заметил патрон. Вместе с двумя-тремя другими вещицами он подкатился к краю фонтана и лежал между носками его ботинок почти на равном удалении от них. Он сразу увидел, что это нужный калибр — такими патронами стреляли пехотинцы в середине столетия больших войн. Из не израсходованных тогда ему требовался всего лишь один, чтобы дозарядить свою пушечку со стволами-близнецами. Пытаясь поднять его, он промахнулся. Два пальца правой руки — большой и вторично залатанный указательный — ухватили легкий, хрусткий продолговато-округлый пакетик. Промашка объяснялась, по всей вероятности, неладами с его левым глазом, нарушением стереоскопического зрения. Именно поэтому рука прошла сначала мимо патрона и нашла вместо него вещицу приблизительно такой же толщины — туго завернутый в целлофан ватный цилиндрик, предмет гигиены.

Улыбчивые спускались по лестнице бок о бок. И плечом к плечу — движение в одном ритме, похоже, вошло им в плоть и кровь — повернулись к двери, ведущей в помещения первого этажа. Дистанция была короткой. Света, падавшего в нижнюю часть прихожей через оконце в задней двери, хватало. Шпайк выступил на полшага из-под лестницы, поднял правую руку и выстрелил два раза в их широкоплечие спины. Чуть позже, когда он притащился наверх и, сотрясаемый беззвучным смехом, склонился над раковиной, чтобы ополоснуть руку и оружие, он увидел, что произошло с его собственной плотью: нижний ствол пистолета при первом выстреле разорвало. Один из стальных осколков распорол указательный палец во второй раз, теперь до кости. Настоящее чудо, что этот вконец растерзанный палец смог снова нажать на спусковой крючок и произвести таким образом выстрел из верхнего ствола. Под струей воды, смахивая сопли и слезы, Шпайку удалось высвободить палец из пистолета. Первая пуля попала правому Улыбчивому в самое уязвимое место. Словно совершая последний в жизни прыжок, его тело взвилось в воздух, грохнулось о дверное полотно и, уже не шевелясь, сползло по нему на пол. И стреляя во второго, Шпайк не промахнулся. Задетый пулей, тот, шатаясь, побрел к входной двери — в надежде найти за ней спасение. И когда распахнул ее, Шпайк еще раз увидел его — теперь совсем четко, ибо к свету от лампы над входом уже прибавился утренний. Переступая порог, молодой человек поддерживал правой рукой левый локоть, как бы обнимая самого себя. Шпайк даже успел разглядеть на этой руке кольцо с крупным темным камнем. Затем дверь захлопнулась, стерев силуэт вырывающегося наружу, в пустынный переулок.

Шпайку надо встать еще раз. С большим трудом, держа обмотанную правую руку на голове, он сползает к краю сиденья и, упираясь в него левой, вытягивает тело из углубления в кресле, чтобы попытаться найти ножницы. Ему хочется разрéзать *кууд* и стряхнуть его с себя до прихода Зиналли. Шпайк не уверен, что у него есть ножницы. С бесполезной от-

четливостью память подсказывает ему, что последний раз он видел ножницы на стекле письменного стола Куля. Во время их последней беседы в Центральном федеральном ведомстве, непосредственно перед отлетом Шпайка, руки Куля довольно долго играли ими. В сущности, все уже было сказано. Внизу ждала машина, которая должна была отвезти Шпайка в аэропорт, но Куль без видимой причины оттягивал момент рукопожатия. Шпайк наблюдал за пальцами своего куратора. Положив ножницы обратно на стол, Куль начал играть длинным карандашом. Руки у него были безобразными, тыльные их стороны покрылись пятнами, на венах образовались узлы. Сгибы пальцев казались утолщенными, будто предсказывая Кулю первый приступ подагры. Наконец Куль встал и пообещал Шпайку, что будет наблюдать за ним издалека. В этой фразе было что-то фальшивое, будто опытный спецуполномоченный подобрал не те слова. Дабы устранить возникшую неловкость, Шпайк сконцентрировал все внимание на рукопожатии. Куль протянул ему правую руку над письменным столом, но прежде чем решительно ответить тем же, Шпайк заметил деталь, которой раньше не замечал и которая вызвала у него теперь чувство сильнейшего отвращения: на руке Куля, в выемке между большим и указательным пальцами, в синеватом венозном желваке билось что-то наподобие пульса. Там была жизнь. И когда их руки сошлись в крепком пожатии, Шпайку показалось, что эта пульсация, точно заразный первопринцип, перешла на его собственную конечность.

Найти ножницы не удается. Шпайку надо бы попросить их у Лизхен. Но он не хочет ее беспокоить. Она наверняка спит, наверстывая то, чего лишилась минувшей ночью. Поднявшись с окровавленной рукой наверх и толкнув дверь плечом, Шпайк услышал бормотанье телевизора Лизхен. Она выключила его, когда струя воды из крана начала смывать кровь в раковину. Улыбчивые пропустили девочку на чердак, не тронув ее. Придется обойтись без ножниц и — теперь — без помощи Лизхен. У одного из кухонных ножей достаточно остры и конец, и лезвие, чтобы наполовину разорвать, наполовину разрезать шерстяную ткань *кууда*. Прислонившись к мойке, Шпайк принимается за дело. Трудное и нудное, ведь у его левой нет навыка работы с ножом. К тому же Шпайк вынужден констатировать, что мускулатура левого глаза отказывается настраивать хрусталик на восприятие близко расположенных предметов, а значит, и на то, чтобы видеть самого себя. Веко больше не закрывается даже усилием воли, и Шпайку приходится отложить нож в сторону и натянуть веко на глазное яблоко пальцами, чтобы можно было работать с одним глазом.

Наконец Шпайк сбросил с себя *кууд*. И с облегчением идет, прихрамывая, к своему креслу. Его комнаты кажутся ему нереально большими и пустынными. На полпути, под лестницей на чердак, он останавливается, заметив, что одной перекладины практически нет. Обломки лежат на полу. Шпайк поднимает самый большой. Он трухляв, будто изъеден древоточцами. Сжатый большим и указательным пальцами, превращается в горстку волокон и соринок. Шпайк помнит, как сколотил лестницу. Все необходимое для этого — молоток, пилу, гвозди, бруски и планки — купил на базаре в своем квартале. Красноватая древесина от медленно растущей местной сосны была столь твердой, что пила быстро затупилась, а гвозди один за другим сгибались. Лизхен сидела в телекресле, смотрела, как он работает, и шевелила длинными, необычайно подвижными паль-

цами ног. Это был первый день их совместного бытия. Шпайк еще даже не знал, может ли она вообще говорить, а его *пидди-пидди* был тогда таким неуклюжим, что он предпочитал изъясняться на нем только с иностранцами. Он взял девочку на руки, прошел по комнатам и показал ей то, без чего нельзя обойтись, — туалет, водопроводный кран в кухонной нише и холодильник. Твердость древесины повергала его в отчаяние. Он сыпал немецкими ругательствами. Плотник он был аховый, гвозди кончились, и казалось, что лестницу ему в этот день так и не доделать. Он бросил молоток и взглянул на люк, к которому собирался ее приставить. Пот стекал со лба в глаза и жег так, что он вынужден был сомкнуть веки и потереть их пальцами. Только теперь он заметил, что Лизхен что-то напевает, хотя, пожалуй, это было скорее бормотание, рокочуще-протяжное, немелодичное. Но оно понравилось ему — может быть, потому, что не имело никакого, абсолютно никакого отношения к его плотницкому неумению и смачным ругательствам.

Доктор Зиналли входит без стука. Шпайк слышал его тяжелые шаги, доносившиеся с лестницы, а также поскрипывание перил, на которые, поднимаясь, опирался врач. Зиналли подходит к нему, сидящему в кресле. В правой руке у него черный саквояж, в левой — желтая карточка. Шпайк узнает ее. Это одна из карточек Кэлвина с пророчествами, наверняка та самая, которую он нашел в предрассветных сумерках на улице и потерял — скорее всего тогда, когда взбирался наверх. Он пытается вспомнить афоризм из девяти слов, но это ему не удается. Всего лишь часов семь-восемь назад он читал его в свете лампы возле двери соседнего дома, и туманная многозначительность фразы, ее ритмичность, искусно уподобленная ритмам речей Гахиса, заставили его подумать о сомнительном увлечении Кэлвина с благосклонностью.

Зиналли ставит саквояж на пол. Распрямляет плечи и приветствует своего пациента, не говоря ни слова, только взмахом руки. Простой жест американца, живущего в эмиграции, трогает Шпайка, и в приливе мягкого юмора он и сам поднимает правую руку — на высоту, которая ему по силам. Красное от крови полотенце мокрым комком падает Шпайку на колени, но он не опускает руку. Шпайк отвечает отважному врачу, пожалуй, последнему расисту чистейшей воды, почитателю Гахиса, тем же приветствием, выдыхая при этом то старинное односложное немецкое слово, которое — будь оно отъято у злопамятной истории — сумело бы, как никакое другое, привести наши помыслы и дела в созвучие с жизнью.

"Видение будущего" или "исторический факт"?

"Это похоже на сказку. Некто пишет и пишет. На протяжении двух десятилетий романы и рассказы скапливаются в ящике стола. Печатать их никто не желает. Между тем на литературный небосклон катапультировалась целая команда бойко болтающих юных дарований. Очередная фройляйн-вундеркинд вытеснила свою предшественницу. Нашему же автору уже далеко за сорок. Он, может, еще и сегодня продолжал бы трудиться в безвестности, если бы не нашелся молодой и дерзкий издатель, которого мало заботило, что думают о хорошей литературе

его коллеги. Осенью 1998-го в издательстве "Александр Фест" появился наконец поразительный дебютный роман. Критики протерли глаза — и дружно пришли в восторг. Ничего подобного они уже давно не видали. Автора звали Георг Кляйн, книга его называлась *Либидисси*". Так Стефан Рихтер начинает статью о Кляйне в "Новой рейнской газете" (30 апреля 2004 г.).

Сказанное, конечно, можно было бы счесть преувеличением, однако ни к концу 1998 года, ни в 2004-м, когда писалась эта статья, ни сейчас, в 2008-м, интерес к прозе Кляйна не угас. Роман "Либидисси" уроженца Аугсбурга Георга Кляйна (р. 1953) действительно был признан одной из лучших немецкоязычных книг года, в 1999-м, после публикации сборника рассказов "Призыв слепой рыбы", Кляйну была присуждена премия братьев Гримм города Ханау, в 2000-м — премия Ингеборг Бахман. В 2001 году увидел свет еще один роман "из ящика письменного стола", написанный раньше "Либидисси", — "Barbar Rosa. Детективная история" (странное название намекает и на легендарного императора Барбароссу, и на нагруженный символическими смыслами цветок, и на "варварски розовый" цвет, определяющий атмосферу многих эпизодов романа). Потом были сборник рассказов "Про немцев" (2002)[1] и еще два романа, "Солнце нам светит" (2004) и "Грех Добро Молния" (2007), — все эти книги провоцировали споры в прессе и вызывали непривычно эмоциональные отклики. Литературовед Ульрих Райнер, убежденный противник Кляйна, обвиняющий его в эстетизации уродливого — в том, например, что действие его книг разворачивается в руинах или подземных лабиринтах, "во всех отношениях грязных, отвратительных, вонючих и гнусных", — возмущаясь, не может не отдать должное мастерству критикуемого им автора: "...эта его позиция apartе[2] кажется мне неприятной и безвкусной, кажется чуть ли не предательством по отношению к литературе. Предатель же — что и делает данный случай интересным — должен, чтобы получить возможность сделаться таковым, сперва овладеть писательским ремеслом и тем обеспечить себе доступ в 'объявленный мертвым заповедник поэзии', о котором говорил Стефан Георге. Кляйн, вне всякого сомнения, писательским ремеслом владеет" (рецензия на роман "Солнце нам светит", "Цайт", 26.08.2004).

Георга Кляйна критики называют неоромантиком, заблудившимся где-то "между немецким романтизмом и Кафкой, между По и Лавкрафтом", создателем "мифоманиакальной", "мнимопритчевой" прозы, изобилующей "криптоцитатами", творцом "параллельных нашему миру" миров. Сам же Кляйн в интервью газете "Вельт" (2001) сказал: "Я рассчитываю, естественно, на совершенно неискушенных читателей, которые не изучали германистику и слово "романтик" понимают в широком смысле... С другой стороны, ни одно предложение у меня не бывает нейтральным. Оно должно доставлять удовольствие. Я, собственно, апеллирую к такому читателю, который умеет то и другое: радоваться хорошей фразе и не упускать из виду скрепы между эпизодами, далеко отстоящими друг от друга".

Что касается публикуемого романа, то, на мой взгляд, все описанное в нем достоверно. Города Либидисси, конечно, не существует, но детали его быта и истории можно увидеть во многих современных ближневосточных и североафриканских городах. Кляйн рисует в своем и нашем воображении фантастическую картину, на-

1. Рассказ "Про немцев" из этого сборника – единственное произведение Георга Кляйна, с которым до сих пор могли познакомиться русские читатели. Он публиковался в переводе М. Рудницкого в "ИЛ", 2003, № 9.
2. В стороне от других (*франц.*).

поминающую старинный план города, который однажды рассматривали герои романа. Средневековый картограф дополнил очертания реальных зданий планами пригрезившихся ему зданий-двойников; в реальности их еще не было, но он, благодаря интуиции, предугадал их возникновение: "Дабы найти правильный угол зрения, мы принимали самые немыслимые позы, но лишь когда ты встал на офисный стул и мы начали вращать его сиденье, перед тобой мелькнули два византийских купола, две луковицы, изображенные художником в перспективе, — *когда-то видение будущего, а ныне исторический факт*". Отвечая (в письме) на вопросы переводчика, сам Кляйн однажды охарактеризовал свой метод так: "Понятия 'специальный уполномоченный', 'Последнее распоряжение Федерального центра', 'ведение особо важных агентов', 'Правила свободной передачи донесений из-за рубежа' придуманы мною, но в то же время гиперреальны, ибо они проникнуты духом современной бюрократии..."

"Либидисси" в самом деле вызывает ассоциации с Кафкой, с его "Процессом". Два агента, которым поручено убить Шпайка, напоминают и тех двоих чиновников, которые приходят арестовать Йозефа К., и других двух палачей, которые год спустя приводят в исполнение приговор. О палачах у Кафки сказано: "Такая слитность присуща, пожалуй, только неодушевленным предметам"[1] (а Шпайку его преследователи представляются, когда он впервые их видит, "сдвоенным телом"). "Агенты" Кафки тоже говорят о себе "мы", они тоже непоколебимо самоуверенны ("А самоуверенность у них просто от глупости"; сравните рассуждение Шпайка о том, что у его сменщика будет "наивно-уверенная походка"), и даже мотив любовной связи убийц, приехавших в Либидисси, возможно, восходит к кафкианскому роману (у Кафки: "Потухшими глазами К. видел, как оба господина у самого его лица, *прильнув щекой к щеке*, наблюдали за развязкой"; у Кляйна: "Наши головы соприкасались, и щеточки волос на висках проникали одна в другую"). Шпайк, в отличие от героя Кафки, принадлежит к той же системе, что и его преследователи. (Но так ли велико отличие? Йозеф К. тоже в каком-то смысле — часть системы и до поры до времени принимает ее законы.) Однако отождествление себя с системой, уравнение я=Шпайк (где Шпайк — агентурная кличка, то есть обозначение функции) никогда не было у него безоговорочно полным (недаром он вскоре по приезде в город самовольно покидает гостиницу "Эсперанца"); и даже в его сознании — примерно в середине романа — это уравнение разрушается: Шпайк вдруг начинает говорить о себе просто "я". Нечто подобное происходит и в романе Кафки. Там, как впервые показала Н. С. Павлова[2], все повествование ведется в форме несобственно-прямой речи, высказывания повествователя и героя как бы сливаются, речь героя не свободна, и только последнее предсмертное высказывание Йозефа К. (он умирает со словами: "Как собака") выражено в форме прямой речи. У Кафки Йозеф К. и его палачи противопоставляются по тому же признаку, что и персонажи романа Кляйна. Если палачи похожи на неодушевленные предметы, то Йозеф К. о себе говорит: "Всегда мне хотелось хватать жизнь в двадцать рук, но далеко не всегда с похвальной целью". Уже перед самой смертью он думает (о той логике, которая привела к вынесению ему смертного приговора): "Может быть, забыты еще какие-нибудь аргументы? Несомненно. Такие аргументы существовали, *и хотя логика непоколебима, но против человека, который хочет жить, и она устоять не может*".

1. "Процесс" здесь и далее цитируется в переводе Р. Райт-Ковалевой.
2. Форма речи как форма смысла: "Процесс" Фр. Кафки // Н. С. Павлова. Природа реальности в австрийской литературе. – М., 2005.

Последняя глава романа Кляйна называется "Любовь к жизни". Опустившийся и больной Шпайк, в отличие от Йозефа К., все-таки каким-то чудом одерживает победу над своими молодцеватыми палачами (в чем ему помогают по мере сил другие, тоже несовершенные, персонажи: прежде всего Лизхен с ее искалеченными ногами, а до нее — невольно предавший и все-таки спасший Шпайка Кэлвин, Фредди, пытавшийся предотвратить его гибель и сам погибший, Куль). В этой последней главе есть странный эпизод (эпизод прощания Шпайка, перед отъездом в Либидисси, с его куратором Кулем):

Куль протянул ему правую руку над письменным столом, но прежде чем решительно ответить тем же, Шпайк заметил деталь, которой раньше не замечал и которая вызвала у него теперь чувство сильнейшего отвращения: на руке Куля, в выемке между большим и указательным пальцами, в синеватом венозном желваке билось что-то наподобие пульса. Там была жизнь. И когда их руки сошлись в крепком пожатии, Шпайку показалось, что эта пульсация, точно заразный первопринцип, перешла на его собственную конечность.

"Там была жизнь..." В буквальном переводе эта фраза звучала бы: "Там что-то жило" (Dort lebte es). В одном из писем Кляйну переводчик, Анатолий Егоршев, спрашивал: 'Dort lebte es'. Подразумевает ли *es* только подергивание, биение пульса? Мне кажется, что фраза имеет более глубокий смысл". Ответ был настолько интересен, что хочется привести его полностью:

"'Там что-то жило'. Да, для меня это одно из ключевых мест романа. 'Что-то' — это жизнь-сама-по-себе, феномен, которым отдельный индивид лишь временно может пользоваться как хозяин. ЧТО-ТО перепрыгивает с животного на животное, с человека на человека — как информация, которой незачем особенно беспокоиться о своем материальном носителе..."

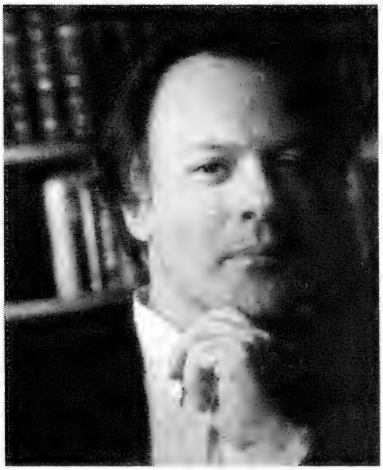
Думаю, противопоставление живого, жизни (сколь бы ни была она безобразна, больна и прочее и прочее), людям-автоматам, исходящим из концепции "здорового", рационализированного, очищенного от всего "лишнего" общества, — центральная тема Кляйна. И чтобы заострить эту тему, он и нагромождает образы упадка, декаданса, хаоса. Противопоставление это выражено и на уровне языка. В отличие от предельно упрощенного языка "пидди-пидди", неоднократно упомянутого в романе, сам Кляйн осознанно пользуется языком, изысканно богатым оттенками, прибегает к сложным синтаксическим конструкциям.

Роман Георга Кляйна <...> — это филиппика против безумия прогресса и мании все расшифровывать, против надежды на то, что человек в состоянии постичь все тайны, взломать все коды. Роман оснащен прелестной иронией, пронизан множеством литературных отсылок и проникнут легкой для восприятия серьезностью. Это современная сказка, остроумно и умело построенное произведение, сводящее счеты с демистифицированной западной культурой.

Процитированный отрывок — из рецензии Верены Ауфферман. Слова эти в полной мере можно отнести к "Либидисси", хотя речь идет о последнем романе Кляйна "Грех Добро Молния".

Т. Баскакова

Хавьер Мариас



Рассказы

Перевод с испанского Н. Мечтаевой

Разбитый бинокль

Посвящается
Мерседес Лопес-Байестерос
из Сан-Себастьяна

В День входа Господня в Иерусалим почти никого из моих друзей в Мадриде не было и я решил скоротать вечер на ипподроме. Во время второй скачки, совершенно неинтересной, какой-то тип нечаянно толкнул меня локтем, поднимая к глазам, чтобы лучше видеть финишную прямую, бинокль. Я свой бинокль уже держал у глаз, и от удара он выпал у меня из рук — я всегда забываю вешать его на шею, и мне приходится платить за это, по крайней мере в тот раз я поплатился: одно из стекол разбилось, когда бинокль ударился о ступеньку, и разлетелось на мелкие осколки.

Я хотел наклониться, чтобы поднять бинокль, но человек, толкнувший меня локтем, уже сделал это. Это он первым заметил, что стекло разбилось, и принес мне извинения:

— Извините, — сказал он. А потом: — Смотрите, сломался. Вот черт!

Он наклонился, чтобы поднять мой бинокль. Когда он протянул к биноклю руку, мне бросились в глаза его запонки: в наши дни их никто не носит, это выглядит вульгарно и старомодно. И еще, когда при наклоне полы пиджака разошлись, я заметил у него на правом боку (видимо, он левша) кобуру. Это было совсем уже странно, но я подумал, что он, наверное, по-

© 1990, 1996 Javier Marías
© Н. Мечтаева. Перевод, 2008

лицейский. Потом, когда он выпрямился, я увидел, что он очень высокий — на голову выше меня. Ему было лет тридцать, и он носил бачки, прямые и очень длинные — они тоже давно вышли из моды. Такие носили лет пятнадцать — целую вечность — назад. Или еще в прошлом веке. Может быть, он отпустил их, чтобы зрительно расширить лицо — голова у него была маленькая и продолговатая, походившая на спичечную головку.

— Я оплачу вам починку, — смущенно развел он руками. — Возьмите пока мой. Еще только вторая скачка.

Вторая скачка между тем уже закончилась. Мы не слышали, как объявляли имена победителей, поэтому я не стал пока рвать билеты со ставками, которые мы все обычно держим в руках и которые тут же рвем и бросаем на землю, узнав, что наша лошадь не выиграла. Выбрасываем ставшие ненужными бумажки и забываем об ошибочном прогнозе. Впрочем, я не смог бы порвать билеты, даже если бы захотел: в руках у меня были еще и два бинокля — мой, сломанный, и бинокль того человека (он протянул мне его, и я машинально его взял, чтобы он тоже не упал и не разбился). Заметив, что я в затруднительном положении, он взял у меня из рук билеты, положил их мне в нагрудный карман пиджака и похлопал по нему ладонью, словно заверив, что теперь мои билеты в полной сохранности.

— Но как вы сами будете без бинокля? — спросил я.

— Мы могли бы пользоваться моим по очереди, — ответил он. — Если вы не против того, чтобы смотреть скачки вместе. Вы один?

— Один.

— Вот только смотреть нам придется именно отсюда. Я веду наблюдение. Сегодня мое место здесь, мне нельзя никуда уходить.

— Вы полицейский?

— Да что вы! Я бы давно с голоду помер. Знаю я, как они живут. Вы что же, думаете, что полицейские могут одеваться, как я? Вы посмотрите! — и с этими словами он отступил на шаг и развел руки, как делает иллюзионист в цирке, перед тем как показать очередной трюк. Честно говоря, одет он был (на мой вкус) ужасно, хотя и очень дорого: костюм с двубортным (при этом, как я уже говорил, расстегнутым) пиджаком какого-то немыслимого серо-зеленого цвета; бледно-розовая, слишком нежного оттенка рубашка, сама по себе неплохая, но совершенно не подходившая мужчине такого роста; и чрезвычайно пестрый галстук — невероятная мешанина (птицы, насекомые, какие-то отвратительные фигуры в духе Миро, кошачьи глаза) на желтом фоне. Но особенно странной была обувь: не ботинки со шнурками, не мокасины, а какие-то детские башмачки, которые не доходили ему даже до щиколоток. Наверное, они казались ему очень модными, а все остальное он, видимо, воспринимал как почти классику. Запонки в форме листиков были вполне приличные, скорее всего, от Дюрана — сверкали, как им и положено. Скромностью мой новый знакомый похвастать не мог, но он и не оригинальничал — наверное, его просто в детстве не научили одеваться, вот и все.

— Вижу, — сказал я, чтобы что-то сказать. — И за чем же вы ведете наблюдение?

— Я телохранитель.

— А... И кого же вы охраняете?

Человек взял из моих рук свой бинокль, который отдал мне за минуту до того, приставил его к глазам и посмотрел на ВИП-ложи (правду

сказать, ложи эти были совсем близко, и их легко можно было бы разглядеть даже невооруженным глазом), потом возвратил бинокль. Мне показалось, что он с облегчением вздохнул.

— Еще не пришел. Еще есть время. Если он все-таки придет, то не раньше четвертой скачки. На самом деле его интересует только пятая, как и всех остальных, только, в отличие от остальных, у него нет времени, чтобы его бесполезно тратить. Вот вы, например, можете позволить себе убивать время здесь, а он сейчас по телефону о делах говорит или прилег отдохнуть, перед тем как снова приняться за дела. Я пришел раньше, чтобы посмотреть, что тут и как, посмотреть, все ли спокойно, продумать расстановку сил.

— О чем это вы? Что здесь может произойти?

— Скорее всего, ничего. Но тем не менее кто-нибудь всегда должен приходить заранее. А кто-то, понятное дело, должен приходить вместе с ним и быть рядом. Я обычно прихожу раньше. Например, когда мы идем в ресторан или в казино или по дороге в бар заходим пива выпить, я всегда вхожу первым, чтобы взглянуть, как там и что. В таких местах всегда можешь нарваться на пару идиотов, которым приспичило набить друг другу морды. То есть не то чтобы это было сплошь и рядом, но, сами знаете, официант по нечаянности обольет вином какого-нибудь клиента, а тот взбеленится и давай его мутузить. Я не могу допустить, чтобы мой босс это видел или, хуже того, чтобы его самого в драку втянули. Бутылки, они, знаете, летают быстро. В Мадриде за день их ого сколько пролетает! И навахи то и дело в ход идут. Народ нынче дерганый, у всех нервы на пределе. А случись вмешаться в эту историю кому-нибудь с большими деньгами, то все сразу думают: "Ага! Пусть этот богатенький за все и расплачивается!" Эти, что дерутся, вмиг между собой договорятся и вместе на богатенького накинутся: "В задницу богатеньких!" Не-ет, тут глаз да глаз!

И он поднес палец к правому глазу.

— А что, ваш босс такой богатый, что это сразу бросается в глаза?

— У него это на лице написано. Большими буквами. Даже если он три дня бриться не будет и лохмотья нацепит, все равно по лицу будет видно, что богач. Мне бы такое лицо! Когда мы идем в дорогой магазин, я тоже вхожу первым, и, когда продавцы меня видят — хоть я тоже одет хорошо, — они кривятся или делают вид, что меня не замечают: бросаются обслуживать других, на которых до этой минуты тоже внимания не обращали, или начинают рыться в коробках, будто ищут там чего. Я им ни слова не говорю: проверяю, все ли спокойно, возвращаюсь и открываю дверь боссу. И как только они его видят — тут же бросают и клиентов, и коробки, тут же начинают улыбаться и бегут к нему навстречу.

— Но, может быть, ваш босс — человек не только богатый, но и известный? Может быть, они просто узнают его?

— Может, и так, — задумчиво согласился телохранитель. Казалось, такая мысль раньше не приходила ему в голову. — О нем сейчас все больше говорят. Он ведь из банка. Но идемте-ка в паддок — надо бы ставки сделать на третью скачку.

По дороге мы разорвали на мелкие кусочки и выбросили (туда вас! на пол!) наши не выигравшие билеты. Навстречу нам попались философ, завсегдатай воскресных скачек, и адмирал Алмира со своей красавицей женой. Они вежливо со мной раскланялись, но не сказали мне ни

слова — возможно, просто удивились, увидев меня в компании великана, которому я едва доставал до плеча. Бинокль моего нового знакомого висел у меня на шее, а свой, разбитый, я нес в руках. Мой бинокль был маленький и мощный, а его — большой и тяжелый. Ремень натирал мне шею, но я не снимал бинокля — а вдруг он тоже упадет и разобьется. Мы остановились посмотреть на лошадей, и я почувствовал, что сейчас мой спутник начнет расспрашивать меня о том, чем я занимаюсь. Рассказывать о себе в мои планы не входило, поэтому я опередил его:

— Взгляните, как вам четырнадцатый номер?

— Хороший экстерьер, — сказал он то, что всегда говорят о лошадях люди, ничего в них не смыслящие. — Я, пожалуй, на нее поставлю.

— А вот я нет. Мне кажется, она немного нервничает.

— Вы так думаете?

— Здесь лицо богача никого не обманет.

Мой спутник рассмеялся. Сразу, не раздумывая — так смеются люди, не получившие воспитания, люди, которые не думают о том, как расценят их смех окружающие. Потом, не попросив на то разрешения, он взял у меня свой бинокль, быстро поднес его к глазам и посмотрел в сторону лож, хотя из паддока они почти не видны. Бинокль он стянул с меня довольно резко, причинив мне боль.

— Что, не пришел? — поинтересовался я.

— К счастью, нет, — подтвердил он, опираясь, я думаю, больше на интуицию.

— Много работы он вам задает? Я хотел спросить, часто ли вам приходится действовать, то есть по-настоящему, с опасностью для жизни?

— Не так часто, как хотелось бы. Вы ведь представляете себе, что у нас за работа: с одной стороны, ты все время в напряжении, а с другой стороны, почти ничего не делаешь. Ты все время начеку, твоя задача — опередить. Я пару раз набрасывался на важных шишек, которые собирались только поприветствовать босса. Все как полагается: руки им назад закручивал, нейтрализовал и оплеух навешивал. А потом мне самому как следует влетало. Так что и опережать тоже нужно с умом. А так почти никогда ничего не происходит, и пропадает всякое желание быть настороже, потому как чувствуешь, что на самом деле это никому не нужно.

— Понятно, человек расслабляется.

— Не то чтобы расслабляешься, но трудно бывает себя заставить. Вот напарник мой, который идет рядом с боссом, когда я иду впереди, тот действительно расслабляется. Даже я это замечаю и иногда ему выговариваю. Он, пока ждет, развлекается карманными видеоиграми, он без них жить не может. А так нельзя. Вы меня понимаете?

— Понимаю. А ваш босс, как он к вам относится?

— Да как вам сказать? Мы для него невидимки. Наше присутствие его не смущает, он при нас может чем угодно заниматься.

— Чем угодно?

Охранник взял меня под руку и развернул в сторону касс тотализатора. Сейчас я и сам испытывал неловкость, оттого что шагал рядом с таким высоким человеком. Он явно опекал меня — возможно, он просто привык вступать именно в такие отношения: привык охранять. Он поколебался с минуту, потом сказал:

— Ну, например, с бабами в машине. Он в этих делах чистая свинья. Что-то у него тут, — он постучал по виску, — не в порядке. Слушайте, а вы случайно не из газетчиков?

— Нет-нет, — поспешил я успокоить его.

— Тогда ладно.

Я поставил на восьмой номер, а он на четырнадцатый — он был человек упрямый (или суеверный), и мы вернулись на трибуны. Сели и стали ждать третью скачку.

— Как поступим с биноклем?

— Если хотите, я буду смотреть старт, а вы — финиш. Я перед вами виноват.

Он опять взял бинокль, не потрудившись снять его с моей шеи. Но сейчас мы сидели близко друг от друга, и ремень даже не натянулся. Секунду он смотрел в сторону лож, потом положил бинокль мне на колени. Мой взгляд снова упал на его башмачки — все-таки они ему совсем не подходили, его большие ступни выглядели в них очень по-детски.

Когда началась скачка, он пришел в возбуждение и громко кричал лошади под номером четырнадцать: "Давай, Нарния, покажи им! Жми!"

Лошади это не помогло, она начала скачку неудачно и пришла только четвертой. Мой восьмой номер пришел вторым, так что мы с отвращением ("Вот вам!") порвали и выбросили свои билеты.

Вдруг я заметил, что вид у него подавленный. Проигрышем это объясняться не могло.

— Что-то случилось? — спросил я.

Он ответил не сразу. Сидел, сильно наклонившись вперед, опустив голову между коленями, — можно было подумать, что его тошнило и он боялся, если его все-таки вырвет, испачкать брюки, — и смотрел в землю, на обрывки билетов.

— Нет, — ответил он наконец. — Просто третья скачка кончилась, и если босс с моим напарником придут, то придут очень скоро. И если он придет, я должен буду действовать.

— Вам нельзя уходить отсюда и прекращать наблюдение?

— Да, мне нужно оставаться здесь. Вы побудете со мной? Если хотите, спуститесь в паддок, сделайте ставки, а потом возвращайтесь. Я пока возьму себе бинокль. На всякий случай.

Он дал мне десять тысяч песет, чтобы сыграть в паре, и еще пять, чтобы поставить на победителя. Я спустился и быстро сделал ставки — очереди еще не было. Когда я вернулся, охранник по-прежнему сидел опустив голову. Он совсем не был похож на бдительного стража. В глубокой задумчивости он поглаживал бачки.

— Пришел? — мой вопрос вывел его из задумчивости.

— Нет еще, — ответил он, поднося бинокль к глазам и глядя в сторону лож (жест почти уже автоматический). — Может, сегодня уже не придет.

Вид у него по-прежнему был подавленный. От его добродушия и веселости не осталось и следа, он был темен как туча. Он больше ни о чем меня не спрашивал, вообще больше не обращал на меня внимания. Я уже собирался сказать ему, что хочу посмотреть скачку внизу, где смогу обойтись без бинокля, и покинуть его, но потом забеспокоился о его ра-

боте: он весь ушел в себя, именно тогда, когда ему предстояло приступить к выполнению своих обязанностей, он меньше всего был готов к их выполнению.

— С вами все в порядке? — спросил я и, чтобы напомнить ему о его работе, предложил: — Если вам плохо, я могу пока вести наблюдение вместо вас. Только скажите мне, кто ваш босс...

— Не нужно никакое наблюдение. Я знаю все, что сегодня случится. Или уже случилось...

— Как это?

— Послушайте, к тому, кто платит тебе за то, что ты его охраняешь, особой любви не испытываешь. Мой босс, я уже вам говорил, меня в упор не видит, имени-то моего толком не помнит, все эти годы он меня почти не замечал, только взбучки устраивал, если я слишком в работе усердствовал. Он дает приказы, я их выполняю, он говорит, где и когда я должен находиться, и я туда являюсь. Вот и все. Я забочусь о его безопасности, но любить я его не люблю. Не раз до того доходило, что я готов был сам устроить на него покушение. Просто чтобы он почувствовал опасность, понял, что я ему необходим. Ничего серьезного — так, маленькая драка в гараже: подстеречь его там в свой свободный день, разыграть комедию, напугать... Но мне и в голову прийти не могло, что нам когда-нибудь и в самом деле придется его прикончить.

— Прикончить?! Кто его должен прикончить?!

— Мы с напарником. Вернее, или он, или я. Может, он это уже и сделал. Хорошо бы. Если так, то босс сюда уже не придет: он сейчас дома на ковре лежит. Или в багажнике. А если он все-таки здесь появится, то, значит, мой напарник не смог, и придется мне. По дороге с ипподрома, в той же машине. За рулем будет мой напарник. Веревка или выстрел в затылок. Хоть бы они не пришли. Говорю вам: симпатии у меня к нему никакой, но убивать самому... Не по душе мне это.

Я подумал было, что он шутит, но до этого момента он не производил впечатление человека, способного шутить. Скорее, наоборот. Именно поэтому — мелькнула у меня мысль — он и смеялся так моей совсем не смешной шутке. Люди, не умеющие шутить, очень удивляются, когда это удается другим, и очень за них радуются.

— Я не совсем понимаю... — произнес я.

Охранник продолжал теребить бачки. Потом посмотрел на меня искоса:

— Все вы понимаете. Я очень ясно выражаюсь. Еще раз повторяю: симпатии у меня к нему нет, но я был бы рад, если бы они не пришли, если бы мой напарник сам все смог сделать.

— А зачем его убивать?

— Это долгая история. Из-за денег, конечно, тоже, но еще иногда просто нет другого выхода. Иногда приходится делать такое, от чего тебя тошнит, но делать нужно, потому что, если не делать, будет еще хуже. С вами такого не случалось?

— Случалось, — согласился я. — Но до таких... крайностей не доходило... — Я бросил взгляд в сторону лож. — Но если все это правда, зачем вы мне все это рассказываете?

— Да мне все равно. Вы же не побежите никому ничего сообщать. Даже если завтра об этом будут писать все газеты. Никто никогда ни во

что не хочет ввязываться. Вам же хуже, если вы куда заявите — затаскают, допросами замучают. Никто ничего никому не рассказывает, если не может извлечь из этого выгоды. А уж полиции помогать — совсем последнее дело. Этим никто заниматься не будет, и вы не будете. А у меня сегодня никакого желания нет хранить секреты.

Я взял у него бинокль и навел его на ложи. Они были почти пусты — наверное, все ушли в бар или в паддок. До скачки оставалось еще несколько минут. Да и что я мог увидеть? Я не знал его босса, разве что увидел бы человека, у которого на лице написано, что он очень богат.

— Там он? — боязливо спросил мой спутник, глядя на скаковую дорожку.

— Да вроде нет. Там вообще почти никого нет. Взгляните сами.

— Да нет, подожду еще. Пока скачка не начнется и все не подойдут. Вы мне скажете?

— Скажу.

Мы замолчали.

Я смотрел на его ботинки (теперь он сдвинул ноги), а он разглядывал запонки на манжетах своей бледно-розовой рубашки. Я поймал себя на том, что мне хочется, чтобы тот человек, его босс, был уже мертв. Чтобы его уже не нужно было убивать.

Трибуны постепенно заполнялись, теперь нас окружали люди, и нам пришлось встать, чтобы видеть дорожку.

— Возьмите, — протянул я ему бинокль. — Мы договаривались, что сначала ваша очередь.

Телохранитель взял бинокль и резким движением (точно таким же, каким он выбил мой бинокль у меня из рук) поднес его к глазам.

Сначала он навел его на место старта, но, за секунду до того, как прозвучал выстрел и лошади рванули с места, повернулся в сторону ВИП-лож.

— Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Не пришел, — сказал он.

— Уже стартовали, — привлек я его внимание.

Он повернулся к дорожке и (лошади делали первый круг) закричал:

— Давай, Харон! Жми, Харон, жми!

Несмотря на то что он был так захвачен происходящим, я все же забрал у него бинокль — уговор есть уговор: он сам предложил мне смотреть финиш, — когда лошади вошли в последний поворот.

Я смотрел, как Харон, на которого поставил мой новый знакомец, обгоняет на полкорпуса Белое Сердце — лошадь, на которую поставил я. Что ж! А мне опять придется рвать и выбрасывать билеты...

К моему удивлению, мой спутник не выказывал признаков бурной радости. Я опустил бинокль и обратился к нему:

— Вы выиграли!

Но он, видимо, уже давно не следил за тем, что происходило на дорожке. Глаза его были устремлены в сторону лож. Ему уже не нужен был бинокль. Он был спокоен. Потом он повернулся в мою сторону, но даже не посмотрел на меня, словно не был со мной знаком. Застегнул пиджак. Лицо его потемнело, он еле держался на ногах.

— Они там. Пришли на пятую скачку, — сказал он. — Вы извините, мне нужно идти. Получить указания.

Больше он ничего не сказал. Даже не попрощался. Наклонил голову и начал протискиваться сквозь толпу. Я еще долго мог видеть его спину. Продвигаясь в сторону ВИП-лож, он похлопывал рукой по правому боку, где под пиджаком у него была кобура. Бинокль он оставил мне.

Я разорвал свои билеты, а его, выигравшие, рвать не стал — положил их в карман: подумал, что он за своим выигрышем не пойдет.

И *настоящее, и прошлое...*

ВПОЛНЕ возможно, что привидения (если они существуют) имеют привычку поступать наперекор желаниям тех, в чьем доме они обитают: появляться тогда, когда им не рады, и исчезать, когда их ждут и хотят, чтобы они остались. Иногда, впрочем, с ними удается договориться, что подтверждают свидетельства, собранные лордом Галифаксом в Англии и доном Алехандро-де-ла-Крусом в Мексике.

Среди случаев, описанных этим последним, есть незамысловатая, но очень трогательная история одной старушки. Началась эта история году в тысяча девятьсот двадцатом, когда старушка была еще вовсе не старушкой, а совсем юной девушкой и знать ничего не знала о существовании — если это слово здесь уместно — подобных посещений или исчезновений. Она была компаньонкой немолодой и весьма богатой дамы и, помимо прочих обязанностей, должна была читать ей вслух романы, чтобы хоть как-то развеять скуку и хоть чем-то заполнить дни сеньоры Суарес Алдай, потерявшей мужа очень рано, но осужденной остаться вдовой навсегда (в городе поговаривали о некоем неудачном романе, пережитом ею вскоре после смерти супруга и гораздо сильнее, чем эта смерть — о муже ей было нечего или почти нечего вспомнить, — повлиявшем на то, что сеньора Суарес Алдай сделалась замкнутой и неприступной в том возрасте, когда такие качества женщины уже не могут способствовать усилению интереса к ней со стороны мужчин, но еще не могут превратить ее в объект насмешек).

От бездействия и скуки сеньора Суарес Алдай так обленилась, что даже читать сама не хотела, а потому требовала от своей компаньонки, чтобы та читала ей вслух о приключениях и переживаниях, которые с каждым прожитым сеньорой Суарес Алдай днем (а дни бежали монотонной чередой) случались, казалось, все дальше и дальше от ее дома.

Слушала сеньора всегда молча и внимательно и лишь изредка просила Элену Веру (так звали нашу девушку) повторить какую-нибудь сцену или диалог, словно не хотела забыть их навсегда, не сделав попытки хоть что-то удержать в памяти. Когда Элена Вера заканчивала читать, сеньора Суарес Алдай всегда говорила ей одно и то же: "У тебя чудесный голос, Элена. В тебя можно влюбиться за этот голос".

Именно в эти часы и появлялся обитавший в доме призрак. Каждый вечер Элена, поднимая глаза от страниц Сервантеса, Дюма или Конан Дойла, от стихов Дарио или Марти, могла видеть очертания фигуры еще довольно молодого, лет тридцати с небольшим, деревенского вида человека в широкополой шляпе (которую он тут же вежливо снимал) и в продырявленной во многих местах одежде (короткая куртка, белая рубашка и обтягивающие панталоны), — казалось, его изрешетили пулями. Однако на теле незнакомца никаких повреждений заметно не было, а лицо с пыш-

ными усами было загорелым и обветренным. Когда она увидела его впервые — он стоял за креслом сеньоры, облокотившись на его спинку и время от времени покачивая на ладони перевернутую тульей вниз шляпу, и казалось, очень внимательно слушал то, что Элена читала, — то чуть не закричала от страха, потому что, хотя в руках у незнакомца и не было оружия, грудь его была крест-накрест перехвачена патронташными ремнями. Но мужчина поднес к губам указательный палец и знаками попросил Элену не выдавать его и продолжать читать дальше. В выражении лица его не было ничего угрожающего. Застенчивая улыбка лишь изредка, в те минуты, когда Элена читала особенно мрачные сцены (или, возможно, когда он погружался в особенно мрачные мысли или воспоминания), сменялась выражением глубокой озабоченности, свойственным людям, не до конца сознающим разницу между реальностью и вымыслом. И девушка подчинилась, хотя в тот вечер слишком часто поднимала глаза от книги и смотрела куда-то поверх головы сеньоры Суарес Алдай, которая тоже начала поднимать глаза, словно беспокоясь, не съехала ли набок шляпка. "В чем дело, детка? — не выдержала она наконец. — На что ты там все время смотришь?" — "Все в порядке, сеньора. Просто глаза устают, и я даю им немного отдохнуть". Человек за креслом приподнял шляпу и поклонился Элене, выражая одобрение и благодарность. Объяснение удовлетворило старую сеньору, и впоследствии она ни разу не оглянулась и так никогда и не узнала о присутствии незнакомца, на которого девушка (а с того вечера она читала не только для сеньоры Суарес Алдай, но и для него) время от времени устремляла взор, чтобы получше его рассмотреть.

Он никогда не появлялся ни в какое другое время и ни в каком другом месте, а потому у Элены Веры за многие годы ни разу не выдалось возможности поговорить с ним, расспросить его, кто он или кем был когда-то, узнать, почему он приходит слушать ее. Она предположила, что он мог быть героем того самого давнего и печально закончившегося романа сеньоры Суарес Алдай, но с уст сеньоры никогда не сорвалось ни единого признания — а ведь к ним так располагали все те сентиментальные и трагические страницы, которые читала ей Элена Вера, да и сама Элена Вера столько раз за долгие годы пыталась подобраться к этой теме во время бесконечных вечерних разговоров. Возможно, все это были лишь сплетни, и в жизни сеньоры не было ничего, о чем стоило бы рассказывать. Не потому ли она хотела слушать чужие истории, далекие от ее жизни, невероятные? Не раз испытывала Элена искушение сжалиться над старушкой и рассказать ей о том, что происходило каждый вечер за ее спиной, поделиться своей маленькой тайной, сообщить о присутствии мужчины в этом с каждым днем все более печальном и пустынном доме, где иногда по нескольку дней и ночей подряд звучали только два их женских голоса — с каждым днем все более глухой и старческий голос сеньоры и с каждым днем чуть менее красивый, звучный и живой голос Элены Веры, который, вопреки предсказаниям, так и не завоевал ничьей любви, по крайней мере любви кого-то, кто оставался бы с нею и к кому можно было бы прикоснуться. Но всякий раз, когда Элена готова была поддаться искушению, она вспоминала, как мужчина поднес палец к губам, приказывая ей молчать, и как потом не раз повторяли этот приказ его насмешливые глаза. И она молчала. Меньше всего на свете ей хотелось бы рассердить его.

Однажды Элена заметила, что выражение лица незнакомца – полукрестьянина, полусолдата в продырявленной одежде (каждый раз, когда Элена видела эти дыры, у нее возникало желание заштопать их, чтобы сквозь них не проникал холодный морской воздух) – вдруг изменилось. Здоровье сеньоры Суарес Алдай день ото дня становилось все хуже, и незадолго до смерти (правда, никто не знал, что она вскоре умрет) она попросила Элену вместо романов и стихов почитать ей Евангелие. Элена начала читать. И вот тут-то она и заметила, что каждый раз, когда она произносила слово "Хесус"[1] (а произносила она его часто), лицо мужчины искажалось болью и страданием, как если бы это слово ранило его. На десятый или одиннадцатый раз он, наверное, уже не выдержал, потому что фигура его, и без того нечетко очерченная, хотя вполне различимая, стала таять, растворяться в воздухе и наконец совсем исчезла – намного раньше, чем Элена закончила читать.

Элена подумала, что он, возможно, атеист, оголтелый безбожник. И чтобы проверить, так ли это, через несколько дней убедила сеньору послушать нашумевший роман "Энрикильо" доминиканского писателя, имя которого было Мануэль де Хесус Гальван. А перед тем как начать читать роман, рассказала об авторе, стараясь как можно чаще упоминать его полное имя. И опять всякий раз при упоминании имени "Хесус" глаза незнакомца выражали смятение и ужас. Тогда-то Элена и заподозрила то, чего раньше и представить себе не могла. Читая книгу, она вставила туда придуманный ею коротенький диалог, в котором Энрикильо якобы обращался к своему подчиненному с такими словами: "Ты, Хесус, гуахиро[2]" Призрак в ужасе зажал уши ладонями. Элена прекратила игру, и мужчина пришел в себя.

Прошло три дня, прежде чем Элена устроила решающее испытание. Сеньора слабела, но отказывалась лежать в постели, предпочитая оставаться в своем кресле, словно оно было символом ее здоровья, охраняло ее от смерти. И Элена Вера решила почитать ей "Книгу" Марко Поло. То есть сказала, что хочет почитать эту книгу, а на самом деле она собиралась прочитать лишь пролог и биографию знаменитого путешественника. Читая жизнеописание Марко Поло, она добавила к нему такую фразу: "Этот великий искатель приключений побывал, в числе прочих мест, в Китае и Мекке". Загорелое, обветренное лицо мужчины внезапно побледнело, и в мгновение ока, без постепенного перехода, его фигура исчезла, словно бледность стерла ее, сделала прозрачной, невидимой даже для Элены. И тогда она окончательно уверилась, что ее слушателем был не кто иной, как Эмилиано Сапата, убитый в возрасте тридцати с небольшим лет человеком, выдававшим себя за его сподвижника. Имя его было Хесус Гуахардо, а прозвище – Чинамека[3]. Элена испытала гордость оттого, что ей оказывал честь своими посещениями изрешеченный предательскими пулями призрак такого человека, как Сапата.

А на следующее утро сеньора Суарес Алдай умерла. Элена осталась в доме, но первое время была настолько подавлена и растеряна, что ей было не до чтения. Да и предлога для этого у нее больше не было. Призрак не воз-

1. Иисус от *исп.* Jesús. (*Здесь и далее – прим. перев.*).
2. Крестьянин, деревенщина.
3. Ассоциацию с именем Гуахардо вызвало слово "гуахиро", а ассоциацию с прозвищем Чинамека – упоминание о Китае, по-испански China (Чина), и Мекке, по-испански Meca (Мека).

вращался. С одной стороны, Элена объясняла посещения Сапаты желанием получить образование, чего при жизни ему наверняка сделать не удалось, и тем, что на его долю выпало так много суровой правды, что после смерти он захотел отдохнуть, слушая красивые вымыслы. С другой стороны, она опасалась, что его появления были все же связаны только с сеньорой — любовь к такому человеку, как Сапата, требовала соблюдения особых мер предосторожности, и тайну ее нужно было хранить до самой смерти.

И все же она решила снова читать вслух, чтобы привлечь, вернуть его. И читать не только романы и стихи, но также исторические и естественнонаучные трактаты. Несколько дней он не показывался — как знать, возможно, призраки тоже переживают траур: у них для этого гораздо больше оснований. Или, если слова могут причинять боль и призракам, он просто больше не доверял Элене. И все же через некоторое время он появился вновь — может быть, его заинтересовали новые темы. Слушал он все с тем же сосредоточенным вниманием, хотя теперь уже не стоял, облокотясь на спинку кресла, а удобно устраивался в этом самом кресле, вешая на его спинку свою шляпу и иногда даже закидывая ногу на ногу и откинув руку с дымящейся сигарой — словно патриарх, каким он никогда не был при жизни.

Девушка (которая становилась все старше и старше) оберегала свою тайну. С каждым днем она проникалась все большим доверием к своему слушателю и говорила с ним все более откровенно. Правда, ответа она никогда не слышала — призраки не всегда могут и не всегда хотят говорить. Доверие ее все росло и росло, а годы все шли и шли. Она тщательно избегала упоминания имени Хесус в каком бы то ни было контексте, следила за тем, чтобы ни одно слово не вызвало ассоциаций с именем Гуахардо, исключила из своего лексикона названия Китай и Мекка. Но вот наступил день, когда ее слушатель не появился. Не появился он и на следующий день, и через неделю, и через несколько недель.

Девушка, которая была уже почти старушкой, сначала по-матерински забеспокоилась, не стряслось ли с ним чего, словно позабыв, что беды случаются лишь у смертных, а с иными ничего стрястись не может. Но потом опомнилась — и пришла в отчаяние.

Она просиживала целые вечера, глядя на пустое кресло и с болью в голосе вопрошала пустоту, бросала в нее упреки и проклинала прошедшее, в которое, как она полагала, вернулся ее слушатель. "За что? — спрашивала она. — Что я такого сделала? Какую ошибку совершила?" А потом лихорадочно искала новые книги, способные вызвать у герильеро[1] интерес, заставить его вернуться. Она пробовала читать новые трактаты и новые романы, доставала последние рассказы о приключениях Шерлока Холмса — на лиризм и мастерство их автора она возлагала особые надежды. Каждый вечер она читала вслух и с замиранием сердца ждала, что ее слушатель вот-вот появится.

Прошло несколько месяцев, и однажды она обнаружила, что закладка в романе Диккенса, который она тогда читала, лежит не там, где была ею оставлена, а совершенно на другой странице. Она внимательно прочла отмеченную страницу, и сердце ее пронзила боль, которой не избежать никому, даже тому, чья жизнь однообразна и не отмечена никакими событиями. Там была фраза: "И она постарела, и лицо ее покры-

1. Мятежник, партизан.

лось морщинами, а голос стал глухим и утратил былую прелесть". Дон Алехандро-де-ла-Крус пишет, что старушка возмутилась, словно отвергнутая жена, но не сдалась, не отступилась, а с глубоким упреком сказала в пустоту: "Ты несправедлив. А когда-то ты боролся за справедливость. По крайней мере так говорят о тебе теперь. Ты не стареешь и хочешь слушать прелестные юные голоса, смотреть на свежие нежные лица. Ты не думай, я тебя понимаю — ты молод и уже останешься таким навсегда. И, наверное, тебе на многое не хватило времени, ты был многого лишен. Но я столько лет учила и развлекала тебя! Я многому тебя научила. Возможно, научила даже читать. Как же ты можешь оставлять мне такие оскорбительные послания в книгах, которыми я всегда делилась с тобой? Подумай о том, что, когда умерла сеньора, я могла бы продолжать читать про себя, но я этого не сделала. Я могла бы покинуть Веракрус, но я его не покинула. Я понимаю, что ты можешь отправиться на поиски новых голосов. Ты никогда ничего у меня не просил и ничем мне не обязан, как и я ничем не обязана тебе. Но ты знаешь, что такое благодарность, Эмилиано, — она впервые назвала его по имени, даже не зная, слышит ли он ее. — Я прошу тебя приходить хотя бы раз в неделю послушать меня. Пожалуйста, наберись терпения. Я знаю, что голос мой уже не так прекрасен и не доставляет тебе удовольствия. Но ведь он уже не принесет мне новой любви. Я буду очень стараться, буду читать как можно лучше. Приходи, потому что теперь я стара и теперь я нуждаюсь в твоем присутствии. Мне будет трудно не видеть больше твоей продырявленной одежды. Бедный Эмилиано! Как в тебя стреляли!"

Дон Алехандро-де-ла-Крус сообщает далее, что призрак бывшего крестьянина и вечного солдата (возможно, действительно самого Сапаты) не был таким уж черствым и внял ее доводам (или просто знал, что такое благодарность), потому что с того дня и до самой смерти Элена Вера с трепетом ждала того часа, когда ее призрачный возлюбленный возвратится к ней из своего прошлого, хотя на самом деле для него уже не было ни прошлого, ни вообще времени. Она ждала, что вот опять наступит среда, и он опять вернется — изнуренный, печальный, предательски убитый Чинамекой. И, наверное, именно благодаря тем встречам, тому слушателю и тому договору, она так долго еще оставалась в том доме у моря и так долго жила. И были у нее и настоящее, и прошлое. И даже будущее.

Песня *лорда* Рендалла

ДЖЕЙМС РАЙАН ДЕНЭМ[1] *(1911–1943), уроженец Лондона и воспитанник Кембриджа, был одним из тех писателей, таланту которых не дала раскрыться Вторая мировая война. Он был из состоятельной семьи. После университета поступил на дипломатическую службу и работал в Бирме и Индии (1934–1937). Он не оставил обширного литературного наследия – известны только пять его произведений. Все это были частные издания, найти которые в настоящее время почти невозможно, поскольку даже сам он, скорее всего, считал свои литературные занятия только развлечением. Его друзьями были Малколм Лау-*

1. Джеймс Райан Денэм — вымышленный Х. Мариасом автор. К подобной мистификации писатель прибегал не раз.

ри, с которым они вместе учились в университете, и знаменитый собиратель живописи Эдвард Джеймс. Сам он был обладателем прекрасной коллекции полотен французских художников XVIII–XIX веков.

Его последняя книга – "How to kill" ("Как убивать"; 1943), из которой и взят переведенный нами и представляемый ниже вниманию читателя рассказ "Lord Rendall's Song", была единственной, которую он попытался опубликовать в коммерческом издательстве, но ни один издатель рукопись не принял: все они были едины во мнении, что, во-первых, подобная книга будет ударом по боевому духу солдат на фронте и их близких в тылу, что недопустимо, когда идет война, а во-вторых, некоторые рассказы чересчур откровенны. До этого Денэм опубликовал книгу стихов "Vanishings" ("Исчезновения"; 1932), сборник рассказов "Knives and Landscapes" ("Ножи и пейзажи"; 1934), небольшую повесть "The Night-Face" ("Ночное лицо; 1938) и "Gentle Men and Women" ("Мужчины и женщины знатного происхождения"; 1939) – серию коротких очерков о знаменитостях, в том числе Чаплине, Кокто, балерине Тилли Лош[1] и пианисте Дино Липатти[2]. Денэм погиб в возрасте тридцати двух лет, участвуя в одном из сражений на Севере Африки.

Хотя в приведенном ниже рассказе все понятно без пояснений, полагаем все же не лишним добавить, что английская народная песня о лорде Рендалле являет собой диалог между умирающим (его отравила собственная невеста) юным лордом и его матерью. На последний вопрос матери: "Что оставишь ты своей любимой, Рендалл, сынок?" — лорд Рендалл отвечает: "Веревку, на которой ее повесят. Веревку, на которой ее повесят".

Хулии Алтарес, для которой я до сих пор не существую

Я хотел сделать Дженнет сюрприз, а потому не предупредил ее о дне своего возвращения. Что значат в сравнении с четырьмя годами еще несколько дней неопределенности, думал я. Узнать в понедельник из письма, что я приеду во вторник, будет для нее не таким радостным потрясением, как открыть во вторник дверь и увидеть на пороге меня. Война и плен остались позади. Они остались позади так быстро, что я уже начал понемногу их забывать.

Я был бы счастлив, если бы мне удалось забыть их сразу и насовсем и удалось сделать так, чтобы наша с Дженнет жизнь никак от них не пострадала, а потекла так, словно я никуда из нее не исчезал, словно не было фронта, приказов, боев, вшей, ампутаций, голода, смерти. Словно не было ужасов немецкого концлагеря. Она знала, что я жив, ее известили. Знала, что я попал в плен и поэтому остался в живых. Знала, что я вернусь. Наверное, каждый день ждала вести о моем возвращении. Мой приезд не испугает ее, он ее обрадует. Это будет большая радость. Я позвоню в дверь, она откроет, вытирая руки о фартук, и увидит меня — наконец-то снова в гражданском, худого, бледного, но улыбающегося и готового задушить ее в объятиях, зацеловать. Я подниму ее на руки, сорву с нее фартук.

1. Тилли Лош (1907–1975) – австрийская балерина, актриса и художница.
2. Дино Липатти (1917–1950) – румынский пианист.

Она уткнется мне в плечо и заплачет. Я почувствую, как от слез намокнет пиджак, но это будет совсем другая влага, не та, что выступает на стенах тюремного карцера, не окопная сырость, не монотонный дождь, который стучит по каскам солдат на марше. Мне было так сладостно мечтать о нашей встрече, что, оказавшись наконец у дверей своего дома, я почти пожалел, что ожидание кончилось. И я не стал звонить, а обошел дом и подкрался к окну. Я хотел услышать что-нибудь, что-нибудь увидеть. Хотел снова привыкнуть к забытым родным звукам, при воспоминании о которых так сжималось сердце в тех местах, где я не мог слышать звяканья кастрюль на кухне, скрипа двери ванной комнаты, шагов Дженнет.

И голоса малыша. Ему едва исполнился месяц, когда я ушел, и тогда голос нужен был ему только для того, чтобы плакать. Сейчас ему четыре года, и у него, наверное, настоящий голос, собственная манера разговаривать, похожая, вероятно, на манеру его матери, с которой он провел столько времени. Его зовут Мартин.

Я не знал, дома ли они. Стоял и, затаив дыхание, вслушивался. Первое, что я услышал, был детский плач, и это меня насторожило. Плакал младенец, такая же кроха, каким был Мартин, когда я уходил на фронт. Что бы это значило? Может быть, я ошибся домом? Или Дженнет с малышом переехали без моего ведома и теперь здесь живет другая семья? Плач доносился издалека, судя по всему, из той комнаты, которая когда-то была нашей спальней. Я решился заглянуть в дом. Я увидел нашу кухню. Там никого не было, не увидел я и кастрюль на плите. Уже темнело. В это время Дженнет обычно готовит ужин. Может быть, она собиралась начать готовить, как только успокоит ребенка? Но я не мог ждать и решил заглянуть в другие окна. Прижимаясь к стене и пригнувшись, чтобы меня не заметили, я снова обошел дом. Теперь справа от меня было окно гостиной, а слева, рядом с входной дверью, — окно нашей спальни.

Я начал понемногу распрямляться и наконец смог заглянуть левым глазом в окно гостиной. Она тоже была пуста. Окно было закрыто, и по-прежнему слышно было, как плачет ребенок, который не мог быть Мартином. Дженнет, наверное, была в спальне, укачивала того малыша, кем бы он ни был. Впрочем, возможно, это и не она.

Я уже хотел перебраться к окну слева, но тут дверь в гостиную отворилась и вошла Дженнет. Я не ошибся домом, и они не переехали без моего ведома. На Дженнет был фартук, как я и предполагал. Она всегда ходила в фартуке. Говорила, что снимать его — только время терять: все равно зачем-нибудь придется надевать снова. Она была очень красивая. Совсем не изменилась. Все это я увидел и подумал за пару секунд: вслед за Дженнет в комнату вошел мужчина. Он был очень высокий, и с того места, откуда я смотрел, не видна была его голова — ее срезала оконная рама. Он был без пиджака, но в галстуке, словно только что вернулся с работы и еще не успел переодеться, лишь пиджак снял. Он вел себя так, как ведут себя дома. Ходил следом за Дженнет, как ходят дома мужья за женами. Если бы я пригнулся еще больше, то не смог бы вообще ничего увидеть, и я решил подождать, пока он сядет — тогда я смогу увидеть его лицо.

Некоторое время он стоял возле окна спиной к нему — белая рубашка, руки засунуты в карманы брюк, — заслоняя от меня Дженнет. Только когда он отошел от окна, я снова увидел ее. Они молчали. Похоже было, что они поссорились и теперь не разговаривают — обычная вещь между

мужем и женой. Дженнет сидела на софе нога на ногу. Хотя она была в фартуке, но на ней были тонкие чулки и туфли на высоких каблуках.

Она закрыла руками лицо и заплакала. Он склонился над ней, но не затем, чтобы утешить, а лишь затем, чтобы посмотреть, как она плачет. И когда он наклонился, я увидел его лицо. Это было мое лицо. Человек в моей гостиной был точно таким, как я.

Не то чтобы он был очень на меня похож, — нет, это были мои черты, словно я смотрелся в зеркало, или, еще вернее, словно я смотрел один из тех любительских фильмов, которые мы начали снимать вскоре после того, как родился Мартин и отец Дженнет подарил нам кинокамеру, чтобы мы могли вспоминать о том, каким был наш ребенок, когда он уже не будет ребенком.

Тесть мой до войны был человеком небедным, и я надеялся, что Дженнет, несмотря на все трудности, все же нашла возможность снимать Мартина в те годы, когда я не мог быть рядом с ним. Да, конечно же, это фильм, подумал я. Дженнет загрустила и включила проектор, чтобы в который уже раз посмотреть одну из тех сцен, что мы сняли до моего отъезда. Но нет: то, что я сейчас видел, я видел в цвете, а наши фильмы были черно-белые. Да и никто никогда не снимал нас вместе из того окна, возле которого я сейчас стоял. Человек, который склонился сейчас к Дженнет, был реальным, я мог бы его потрогать, если бы разбил стекло. Это мои глаза, мой нос, мои губы, мои вьющиеся светлые волосы. Даже шрамик над левой бровью — мой двоюродный брат Дерек в детстве бросил в меня камнем. Я потрогал шрам. Уже совсем стемнело.

Сейчас он говорил, но слов было не слышно. Плач Мартина стих, когда они вошли в гостиную. Теперь всхлипывала Дженнет, а человек, у которого было мое лицо, что-то говорил, склонившись к ней, и по выражению его лица было видно, что слова, которые он произносил, не были словами утешения — скорее, это были насмешки или упреки. Голова у меня шла кругом. Я пытался найти происходящему хоть какое-то объяснение, но мысли, приходившие мне в голову, были одна другой абсурднее.

Я подумал, что, возможно, она искала и нашла как две капли воды похожего на меня человека, который заменил бы меня на время моего долгого отсутствия. Или что произошел какой-то необъяснимый сдвиг во времени, те четыре года оказались забыты, стерты, как я того и хотел, и я смог продолжить жизнь с Дженнет и малышом с того самого момента, в который она когда-то прервалась.

Не было четырех лет войны, и я, Том Бут, не был ни на фронте, ни в концлагере, ни в плену: я был дома, как всегда, я пришел с работы и ссорился с Дженнет. Те четыре года я прожил рядом с ней. Я, Том Бут, не был призван в ряды действующей армии, я остался дома. Но кем же, в таком случае, был тот, кто смотрел сейчас в окно, кто так долго шел к этому дому, кто был только что освобожден из немецкого концлагеря, кто прошел через столько сражений и хранит в памяти столько воспоминаний об этих четырех годах?

А может быть, думал я, всему виной то волнение, в которое привело меня ожидание встречи? Это оно заставило меня вдруг до мельчайших подробностей вспомнить и словно заново увидеть сцену из прошлого — какое-то событие, которое случилось незадолго до нашего расставания (может быть, даже в последний день, когда мы были вместе) и о кото-

ром я забыл. Может быть, Дженнет плакала в тот день, когда мне предстояло ехать на фронт, где меня могли убить, а я относился ко всему шутя. Этим мог бы объясняться и плач Мартина-младенца.

Но то, что я видел, не было галлюцинацией, я не воображал это и не вспоминал – я это видел. И потом, Дженнет перед моим отъездом не плакала. Она очень сдержанная. Она до последней минуты улыбалась и старалась казаться совершенно спокойной – знала, что иначе мне будет еще труднее покидать ее. Это сегодня она должна была заплакать – открыв дверь и увидев на пороге меня, уткнувшись мне в плечо, заливая слезами мой пиджак.

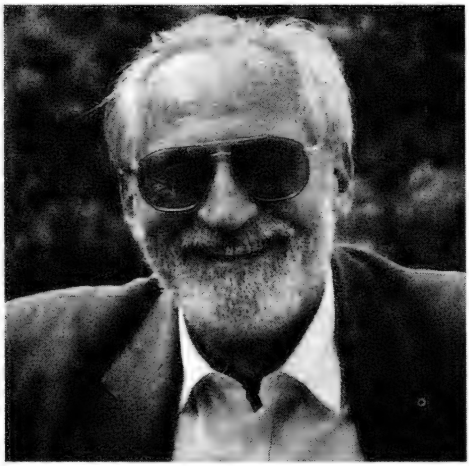
Нет, то, что я видел, не было забытой сценой из прошлого. Я окончательно уверился в этом, когда мужчина, муж, я, Том, внезапно выпрямился и обеими руками схватил за горло сидящую на софе Дженнет – свою жену, мою жену. Он сжимал ее горло все сильнее и сильнее. Я понял это, хотя сейчас он снова стоял ко мне спиной, и его огромная белая рубашка – моя белая рубашка – закрывала от меня Дженнет. Я видел только ее руки, которые били по воздуху, а потом спрятались за рубашкой – возможно, тщетно пытались освободиться от моих рук, которые не были моими руками, – и через несколько секунд снова появились по обе стороны белой рубашки, но на этот раз только для того, чтобы безжизненно упасть. Снова послышался плач ребенка – такой громкий, что его слышал даже я на улице.

Мужчина вышел из гостиной – наверняка направился в нашу спальню. А я увидел Дженнет – мертвую, задушенную. Юбка ее задралась, одна из туфелек свалилась с ноги. Я увидел ее подвязки, о которых старался не думать все эти четыре года.

Я не мог сдвинуться с места, но я понимал: этот человек, я, тот, кто не покидал Чешем все это время, сейчас убьет и Мартина, или другого ребенка, если у нас с Дженнет за время моего отсутствия родился еще один ребенок. Нужно разбить стекло, нужно войти, нужно убить этого человека, прежде чем он убьет Мартина или своего новорожденного сына. Нужно помешать ему. Я должен немедленно совершить самоубийство. Но я оставался по ту сторону оконного стекла, а опасность продолжала оставаться там, в доме.

Пока я так стоял, плач ребенка стих. Он оборвался резко, не было постепенного перехода от плача к всхлипываниям и потом к полному успокоению, как это обычно бывает, когда ребенка берут на руки, когда его баюкают, когда поют колыбельную. До моего отъезда я часто пел Мартину песню про лорда Рендалла, и иногда мне удавалось успокоить его, но удавалось не сразу: приходилось повторять песню много раз. Он всхлипывал, с каждым разом все слабее, и потом, наконец, засыпал. А сейчас ребенок замолчал сразу, без всякого перехода. Неожиданно для самого себя я вдруг запел в ночной тишине, у окна, песню о лорде Рендалле, ту песню, которую я пел Мартину. Она начинается словами: "Где ты был весь день, Рендалл, сынок", а я пел: "Где ты был весь день, Мартин, сынок?" И, когда я запел у окна, я услышал, как ко мне присоединился тот человек: оттуда, из спальни, он пропел вторую строчку: "Где ты был весь день, мой милый Том?" Я услышал его, потому что ребенок – мой сын Мартин, или сын (его тоже звали Том) этого человека, больше не плакал. И когда мы допели песню о лорде Рендалле, я спросил себя, кого из нас двоих следует отправить на виселицу?

Тоне Павчек



Стихи

Перевод со словенского Жанны Перковской
Вступление Надежды Стариковой

Кто говорит: иметь.
Я говорю: любить[1].

Тоне Павчек *Кто говорит...*

Один из выдающихся словенских поэтов второй половины XX века, переводчик, эссеист, автор многих книг для детей Тоне Павчек родился в 1928 году в Нижней Крайне, том благодатном крае Словении, где много солнца и света и виноградная лоза щедро дарит людям свое тепло и веселье, делая их дружелюбнее, общительнее и радушнее. Его жизненная энергия, жажда нового, умение радоваться каждому дню, любовь к крестьянскому труду — оттуда, из отчих мест. Более полувека родная земля является для поэта источником не только нравственного здоровья и вдохновения, но и отменной физической формы, ведь он сам виноградарь, признанный "рыцарь вина".

Юрист по образованию, Павчек проявил себя как человек разносторонних дарований и активной гражданской позиции — был журналистом, работал на радио и телевидении, руководил театром, издательством, Республиканским союзом писателей, был избран академиком Словенской академии наук и искусств. В его судьбе нашли отражение основные вехи новейшей словенской истории: родился в Королевстве сербов, хорватов и словенцев, бóльшую часть жизни прожил в социалистической Югославии, в конце 1980-х в рядах демократической интеллигенции боролся за национальную государственность, после провозглашения независимости

© EDINA d. o. o.
© Жанна Перковская. Перевод, 2008
© Надежда Старикова. Вступление, 2008
Редакция благодарит Тоне Павчека за любезно предоставленное право безвозмездной публикации его стихов и эссе на страницах журнала.
1. Перевод М. Алигер.

Словении активно содействовал укреплению ее позиций на международной арене в качестве посла доброй воли ЮНИСЕФ. Стремление сказать в стихах правду о времени и о себе, присущее Павчеку, во многом определило вектор развития современной поэзии Словении. И хотя неоромантическая приподнятость ранней лирики с годами сменилась горьким осмыслением вечных противоречий человека и окружающей его реальности, главным для поэта остается ощущение полноты и гармонии бытия, которое он стремится воплотить в слове. Все началось со сборника 1953 года "Стихи четырех", где Павчек и его друзья-поэты Каэтан Кович, Янез Менарт и Цирил Злобец, протестуя против политически ангажированного упрощенного стиха, обратились к мыслям и чувствам современников. Между этим сборником и последней книгой "Стихи с подковыркой" (2006) более полувека и свыше десятка поэтических сборников, многие из которых отмечены престижными литературными премиями. Так, поэтический сборник "Наследие" (1983) был в 1984 году удостоен высшей литературной награды Словении — премии Прешерна. Большой интерес у читателей вызвала книга автобиографических эссе "Время души, время тела" (1 часть — 1994, 2 часть — 1997), в которой автор рассказывает о важнейших встречах своей жизни. Такое творческое долголетие — следствие не только большого таланта, но и постоянного поиска, самосовершенствования, тяги к эксперименту. Одним из главных ориентиров на этом пути стала для Павчека русская поэзия, блестящим переводчиком которой он себя зарекомендовал. В его переводах в престижной серии "Лирика" вышли сборники В. Маяковского (1972), А. Блока (1978), С. Есенина (1984), А. Ахматовой (1989), Б. Пастернака (1991), М. Цветаевой (1993), Н. Заболоцкого (1997); совместно с Драго Байтом им была составлена антология русской поэзии XX века (1990). В антологии мировой поэзии "Песня Орфея" (1998), где словенские поэты разных поколений представляли свое видение поэтической картины мира через десять "своих" стихотворений, Павчек единственный, кто отдал безоговорочное предпочтение русской музе. Он объяснил свой выбор так: "Почти всю жизнь я прожил с русской поэзией... Общение с Блоком, Есениным, Пастернаком, Ахматовой, Цветаевой... подарило мне состояние влюбленности в силу и красоту стиха, дало убежденность в абсолютной суверенности стихотворчества и безграничной преданности музе и жизни..."[1]. Об искренней привязанности словенского поэта к русской культуре говорит и его активное сотрудничество с издательством "Художественная литература"; лучшие книги словенской поэзии на русском языке — "Лирика" Ф. Прешерна (1987) и "Поэзия Словении. XX век" (1989) — вышли с блестящими предисловиями Павчека.

Накануне юбилея хочется пожелать Тоне Павчеку, отметившему в прошлом году 60-летие творческой деятельности, и дальше следовать своему жизненному кредо, которое он сам в стихотворении "Жить" определил как:

Жить...
это значит быть
в пути,
как парус под яростным ветром похода.
Идти и идти, все время идти,
от восхода и до захода[2].

Пусть путь этот будет долгим и плодотворным.

1. Orfejev spev: antologija svetovne poezije v izboru slovenskih pesnikov. – Ljubljana, 1998. S. 66.
2. Перевод Ю. Левитанского.

Песнь начала

Прихожу я из черных дней одиночества и молчанья,
из вязкого ила, где тень
тех, кто мною любим.
Прихожу я из запустенья, из одичанья,
через хаос и тьму, в час, когда этот свет
восстает из руин.
Прихожу я с верой, что выйду
на дорогу,
ведущую в день,
просторный и тесный, как земля, где прекрасная Вида
томилась под гнетом снов.

Прихожу я из темных долин
туда,
где растет виноград на холме,
где иззябшаяся лоза
ждет заботы и новых ростков.
Прихожу я, и снова тоскуется-плачется мне,
и молюсь я светлому Богу
жизни —
сердцем, без слов.

Я молюсь, как в далеком детстве:
пусть просыплется благодать
с небесных колоколов
на эту словесную пустошь, скудное место,
пусть слоги со дна этой ночи,
хромая и спотыкаясь, сбредутся,
сливаясь в родной и понятный почерк,
как день приникает к дню,
как овцы, что, бестолково
блея, друг к другу жмутся
и дольше хранят тепло —
чтоб зазвучало слово.

Земле

О, земля моих дедов и прадедов, благословенная,
в непогоду бредущая в город, за мною, — ступив на порог,
на паркет, с непривычки неловкая, постепенно ты
дух переводишь, снимаешь обувку, разматываешь платок

и садишься за стол, как хозяйка; обводишь взглядом
картины на стенах и, котомку свою развязав,

вынимаешь гостинцы — из погреба да из сада,
и заводишь повествование о делах

древних или недавних, и от слов твоих пахнет в доме
унавоженной пашней и дымом,
черносливом и вечностью. Будь же судьбой хранима:
моя мать и жена, несметно богатая и неприметно-скромная,

ты приносишь украдкой мне в грохот и гам полевые цветы,
и я снова ребенок, и пасу облака, и в глазах у меня
колоски, кукурузы початки в зное летнего дня —
и ты.

Простые слова

Нужно много простых и понятных слов,
как-то:
хлеб,
любовь,
доброта,
чтоб на распутье не сбиться с пути,
чтоб вслепую во тьме не плутать.

Нужно много безмолвия, тишины,
снаружи нас и внутри,
чтоб голоса были слышны,
тихие, робостью приглушены,
голубей,
муравьев,
людей,
сердец,
их боли или вины —
среди неправды, среди резни,
среди всего, что не есть
хлеб,
любовь,
доброта.

Тишины! Тишины! Лишь сердце пусть
отмерит время,
укажет путь.

Мольба

Подарите будущим матерям
все цветы,
все цветы земли.

Земляникой созрели мольбы
на устах младенцев,
что никогда не родятся.

Бегать бы им по зеленым лугам,
за мотыльками гоняться,
расти бы, как травам, как деревам,
смотреть в облака, слушать песни
рожденья, любви, любви, ликованья,
только не смерти,
не смерти!

И глядят на меня из немоты
стариковские личики нерожденных.
И колышется лес воздетых к небу ручонок,
словно чьи-то огромные губы твердят:

подарите же
все цветы
женщинам, матерям — пусть родят!

Крестная

Я сызмальства помню: она все бежала, бежала —
то к речке с бельем, то на луг, то полоть виноградник,
к печи и в амбар, и бежала по праздникам в церковь,
бежала весь день напролет, даже ночью, во сне
бежала от бед каждодневных, от страхов, грозящих
из темных ночей, с чердака или прямо с небес.
Но как ни бежала — судьбу перегнать не сумела,
ведь, сколько ни бегай, нельзя убежать от себя.
Потом постепенно, не сразу, замедлила бег,
а после все чаще случалось ей остановиться,
то слушая звон поминальный, то грома раскаты,
и вот, словно силы не стало, на сельском погосте
стояла, застыв изваянием скорби и боли,
когда засыпали сестру ее, мужа и брата,
и сына, и дочь. И тогда, наконец, никуда
уже не спешила и только подолгу бродила
в лесу за деревней, а чаще сидела у дома,

уставясь вперед, словно гостя ждала дорогого,
который, как учит молитва, придет и избавит.
Такой ее вижу и ныне я — в темных одеждах,
со взглядом, что видит свои и чужие невзгоды,
и словно неслышно звучит в ней старинная песня:
"Бежала девчоночка, счастью бежала навстречу..."
Теперь же я сам к ней бегу через горы и реки,
бегу за дарами ее: за святою водицей,
за стойкостью, имя которой она воплощала,
бегу за молчаньем, душевную боль утолившим,
за горстью черешен из юности чьей-то ушедшей.

Гимн бытию

И нет ничего иного.
Ничего, кроме траты
крови и времени.
Только тихое убывание,
только блуждание
во мраке ночей,
превращение вещества.

И нет ничего иного.
Только это стремленье — скорей
от семени до плода!
Незаметное иссякание
часов и минут в решете.
Только это прощание,
приближение
к смертной черте.

Ничего, ничего иного,
кроме этого бытия.
Камень, растение.
Растение, камень.
Мгновение
в вечном существовании,
как нечаянный
гимн живому.

И нет ничего иного.

Ленинградская встреча с Бродским

Эссе

Перевод со словенского Татьяны Жаровой

в холодной воде
мерзнут
холодные глаза
рыбы.
Рыбы
всегда молчаливы,
ибо они —
безмолвны.
Стихи о рыбах,
как рыбы,
встают поперек
горла.

И. Бродский *Рыбы зимой*

Наша встреча русской зимою далекого тысяча девятьсот шестьдесят третьего и сегодня кажется невероятной, как и тогда. Хотя отнюдь не случайной. Едва ли не столь же невероятна и премия, которую ему присудили шведские академики, но тоже отнюдь не случайно. Эта встреча с Иосифом Бродским, или, как его тогда называли, Иосифом Александровичем Бродским, запомнилась мне как нелепый случай со счастливым концом, а сам он — как стихотворец, которому удалось отстоять свой поэтический выбор.

В то время я ничего о нем не знал. Годы оттепели и короткий хрущевский период разоблачения культа личности вывели на орбиту русской поэзии Вознесенского, Евтушенко, Рождественского; они заполонили собою журналы, книги, литературные вечера, поэтические собрания — их принимали шумно, с подкупающим восторгом и энтузиазмом, не менее уверенным было и их шествие по широким родным и мировым меридианам. В их тени оставалась гораздо более глубокая и серьезная поэзия старшего поколения, будь то Мартынов, Слуцкий, Самойлов; даже заглавные голоса русской поэзии этого века слышались больше в кулуарах, нежели в публичном многоголосье. Тем не менее ранние шестидесятые — это время, когда Москва (по словам Ахматовой) была завалена ходившими в списках стихами Осипа Мандельштама, когда Ахматова заканчивала "Поэму без героя", когда "наступил черед" стихам Марины Цветаевой и свежо еще было ощущение тяжкой утраты, вызванной смертью Николая Заболоцкого и Бориса Пастернака (1958 и 1960 года, соответственно). Всех этих поэтов, согласно не до конца изжитому советским обществом правилу, нельзя было сыскать в книжных магазинах, а некоторых и в библиотеках. Мандельштам вышел только в 1973 году, первый посмертный неполный сборник Цвета-

© Татьяна Жарова. Перевод, 2008

евой — в 1961, лирика Пастернака, Цветаевой и Ахматовой и по сей день доступны российскому читателю не полностью. (В последнем двухтомнике Ахматовой, напечатанном "Художественной литературой", отсутствуют стихи из цикла "Реквием", а у Пастернака опубликованы не все стихотворения из романа "Доктор Живаго".) Помню это время задушевных бесед, больших ожиданий интеллигенции и людей искусства, время таких многообещающих знаковых явлений, как, например, Театр на Таганке Любимова, Театр "Современник" в Москве на площади Маяковского, знаменитый "Один день Ивана Денисовича" Солженицына в "Новом мире", скульптор Неизвестный и нашумевшая выставка в Манеже, которую разогнал Никита Сергеевич, закрыв двери культурной перестройки той поры, пожертвовав культурой ради поддержки и укрепления своих позиций в политических верхах. На смену пришел застой брежневского периода и новое ожидание лучших времен.

А тогда, на заре шестидесятых, казалось, что перспективы эти реальны и им уготовано прекрасное будущее. Новый подъем официальной культуры, а также безграничная любовь ко всему, что было сокрыто, запрещено, недоступно, что по злой воле или из-за идеологической слепоты было изъято из русской лирики, русского искусства, создавали атмосферу свежести, легкого дыхания, наделяли создателей жизнетворной силой. К сожалению, как я уже сказал, многим иллюзиям очень скоро суждено было улетучиться. Ведь уже тогда в воздухе ощущались предвестники какой-то тревоги, но кто же их, особенно если ты иностранец, разберет.

Под знаком таких вот перипетий, надежд, будней и произошла моя встреча с Иосифом Бродским. На него обратили мое внимание друзья в Москве. В то время я готовил антологию русской поэзии XX века и по первоначальному замыслу хотел включить в нее как можно больше поэтов, главным образом современных. (Впоследствии книга получилась совершенно другой: в антологии "Голоса времени" только десять великих имен русской поэзии нашего времени от Анненского до Заболоцкого, более представительный сборник русской лирики я надеюсь издать, быть может, к концу этого десятилетия.) В Москве друзья устроили мне встречу с Анной Ахматовой. С того проведенного у нее вечера мне запомнилось много писательских имен и много трагических судеб, и конечно запомнились мне молодые, которые могли стать продолжателями славной ленинградской поэтической традиции. Среди них — Александр Кушнер и Иосиф Бродский, рекомендовали мне также Глеба Горбовского и Виктора Соснору. К тому времени они уже имели за плечами сборники, все, кроме Бродского, который был самым молодым из них (он родился в 1940 году).

Так в конце февраля 1963-го я отправился из Москвы в Ленинград. Поездку и пребывание мне, стипендиату Республики Словении, организовал Союз советских писателей, а в Ленинграде я был гостем местной писательской организации. Приняли меня и в самом деле сердечно — с некоторыми членами правления я был знаком раньше — и с обычным радушием шли мне навстречу, советуя что-то посмотреть, посетить, интересовались моими пожеланиями. Я был молод и неосмотрителен, ну и, не раздумывая, брякнул: "Хочу встретиться с поэтом Иосифом Бродским!" Возникло замешательство, оцепенение, неловкость, переглядывание, я поймал несколько предназначавшихся мне колких взглядов, мол, куда это годится, мы к тебе со всей душой и по-хорошему, как с гостем, а ты нас — обухом по голове. Примерно так это выглядело, пока один из пятнадцати собеседников не нашелся, заявив, что Бродский не член ленинградского отделения Союза пи-

сателей. Ну и пусть, говорю, но я все равно слышал, что он хороший поэт, и хотел бы с ним познакомиться и включить в антологию русской поэзии, которую готовлю. Что тут началось! Отовсюду посыпались вопросы и замечания: откуда я про него знаю? Да кто мне его порекомендовал? Почему я хочу встретиться именно с ним? И вообще, он не поэт, заявил кто-то решительно, он всего лишь переводчик, а ведь только что они чуть ли не хором твердили, что вообще его не знают. Я понял, что надо как можно скорее выпутываться из этих силков, в которые я ненароком попал, ведь о таких вещах не говорят на официальных приемах с всесильными чиновниками, и стал прощаться, пообещав прийти снова на следующий день. Но не тут-то было. Их распирало от любопытства, откуда я узнал про Бродского, поэтому пришлось отделываться общими фразами о друзьях, одновременно демонстрируя интерес к другим молодым ленинградским поэтам. Кое-как мне удалось выкрутиться и вернуться спустя некоторое время в гостиницу. Здесь меня ждал еще один сюрприз. Жена сказала, что звонил Бродский и будет звонить еще. Прекрасно. Значит, кто-то ему уже сообщил, что я его искал, а также, что я остановился в этой гостинице. Ладно. Подождем, пока он не позвонит снова. И действительно, через какое-то время вновь зазвонил телефон. Голос на противоположном конце провода отрекомендовался Александром Бродским, признавшись, что доводится отцом Иосифу Бродскому и является литературоведом, хорошо разбирающимся в литературе и потому доподлинно знающим, что годится, а что не годится для книг и антологий. Одним словом, позвонивший принялся меня увещевать, что ему как знатоку русской лирики виднее, что стихи его сына не подходят для каких бы то ни было сборников русской лирики, заклиная оставить его в покое. Звучало это убедительно и в то же время несколько странно: с чего бы специалисту, отцу ставить палки в колеса, когда речь идет о публикации стихов сына? Позднее мне стало совершенно ясно: в нем говорил страх, тот самый животный, знающий наперед последствия публикации за рубежом непечатаемых стихов советского гражданина.

Тем не менее, несмотря ни на что, с Иосифом мы все же познакомились. Как и обещал, он еще раз позвонил, и мы встретились у Русского музея неподалеку от моей гостиницы и Невского.

От этой встречи у меня в памяти остались два момента. Его изумление, когда я сообщил ему о вмешательстве отца. Он сказал, что отец никакой не литературовед, объяснив сдержанно и сухо, что тот просто боится за него. И второе: он передал мне увесистую пачку бумаг, завернутую в карту и газету. Я спросил, его ли это стихи. "Не только, еще двух моих друзей". Затем он заговорил о стихах двух своих друзей, о поэзии Дмитрия Бобышева и Евгения Рейна. Оба были старше его, оба родились в 1936 году, помню, что Бродский сказал, что это позор, что их не публикуют. О себе он почти ничего не говорил.

Стихи я благополучно провез через границу, и в том же году Бродский прозвучал на люблянском радио. Скорее всего, это были первые переводы его поэзии у нас и где бы то ни было вообще. В том же году Бродскому инкриминировали тунеядство, а его стихам – "смесь декаданса, пессимизма, модернизма и чистой воды очернительства"; в феврале 1964 года он был осужден на выселение и пять лет исправительных работ. В это время его стихи начали кружить по свету в переводах, и в 1965 году в Нью-Йорке вышел на русском языке сборник "Стихи и поэмы". Затем, после того как ему смягчили приговор, в 1966 и 1967 годах он опубликовал стихи в ленинградском альманахе "День поэзии", а

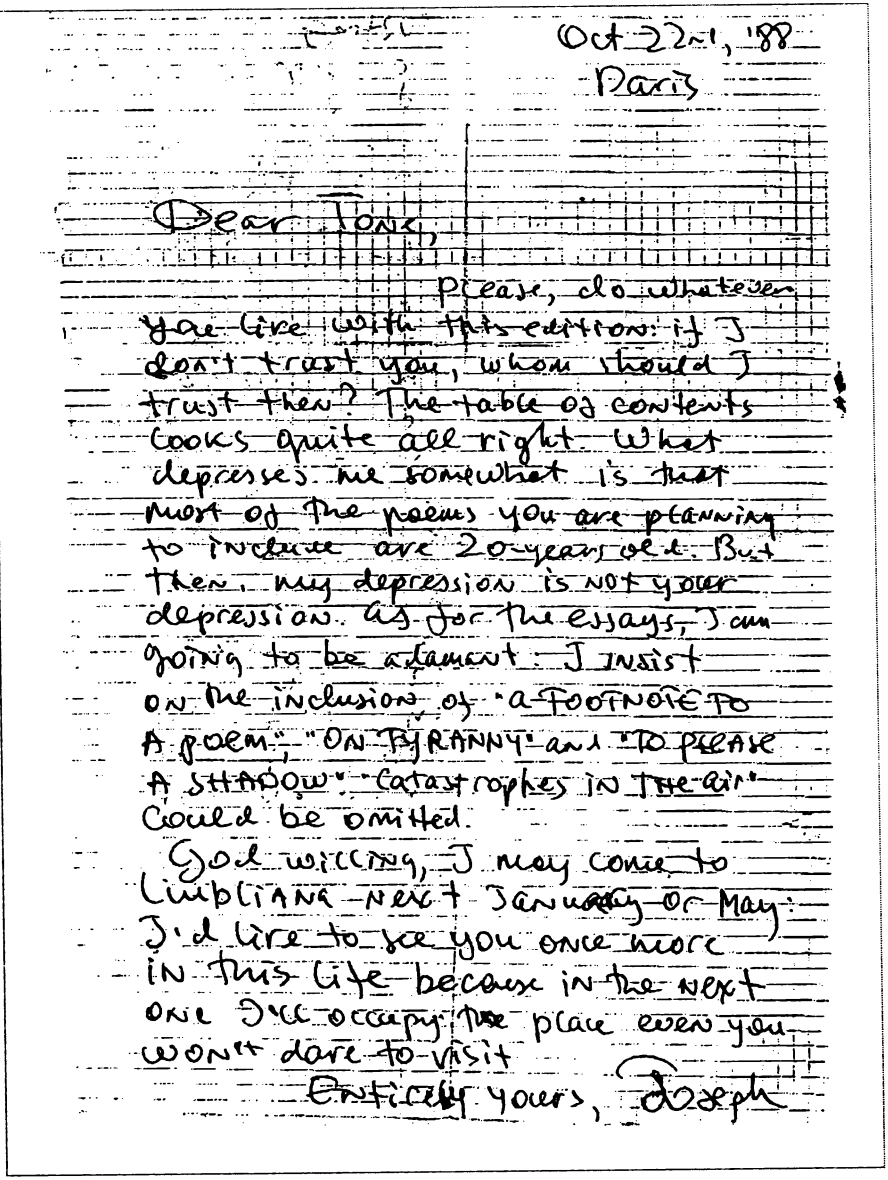
сборник "Остановка в пустыне" вышел за границей в 1970 году. Через два года Бродский был вынужден покинуть Советский Союз.

На пожелтевших старых листках, которые передал мне Бродский зимой 1963 года в Ленинграде, более двадцати стихотворений. Машинописные, с исправлениями, подписанные "Иосиф Бродский". В дальнейшем все они были опубликованы в книгах. Что до стихов двух его друзей того периода, то в самиздатовском литературном альманахе "Метрополь", который вышел в Москве в 1979 году, я открыл для себя Евгения Рейна. А позднее в книгах Бродского я нашел и "свои" стихи Бродского. Невероятно, но эти листки сохранились у меня. Однако перевел я тогда эти стихи совсем не случайно.

Спустя столько лет у меня вновь в руках старые бумаги, и я вспоминаю о поэте, который волшебством поэтического воображения и всепроникающей силой поэтической метафоры выбился за пределы нулевой отметки своего бытия в Советском Союзе шестидесятых годов, вспоминаю о поэте, который как безумный, в упоении рифмой следовал своему предназначению и по неписаным законам закономерности исключений был признан более знаменитым, чем великаны, которых он обожествлял — и которым подражал, — Мандельштам, Цветаева, Ахматова. Я говорю здесь в основном о его раннем периоде, точнее, о первых пяти годах его творчества. Он начал писать стихи в восемнадцать лет, а самые последние из тех, что он передал мне в Ленинграде, датированы 1963 годом. В сравнении с его первой книгой, вышедшей в издательстве Чехова в Нью-Йорке в 1970 году, "Остановка в пустыне" или же со второй "Край прекрасного века" (1977, Мичиган), эти ранние стихотворения все же имеют более тесную связь с миром сущим, я бы даже сказал, что в определенном смысле эти стихи ангажированные. Тут я прежде всего имею в виду критическое отношение к обществу, обстановке, бессилие личности, особенно евреев, в пространстве и времени, стихи о неприглядных сторонах советской жизни и нелестные размышления об этой стране социализма. Позднее писали, в частности, что Бродский — поэт, которого интересуют вечные темы бытия, философско-религиозные искания, но и в этот ранний период мы видим, что поэту не чужды страдания и боль и не только своих ближних на этой бренной земле. И все же он не злоупотребляет ангажированностью в смысле прямого сведения счетов, не прибегает к риторике или антириторике, как это частенько делала поэзия соцреализма; он далек и от мысли, что язвы мира излечимы, стоит лишь поэту указать на них; во все времена он оставался верен высокому поэтическому вдохновению, несмотря на вынужденную вовлеченность в жесткие схватки с реальностью повседневной жизни. Такие социально направленные стихотворения, как "Еврейское кладбище около Ленинграда...", "Рыбы зимой", "Памяти Феди Добровольского" (1960), "Художник", "Памятник" (1962), "Определение поэзии" (1959), "Стихи об испанце Мигуэле Сервете, еретике, сожженном кальвинистами" (1959), находятся в тесном родстве с поэзией Бориса Слуцкого того времени, только у того было больше непосредственности, больше горечи и едкости, и его поэтическая ярость была более направлена против Сталина и сталинизма ("Однажды я шел Арбатом, / Бог ехал в пяти машинах...") Бродский отвергает такую прямолинейность и односторонность, по-человечески он шире, эмоциональнее, глубже, поэтически более изобретателен, чувственно — пронзительней. Некоторых — из имеющихся у меня стихотворений — нет в первых двух сборниках поэта.

Например, стихотворения о памятнике, который нужно воздвигнуть лжи, или о памятнике Пушкину, которому посреди опустевшей площади и завьюженной ночи приятнее коротать бессонницу в постели, чем стоять на пьедесталах славы, или о бродяге-художнике, которого "чумаки сивоусые/ Как надо похоронили, / Молитвы над ним не читались, / Так, / Забросали глиной... / Но на земле остались / Иуды и Магдалины!", или потрясающее стихотворение "Памяти Феди Добровольского", который неминуемо сгинет в далеком лагере, "и тогда один из нас / растянется на восемь тысяч километров / к западу от тебя / на грязном асфальтированном тротуаре, / выронив свои книжки". "Песенка о Феде Добровольском" встречается и в американском издании, я бы сказал, что для этого раннего периода Бродского она не столь значима как раз из-за своей простецкой простоты и убийственного осознания непреложности смерти в сталинском лагере. ("Желтый ветер манчжурский, / говорящий высоко / о евреях и русских, / закопанных в сопку...") В этом смысле поздний Бродский уже не столь ангажированный поэт, а стихотворение в целом, как правило, интонационно политически не окрашено. А вот что удивляло уже тогда и приводило в восторг знатоков поэзии (в том числе великих поэтов — например, Ахматову), так это поэтическая мощь, удивительная способность писать стихи по-новому, пробуждать в человеке чувство неприятия серости и тягот обыденной жизни. Это был другой язык, другой словарный запас — позднее я где-то прочел, что он черпал из словарей первые значения слов, просто из духа противоречия, отстаивая на это свое право. Быть может, как раз за этот бунт и упорство Ахматова называла Бродского и всю группу поэтов его поколения "аввакумовцами" — по имени протопопа Аввакума, писателя и раскольника второй половины XVII века.

Помимо другой русской поэзии, рожденной из переживаний ранних шестидесятых и отдавшей этому времени бóльшую дань, нежели Бродский, к "своим" я отношу также стихи Бродского, знаменующие переход к следующему этапу его творчества. И делаю это вполне осознанно, имея на руках аргументы: значительная часть стихов, особенно обширный цикл, который Бродский назвал "Холмы", является преамбулой к его одноименному нью-йоркскому сборнику. Этот цикл поднимает другие темы: вечность, законы мироздания, непреходящая боль, холмы — а вместе с тем здесь и обыденная жизнь вещей и людей. Цикл "Холмы" носит философский характер: смерть — одна только равнина, а жизнь — холмы, высоты — и написан в манере Марины Цветаевой, компактно и концентрированно, в то время как другие стихи последнего раздела "моего" собрания написаны менее высоким штилем, с более предметными описаниями и характерными повторами из строки в строку рифмующегося слова — в одном или в нескольких стихотворениях. Таково стихотворение о черном коне, "который всадника искал себе средь нас", и цикл любовной лирики, полной раздирающего одиночества среди вещей, которые покинула любовь. Вот, собственно говоря, и все. Не так уж мало. А для начала поэтической стези вообще-то много, ведь это начало уже тогда, четверть века тому назад в Ленинграде, было озарено необыкновенным светом награды, посреди зимы и уже начавшей замирать культурной оттепели такой же далекой, как воля в сибирских лагерях или счастье человечества.



Oct 22nd, '88
Paris

Dear Tone,

please, do whatever you like with this edition: if I don't trust you, whom should I trust then? The table of contents looks quite all right. What depresses me somewhat is that most of the poems you are planning to include are 20-years old. But then, my depression is not your depression. As for the essays, I am going to be adamant: I insist on the inclusion of "A FOOTNOTE TO A POEM", "ON TYRANNY" and "TO PLEASE A SHADOW". "Catastrophes in the air" could be omitted.

God willing, I may come to Ljubljana next January or May: I'd like to see you once more in this life because in the next one I'll occupy the place even you won't dare to visit.

Entirely yours, Joseph

Редакция благодарит Тоне Павчека за присланную нам копию письма Иосифа Бродского.

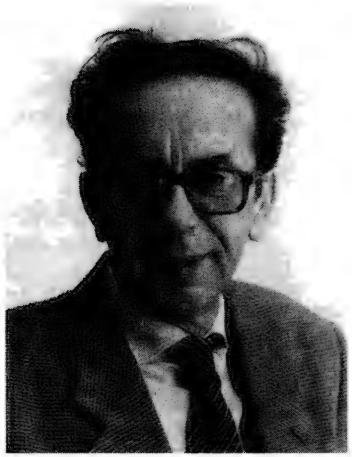
22 октября 1988 года
Париж

Дорогой Тоне,
прошу тебя, делай все, что тебе заблагорассудится, с этим изданием: кому ж как не тебе мне тогда доверять? Оглавление выглядит вполне сносно. Вот что огорчает меня, так это то, что ты собираешься включить стихотворения, большинство из которых двадцатилетней давности. Ну, да мои печали – это не твои печали. Что же касается эссе, то я намерен быть непреклонным: я настаиваю на включении "Об одном стихотворении (Вместо предисловия)", "О тирании", "Поклониться тени", а вот "Катастрофы в воздухе" можно было бы и выкинуть. Если на то будет воля Божья, я смогу приехать в Любляну в январе или мае будущего года. Хотелось бы еще раз повидаться с тобой в этой жизни, потому что в иной я буду пребывать в местах, которые даже ты не отважишься посетить.

Всецело твой, Иосиф.

Перевод Татьяны Жаровой

Исмаиль Кадарэ



Прощальный подарок Зла

Новелла

Перевод с албанского и послесловие В.Тюхина

БЕКИР Али, правитель города Н., еще издали заметил карету, едва та появилась на большой дороге: сначала это был маленький жучок, потом — стремительно приближающийся черный ящик.

— Спаси, Аллах! — пробормотал Бекир Али, разглядев на облучке официальную эмблему. Выходит, тоска, мучившая его весь этот нескончаемый октябрьский вечер, который он, хоть и был суеверен, уже не раз проклинал вроде бы безо всякой на то причины (мать, помнится, говорила ему, что никогда нельзя проклинать дни, даже если они мрачны, как ночи), напала на него неспроста.

Стоя у окна, он смотрел на подъехавшую к дому карету, на кучера, спрыгнувшего с козел и принявшегося стучать в ворота, на своего дворецкого, который, открыв створы, заторопился вверх по ступеням крыльца.

Запыхавшийся дворецкий говорил сбивчиво, но Бекир Али понял: высокий чиновник — прямо из Долма-Бахче, дворца султана.

"Великий Аллах, защити!" — повторил про себя Бекир Али и, как ни старался, спускаясь по лестнице, не держаться за перила, все-таки пару раз ухватился за них.

Прибывший чиновник ожидал его в большой гостиной. Бекир Али, несмотря на богатый опыт, не смог сразу определить подлинный ранг гостя. Запыленная одежда не соответствовала его важному, высокомерному виду, а тому в свою очередь — взгляд глубоко посаженных глаз, усталых, словно у человека, которому смертельно хочется спать. Бекир Али знал, что именно бессонница придает глазам такое выражение.

© 1995, Librairie Arthème Fayard
© В. Тюхин. Перевод, послесловие, 2008

— Я прямо из столицы, с особой миссией, — проговорил гость, запустив руку в прорезь плаща и доставая свернутую в свиток бумагу.

Бекир Али взял свиток, развернул, но не смог ничего разобрать, кроме слов "Дворец Долма-Бахче, Общий отдел" и знакомой печати внизу. Он поцеловал бумагу в том месте, где стояла печать, почтительно склонился и, свернув документ, отдал его гостю.

— Добро пожаловать в мой дом, для меня это большая радость. Долгая дорога, наверно, утомила вас.

Гость развел руками:

— Дорога изнурительная. А постоялые дворы — так хуже некуда.

— Верно, верно, — поддакнул Бекир Али. — Когда мне самому нужно ехать в Стамбул, я заранее ужасаюсь, когда подумаю, что́ мне предстоит. Кроме Старой Корчмы, на выезде из Янины, и еще одной, возле Кавалы, все остальные — позор, да и только. От вшей и клопов никакого спасения нет.

Бекир Али почувствовал, что слишком много говорит, но остановиться не мог. Он давно заметил, что есть люди, одно присутствие которых создает гнетущую обстановку, а если еще и молчать, то станет просто невыносимо. Приезжий был именно из таких.

Стараясь почему-то не встречаться с ним взглядом, Бекир Али говорил о скверных дорогах, об усыпальнице Дервиша Улемы, до сих пор не отремонтированной несмотря на неоднократные предписания, о таможне в Ибрик-Тебе — из-за здания да и самих таможенников складывается дурное впечатление о стране, особенно у иностранцев...

Поняв, что перебарщивает, он внезапно прекратил свою болтовню — гость слушал его с таким равнодушием, словно ему никогда не доводилось, да и впредь не придется ездить по этим дорогам.

На мгновение Бекир Али даже растерялся. По счастью, в следующую секунду он вспомнил о хамаме.

— Я полагаю, что после такой дороги, баня была бы...

— О да, с удовольствием, — сказал приезжий.

На веранде, куда Бекир Али вышел подышать свежим воздухом, слышались привычные домашние звуки. В специально отведенной комнате устраивались двое сопровождающих высокого гостя. С кухни доносилось бренчание посуды. Бекир Али снова вздохнул. День тянулся бесконечно долго.

Он вспомнил усталые глаза гостя, его пропыленную одежду, во внутренних карманах которой могли лежать бог знает какие секретные бумаги, и снова пробормотал: "Спаси, Аллах!"

На миг он замер, словно охотник, выслеживающий дичь. Потом крадущимися шагами вернулся в гостиную. Все так же на цыпочках прошел по узкому коридору, открыл дверь и оказался в длинной глухой комнате, свет в которую проникал только через слуховое окошко. За стеной слышалось журчание воды.

Бекир Али осторожно снял со стены медное блюдо и припал глазом к маленькому отверстию. Из-за пара движения человека по ту сторону перегородки казались замедленными, словно давались ему с большим трудом. Бекир Али почувствовал слабость в коленях. В эту дырочку он подглядывал за чиновниками, приезжающими из столицы, всякий раз, когда сомневался в правдивости их слов или хотел угадать истинную цель их поездки. Он твердо знал: то, что скрывают глаза или слова, вы-

дает голое тело. Там, в облаках пара, среди голых стен, как ни в каком другом месте, человек обнажает свои тайны. Там выходят наружу алчность и вожделение, сомнения и решимость, тайный страх, раскаяние и готовность идти по трупам.

Бекир Али едва сдержал вздох. Тело гостя не выдавало ничего, кроме пережитых страданий, словно не струйки горячей воды касались его, а невидимые розги.

"Этот человек или сумасшедший, или святой", – подумал Бекир Али. Его движения не сообщали ничего, они, казалось, лишь о чем-то вопрошали, чего-то требовали. По его телу невозможно было даже понять то, что Бекир Али всегда видел едва ли не с первого взгляда: нравились ли ему женщины или мальчики, или же он предпочитал, чтобы с ним занимались любовью мужчины. Сколько раз использовал это Бекир Али, особенно последнюю склонность, чтобы опорочить чиновников, казавшихся совершенно неуязвимыми.

Он оторвался от дырки в стене, только когда гость стал вытираться полотенцем.

Спустя некоторое время оба сидели на миндере[1] в гостиной, в широкое окно виднелась часть веранды. Бекир Али был удручен. Он с трудом подыскивал слова, чтобы не дать угаснуть беседе, которую он, как хозяин дома, обязан был поддерживать. Приезжий явно предпочитал отмалчиваться. "Это не гость, а ворон какой-то", – подумал Бекир Али. Приезжий рассеянно смотрел в окно, как день клонится к закату, после бани глаза его казались еще более усталыми.

– Так вот, значит, какая она, Албания, – тихо проговорил он, будто разговаривая с самим собой.

– Вы здесь впервые? – поинтересовался хозяин дома.

Гость утвердительно кивнул.

Он еще несколько раз кивнул, словно продолжая отвечать на вопросы, которые задавал ему кто-то невидимый. "Сам черт, может быть", – подумал Бекир Али. Покивав, гость вдруг произнес все так же тихо:

– Как жаль...

У Бекира Али ёкнуло сердце. Что значит это, будто случайно вырвавшееся "как жаль"? Кого ему жаль? И почему?

Напрасно он ждал, не добавит ли гость что-нибудь к сказанному, – тот замкнул уста. Равнодушно смотрел он сквозь оконное стекло потухшими, как у человека, потерявшего последнюю надежду, глазами, взгляд их так и обдавал холодом. Пару раз Бекир Али едва сдержался, чтобы не схватить приезжего за горло и не гаркнуть ему прямо в лицо: "Кого это тебе жаль? Уж не меня ли? Может, ты и принес мне черную весть? Говори, ворон проклятый!"

Бекир Али давно знал, что высокие столичные гости зачастую привозили местному правителю обвинительный приговор. Бывало, несчастный с почестями принимал посланца, тот ел и пил с ним, а потом вдруг, совершенно неожиданно, ближе к полночи извлекал из потайного кармана катиль-фирман, смертный приговор. "Султан требует твою голову". После этого осужденному ничего не оставалось, как подчиниться судьбе и добровольно подставить голову под шелковый шнурок – чтобы ему сломали шею, прежде чем отрежут голову.

1. Небольшое возвышение вдоль стены, на котором сидят по-турецки. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

"Сколько раз он выполнял такие задания? — думал Бекир Али, не сводя глаз с гостя. Но тот по-прежнему смотрел мимо него, словно его тут и не было. — Может, за ужином хоть что-нибудь прояснится?"

За трапезой приезжий и в самом деле заговорил, но сказанное им, вместо того чтобы успокоить, еще больше взволновало Бекира Али.

— Султана тревожит ситуация с Албанией...

Эту фразу столичного гостя Бекир Али, проглотив очередной кусок, вновь и вновь повторял про себя. Она не предвещала ничего хорошего. Наоборот, после такого заявления следовало ждать отставок и приговоров.

"Да мне-то что волноваться? — пытался подбодрить себя Бекир Али. — В конце концов не я же главный правитель Албании. Я всего лишь провинциальный начальник. Надо мной еще пятеро или шестеро, непосредственно отвечающих за положение дел. Пока очередь дойдет до меня..."

Он понимал, что утешение это слабое. Ему было хорошо известно, что любой большой правитель, падая сам, тащит за собой вниз десятки своих подчиненных, как булыжник, вызывающий камнепад.

Осторожно, исподволь попытался он узнать, чем же так обеспокоен великий султан. Восстаний последние два года, слава богу, не было. Налоги, насколько ему известно, Албания платит исправно. И нужное количество солдат в армию тоже поставляет.

— Э, Бекир Али, — прервал, наконец, его размышления гость. Переведя взгляд, непонятно почему, на цветочные горшки, которыми был уставлен подоконник, он покачал головой. — Осенние цветы предвещают зиму. У вас, кажется, тоже так говорят?

— Что?.. Ах, да... Конечно, говорят.

Бекир Али напрасно ждал продолжения разговора о том, что́ именно беспокоит султана, — у его собеседника, казалось, не было ни малейшего желания распространяться на эту тему. "Да из него слова клещами не вытянешь!" — подумал Бекир Али. Даже когда гость несколько раз открывал рот, он не сказал ничего, кроме каких-то туманных пугающих фраз. "Снов и ветхой одежды всегда в достатке", — проговорил он вдруг будто невпопад. Бекир Али голову сломал, пытаясь понять, что бы это значило.

В конце концов, забыв осторожность, он прямо спросил, отчего великий падишах обеспокоен ситуацией в Албании. И вновь упомянул о царящем мире, выплаченных налогах и набранных солдатах.

Гость как-то подозрительно на него посмотрел, но затем, похоже, вспомнил, что сам первый заговорил о беспокойстве монарха.

— Все не так просто, Бекир Али, — тихо сказал он. — Дело не в восстаниях, налогах и чем-то там еще. Все гораздо глубже... Глаза султана видят гораздо дальше наших.

Если бы речь шла не о монархе, Бекир Али вряд ли сдержал бы раздражение — он всегда выходил из себя, когда ему говорили, что тут, мол, все гораздо глубже, чем кажется. Этого выражения он терпеть не мог. "Что это за дела такие? О чем ты говоришь? — нередко перебивал он собеседника. — Нет в этом мире ничего такого глубокого. Глубокой будет только яма, в которую нас однажды опустят. А все остальное — чепуха".

— Так вот, Бекир Али, — продолжал гость, — уже много ночей подряд великому султану не дают спать мысли об Албании.

— О Аллах! — воскликнул хозяин дома, не зная, что на это ответить. Думая о том, что сотни высших чиновников, не говоря уже о тысячах чиновников среднего уровня и сотнях тысяч мелких, дрыхнут как свиньи, в то время как светоч мира глаз не смыкает, он невольно вспомнил

глаза гостя, глаза, по которым сразу было видно, что их владелец страдает бессонницей. Может быть, именно благодаря ей, благодаря этим вот кругам под глазами он и заслужил расположение императора, тогда как другие, с их вечно заспанными лицами, вызывали зависть и, как следствие, скрытый гнев измученного бессонницей падишаха.

— Все балканские страны, одна за другой, отпали от империи, — медленно и устало продолжал гость. — Осталась одна Албания. И у великого султана болит о ней душа больше всего, как старику всех дороже его позднее дитя.

Бекир Али вздохнул с облегчением. Теперь понятно, отчего султану не спалось. Более или менее стала ясна и цель приезда столичного гостя. "По счастью, ко мне это не имеет отношения", — подумал Бекир Али и запустил ложку в халву. "Слава Всевышнему!" — мысленно проговорил он уже с полным ртом.

Ужин давно закончился, и они выпили еще по одному бокалу шербета. За окном зарядил мелкий шелестящий дождик. Бекира Али клонило в сон. Нехорошо, если гость это заметит, тем более после разговоров о бессоннице султана. Бекир Али с трудом сдерживал зевоту.

Некоторое время он следил за мельканием фонарей во дворе дома, где слуги сновали по своим обычным делам, но зрелище это, вместо того чтобы отогнать сон, сморило Бекира Али еще больше. В какой-то момент оно даже плавно перетекло в сновидение: слуги суетились возле больного коня, лежавшего на кровати под шелковым стеганым одеялом. Из конюшни в дальнем углу двора и в самом деле послышалось лошадиное ржание. Бекир Али дернул головой.

— Ты засыпаешь, а? — спросил гость.

— Нет, нет... Как это вы сказали... Снов и ветхой одежды? Ха-ха, никогда раньше не слышал этого выражения. — Бекир Али, сам не зная почему, стал извиняться.

— Ничего, ничего, — ответил гость. — Я, пожалуй, пойду. Спать мне не хочется, но отдохнуть с дороги не мешает.

Бекир Али в растерянности бормотал какие-то ненужные слова, слегка отодвигая от гостя софру[1], чтобы тому было легче встать. Он пошел проводить его, освещая путь керосиновой лампой. Мысль о том, не предложить ли ему какое-нибудь развлечение, и если да, то какого рода, с женщиной или с мальчиком, — та самая мысль, которая после подглядывания в хамаме беспокоила его весь вечер, теперь, когда они приближались к двери спальни, поставила его в крайне затруднительное положение.

Он постарался сразу же вспомнить его тело, каким его смутно видел — изнуренным, словно в адском чаду, но так и не мог решить окончательно, чем его ублажить.

"Спать ему не хочется, он сам сказал. Чем же он будет заниматься всю долгую ночь?" Эта мысль перечеркнула последние сомнения Бекира Али.

Поднимая повыше лампу, чтобы лучше осветить дверь комнаты, но оставить в тени лица, он тихим голосом сказал:

— Аллах создал длинные ночи, тоскливые, когда их нечем занять... Если бы дорогой гость пожелал немного развлечься, тем более что ему не спится... Я был бы счастлив прислать ему девушку или мальчика...

1. Низкий стол.

Тот взялся за дверную ручку.

— Ты так думаешь, Бекир Али? — проговорил он бесстрастным голосом, не поворачивая головы, открыл дверь и вошел в спальню.

Хозяин застыл на месте с лампой в руках, ему показалось, что она вдруг стала раза в два тяжелее. "Ты так думаешь, Бекир Али?" — повторил он про себя слова гостя. Даже самаркандские гадальщики высказывались более определенно. И что он имел в виду, черт бы его побрал?

Бекир Али медленно вернулся в гостиную и некоторое время наблюдал, как слуги убирают остатки ужина. Сна у него теперь ни в одном глазу, и поди знай, доведется ли соснуть... "Какой дьявол принес тебя ко мне?" — мысленно выругался он. Потом решил больше не ломать голову. Не хочет говорить — и не надо. Почему он, Бекир Али, должен думать о том, как усладить его мужское достоинство? Другие, когда до этого доходило дело, были более откровенны. "Сказать по правде, Бекир Али, мне нравятся мальчики". Или: "Какие мальчики, дорогой мой, да меня до самой смерти от женщины не оттащишь". Ну и так далее, смотря какие у кого предпочтения, кому как положил Всевышний. А этот на́ тебе: "Ты так думаешь, Бекир Али?" Ишь ты, гордец какой, честное слово. Тьфу, чтоб у тебя глаза повылазили! Погоди, я тебе покажу гордость.

Главный прислужник, не сводивший с него глаз, подошел сразу же, едва хозяин подал знак.

— Мерьем готова?

— Готова, господин. И Лейла готова, если ему больше нравятся блондинки.

— Какие еще блондинки? Вообще непонятно, кого он хочет — мужчину или женщину. Так что на всякий случай приготовь и Мехмета.

— Как прикажете, господин.

Бекир Али на мгновение задумался.

— Насчет Лейлы ты прав. Может, ему действительно нравятся блондинки.

Чуть погодя, стараясь как можно тише ступать по дощатому полу, Бекир Али вошел в комнату по соседству с комнатой гостя. Он осторожно отодвинул коврик с цитатой из Корана, прикрывавший отверстие для подглядывания, и припал к отверстию глазом.

Гость в длинной ночной рубашке неподвижно лежал на кровати. Бекир Али знал по опыту, что тот, за кем подглядывают, всегда кажется неподвижным (волнение подглядывающего, возможно, и создает такое впечатление), но этот человек превосходил всех, за кем ему доводилось наблюдать. Если бы не четки, которые он машинально перебирал одной рукой, можно было бы подумать, что это восковая фигура.

Не пошевелился он, даже когда скрипнула дверь и вошла Лейла. Только глаза следили за игривой походкой девушки, направившейся к ложу. "Вот сучка, как уверена в себе", — подумал Бекир Али. Его словно что-то неприятно царапнуло. В какое-то мгновение ему показалось, что со столичным гостем она будет гораздо ласковее, чем с ним, провинциальным правителем. "Вот и попробуй узнай, что у этих женщин на уме", — мысленно проворчал он. Из столицы, кроме декретов, сплетен и моды, до них доходили и разные тонкости касательно любовных утех, наверняка позаимствованные у гяуров. Сколько раз он, сидя с друзьями в кофейне, ругал и проклинал эти новшества, презрительно кривя губы и плюясь с отвращением, а вот у их женщин, томящихся от скуки, небось только это в голове. Стоит им о чем-то таком прослышать, и они

уже сгорают от нетерпения, как бы поскорее испробовать все самим. Вот и эта Лейла — вошла, так бесстыдно покачивая бедрами, наверняка ожидала чего-то особенного от заезжего гостя.

Уверенным движением девушка развязала узел, и тонкий халат соскользнул с ее тела. Оставшись обнаженной, она улеглась рядом с чужаком, вытянув одну ногу и согнув другую в колене, отчего в ее позе появилось что-то повелевающее. Мало того, она осмелилась заговорить с незнакомцем и даже улыбнулась своей загадочной улыбкой, лишь наполовину предназначенной для гостя.

— Ох и сучка, — выругался сквозь зубы Бекир Али. Непонятно почему, но он чувствовал, что из всего, что происходило и еще должно было произойти между ними, именно обращенные к гостю слова вызывали у него сильнейшую ревность. "Интересно, что же ты такое ему сказала, сучка?" — подумал он злобно.

Он не видел, ответил гость что-нибудь или нет. Только обратил внимание, что взгляд приезжего оставался бесстрастным, хоть и скользнул несколько раз с ее золотистых волос к черному пятну лобка (Бекир Али знал, что этот контраст будоражил всех мужчин, без исключения).

Гость довольно долго разглядывал девушку все тем же утомленным взором, потом рука его выпустила четки и потянулась к ее животу. Он погладил волосы на ее лобке, совершенно спокойно, как человек, который равнодушно ерошит волосы ребенку, чтобы поскорее отделаться от него, но так, чтобы его не заподозрили в том, что он не любит детей.

— Ха! Ну что, получила свое, чертова сучка? — победно выругался Бекир Али, увидев, что девушка, после того как гость открыто выказал свое равнодушие, поднялась с ложа и с оскорбленным видом вышла из комнаты, не удосужившись даже одеться.

"Ну, теперь поглядим, чего добьется наш маленький Мехмет", — подумал Бекир Али и даже потер руки. Ему было страшно любопытно, чем же закончится эта история. "Хм, ну и гость, — не раз повторил он про себя. — С кенгуру легче было бы найти общий язык, честное слово".

Мехмет, которому слегка нарумянили щеки, в отличие от Лейлы вошел с опущенной головой. Бекиру Али всегда нравился этот мальчик. Он был застенчивее девушки, и обожание любовников не вскружило ему голову и не приучило к кокетству.

Гость, когда мальчик появился в комнате, не выказал ни малейшего удивления — словно ничего другого и не ожидал. И точно так же не пошевелился, когда тот, робким движением сняв шелковые, вышитые по бокам шаровары, словно ягненок улегся на кровать.

Приезжий некоторое время разглядывал его все с тем же равнодушием, с каким смотрел и на Лейлу. Разве что в этот раз он даже не выпустил из руки четок, и их слоновой кости бусины скользили змеиными извивами по телу мальчика, когда он его гладил.

Но продолжалось это недолго. Он убрал руку, его глубоко посаженные глаза спрятались в глазницах, а бусины четок продолжили размеренное тоскливое движение между пальцами.

— Не хочет, — пробормотал Бекир Али. У него еще теплилась робкая надежда, пока мальчик оставался на ложе. Но она угасла окончательно, когда приезжий, слегка коснувшись бедра мальчика, что-то сказал ему. Тот поднялся — движения все такие же застенчивые, — сунул сначала правую ногу в шаровары, затем левую и вышел из комнаты, как и вошел — с низко опущенной головой.

"Наверное, он уже ни на что не способен, — размышлял Бекир Али. — Раз и навсегда подвел черту под этими делами, вот его и посылают то туда, то сюда с тайными заданиями. Ну и пусть теперь получает удовольствие от своей должности и возни со всякими там секретными бумагами".

Он уже устал подглядывать, но не хотел покидать своего наблюдательного поста. Пожалуй, не стоит судить о госте с таким презрением. Может, и ему самому скоро станут безразличны плотские утехи. Вот и лицо у него в последнее время стало каким-то желтушным.

Эх, совсем другими были прежде крупные чиновники. Душа радовалась, когда доводилось слышать обо всех их подвигах — хоть на поле брани, хоть в политике, хоть на ложе любви! Для Бекира Али незабываемой осталась неделя, которую он провел в столице во времена своей молодости. Позднее он часто приезжал туда, по служебным делам или для участия в праздничных торжествах, но восторг той незабываемой недели не повторился уже никогда. Он помнил все, точно это было вчера. Весь город готовился к празднованию Ночи Всевластия. Из всех государственных праздников этот больше других разжигал искры в душе Бекира Али. В эту ночь, по обычаю, великий султан должен был переспать с девственницей. Вся столица только об этом и говорила. И даже те, кто ничего не говорил, об этом думали. Всюду царило возбуждение. По примеру монарха и все высшие сановники тоже готовились. Хамамы были протоплены заблаговременно. Радостно мерцали свечи... В тот вечер Бекир Али долго бродил по улицам. И в простых домах, и во дворцах — везде светились огоньки. Каждый, сообразно личным пристрастиям, кто с женщинами, кто с мальчиками, готовился предаться любви.

"О благословенная страна! — с неподдельным восторгом думал тогда Бекир Али. Величественные и прекрасные обычаи". Впервые в жизни он ощутил особый привкус власти. То, что в обыденной жизни убого именовалось "карьерой", было не просто удовольствием от еды, езды в служебной карете и тому подобным. Это было нечто более глубокое, это воспламеняло, точно страсть, с каждым разом все сильнее.

Ни раньше, когда ему доводилось переспать с какой-нибудь гяуркой, ни позже, в пору своего медового месяца, не испытывал Бекир Али такого всепоглощающего желания, как той ночью. Такое же нетерпеливое желание, как ему казалось, видел он и в глазах прохожих. Создавалось впечатление, что связь, возникавшая между величественной страстью властителя и страстью каждого из его подданных, стократ усиливала эту последнюю. Возможно, для того и был придуман этот пышный праздник, чтобы всякий подданный, будь то мужчина или женщина (а у последних, по понятным причинам, воображение разгоралось еще больше: на месте мужа они представляли себе монарха), мог раз в год почувствовать общность — в чем-то очень интимном — с великим падишахом.

Бекир Али бродил, изнемогая от желания, по одной из площадей в центре города, когда раздался пушечный выстрел, возвестивший, согласно традиции, о том, что султан наконец лишил девственности свою избранницу.

Пешеходное движение мгновенно застопорилось. Люди вертели головой во все стороны, словно хотели определить, откуда донесся пушечный грохот и в какой стороне находится султанский дворец.

— Э-э... так он-таки в самом деле ее... — воскликнул подвыпивший прохожий, и поскольку никто не обратил на него внимания, он, совсем

осмелев, повторил сказанное, приправив свои слова нецензурным словечком.

В воздухе были разлиты восторг, возбуждение и любопытство.

— Эй, парень, хочешь развлечься? — прошептала Бекиру Али женщина в парандже. По ее выговору было ясно, что она цыганка. Только они и могли болтаться на улице в такое время.

Не говоря ни слова, Бекир Али последовал за ней. В темном закоулке, перед тем как обнять его, она потребовала монету. Бекир Али, не задумываясь, заплатил.

— Ну и как тебе? — спросил Бекир Али, когда они поднялись с ложа любви.

— Э! — отмахнулась она. — Никак.

"Чертова цыганка!" — выругался про себя Бекир Али.

— Ну да, конечно, я ведь не падишах, — вслух сказал он.

— Что-что? — переспросила цыганка и вдруг захохотала как сумасшедшая.

— Что это ты так заливаешься? — спросил Бекир Али.

Она все хохотала, и он молча ушел. Издали, из темноты до него донесся последний отголосок ее смеха, и он прибавил шагу, словно чувствуя за собой вину.

Вместе с облегчением он почувствовал горечь. В роскошных дворцах, что высились прямо у него над головой, на шелковых простынях белокожие ханум, умащенные благовониями, занимались любовью со своими повелителями, а он, словно уличный пес, был в подворотне с цыганкой.

Чувство опустошенности вызывало нестерпимую боль, все его существо беззвучно выло. Позднее, вспоминая ту ночь, Бекир Али понял, что стремление к карьере, пронизавшее всю его дальнейшую жизнь, эта безумная жажда, ради утоления которой он готов был задушить даже собственную мать, возникло у него именно тогда.

И пока бродил он по улицам (а над головой у него вместе со страстью гасли один за другим огоньки во дворцах), ему приходили на ум слухи об огромном количестве женщин в гаремах высоких сановников — об этом толковали в грязных портовых забегаловках... До сих пор он не переставал изумляться этим сплетням.

"Боже, какими они были могучими прежде! — думал он, оторвавшись от дыры в стене. — А теперь совсем ослабели, и так во всем".

Какая-то тоска, которая обычно охватывает человека ни с того ни с сего и заставляет его спрашивать: "Да что же это со мной?..", овладела Бекиром Али.

То, что государственная машина великой Османской империи замедлила свой ход, что на всем — на декретах, чиновниках, важных государственных делах — лежала печать безмерной усталости и апатии — это замечали все, не говоря уже о Бекире Али, который двадцать с лишним лет занимал высокую государственную должность. Но он и представить себе не мог, как глубоко въелась эта усталость в каждого, проникла, что называется, до мозга костей.

По сведениям, полученным от осведомителей, подслушивавших разговоры в кофейнях, выходило, что дела в государстве идут неважно, и, по мнению обывателей, прежде всего из-за гяуров. Одни полагали, что империя, несмотря на то, что боролась с христианством — и правильно делала, — все же должна использовать опыт христианских стран. Другие, на-

против, утверждали, что от гяуров все беды и потому нужно порвать с ними всякие отношения. Так считали преданные слуги государства и веры, вышедшие на пенсию. В письмах, как должным образом подписанных, так и анонимных, они сетовали, что влияние гяуров растет, государство же слишком неповоротливо, чтобы предотвратить свое разложение.

Бекир Али всей душой был на стороне последних, хотя мысли первых тоже привлекали его каким-то дьявольским образом. Он не спешил осуждать их, но еще меньше хотел осуждать пенсионеров за их бдительность. Он выжидал, и ни те ни другие не любили его и наверняка строчили доносы в столицу.

Уже давно Бекир Али обдумывал то, о чем болтали сплетники в кофейнях. Вот и сейчас, когда он, сидя на миндере в гостиной, размышлял об утрате мужской силы высшими чиновниками, у него мелькнула мысль, что причиной этого тоже могли быть гяуры. Поговаривали, что в столице завели новые обычаи, явно заимствованные в проклятой Европе. Что женщины теперь даже пишут любовные письма, и вот получает какой-нибудь чиновник такое письмо, и, если она пишет "люблю тебя", "жду" и прочую чепуху в том же духе, он сходит с ума от радости, а если она пишет что-нибудь другое, скажем, "больше тебя не люблю", то человек от отчаяния совсем теряет голову и даже смотреть не может на других женщин.

– Эх, – вздохнул Бекир Али. Легкий размеренный шум прервал его размышления. – Ну вот, снова дождь зарядил.

Какое-то время он прислушивался к ровному шуму за окном. Дождь был кратковременный, проливной. "Люблю тебя, жду", – мысленно повторил он слова из воображаемого письма и, хотя подсмеивался над всем этим, втайне мечтал получить такое письмо.

Бекир Али клюнул носом и понял, что задремал. За оконным стеклом слышался все тот же легкий шум. Он попытался вернуться к своим размышлениям – о всеобщей усталости, о медленном, но неуклонном разложении всего и вся – и вдруг похолодел от страшной догадки: а что, если дело совсем не в этом? Вдруг столичный гость отверг предложенные ему развлечения вовсе не потому, о чем он подумал, а потому, что у него был какой-то злой умысел?

Сомнения мучили Бекира Али. Каким же глупцом он был, когда, услышав, что у султана пропал сон из-за положения дел в Албании, сразу успокоился. Это, видите ли, не имеет к нему отношения, это касается Албании – вот что он, дурак, подумал. Забыл, что он хоть и не верховный правитель Албании, все же один из правителей. И сколько раз бывало, что великий султан, дабы усмирить какую-нибудь страну, рубил головы всем ее правителям без исключения, начиная с самого крупного и вплоть до самого мелкого?

Бекир Али почувствовал ком в горле. Что, если однажды бессонная ночь султана сменится утром, полным крови и трупов?

Бекир Али вдруг представил себя лежащим на боку с перерезанным горлом, но не так, как это бывает, когда рубят ятаганом или топором, а будто бы ему перерезали горло ножницами. (Позднее он вспомнил, что именно в таком виде неделю назад нашли мужа, убитого собственной женой.)

Конское ржание вывело его из задумчивости. Сам не зная зачем, словно откликаясь на ржание чужого, как он сразу понял, коня, стоявшего в его конюшне, Бекир Али спустился по ступенькам и вышел во двор.

Даже ничего на себя не накинув, он направился прямо к конюшне. Керосиновая лампа слабо освещала двор. Он толкнул дверь, и свет лам-

пы помог ему различить силуэты лошадей. Запах соломы вперемешку с навозом, фырканье и глухое топтание животных, почуявших человека, — все это было так знакомо Бекиру Али. Непривычными были мысли, ворочавшиеся в его усталом мозгу.

"Зачем, Аллах, ты создал человека таким злым? — размышлял Бекир Али. — Все страшные приказы доставляются на лошадях, но сами они и не подозревают об этом. Резво скачут, неся добрые вести, и так же резво, неся смерть".

Рука Бекира Али погладила лошадиную морду. Ни один конь в этом мире не приговорил к смерти другого коня. А люди только об этом и думают...

Из конюшни он вышел совсем разбитым и медленно побрел в дом. Улегся на ложе, не прикрывая головы, чтобы слышать шелест дождя, который в другой ситуации давно бы усыпил его, и почувствовал, что ему хочется плакать. "Мы лишь однажды приходим в этот мир, о Всевышний, — пробормотал он, — отчего же Ты не даешь нам прожить эту жалкую горстку дней в радости?"

Полночь давно миновала, скоро должно было светать, но сон не шел. Два года назад, вдруг вспомнил Бекир Али, много ночей подряд он мучался такими же вот тревожными мыслями. Только что был низвергнут великий визирь Юсуф, и каждый день ждали новых отставок и приговоров. Как-то в субботу, чтобы хоть немного развлечься, он поехал на выходные к родственнику за город. Но тревога, вместо того чтобы рассеяться, только усилилась. Ему казалось, что вот именно сейчас, когда его нет в городе, беда его настигнет. Всю ночь он не мог сомкнуть глаз. На рассвете, едва задремав, он услышал отдаленный крик: "Бекир Али! Бекир Али!" О боже, это за мной, подумал он. Бледный как воск, он встал с постели и вот так, стоя у окна, дожидался жандармов. Только когда он услышал голос хозяина, спрашивавшего из своего окна: "Ты кто, братец?", и ответ: "Умер Мунир Али", сердце у него вернулось на место. Никогда еще он не встречал с таким облегчением известие о смерти родственника.

Аллах! Сколько уже времени прошло, а тот кошмар помнился так живо, словно это было вчера... Но что это? Ему почудилось или он в самом деле слышал, как его кто-то зовет: Бекир Али... Бекир Али...

Он привстал на кровати. Убедился, что не спит, прислушался. Снова раздался голос, теперь уже тише, чем ему показалось вначале, и совсем рядом, может, прямо за дверью: Бекир Али... Бекир Али...

Без сомнения, это голос приезжего. Бекир Али, к своему удивлению, не почувствовал страха. Но все же пробормотал:

— В руки Твои предаю себя, Аллах!

Он подошел к двери, открыл ее и действительно увидел на пороге фигуру гостя: его лицо показалось Бекиру Али совсем белым, возможно, из-за того, что тот был в ночной рубашке.

— Ты спал? — спросил гость. — Ну, конечно, спал. Извини, Бекир Али.

— Что случилось?

— Ничего. Прости меня еще раз, что я тебя разбудил...

— Да пустяки... Но все-таки, в чем дело?

— Ни в чем, Бекир Али. Я просто так тебя позвал... без особой причины... Просто чтобы немного поговорить... если ты не против...

Глаза Бекира Али смотрели не столько в лицо гостю, сколько на его ночную рубашку, чтобы убедиться, что на ней нет потайных карманов, в которых мог лежать зловещий фирман.

"Безумец, — подумал он о госте. — Нашел время для разговоров. Но спасибо Всевышнему, что послал мне безумца, а не..."

— Я сейчас, радость души моей, — живо пробормотал он. — Вот только накину что-нибудь, и я весь в вашем распоряжении, можем беседовать, сколько пожелаете.

— Прости меня, Бекир Али, — вновь сказал гость, когда они устроились на миндере, возле жаровни, в которую слуга насыпал горячих углей, неведомо где раздобытых.

— О чем вы, для меня беседа с вами — большая честь. Если бы я знал, что вы не спите, я бы сам к вам пришел.

— Я тебе уже говорил, что сплю плохо. Особенно на новом месте... Осеннюю ночь Аллах сотворил долгой. Хотел было написать несколько строк для моего доклада, но рука почему-то не слушалась.

— А что это за доклад, если мне дозволено спросить? — еле слышно выговорил Бекир Али.

— Я тебе разве не сказал? Это и есть цель моей поездки: подготовка донесения, или, как теперь говорят, доклада, о положении дел в Албании.

Взгляд Бекира Али выражал полное недоумение.

— Речь идет... о ее будущем?

Гость кивнул:

— Именно. Как ты догадываешься, дорогой Бекир Али, великому султану в последнее время представили множество докладов, касающихся Албании, но ни один его не удовлетворил.

Бекир Али покачал головой, а про себя подумал: "Понятно, что не удовлетворил, раз тебе пришлось отправиться в дальний путь".

— У вашего доклада, иншалла, будет более счастливая судьба, — вслух сказал он.

— Неизвестно. Мой доклад, или, лучше сказать, рапорт, будет совершенно особенным, а у особенных вещей, дорогой Бекир Али, судьба или невероятно счастливая, или безмерно печальная.

— Не дай бог! — воскликнул хозяин дома.

— Что бы ни случилось, душа у меня спокойна: я верно служу своей стране и исламу, и понравится мой рапорт или не понравится — так тому и быть. Для меня главное, чтобы перед Аллахом я был чист как родник.

Бекир Али хмыкнул про себя: ему было как-то не по себе от того, какое направление приняла их беседа. Сердце немного успокоилось, только когда гость снова заговорил о своем докладе. Речь шла о том времени, когда оттоманская армия и администрация будут вынуждены покинуть Албанию, как им пришлось оставить уже весь полуостров. В этом-то и заключалась суть вопроса: как сделать, чтобы Албания осталась близка нам, после того как отделится?

Бекир Али скривил губы. Он терпеть не мог рассуждать на эту тему. Нельзя, чтобы до этого дошло, думал он. И наоборот, если уж откололась страна от империи, тогда какое ему дело, близка она нам или далека? Это все равно что мужья-нытики, которые после развода с женой только о ней и думают: с кем она спит, вспоминает ли она его или нет, и прочую чепуху. Развелся с женой — выбрось ее из головы. Пошла она к черту. Пошла к черту и Албания, если она отколется.

Но столичный гость, похоже, думал иначе. Как бы прочно ни укоренился османский дух в Албании, объяснял он (попутно упомянув и исламскую веру, которую приняли половина албанцев, и местных пашей, связанных тысячами нитей с султаном, и целый слой образованных лю-

дей происламской ориентации, и мощное общество "Дум Бабен", готовое, в случае чего, поднять протурецкое восстание, и еще многое другое), – так вот, как бы глубоко он ни укоренился, для его сохранения этого недостаточно.

Гость почувствовал, что Бекир Али хочет возразить.

– Может быть, тебе все это кажется странным?

– Хм, как сказать... Конечно... Я впервые о таком слышу... о таких сложных вещах. Ты ведь знаешь, я всего лишь местный правитель... Но по правде сказать, вся эта затея с османским духом мне и в самом деле кажется немного странной. Если эта страна отделится от нас, тогда что нам за дело, какой там останется дух, османский или черт его знает какой еще?

Собеседник словно только и ждал этого момента, чтобы разразиться безудержным смехом.

– В этом и есть коренное различие между мной и тобой, Бекир Али, – сказал он, наконец отсмеявшись (этот смех был таким долгим, что Бекиру Али показалось, будто гостю понадобилось какое-то время, чтобы вернуть себе прежнее выражение лица, – так человек после обильной трапезы долго вытирает губы и лицо салфеткой). Именно в этом и состоит различие: ты чиновник, бюрократ, как говорят сейчас в столице, а я идеолог. Трудные слова, да?

– Э-э... – в замешательстве протянул Бекир Али.

– Я гораздо глубже вникаю в суть проблемы, Бекир Али. Государственное устройство – это то, что на поверхности. В любой стране его легко можно установить или изменить. А вот дух – это другое, и, если однажды он воцарился, его так легко не искоренить. Именно о духе я размышляю долгие годы, над этим работаю. И именно дух составляет основу моего доклада... Но погоди, я постараюсь тебе получше объяснить.

Он долго молчал, затем попросил воды и принялся пить маленькими глотками, не сводя глаз с черных оконных стекол. Прежде чем вернуться к начатому разговору, он поговорил о вещах, не имевших к нему никакого отношения: пожаловался на ломоту в костях, сказал, что правы были старики, когда говорили, что днем их клонит в сон, а ночью так и тянет в нужник. И только когда он, глубоко вздохнув, сказал: "А теперь слушай, Бекир Али", хозяин дома понял, что хочешь не хочешь, а сейчас он выложит все, что накопилось у него в душе.

– Как я тебе уже говорил, Бекир Али, я человек глубоко религиозный. – Он провел рукой по лицу, благочестиво огладил бороду и продолжал: – В моем случае сло́ва "религиозный", может, и недостаточно. Я более чем религиозен. Я до мозга костей азиат, с ранней юности я смертельно ненавидел Европу и европейцев. Ненавидел их города и женщин, церкви, кафе, газеты, алчное стремление знать обо всем на свете, выборы, парламенты, их холодную рассудочность, ненавидел то, как они ходят, одеваются, думают, ненавидел их сомнение, их гордость, вечную суету, а еще то, что они называли "права человека", ведь на самом деле это просто демон не давал им покоя. Все это я ненавидел, а любил всей душой бесконечную голую степь, благословенное сонное спокойствие Анатолии, над которой властвовал только один человек, от него зависела твоя судьба, и из тысячи нитей сплеталась тайна, и ты сам не знал, чего тебе ждать – добра или зла, взлета или падения, и все уходило корнями наполовину в реальность, наполовину в сновидение, и

это освобождало тебя от необходимости искать причины и следствия происходивших событий, и ты как рождался сонным, так и покидал этот мир, до конца не проснувшись... Так вот, Бекир Али, я рано возненавидел их мир, и с тех самых пор, с самой ранней молодости, я не мечтал ни о чем другом, как только о том, чтобы его разрушить. Сровнять с землей их замки, уничтожить их энтузиазм и их свободу и вместо них возвести наше умиротворяющее царство. Короче говоря, превратить страны, где властвовал крест, в мусульманское пространство. Скажешь, это невозможно? Да, так могло показаться, более того, эта мечта и не родилась бы никогда, если б не конкретный пример. И этим примером, дорогой Бекир Али, была именно Албания.

Он похлопал рукой по миндеру, где они сидели, словно указывая на ту почву, на которой все происходило, и в голове у Бекира Али родилась дурацкая мысль — одна из тех дурацких мыслей, которые настолько нелепы и не к месту, что никто даже не пытается высказать их вслух, — итак, в голове у Бекира Али вертелся вопрос: а была ли та земля, на которой стоит и его дом, Албанией, и можно ли назвать албанскими миндер, на котором они сидели, и ковры, которые он привез из Анатолии?

Гость, похлопывая рукой по возвышению, продолжал:

— Здесь мечта превратилась в реальность... Христианская Албания, крещеная полторы тысячи лет назад, расположенная всего в сотне миль от Ватикана, в окружении гяуров, стала нашей, то есть азиатской. Понимаешь, какое это великое событие, Бекир Али? Это был ясный знак, поданный Аллахом, что исламу открыта дорога для завоевания всего мира... Итак, четыреста лет назад сон стал явью... вот только... вот только... надо, чтоб он не прервался... Понимаешь, что я хочу сказать, Бекир Али? Все дело в том, чтобы это продолжалось, то есть... чтобы Албания оставалась частью Азии... Вот отчего не спится великому султану.

Бекир Али с большим трудом подавил зевок.

— Это трудно, нет сомнений, — продолжал гость. — Вот все мы и ломаем голову, что делать, и письма рекой текут в имперские канцелярии. Настал час испытаний, Бекир Али. Христианская Европа пытается вернуть себе Албанию. Она моя, говорит, отдайте мне ее. Но подлинная проверка начнется тогда, когда отпадет внешняя скорлупа, иначе говоря, когда наша армия и чиновники покинут эту страну. Ты представляешь себе орех, когда расколота скорлупа? Только тогда и видно, что́ там внутри: здоровое ядро или изъеденная червями сердцевина. Так же обстоит дело и в оккупированной стране после окончания оккупации. Когда скорлупа будет расколота (и не морщись, Бекир Али, наша армия и чиновники скоро покинут эту страну, это ясно как дважды два, но я не стану вдаваться в причины этого), так вот, когда панцирь расколется, мы увидим, что́ там внутри: мягкая, ставшая азиатской, Албания или другая Албания, чужая и непонятная. Сказать по правде, раньше я верил, что после четырехсот лет нашего господства Албания в конце концов полюбит нас и станет такой, какой мы все хотим ее видеть. Это было бы настоящим чудом. Это ведь и в самом деле чудо, когда страна, на которую ты с таким трудом набросил узду, в конце концов привыкает к своему положению, и когда ты снимаешь узду, она не мчится прочь, а следует за тобой. Вот тогда ты можешь сказать, что победил эту страну. — Он удрученно покачал головой. — Я верил, что именно так и произойдет с Албанией, но, похоже, дела обстоят совсем иначе. После четырех веков совместной жизни албанцы по-прежнему нас не любят, и тебе это известно лучше, чем мне, Бекир Али.

Бекир Али кивнул в знак согласия.

— И все же я верю в осуществление давней мечты, — сказал гость, помешивая угли в жаровне. На его руке, в которой он держал щипцы, вспыхнули отраженным светом камни в перстнях. — Я все еще верю, что Албания станет азиатской, но только при одном условии: что такой ее сделают сами албанцы, без прямого давления с чьей-либо стороны, и уж тем более с нашей. Тебе это кажется странным? Невозможным? Иногда как раз странное и даже невозможное и случается в этом мире.

Он вновь помешал горящие угли, не сводя с них глаз, но их свет был слишком тусклым, чтобы осветить его лицо.

— Суть моего доклада именно в этом: самоазиатизация албанцев. Когда этот процесс начнется, Албания станет настоящей Азией, и первые четыре сотни лет албано-турецких отношений покажутся всего лишь кровавым предисловием к грядущему мирному союзу. Тебе странно это слышать? Ты прав, Бекир Али. Теперь я попробую объяснить все по порядку.

Он долго ворошил угли, и камни, то вспыхивающие, то гаснущие в его перстнях, вызвали у Бекира Али тревожное ощущение грядущего несчастья.

— Один человек может сделать то, что не под силу ни нашей армии, ни муллам, ни визирям, — сказал он после некоторой паузы. — Но при одном условии: этот человек должен быть албанцем, и албанцы должны признать его своим вождем.

Гость снова взял щипцы, но угли мешать не стал, и Бекир Али, сам не зная почему, подумал: "Вот и хорошо".

— Четыреста лет назад один человек нанес нашей империи незаживающую рану. Думаю, ты понимаешь, о ком идет речь, — о проклятом Георге Кастриоти[1]. Уже века прошли, как его нет на этой земле, и неизвестно даже, где его могила, но память о нем живет, а с нею живут и его идеи. Именно этот демон вырвал колесо истории этой страны из благословенной колеи, по которой оно только-только начало свой путь, и направил его в сторону проклятой Европы. Как ты, наверное, знаешь, он и сам превратился из Скандербега в Георгия и объявил себя первым рыцарем христианства.

Эх, вздохнул Бекир Али, у него возникло желание поворошить угли, что он непременно бы и сделал, если бы щипцы не находились в руках гостя.

— Что случилось, то случилось, и не время горевать по этому поводу, — сказал тот. — Пришла пора для другого: нужно, чтобы нашелся человек, вождь, который во всем был бы противоположен Георгу Кастриоти. Чтобы нашелся, так сказать, Антигеорг, или, как говорят гяуры, Антигеоргий.

"Своего рода Антихрист", — мелькнуло в голове у Бекира Али. Он вспомнил, что в каком-то доносе из личного дела поэта Н. Б. он случайно наткнулся на это слово. Глаза гостя были теперь совсем близко, но, к счастью, угли уже почти догорели и не могли их осветить.

— Ходжа вместо князя — вот что нужно этой стране, — продолжал тот. — Когда Азия свернется, сожмется до размеров ядра, так же, как, говорят, циклически сжимается Вселенная, — так вот, когда Азия сожмется, в этой стране она вся сконцентрируется в нем, в его существе. Пусть

1. Георг Кастриоти, более известный как Скандербег (1403–1468), — руководитель освободительной борьбы албанского народа против османских завоевателей, национальный герой.

рухнут наши законы, власть и минареты, достаточно, чтобы они сохранились в мозгу этого человека. Потому что придет день, и, как вновь расширяется сжавшаяся Вселенная, так же развернется и расширится сжавшаяся Азия: цепи, страх, тирания. Не знаю, понял ли ты меня, Бекир Али. В голове одного человека, и нигде больше, мы должны сохранить нашу закваску.

Бекир Али не мог скрыть своего удивления. Он столько лет был правителем краины[1], знал о многих тайнах и интригах, как и подобает крупному чиновнику на ответственном посту, но о таком и не слыхивал. "В голове одного человека, и нигде больше", – мысленно повторил он.

– Тебе, конечно, интересно, что же это будет за человек, как его узнать. В том-то вся суть, Бекир Али, поэтому я уже много ночей не сплю.

Он долго мешал угли в жаровне. В их слабом отсвете на лице его была видна усталость и какая-то странная усмешка.

– Разумеется, внешность его должна быть ужасной, отвратительной, это понятно, – сказал гость, – но достаточно ли этого?

Он опять надолго задумался, не выпуская из рук щипцов. Покачал головой, словно сам себе возражая, потом кивнул, словно соглашаясь с какими-то своими мыслями.

– Пятьдесят лет назад отшельник Хаджи Халиль Рухолаку, покинув свою пещеру, целых четыре месяца шел в столицу, чтобы нижайше высказать султану свои соображения касательно одной области империи, название которой я не хочу сейчас упоминать. Область эта в те времена стала главной проблемой в государстве. Она уже давно требовала отделения, и эти требования поддерживались некоторыми европейскими странами, расположенными по соседству. Большая имперская политика требовала сохранения мира с этими странами, но, с другой стороны, султану было жаль лишаться этой области, как сейчас ему жаль лишаться Албании. Что же делать? Сомнения мучили его уже давно, пока до столицы не добрался отшельник Хаджи Халиль Рухолаку. Он попросил аудиенции с владыкой и целую неделю ждал у ворот дворца Долма-Бахче, пока его наконец не приняли. То, что он предложил властителю, вначале показалось весьма странным.

Тут гость заговорил тише, потом – каким-то неестественным голосом, а потом опять стал говорить своим голосом и громко, словно такие модуляции помогали ему наилучшим образом передать совет отшельника. Речь шла о вожде, которого следовало поставить во главе движения за независимость упомянутой области. Пока Османское государство управляло этой страной, оно могло сделать так, чтобы во главе восстания оказался нужный человек.

– Тебе может показаться, что сделать это проще простого, и ты совершенно справедливо возразишь, что не было никакой необходимости отшельнику Рухолаку четыре месяца идти по бездорожью, чтобы донести до султана эту нехитрую, почти детскую мысль. И мне так показалось, когда я услышал об этом впервые. Но подожди, Бекир Али. Все не так просто.

И словно рассказывая сказку, гость поведал о совете отшельника, который, к удивлению Бекира Али, был совсем не таким, как он предполагал. Во главе движения за независимость нельзя было ставить человека, преданного Османскому государству, ни в коем случае, настаивал отшельник, потому что человек верный, как бы он ни маскировался, рано

1. Административная единица Албании.

или поздно будет раскрыт. Вождем движения нужно было сделать... человека... совсем другого рода...

Бекир Али не верил своим ушам. Будущий вождь должен был быть человеком, которому есть что скрывать. Что-то такое дурное, что очень хочется вырвать из своего прошлого. Скажем, он задушил собственную мать, или у него есть постыдная болезнь, или порок, вроде склонности к противоестественной любви, которая в некоторых странах считается непростительной даже для обычного человека, не говоря уже о вожде.

— Тебе, конечно, сразу пришли на ум секретные досье, которые можно использовать для шантажа? Я уверен, что ты именно об этом подумал, Бекир Али.

Хозяин дома смущенно улыбнулся, словно его уличили в чем-то предосудительном. Он и в самом деле подумал о секретных досье. У него их было одиннадцать, и не только на своих противников, но и на помощников.

— Я ведь сказал, Бекир Али, не спеши. — Гость укоризненно погрозил ему пальцем. — Секретные досье? Ни в коем случае! Только в государствах, еще не вышедших из детского возраста, где у людей ветер гуляет в голове, могут этим заниматься. Заявляются с досье в руках к человеку и тычут ему прямо в физиономию: мы, мол, знаем, что ты брал взятки с кожевенника, или обрюхатил собственную тетку, или плевал в храме, поэтому делай, что мы тебе скажем, иначе горе тебе. — Гость покачал головой. — Нет, Бекир Али, так поступают только в государствах-недорослях. Наша древняя империя никогда не опустится столь низко. Мы даем возможность судьбе и времени действовать самим. Мы только выбираем подходящего человека, а затем отходим в сторону. Как говорится, умываем руки, оставляя человека наедине с собственным демоном... Но вернемся к области, о которой шла речь, и к совету отшельника.

Властитель выслушал совет и отдал приказ действовать точно в соответствии с ним. Нашли человека, у которого был один из упомянутых пороков, и потянули за все возможные ниточки, чтобы именно он стал правителем области. Сказать по правде, у него не было ни малейшего желания быть этим правителем. Может, он стыдился своего давнего порока, кто знает. Тем не менее было сделано все возможное и невозможное, чтобы именно его провозгласили вождем. Так и случилось, и вскоре область в самом деле откололась, но султан, хоть и посетовал, все же был спокоен.

— Дождь снова зарядил, — проговорил гость прежде чем продолжить свое повествование. Теперь он уже явно словно сказку рассказывал, пару раз даже прибегнул к фразам вроде: "И прошло лето, и наступила зима", — напомнившим Бекиру Али сказки его бабушки, когда та баюкала его в детстве.

— И вот вскоре совет мистика Рухолаку принес свои плоды. Отгремели первые празднества и торжества, и молодой вождь впал в черную тоску. Внутреннее беспокойство, связанное с давнишним его грехом, мучило его, не давало житья. Он-то думал, что стер с себя это пятно, но теперь, когда он стал вождем, у него вновь возникло подозрение, что об этом помнят. Червь сомнения грыз его днем и ночью. Сначала он ломал голову, кто мог знать об этом, а кто нет, кто мог бы рассказать другим, а кто промолчит. Ему было невыносимо думать, что по вечерам, собравшись в кругу друзей, люди смеются над ним: "Ах, что за вождь! Видели, как он надувается перед марширующими войсками и стучит кулаком по

столу на заседаниях правительства? Знали бы вы, как несколько лет назад... в задней комнате... в таверне некоего...” Ну да ладно, не будем вдаваться в непристойные детали подобных бесед. Для вождя были нестерпимы эти сомнения и мучения. И однажды произошло то, что и должно было произойти: мрачный, бледный, измотанный бессонными ночами правитель решил, что необходимо что-то предпринять. Положить конец пересудам на свой счет. Покарать шептунов. Убить, если потребуется. Убить, — повторил гость. — Сначала тех, кто говорил. Потом тех, кто мог говорить. Потом... тех, кто знал... или мог знать.

Бекир Али с нетерпением ждал, когда же голос гостя снова вызовет в нем то приятное ощущение засыпающего мальчика, слушающего сказку.

— Подозрения все сильнее терзали правителя. И вот он начал наносить удары. Но трудно было выяснить, кто мог знать его тайну, а кто нет. Поэтому он начал уничтожать подозреваемых, не щадя никого, включая всех их родственников. Затем всех их друзей. Дальше — больше. Поначалу для этого нужно было какое-то оправдание. Выдумали то, что всегда выдумывают в таких случаях: антигосударственный заговор. Преступления раскрывались одно за другим. Ведь преступление, как собаку, привлекает запах другого преступления, а за ним — еще одного и еще. Но для того чтобы создать атмосферу преступности и страха, потребовалась соответствующая государственная машина.

Однако, как тебе, вероятно, известно, Бекир Али, Европа не так терпеливо, как мы, относится к подобного рода делам. Они там у себя выдумали всякие страшные слова: “тирания”, “диктатура”. И боятся их больше чумы. Так что мы знали, что однажды победоносная Европа сурово осудит своего любимчика. А у нас не было никакой необходимости настраивать его против Европы. Он и сам восстал бы против нее.

Гость коротко рассказал о том, как произошло сначала охлаждение, а затем и открытый конфликт вождя с Европой. Потом, как и ожидалось, вождь обратил свой взор в сторону Азии.

— Однажды он должен был к нам вернуться, Бекир Али, как и предвидел святой мистик, да пребудет его душа в мире там, где она сейчас. Должен был вернуться, потому что мы были для него единственной защитой. Наш принцип был простым и ясным: делай что хочешь, раз теперь ты хозяин, ты сам себе голова, но знай, что долго ты так не протянешь. А к нам — добро пожаловать. И он в самом деле вернулся к нам вместе со своей страной, которой правил до конца своих дней.

— Да благословенна будет его душа! — проговорил Бекир Али, вздохнув так осторожно, словно перед ним была свеча, которую он боялся загасить.

— А дождь, смотри-ка, перестал, — задумчиво произнес гость.

Бекир Али, словно человек, которому не терпится почесаться, все ждал момента, когда можно будет завладеть железными щипцами и как следует помешать угли в жаровне, а когда такая возможность представилась, почему-то не стал этого делать. Ему померещилось, что если он возьмет в руки железяку, то совершит что-нибудь непоправимое: вместо того чтобы помешать угли, ударит гостя по лицу — раз, другой, третий. Он мысленно пожаловался Богу, зачем Он посылает ему такие искушения, помолился и глубоко вздохнул.

— Ты, конечно, спросишь, а пристало ли нашему благословенному государству использовать столь низменные, грязные средства, чтобы обеспечить себе верных союзников.

Он посмотрел Бекиру Али прямо в глаза, словно беззвучно повторяя вопрос.

— Э-э, как сказать... по совести говоря... — пробормотал Бекир Али.

— Ты вправе задать такой вопрос. Тут нет ничего предосудительного. Все, кто впервые узнавал об этом, задавали. Ответ, Бекир Али, очень простой: любые средства хороши, если речь идет о нашей победе. Ты меня понимаешь?

Бекир Али кивнул в знак согласия. Щипцы все еще лежали на краю жаровни, но он не осмеливался их взять.

— О-хо-хо, — глубоко вздохнул гость. — Вернемся к разговору об Албании... Что-то подобное приходит мне на ум, когда я размышляю об этой стране. Понимаешь, Бекир Али, если найдется такой же человек, как тот, о котором я тебе рассказывал, Албания будет нашей навсегда. Она полюбит нас даже больше, чем мы сами себя любим. И если мы обеспечим себе несколько таких союзников, создадим что-то вроде оборонительного кольца вокруг ислама, тогда можно будет сказать, что мы выиграли битву с христианством. Вот это и будет основной идеей моего доклада. Надо, чтобы случай с мистиком Рухолаку не остался единичным, чтобы из него выстроилась целая система. Теперь это называют доктриной. Если она будет одобрена монархом, то на вас будет возложена задача — искать и найти такого человека. Может быть, тебе первому удастся его найти, Бекир Али.

Несколько мгновений они неотрывно смотрели друг на друга.

"Найти Антихриста!" — подумал Бекир Али. Он что-то смутно помнил из истории христиан — то, что узнавал из доносов и следственных дел.

Гость долго смотрел в окно, словно пытаясь разглядеть что-то, что должно было появиться, но почему-то не появлялось.

— Кажется, светает, — сказал он.

Бекир Али кивнул.

— Середина октября, а холодно, как зимой.

Гость продолжал вглядываться в еще темные оконные стекла.

— Знаешь, как гяуры называют время, в котором мы живем? — спросил он после долгого молчания. — Двадцатый век...

— Ах да, я слышал от этих местных бездельников, поэтов...

— Двадцатый век... — повторил тот. — Смешно звучит, правда? Вот уже несколько лет, как мы, по их мнению, живем в этом веке... Если не ошибаюсь, восемь лет...

Бекир Али ждал, что тот рассмеется, как раньше, но его лицо только еще больше помрачнело.

— Теперь, когда я излил весь тот яд, что накопился во мне, я чувствую, что смогу заснуть, — сказал он и, нашарив ногой шлепанцы, оперся рукой о спинку миндера, чтобы встать. — Спокойной ночи, Бекир Али.

— Спокойной ночи, радость души моей, — ответил хозяин дома.

Ему показалось, что половицы продолжали скрипеть даже после того, как гость ушел.

Бекир Али снова помолился и впал в оцепенение, стоя у окна — именно в него чуть раньше смотрел, не отрываясь, гость. От стекла веяло ночным холодом. Вдали мерцали бледные огоньки. Это светились окна домов, чьи обитатели отчего-то поднялись сегодня раньше обычного.

Он все припоминал сведения из истории христиан. Приказ царя Ирода найти младенца Иисуса. Появление царей-волхвов. Пилат умывает руки...

Бекир Али в изнеможении закрыл глаза. Если доклад столичного гостя будет одобрен... если слова его не были просто бредом сумасшедшего, как ему найти этого черного ходжу, этого маленького любимца Азии?..

Он плохо помнил, что именно сделал царь Ирод, чтобы отыскать младенца Иисуса. Но он сделает не меньше. Он будет прочесывать село за селом, не успокоится, пока не найдет. Снова откроет папки с делами, с признаниями, вырванными под пыткой. Возможно, ему придется спуститься в тюремную камеру, куда заточили этого поэта... От него он узнает подробности той старой истории, они помогут ему в его деле, и неважно, что Ирод искал Христа, чтобы убить, он-то будет искать Антихриста с прямо противоположной целью — чтобы обрести его...

— А разве это в сущности не одно и то же? — спросил он себя после некоторого замешательства. — Разве это не одно и то же, о Аллах! — повторил он и оперся рукой о подоконник: ему показалось, что он сходит с ума.

Тирана, 13 октября 1987 г.

От переводчика

Исмаиль Кадарэ всегда пишет о современности, даже если действие его романов происходит в Древнем Египте или Османской империи. Такова и новелла "Прощальный подарок Зла", где речь идет как бы об Османской империи, частью которой Албания была в течение более четырехсот лет.

В произведениях Кадарэ могут происходить самые невероятные вещи — специальные государственные служащие, к примеру, собирают сны обывателей и отсылают их в столицу, особым толкователям, формирующим государственную политику ("Дворец сновидений"), а султан может издать декрет — фирман о борьбе с "дурным глазом", и тотчас по всей стране открываются специальные комитеты по ослеплению заподозренных в "дурноглазии" подданных ("Ослепительный фирман"), причем гуманизм властителя простирается до того, что добровольно сдавшимся предлагается самим выбрать один из пяти способов ослепления. Откровенная сатирическая направленность этих произведений имеет отношение, конечно же, не к давно исчезнувшему государству, а к современной Кадарэ Албании.

Удивительно, но, кажется, никто из критиков не заметил зашифрованного в тексте новеллы "Прощальный подарок Зла" послания читателям. По крайней мере мне неизвестно, чтобы кто-то об этом упоминал.

Еще удивительнее, что этот ребус своевременно не расшифровал вездесущий и всеведущий "Сигурими" — албанский КГБ. Новелла была написана в 1987 году — Энвер Ходжа уже умер, но до крушения коммунистического режима оставалось еще несколько лет. В СССР уже началась горбачевская перестройка, но Берлинская стена еще стояла. В любом случае, Кадарэ сильно рисковал — в те времена за такие интеллектуальные игры можно было серьезно поплатиться.

Из разбросанных в тексте намеков складывается занятная картина. В начале новеллы мимоходом упоминается, что действие происходит в середине октября. Ближе к концу новеллы открытым текстом говорится, что на дворе 1908 год, канун

исторических событий, которые привели к выходу Албании из состава Турецкой империи и обретению независимости. Главный герой новеллы, правитель города, в котором угадывается родной город писателя, Гирокастра, осознает, что целью его жизни становятся поиски Антихриста, который должен вот-вот родиться, чтобы впоследствии стать правителем этой страны. Время переваливает за полночь, и вдали, в каком-то доме, загорается огонь в окне. Какое событие могло так переполошить обитателей этого дома? Что могло заставить их зажечь свет еще до рассвета? Только что-то очень серьезное. Например, смерть кого-то из домочадцев. Или, наоборот, рождение. Может быть, даже рождение ожидаемого Антихриста.

Итак, миновала середина октября, наступил следующий день, 16 октября 1908 года. В Албании, в городе Гирокастра родился Антихрист, который должен стать правителем страны. Албанцам не нужно ничего больше объяснять — любой, кто жил в коммунистической Албании, знал наизусть дату рождения Энвера Ходжи. Это все равно, что у нас в эпоху Андропова написать, что Антихрист родился 22 апреля 1870 года в Симбирске.

И тут сводятся воедино все намеки, разбросанные по тексту новеллы, и выпукло вырисовывается то, что произошло в истории реальной Албании, словно все действительно было заранее срежиссировано каким-то любителем парадоксов: человек с фамилией Ходжа, что по-албански означает "мусульманский священник", становится правителем Албании и провозглашает создание первого в мире атеистического государства, то есть не просто подвергает церковь гонениям, как это было, например, в Советском Союзе, а объявляет вне закона любую религиозную деятельность, запрещает даже обряды, исполняемые частным лицом у себя дома, при закрытых дверях, сажает в тюрьмы и расстреливает как христианских, так и мусульманских священников. Священник становится коммунистическим Антихристом. Вот он, прощальный подарок уходящего в небытие Зла.

За такой, как сейчас принято выражаться, "мессидж" вполне можно было и срок схлопотать. Автору, однако, повезло: текст не попал в руки госбезопасности, а через несколько лет тоталитарная система рухнула, и описанная Кадарэ фантастическая империя стала уплывать в прошлое — туда же, где осталась и реальная Османская империя.

Интервью для читателей "Иностранной Литературы"

Запись беседы, вступление и перевод с албанского В. Тюхина

Исмаиль Кадарэ (р. 1936) — албанский писатель, проживающий в Париже, один из классиков современной мировой литературы, член Французской академии, кавалер ордена Почетного легиона, первый лауреат Международной Букеровской премии (2005). Его романы опубликованы в сорока странах мира.

В конце 1950-х Исмаиль Кадарэ учился в Москве в Литературном институте им. Горького.

Кадарэ мог остаться никому не известным писателем, живущим в маленькой балканской стране, если бы не случай. В Албании его печатали мало, а за границей о нем практически не слышали, если не считать изданного в Советском Союзе сборника стихов в переводе Давида Самойлова. Помогло чудо — после Второй

мировой войны в Албанию вернулся Юсуф Вриони, эмигрант, получивший образование во Франции. Он мечтал участвовать в восстановлении своей страны после войны. Коммунистические власти не оценили его патриотического порыва. Вриони сразу бросили в тюрьму как представителя враждебных классов. Там, просто чтобы не сойти с ума, он стал переводить на французский язык роман Кадарэ "Генерал мертвой армии". Очевидно, он попал в приличную тюрьму, где можно было заниматься литературной работой. Если бы он работал в каменоломнях с утра до вечера, возможно, судьба Кадарэ сложилась совсем по-другому. Вриони — уже после того, как вышел из тюрьмы, перевел все произведения Кадарэ, появившиеся на свет до 2001 года, а в 2001 году преданный переводчик скончался.

Перевод первого романа Кадарэ "Генерал мертвой армии" был тайно вывезен во Францию и издан там, затем его издали в Италии, и по его мотивам режиссером Лучано Товоли был снят фильм "Генерал погибшей армии" (1983) с Марчелло Мастроянни и Мишелем Пикколи в главных ролях... Исмаилю Кадарэ была обеспечена своего рода "охранная грамота" — он был практически единственным албанцем, о котором слышали за пределами его страны, если не считать Энвера Ходжу. Ему удалось сначала вывезти нелегально во Францию и другие свои романы, замаскированные под переводы с немецкого, а затем эмигрировать во Францию и самому.

На русском языке помимо сборника стихов в переводе Давида Самойлова (1960) были опубликованы роман "Генерал мертвой армии"[1] (журнал "ИЛ", 1989, № 6; книжное издание — СПб.: Издатель В. Тюхин, 2006), роман "Суровая зима" (М.: Худож. лит., 1992) и несколько рассказов в "ИЛ"(1992, № 8/9 и 1995, № 9). А одно стихотворение Исмаиля Кадарэ было опубликовано на страницах "ИЛ" в 1959 году, когда он был еще студентом Литературного института им. Горького.

В Албании, так же как и в Советском Союзе, книги издавались весьма выборочно. Каким образом вы знакомились с произведениями современных зарубежных писателей, на каких языках? На албанском, русском, французском? Какими еще иностранными языками вы владеете?

Я начал увлекаться литературой в одиннадцатилетнем возрасте. Одной из первых книг, попавших мне в руки, был "Макбет" Шекспира. Не потому, что я понимал: это — великое искусство, а потому, что на первой странице мое внимание привлекли слова "духи" и "колдуньи". Хотя "Макбет" был и трудноват для меня, он настолько мне понравился, что я переписал от руки большой кусок. Так что, практически, "Макбет" — это первая книга, которую я "написал".

Несмотря на существование коммунистической цензуры, книг в Албании было вполне достаточно. Это были издания времен королевства, а также книги, вышедшие позже, во время итальянской и немецкой оккупации. Многое в нашей истории было не совсем так, как это излагалось в коммунистической версии. Например, в период 1939—1943 годов Албания называлась не оккупированной, а объединившейся с Италией. Король Виктор-Эммануил именовался Королем Италии и Албании и Императором Эфиопии. Как видите, у нас было одно государство с Италией и чернокожими эфиопами. В одном из эссе я написал, что в то время первым поэтом Албании — совершенно официально — считался Данте Алигьери! И так оно и было на самом деле.

1. В журнале роман напечатан под названием "Генерал армии мертвых". (*Здесь и далее – прим. перев.*)

И немецкая оккупация была совсем не такая, как у вас. Албания официально именовалась союзницей Германии, у нас было свое коллаборационистское правительство и даже регентство – в ожидании возвращения короля.

Я привел эти примеры для того, чтобы показать, что культурная жизнь продолжалась и во время оккупации: выходили газеты, работал театр, издавались книги.

Я читаю по-албански, по-русски, по-французски и по-английски.

В СССР одним из главных источников сведений о состоянии дел в современной мировой литературе был журнал "Иностранная литература", где печатались произведения, которые нельзя было приобрести в книжных магазинах, и даже произведения писателей, именовавшихся "декадентами" и "модернистами". Доводилось ли вам читать этот журнал во время учебы в Москве? Удалось ли найти там что-то интересное для себя как писателя?

С этим журналом я был знаком очень хорошо во время учебы в Москве, да и впоследствии тоже. Как раз в то время, когда я был студентом в Институте Горького, в этом журнале были напечатаны мои стихи. В нем я прочел многие вещи, которые тогда назывались модернистскими. Вспоминаются, к примеру, американские писатели Сэлинджер и Апдайк. И многие другие. Некоторые номера этого журнала у меня и сегодня есть в моей библиотеке в Тиране.

Насколько неожиданной была для вас публикация вашего романа "Генерал мертвой армии" в "Иностранной литературе"? Известно ли вам, с какими трудностями была связана эта публикация, против которой категорически выступали рецензенты из ЦК КПСС, ведь до конца 1980-х публикация ваших книг была запрещена?

Поскольку я очень высоко ценил журнал "Иностранная литература", публикация моего романа "Генерал мертвой армии" доставила мне двойную радость. Во-первых, потому что это был мой первый роман, изданный на русском языке. И во-вторых, потому что это опубликовал журнал, рассчитанный на читателя высокого уровня и всегда славившийся своим либеральным духом.

Я не знал о том, что на роман была отрицательная рецензия из ЦК вашей партии. Если бы знал, то, могу сказать совершенно искренне, почувствовал бы еще бóльшую радость. Если коммунистический ЦК выступает против какого-то писателя, этот писатель должен радоваться. Против меня выступали два Центральных Комитета. Один в моей собственной стране, самый опасный для меня, поскольку был албанским и сталинистским. Другой – ваш, не игравший в моей жизни никакой роли, поскольку был менее сталинистским и находился за границей.

Вы упомянули о том, что мои книги были запрещены у вас. В этой связи не могу не вспомнить, что мы, писатели бывшего Восточного блока, учились по запрещенным книгам. Сначала это были книги западных авторов, тех, кого называли "буржуазными декадентами". Потом книги наших старых отечественных писателей, считавшиеся вредными. Затем дошла очередь и до нас. У меня было четыре или пять таких запрещенных книг. И тем не менее я всегда помнил, что Россия – это страна, где издали мою первую переведенную книгу, еще в 1960 году. Честное слово, даже не верится, что меня издали в Москве раньше, чем в Париже, где первая моя книга вышла десятью годами позднее, в 1970-м.

Как вы отнеслись к тому, что журнальный перевод, опубликованный в "Иностранной литературе", был сделан с одной из ранних редакций романа? Не повлияло ли это на восприятие русскоязычных читателей?

Такое произошло со многими переводами. Думаю, это не драматично. Сам я по натуре перфекционист. Этим и объясняется то, что чуть ли не все вещи я много раз правил. До издания в 1970 году в Париже у романа "Генерал мертвой армии" было два-три опубликованных варианта. Громкий успех во Франции и во всей Европе не помешал мне однажды взять роман в руки, чтобы внести в него финальные улучшения. Когда моя жена увидела, чем я занят, она сказала мне: "Ты или неисправимый самонадеянный тип, или маньяк". Тем не менее внесенную правку одобрили все мои издатели. Окончательные редакции всех моих произведений опубликованы в 12-томном собрании, изданном в Париже французским издателем на двух языках — французском и албанском.

В России изданы два ваших романа – "Генерал мертвой армии" и "Суровая зима". Как вы считаете, насколько правильным был выбор издателей и переводчиков? Какие еще романы вы бы хотели увидеть изданными на русском языке?

Мне трудно ответить на этот вопрос. Возможно, другие книги могли бы понравиться больше, к примеру, "Кто привел Дорунтину", "Дворец сновидений" или "Преемник". Но — вам виднее.

Книга "Суровая зима", помимо того, что перевод сделан с подцензурного издания, то есть самого плохого, могла показаться "антисоветской" и создать проблемы. Она ни в коей мере такой не является, просто эта книга направлена против коммунистической империи, центром которой была Россия. Албания, моя собственная страна, тоже была частью этой империи, более того, можно сказать, что это был самый темный ее угол. Глобальная картина этой империи дана в мрачных тонах, описана преступная атмосфера, полная шекспировских страстей.

Ко мне вообще часто применяли определение "анти". Роман "Генерал мертвой армии" сочли "антиитальянским". Из-за "Концерта в конце зимы" я заработал эпитет "антикитайского" писателя. "Антитурецкими" считают многие мои книги, и, естественно, многие считаются "антиюгославскими", понятно почему. Но чаще всего мои противники называли меня "антиалбанским" писателем! Забавно, не правда ли?

Как известно, многие ваши романы переведены на английский язык не напрямую с албанского, а с французских переводов. Насколько такой двойной перевод соответствует оригиналу? Как бы вы отнеслись к тому, что ваши романы переводили бы на языки республик бывшего СССР (например, на украинский, казахский и т. д.) не с албанского языка, а с русского?

У меня было много переводчиков на английский язык, семь или восемь. Половина из них переводила с албанского, половина с французского. Естественно, перевод с языка-посредника приводит к потерям. Албанский язык, как вам прекрасно известно, сильно структурирован и очень сложен; со множеством латинских и других заимствований, вплоть до кельтских. Это его особенность. Пользоваться им непросто, но для литературы это хорошо. Я думаю, что сложный и богатый язык сам по себе поднимает уровень литературы.

Что касается перевода на языки бывших советских республик с русского, я считаю это вполне возможным. Русским языком традиционно широко пользовались в этих странах, и сам по себе он, благодаря свое-

му богатству и силе, без сомнения может служить средством передачи всего, что связано с искусством слова.

А вы сами занимались когда-нибудь переводом? Если да, то доводилось ли вам переводить с русского языка?

Да, переводил, но редко, для собственного удовольствия. Я упомянул бы "Орестею" Эсхила (третий или четвертый перевод этой вещи на албанский язык). Мой перевод был экспериментальным, я как бы заключил с самим собой пари: сохранить максимальную верность оригиналу — это касается как содержания, так и формы, и даже сохранить ту дымку загадочности, которая часто встречается в греческой трагедии. Как раз ее-то переводчикам обычно не удается передать, а мне нравятся таинственные вещи. Из французской литературы я перевел "Пьяный корабль" Рембо, а из русской поэзии "Осень" и отрывки из "Евгения Онегина" Пушкина. Кроме того, когда я был студентом, перевел "Облако в штанах" Маяковского. Так же как и при переводе "Орестеи", при переводе этой поэмы я поставил перед собой цель — во что бы то ни стало сохранить ритм и музыку оригинала. Мне хотелось бы привести первые строчки моего перевода:

I merrni pêrçart fjalët e mia?
Kjo ndodhi,
Ndodhi n'Odesë.
Do vij më katër, tha Maria...

Вам нравится давать в своих произведениях новые трактовки мифов, как это, к примеру, сделано в вашей единственной драме "Скучное время года на Олимпе"? Не могли бы вы что-нибудь рассказать об этом?

Когда занимаешься литературой с подросткового возраста, у тебя возникают довольно странные идеи, из тех, что называют "сумасшедшими". Я уже рассказывал о "Макбете", теперь расскажу кое-что о "Гамлете".

Привлеченный все тем же словом "призрак", я взял его из библиотеки моего дяди, чтобы прочесть, но к концу первого акта я сильно рассердился на Шекспира, поскольку мне показалось, что принц Гамлет насмехается над тенью своего отца. И тут мне пришло в голову, что я должен исправить трагедию, переписав "все эти насмешки". Мой дядя, застав меня за этим занятием, надрал мне уши и сказал: мало того, что ты идиот, ты мне еще и книгу испортил. Это меня, однако, не остановило. Очень расстроенный коварным захватом Трои, я мечтал написать произведение, в котором Троя не пала бы, то есть чтобы троянцы не затаскивали внутрь этого деревянного коня. Я думаю, миллионы подростков испытывали похожее сожаление по поводу Трои. Но у меня это не осталось только подростковой мечтой. В 1965 году я написал роман "Чудовище", в котором речь идет именно об этом. Роман был запрещен, поскольку его объявили авангардистским и декадентским. Драма, которую вы упомянули, связана как раз с мечтой моей юности: воссоздать забытую греческую трагедию. Удалось мне это сделать только десять лет назад, то есть далеко уже не в юности. К "Прометею" Эсхила, который является средней частью утраченной трилогии, я дописал первую и третью части... Немного сумасшедшая затея, не правда ли? Тем не менее драму поставили во Франции, в Албании и, возможно, скоро поставят и в Греции.

В качестве последнего вопроса: что бы вы хотели сказать читателю "Иностранной литературы"?

Что касается российских читателей, то я считаю их одними из самых лучших в мире. Для меня как для писателя все люди — моей страны и других стран — не только люди, но одновременно и читатели. Среди своих читателей мы, писатели, словно в своем собственном королевстве.

Я надеюсь, что мои книги найдут понимание у российского читателя. И напоследок мне хотелось бы, чтобы вы сопроводили это интервью коротеньким рассказиком, написанным мной в 1985 году. Рассказ называется "Смерть русской женщины"[1]. В нем есть многое из того, о чем я только что рассказал.

Смерть русской женщины

НИНА Ф. Москвичка. Вышла замуж в 1959 году за албанского студента. После слов "люблю" были прогулки по парку Горького, звонки из засыпанных снегом телефонных будок, всхлипы "ты меня не забудешь" и т. д. и т. д., и так до: "Гражданка Нина Ф. берет в мужья А. Д.". Затем подписи, обмен кольцами, отъезд и медовый месяц в Албании.

Теперь она лежит в гробу посреди комнаты городской квартиры, за тысячи километров от своей родины. Уже многие годы она не получала писем от родных (письма доходили редко после разрыва отношений, а в последние годы — вообще как обрезало). Она не знала точно, кто умер, а кто жив из ее семьи, так же как и они наверняка не знали, жива ли она, и вряд ли когда-нибудь узнают год ее смерти.

Вокруг гроба толпятся женщины и плачут на чужом языке. Это сестры студента, уже старухи. Из-за повязанного ей на голову цветастого платка она еще больше похожа на русскую, и от этого еще печальнее кажутся причитания на чужом языке.

Редкую женщину оплакивают ее свояченицы с таким надрывом. Это то, о чем не говорят вслух, это и так понятно. Понятна и причина: в первую очередь они оплакивают ее одиночество. И, конечно, свое собственное тоже.

Справа от гроба, за спиной у женщин, книжная полка. Среди корешков выделяются книги о разрыве отношений с Советским Союзом, в основном политические труды вождя страны. Между ними и телом лежащей в гробу — всхлипы женщин.

1. Рассказ написан в 1985 году, когда Албания находилась еще под властью коммунистической диктатуры. Рассказ вместе с другими рукописями автора был нелегально вывезен во Францию. Он был опубликован через некоторое время после падения коммунизма в сборнике "Кража царского сна" в Албании и других странах. Рассказ посвящается памяти несчастных русских женщин, вышедших замуж за албанских студентов, судьба которых после разрыва отношений между двумя странами сложилась драматически. Некоторым удалось вернуться на родину, а из тех, кто остался в Албании, часть была брошена в тюрьмы как "агенты" России, а остальные одна за другой постепенно уходили из жизни, так и не увидев своих родственников.

Некоторое время назад в публичном интервью И. Кадарэ предложил, чтобы албанское государство принесло официальные извинения России за судьбу этих несчастных русских женщин и другим бывшим социалистическим странам, у женщин которых была такая же судьба.

Приближается время погребения. В квартире происходит оживленное движение, приносят крышку гроба, с грохотом забивают в нее гвозди. Чуть погодя автобусы с печальными людьми отъезжают в сторону западного городского кладбища.

День сырой, дождливый. Но никто не отходит раньше времени от ямы. Одна женщина, член руководства местного отделения Фронта[1], произносит совсем короткую речь, в которой говорит, что Нина Ф. была хорошей матерью и женой и сознательной работницей и что в своей работе она всегда руководствовалась уроками Партии и ее вождя.

Ни слова о ее национальности, которая была причиной самого большого одиночества, какое только можно себе представить.

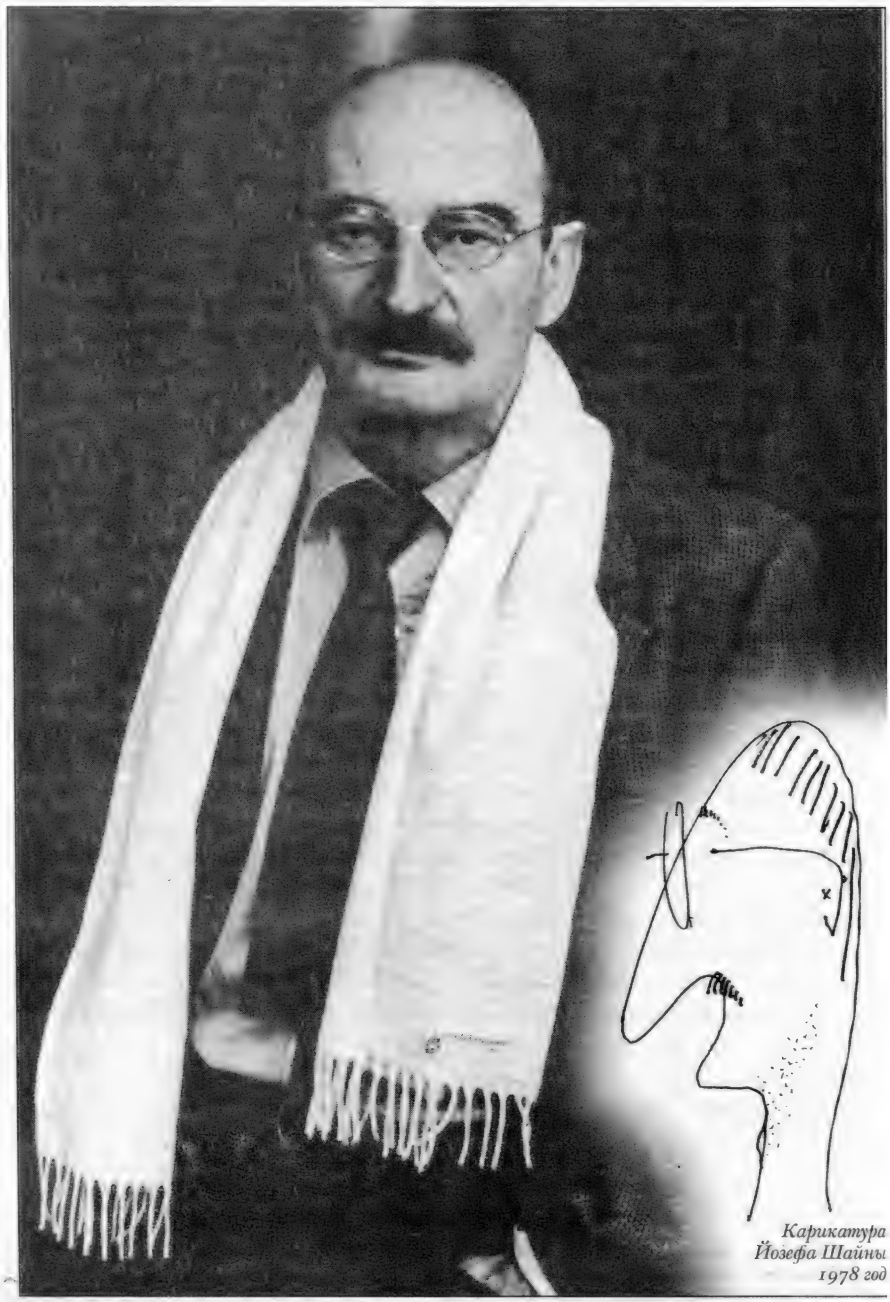
Прощай, Нина!

Это единственные нормальные слова, которые произносит активистка Фронта.

Более нормальным, чем эти слова, кажется стук комьев глины и камешков, падающих на гроб, это универсальный язык, более понятный, чем человеческий, несмотря на то, что могила эта вырыта не в бескрайней русской земле, а в скупой албанской почве, где и для своих-то могил едва хватает места.

Декабрь, 1985

1. Имеется в виду Демократический фронт Албании, позднее Национально-освободительный фронт – массовая политическая организация. Осуществляла свою деятельность под руководством Албанской партии труда.



Карикатура Йозефа Шайны 1978 год

Славомир Мрожек

Валтасар

Автобиография

Фрагменты

Перевод Вадима Климовского

От автора

МЕНЯ зовут Славомир Мрожек, но теперь, после того, что случилось со мной четыре года назад, у меня новое имя, более короткое: Валтасар.

15 мая 2002 года я перенес инсульт, результатом которого стала афазия. При афазии человек, вследствие нарушения некоторых мозговых структур, частично, а то и полностью теряет дар речи.

Когда я снова обрел способность говорить и попытался вернуться к работе, пани магистр Беата Миколайко, по профессии логопед, предложила мне в рамках курса лечения написать новую книгу. Я дал ей рабочее название "Дневник возвращения – продолжение следует", имея в виду свой "Дневник возвращения", опубликованный в 1996 году[1]. Я рассказывал о том, что происходило до 2005 года. И вот книга готова. В процессе работы ко мне постепенно возвращалась память. <...>

Прошу не искать тут эротических эпизодов моей биографии, потому что их нет. Я согласен, что такого рода близость между мужчиной и женщиной – самое важное в жизни, но избегаю этой тематики из-за абсолютно интимного характера подобных отношений, а также из-за существующей в нашей литературе несправедливости: в то время как мужчины во всеуслышание распространяются на эту тему, женщины в основном помалкивают, хотя у многих из них наверняка есть что сказать. Подобная односторонность свидетельств заставляет меня сомневаться в их подлинности. Зная мужчин, я знаю и их склонность к хвастовству, почему и привык читать их мемуары по меньшей мере с недоверием.

В моих воспоминаниях встречаются известные и не очень известные лица, а также разные ситуации, в которые мне случалось попадать. Может статься, я невольно исказил какие-то факты и рассказал о них не совсем так, как это происходило в действительности. В таком случае прошу читателей меня извинить.

Валтасар vel[2] Славомир Мрожек

<...>

© 2007 by Diogenes Verlag AG Zürich
© Вадим Климовский. Перевод, 2008
Книга полностью выйдет в издательстве "НЛО".

1. См. "ИЛ", 2001, № 7. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Иначе (*лат.*).

Краков моего детства

Поначалу Краков не казался мне маленьким. Пока я не умел ходить, он был для меня целым миром. Правда, ходить я научился еще в Боженчине и Поронине, где мой отец служил начальником почты. В Краков мы приехали, когда мне минуло три года. Поселились в Прокочиме. Следует помнить, что было это более семидесяти лет назад. Чтобы представить себе все наглядно, достаточно посмотреть фильм, действие которого происходит в конце 20-х годов. Забавная одежда, диковинная мебель, архитектура – сплошь, можно сказать, памятники старины; все это производит странное впечатление. До чего же мало тогда было в Кракове жителей! По сравнению с нынешним днем – пусто. От этого возникало ощущение глухой провинции, хотя провинциального в городе было ничуть не больше, чем сейчас.

Краков – первый город в моей жизни. Разница между городом и деревней чувствовалась тогда гораздо сильней, чем в наши дни. Ощущать под ногами мостовую или асфальт, а не проселочную дорогу – уже одно это стало для меня незабываемым открытием. Добавлю, что во времена моего детства в деревне еще не было электричества.

В Прокочиме домики были почти все одноэтажные и разбросаны по поселку довольно широко. Грунтовая дорога весной и осенью превращалась в болото. Но в пятнадцати минутах езды по железной дороге начинался Краков, а в нем – кипучая жизнь, движение и заманчивые приключения. Я был слишком мал и не стремился в Краков. Однако присутствие города ощущалось даже в нашем предместье.

Я не знал, что такое скука. Подозреваю, что знание это приходит к ребенку, когда он вступает в школьный возраст или чуть позже. В Прокочиме меня интересовало все: и детский сад, к которому я быстро привык, и парк, куда мы ходили с матерью. К тому времени я остался у нее один: брат умер (он был старше меня на два года, я едва его помню), а сестра еще не родилась.

Я рос перед войной, и это отразилось на моем воспитании. После 1 сентября 1939 года мир стал совершенно не тем, к которому я привык с малых лет и который казался мне естественным. Кошмар усиливался внезапностью перемен: я пережил крушение своего мира вживую, всего лишь за пару месяцев. Плата за это – своеобразная болезнь, от которой я не могу избавиться, хотя прошло уже шестьдесят пять лет. Эта болезнь называется полной неприспособленностью к жизни. До сих пор не могу поверить, что непрерывность опыта утрачена раз и навсегда.

В 1935 году мы переехали в Краков. Отец, как и прежде, работал на железной дороге – обслуживал передвижной почтовый вагон. Он ездил по всей Польше. Работа была изнурительная, надо было выгружать и принимать почту на каждой станции днем и ночью и сортировать ее во время перегона. Но она лучше оплачивалась, а может, отец получил повышение по службе.

Для нас с матерью – а вскоре и для сестры – перемена оказалась значительной. Прежде всего, мы теперь жили в Кракове – а значит, вокруг появились новые люди. Поселились мы на улице Бандурского, на последнем этаже, балкон и окна квартиры выходили на широкую улицу Пражмовского. Почти напротив, на другой стороне, находилась вилла генерала Монда; перед ней часто стояла бричка, и солдат в мундире под-

жидал генерала. Случалось, сам генерал выходил из дома, садился в бричку, и лошади рысью уносили его вдаль.

Генерал, Войско польское — гордость и любовь моего детства. Моего — и всех мальчишек моего поколения. Мы имели возможность любоваться армией почти ежедневно. Офицерское Оседле[1] застраивалось тогда свободно, и обширные поля предоставлялись для учений. Кавалеристы возвращались с учений после полудня, нередко с песнями, и их длинные пики с флажками выглядели устрашающе. Околыши у всех были одного цвета, только уже не помню какого. Красные? Желтые? Малиновые?

Именно тогда я открыл для себя небо. Буквально. Может, потому, что впервые стал жить на небывалой для меня высоте — почти под небесами? До тех пор я жил в одноэтажной провинции и даже в Поронине всего лишь на втором этаже. А здесь аж на пятом! Для моего росточка тогда — головокружительная, невообразимая высота. Целыми днями я сидел и смотрел в небо, следил за облаками. Открывал целые архипелаги, подвижные бухты, зыбкие озера и причудливые острова. Открытие было двойным: ведь я никогда не видел моря, а благодаря облакам, сам о том не ведая, увидел море в первый раз.

Однажды я заметил в небе аэростат. Тоже впервые. Он плыл спокойно и уверенно на фоне фантастических облаков. Я радостно приветствовал его. Догадывался, что внутри люди, но никого не видел. Да и невозможно было разглядеть их в этой великолепной громадине.

Тогда же открыл я и свое призвание. С нами жила младшая сестра отца, студентка Ягеллонского университета, и однажды в ее отсутствие я нашел стопку бумаги, приготовленной ею к экзаменам. Белой чистой бумаги. Я сплошь заполнял листочки каракулями и очень этим увлекся. Поспешно оставлял на каждом несколько штрихов и тотчас брался за следующий. Помню, сам физический процесс доставлял мне наслаждение. Позже я занялся этим основательно и не могу остановиться до сих пор.

Умер отец Лешека Круля, моего приятеля из Прокочима, и мать Лешека тоже переехала на улицу Бандурского. В их доме бывал поручик авиации, будущий герой битвы за Англию[2]. Вместе с приятелем мы тайком восхищались им. И еще на Бандурского жил Борис Билевский, у его отца был автомобиль.

Политические события также не проходили мимо меня. Помню похороны Пилсудского, Заолъжье и "О вождь, веди нас на Ковно"[3]. Я был тогда ярым патриотом. А кем еще мог быть ребенок?

Мои "политические взгляды", если можно так выразиться, были такими же, как у родителей и у большей части общества: умеренный антисемитизм и горячая поддержка генерала Франко. Я безоговорочно верил в разные ходячие мифы, байки и широко распространенные предрассудки.

1. Район Кракова, в 20 минутах ходьбы от Главного рынка, в те времена почти пригород.
2. Под таким названием вошло в историю Второй мировой войны длительное воздушное сражение над Британскими островами в августе 1940 — мае 1941-го. В этой битве в составе английской эскадрильи сражались польские летчики (151 пилот). Ими было сбито 203 немецких самолета, что составляло 12 % от общих потерь люфтваффе в этом сражении.
3. Юзеф Клеменс Пилсудский (1867–1935) — государственный и политический деятель, первый глава возрожденного после Первой мировой войны польского государства, основатель польской армии; прозвища — Комендант, Маршал, Дед. Заолъжье — польская часть территории бывшего Тешинского княжества (Силезия), отрезанная от Польши Чехословакией вооруженным путем 23.01.1919 г. С 1920 г. находится в пределах Чехословакии (теперь в Чехии). "О вождь..." — модный лозунг в период польско-литовского конфликта. Под вождем подразумевался генерал Эдвард Рыдз-Смиглы.

В 1935 году мы перебрались на Келецкую, что в полукилометре от улицы Бандурского. Вероятно, в связи с рождением сестры. Новая квартира была попросторней. Мать приехала в пролетке – обычное тогда средство передвижения – вместе с сестрой, поразительно крохотной.

Квартира на Келецкой размещалась на первом этаже. Южные окна смотрели в сад и на отдаленные особняки. В окнах, выходящих на запад, виднелась улица Бандурского – между нею и нашим домом простиралось поле. В подвале вместе с женой и маленькой дочкой проживал пан Плачек. Он держал продовольственный магазинчик, размещавшийся тут же рядом. Пан Плачек, помнится, скрывал в пристройке к гаражу какую-то таинственную лошадь. Но я никогда не видел эту лошадь в упряжке.

На втором этаже в квартире с фасада жил капитан Личновский с женой и двумя сыновьями-подростками. Когда грянула война и началась оккупация, немцы приказали всем нам переселиться в Подгуже[1]. Семья Личновских тоже получила там жилье и разместилась напротив, на Беднарской улице. Дальнейшая судьба капитана мне неизвестна. Скорее всего, он попал в лагерь для военнопленных.

В сентябре 1937 года началась школа. Это было важное событие в моей жизни, и, как я теперь понимаю, оно в немалой степени повлияло на выбор профессии: я стал писателем. Начались занятия невинно, почти вероломно – с игры. Несколько десятков лет назад подход к детям был иной, чем сегодня. Мой пример касается только отношения к нам в краковской мужской школе имени Св. Николая. В то время я еще не умел отличать притворство от правды. На первом в моей жизни уроке меня приветствовали с преувеличенным радушием. Нам раздали мишек, массу других игрушек и разрешили играть вволю. Я ожидал непосильных заданий, и столь неожиданный сюрприз весьма обрадовал меня и моих семилетних одноклассников. В атмосфере игры и беззаботности мы и провели этот первый урок, в то время как озабоченные мамаши ждали нас в коридоре. Ничего удивительного, что после урока, расходясь по домам, мы говорили о школе с энтузиазмом. На следующий день, когда мы с тем же энтузиазмом явились в школу, оказалось, что мишки и всякие игрушки исчезли. И больше не появлялись. Они служили приманкой. Открылась правда: самое главное в школе – учиться писать и читать. С того дня и поныне я предпочитаю правду притворству.

В июле, когда я закончил второй класс, мы всей семьей отправились к маминому кузену Людвику в Камень, что в Жешувском воеводстве. Отец с нами не поехал. В связи с напряженной ситуацией он вынужден был остаться: почта и железная дорога получили особые распоряжения на случай мобилизации.

Это был замечательный июль, но тогда все месяцы были замечательные. Спустя много-много лет я спросил у кого-то, почему в детстве каждый месяц – замечательный, даже зимний, а потом – всё уже не так. И получил интересный ответ: "Очень просто: в детстве мать вселяет в тебя ощущение безопасности и тогда все месяцы кажутся безоблачными. Но позже, если у твоей матери появляются проблемы, все меняется".

1. Административный район Кракова, до 1915 г. – самостоятельный город.

Я подумал: действительно — с началом войны хорошая погода кончилась как бы навсегда. Только после ухода немцев снова распогодилось. Ненастье продолжалось, пока у взрослых хватало забот.

Вернемся в июль 1939 года. Мы с матерью, сестрой и чемоданами поехали на пролетке на Краковский вокзал. А потом поездом из Кракова через Тарнув в Жешув. <...>

Боженчин я знал с детства. В Камене же все было новым и непривычным. Там жил дядя Людвик — наш единственный родственник, которого можно было назвать богатым. У него была мельница, лесопилка, локомобиль[1], пруд, два дома и мотоцикл — все это за надежной оградой. Неженатый, он держал дома "гарем", состоявший из хорошеньких служанок. И вообще был не похож на остальных родичей. Никого не пилил, не читал морали, о своих делах не распространялся и в то же время не давил на других. Тогда я увидел его впервые, второй раз — во время войны, а третий — на каникулах в 1949 году, после окончания школы. Покойся с миром, "непохожий на всех родичей".

После войны я не раз читал воспоминания, в которых подчеркивалось, что лето 1939 года было каким-то особенным. Может быть, мрачная действительность долгой оккупации наложилась на то время, породив потом запоздалый эффект ностальгической тоски и грусти. Во всяком случае, мои воспоминания — в том же духе. Дядюшка подарил мне мою первую мелкокалиберку с кучей патронов и финку, предоставив в мое распоряжение пруд с лодкой, разрешив делать что душе угодно — с единственным условием: не опаздывать на завтрак, обед и ужин.

С помощью знакомых взрослые организовали поездку в Сталёву Волю, недавно основанную, где быстрыми темпами развивалась военная промышленность.

Война! Любимая игра! Все, что касалось войны, вооружения, касалось и Польши — могучей и непобедимой. Я был в эйфории. Мой лозунг звучал в унисон с национальным: "Не отдадим ни пяди!" — гордый ответ Гитлеру, который потребовал, чтобы Польша выделила ему нейтральный коридор между Германией и Восточной Пруссией. Во дворе мы хором выкрикивали: "...А немцы, как свиньи, заперты в Берлине" — и были уверены, что разобьем немцев в пух и прах.

Это — мы, дети. Ментальность же взрослых, хотя и страдала инфантильностью по отношению к Гитлеру, но не настолько, чтобы вообще сбрасывать его со счетов. С давних времен война на нашей земле была божьим наказанием. Взрослые тревожились за будущее и, в частности, за нас. Решили вернуться в Боженчин, чтобы "на всякий случай быть всем вместе, семьей". Сработала вековая мудрость; в данном случае в семью включались и внуки, и взрослые, и дед вместе с неродной бабкой. Однако никто не знал, какова будет судьба народов, стран и отдельных людей. Время, когда всем все стало ясно, было уже не за горами.

Итак, мы вернулись в Боженчин. Я — тоскуя по свободе, которую оставил в Камене, и испытывая нарастающее возбуждение от необычности ситуации. Первого сентября я услышал, как мамина невестка, пробегая через сад, кричала: "Юлек! Война!"

1. Компактный передвижной паровой двигатель, предназначенный для привода неподвижных сельскохозяйственных машин.

Война

Поначалу особых перемен мы не замечали. В небе, как и раньше, ни единого облачка, ночи проходили по-прежнему спокойно. Но было произнесено слово "война", и это принесло даже какое-то облегчение. Закончилась неясность, это слово, хотя и страшное, четко определило будущее.

Кто говорит "война", имеет в виду "армия", но таковой что-то не было видно — ни своей, ни вражеской. Вокруг — спокойно, в доме — тоже. На столе стоял приемник, и семья просиживала вокруг него часами. Уже не помню, ловил ли приемник заграницу. Скорее всего, нет. А жаль. Я бы тогда смог процитировать знаменитую речь Гитлера, которую транслировали прямо из Берлина. Зато полно было зашифрованных предостережений о немецких самолетах. Напрасно мы пытались поймать хоть какое-нибудь сообщение о том, что же происходит на самом деле.

Ближайшая радиостанция находилась в Кракове. Теперь уже известно, когда именно Краков попал в руки немцев, но тогда мы терялись в догадках и все больше беспокоились за его судьбу. Для нас война проходила только в эфире и время от времени прерывалась, когда мы прислушивались к самолетам. Навязчиво возникал вопрос: они или наши? Мы еще не знали, что польская авиация уже практически не существует, а немецкие самолеты летают вдоль шоссе и железнодорожных путей. Через несколько дней эта информация дошла до нас с ужасающей очевидностью.

Боженчин расположен в восьми километрах от железнодорожной станции Бядолины. Однажды в полдень мы услышали со стороны Бядолин гул невидимых самолетов и почти одновременно — отдаленные взрывы. Мы в деревне — все, кто мог, — смотрели в ту сторону. Через полчаса все стихло. Самые храбрые отправились на велосипедах в Бядолины.

Вернулись они потрясенные. Позже подобные зрелища уже не производили такого впечатления, но то был первый страшный сигнал войны. Немецкие истребители атаковали поезд с беженцами. Своими глазами наши соседи видели раненых и убитых, картина была ужасная.

Вскоре мы узнали, что все дороги в Польше забиты беженцами и немецкая авиация беспрепятственно их преследует. Дальнейшие сведения говорили о неописуемом хаосе, который творился вокруг. Вражеская тактика обходов и окружения усугубляла хаос. Семья собралась на совет — решать, что делать дальше.

Уже в Первую мировую войну беженцы стали нормальным явлением. Так уж в Польше повелось. "Сожженная земля" словно тешила душу военных стратегов. Моя семья, согласно этой традиции, была лишь одной из многих польских семей, поставленных перед выбором: бежать или оставаться. В самом начале Второй мировой войны мы еще не знали, что такое немецкая авиация. Впрочем, не знали об этом и польские вожди.

В пользу "бежать" говорил извечный страх перед чужими. Возникал также вопрос: куда бежать? Логичным казалось — "к ближайшей линии обороны". При этом предполагалось, что ближайшая линия обороны сохранится и после победоносной — для нас — битвы движение пойдет в обратном направлении. Бесконечное бегство в расчеты как-то не входило.

Семья постановила, что бежать мы не будем. Решение подкреплялось аргументом: "В своем доме и стены помогают".

Подробностей не знаю, поскольку как девятилетний мальчик на совет приглашен не был.

Вскоре наша армия — самая что ни на есть наша — появилась из-за горизонта и осталась в Боженчине на ночь. Появилась словно из сказки. Еще не тронутая поражением, довольно бодрая, она рвалась в бой и возрождала в нас надежду. Позже я наблюдал отступление польской армии уже на исходе ее сил — разница бросалась в глаза.

Весь сентябрь погода стояла прекрасная, поэтому прекрасным был и заход солнца, когда армия табором располагалась на ночь. Происходило это у кладбища, рядом с дорогой в Бельчу, соседнюю деревню. Вдоль дороги тянулся луг, за ним — сад, а в саду стоял наш дом. Подъезжали полевые кухни, готовилась еда. Офицеры разошлись по домам ужинать. Самый старший — в чине майора. Мы чувствовали, что Польша гибнет, но еще не знали об этом. Особое настроение временного расставания — но, упаси боже, не отчаяние.

Назавтра — снова голубое небо. Перед домом Рогожа стояла машина, готовая тронуться в путь. Рогож — директор школы, человек с высшим образованием. Им с женой в Боженчине принадлежал двухэтажный дом, по тем временам редкость, и майор провел ночь там.

Машина — новехонький сияющий черным лаком кабриолет с кожаными сиденьями, по-видимому, реквизированный армией, — много дней стояла, покрываясь пылью. Внутри на заднем сиденье я заметил обыкновенные помидоры и — неожиданно — гранаты. Впервые видел помидоры вперемешку с железом.

Вскоре немцы окружили расположенный на восток от Боженчина Радлув. Боженчин долгое время оставался нетронутым. Радлув находился за сплошной линией лесов на горизонте. Мы видели только точки ракет, которые стремительно взмывали в небо, а потом величественно опускались. По мере того как сгущалась темнота, точки — красные, зеленые, оранжевые — становились все более яркими. До поздней ночи стояли мы на проселочной дороге, ведущей от Боженчина к скрытому за лесами Радлуву. Наконец наступила тишина. На горизонте осталась только темная полоса леса на фоне чуть более светлого неба. Мы вернулись в дом.

Через несколько дней до нас дошли слухи, что в Радлуве произошло сражение, точнее — бойня. Немцы окружили здание школы, в котором оборонялась горстка солдат и офицеров. Потом подожгли дом. Все поляки сгорели заживо.

У нас все еще был приемник, однако радиостанции в западных районах страны умолкали одна за другой. В конце концов осталась только Варшава, но немцы приближались и к столице. Правительство покинуло город, немцы уже вошли в предместья. Президент[1] Варшавы Стажинский возглавил оборону столицы.

Помню тот день — один из дней бесконечного лета. Я вошел в комнату, где стоял приемник. В доме — тишина, взрослые и дети куда-то подевались. Я вошел и остановился на пороге.

На стуле, спиной ко мне, сидел дядя Юлиан, мамин брат, старше ее на несколько лет. Оба были очень красивые. Когда я подрос, мне хотелось быть похожим на дядю Юлиана. Он относился ко мне с пониманием — именно ему я обязан тем, что с детьми всегда общаюсь как со взрослыми. Но было в нем что-то, чего я тогда не мог постичь. Однако и не зная разгадки очень его уважал.

1. Так называется в Польше глава городского самоуправления.

Дядя Юлиан слушал сообщение из Варшавы — столица капитулировала. Он сидел, положив голову на руки, и плакал.

Я молча попятился и ушел в сад. Впервые увидел, как плачет взрослый мужчина. Кажется, больше ничего подобного я никогда не видел.

А потом становилось все хуже. Через Боженчин проходили уже не сплоченные отряды и даже не разрозненные группы польских солдат, а просто крайне изнуренные люди. Иногда с оружием, иногда — без, небритые и грязные, они шли куда глаза глядят — лишь бы идти. Бесцельно. Не могу забыть одного из них: он брел очень медленно, опираясь на винтовку. Шаг — винтовка — еще шаг. Он шел один, другие его обгоняли.

Но вот наступило 17 сентября, и Красная Армия, вторгшись в Польшу с востока, двинулась навстречу немцам. Отряды, стиснутые с двух сторон, сдавались Советам либо, сбрасывая мундиры и закапывая оружие, разбегались. Некоторые, стараясь использовать любой шанс, пробирались к Залешчикам, к румынской границе.

Кампания началась без объявления войны и так же завершилась — без капитуляции. Польша просто перестала существовать.

Наступил октябрь, зарядили осенние дожди. У костела, на дороге — той самой, которая, минуя кладбище, вела через поля к Бельче, — стояла польская танкетка, давно уже брошенная экипажем на обочине. Армия — ни польская, ни немецкая — здесь уже не появлялась.

Зато появлялись крестьяне. Дымя папиросами, не спеша возились у танкетки. Сначала открутили оборудование внутри, потом поснимали то, что оставалось снаружи, включая гусеницы. Под вечер, который начинался теперь с каждым днем все раньше, уезжали, увозя трофеи. В конце концов остались только гайки, заклепки и всякие завертки, которые изредка кто-нибудь откручивал, но потом и они исчезли. Казалось, обобранная дочиста танкетка останется с нами навек.

Но вскоре кто-то приехал с лошадьми и, как-то незаметно, уехал, а с ним исчезла и танкетка.

Началась немецкая оккупация.

Оккупация

Больше я никогда не бывал в краковской школе имени Св. Николая, где научился читать и писать. Здание школы занял вермахт. Три года я продолжал учебу как единственный среди сельских детей "интеллигент". Сначала в Боженчине, потом в других местах. И учеба эта — не приведи господь.

Франция и Англия объявили войну Германии, и одному немецкому часовому на посту в Кракове явился святой Антоний. Он сообщил, что война закончится поражением Германии. Привожу его слова, чтобы показать, насколько мы были наивны. В народе без конца ходили слухи о предсказаниях Нострадамуса и других пророков.

В ту пору мы непоколебимо верили в непродолжительность войны. Максимум до начала лета, а потом — конец, так говорили. А пока можно отправить детей в школу, чтобы не теряли год.

В Боженчине уже тогда было пять тысяч жителей, и село считалось самым крупным в Малой Польше[1]. Большая двухэтажная школа находи-

1. Историческая область Польши, занимающая юго-восточную часть страны, в верхнем и частично среднем течении Вислы.

лась в огороженном саду. Решили, что я пойду в третий класс, соответствующий моему десятилетнему возрасту. От дома до школы было пятнадцать минут ходьбы.

В то время ни в одном учебном заведении, включая высшие, не было совместного обучения. Однако это не касалось школ "для народа". В чем я убедился в первый же день, когда мать отвела меня в боженчинскую школу. Этот благонравный принцип соблюдался только в больших городах. Деревенские нравы радикально отличались от городских. В деревне девочки и мальчики росли вместе и с малых лет разглядывали друг друга – откровенно и грубо. Для меня это было захватывающе!

Все это выбивало меня из равновесия. Прежде я рос как все мальчишки. Бесился и носился сломя голову. В школе дрался, как все, – и вот однажды, в сильном возбуждении, для разрядки стал задирать ученика, который казался мне ниже ростом. Не успел я замахнуться, как в голове у меня зашумело и я оглох. Еле передвигаясь, отошел в сторону. Только потом понял, что произошло. Противник словно парализовал меня, ударив плашмя ладонью по шее. Боль не утихала несколько дней. Раньше мне не приходило в голову, что деревенские мальчишки умеют так мастерски драться. Совсем как в романе Гомбровича "Фердидурке", когда покорный Валюсь дает наконец по морде ясновельможному панычу, который на это напрашивается.

В последующие годы в моих отношениях с деревенскими соучениками существенных изменений не произошло. В Боженчине, как и в Поромбке Ушевской, а после в Камене, друзей у меня не было. В те времена различия между "народом" и "интеллигенцией" – даже, казалось бы, такие незначительные, как в моем случае, – были столь глубоки, что современному человеку трудно это понять. У нас были разные взгляды, разные ассоциации и разные перспективы. К счастью, я не стал козлом отпущения. В коллективе это нетрудно – тот, кто не похож на других, легко может стать всеобщим посмешищем. Коллектив получает от этого садистское наслаждение, что каждому приятно и к тому же укрепляет общую солидарность. Меня оставили в покое, а я, найдя совершенно другие развлечения, не забивал себе голову проблемами "народа". Только в 1943 году, вернувшись в Краков, завел подходящих товарищей.

Семья матери

Ян Кендзор перебрался в Боженчин еще до Первой мировой войны. Приехал он вместе с женой из Жешувского воеводства, где закончил молочно-промышленное училище. Сохранилось письмо от тети Янины, единственной из дочерей Яна Кендзора, которая дожила до преклонных лет. Она написала мне уже после моего возвращения в Краков, в 1997 году. Почти столетняя тетушка (вскоре она умерла) так описывает своих отца и мать: "Они познакомились в поезде. Она, простая деревенская девушка, читала книжку. Заинтригованный, он заговорил с ней, и они поженились".

На мой взгляд, Ян Кендзор был мужчина страстный. Об этом свидетельствует не столько его жизнь с женой в Боженчине, где у них родилось много детей, сколько его отношение к женщинам. Я не знал свою бабушку. Она умерла молодой, до моего рождения. Зато я знал вторую дедову

жену — не скрою, отвратительную бабу. Уму непостижимо, каким дед был подкаблучником! Вскоре после его смерти я нашел несколько открыток, которые он писал жене, когда уезжал по делам из Боженчина. Для того пуританского времени — открытки почти эротические.

Ян Кендзор не был похож на ловеласа. Рослый, красивый мужчина, с усами — по тогдашней моде, — с голубыми глазами, в которых светилось что угодно, только не чувство юмора и не игривость. Я допускаю, что, выбиваясь из "полубедности" в "полузажиточность", как большинство небогатых жителей Галиции и Лодомерии[1], он не находил ни времени, ни случая заводить романы. Тем не менее скрытое влечение к женщинам осталось.

В Боженчине он построил дом и заложил молочную ферму. Дом на удивление маленький, хотя дети у деда множились; сад же — довольно большой. Дом, правда, каменный, но всего лишь двухкомнатный. Под той же крышей помещалась и ферма. Два сепаратора для снятия сливок и одна бочка для превращения сливок в масло. Все сработано вручную, на примитивном станочке. На ферме работали молодые, еще незамужние девушки — предмет неустанных грубоватых заигрываний возчиков, которые во множестве приезжали не только из Боженчина, но и из окрестных сел. Крестьяне заключали договор с фермой на ежемесячную поставку молока. Каждый день они сдавали цельное молоко для переработки и взамен получали снятое. Одновременно в примитивной лаборатории определялся процент жирности молока. Все это — с раннего утра до позднего вечера, в шуме и оглушающем грохоте, производимом машинами, лошадьми и прежде всего людьми. Случались баталии, когда две стороны пытались доказать свою правоту. Крестьяне, как им и положено, утверждали, что сданное молоко невероятно жирное, а хозяин фермы — что оно невероятно тощее.

Таково было положение вещей, когда я родился. Добавлю, что родился я не в главном доме, а в расположенном на отшибе — съемном. Родители снимали этот дом, что стало возможно благодаря тому, что отец получил в Боженчине руководящую должность. Когда я родился, моему брату было уже два года. Что происходило до моего рождения — не знаю, хотя очень хотелось бы узнать. Предполагаю, что дед под влиянием своей второй жены не допустил совместного проживания. А возможно, отец и мать сами захотели жить отдельно. В любом случае, тут что-то было связано с мезальянсом, который позволила себе моя мать.

Несколько десятилетий назад в Боженчине повально болели чахоткой. Возможно, потому, что люди вступали в брак и умирали в одной и той же деревушке. В этом убедился задним числом Ян Кендзор, который прибыл в Боженчин издалека и завел там семью. От чахотки умерли его жена, две дочки и два сына. Все — очень молодыми. И сам он скончался от той же болезни. В живых осталась упомянутая мною дочка Янина; сын Казимеж тоже дожил до преклонного возраста. Любопытно: оба работали учителями и оба жили за пределами Боженчина.

Смею утверждать, что брак матери с моим отцом спас ее от чахотки. Ненадолго — на каких-то двадцать лет, проведенных вне Боженчина и,

1. Королевство Галиция и Лодомерия (нынешнее Закарпатье) со столицей Лемберг (Львов) существовало с 1772 по 1918 гг. в составе Австро-Венгрии.

прежде всего, вдали от тирана-отца и мачехи, которая им управляла. Умерла мать сорока двух лет.

Вторым потенциальным кандидатом в наследники моего деда был старший брат матери Юлиан. О его жизни я знаю мало. Сразу добавлю, что кандидат он был строптивый — вообще не желал быть ни кандидатом, ни наследником, но в конце концов все же остался при ферме. Неохотно посещал какие-то курсы и одно время работал у своего отца как лаборант. С ранней молодости много и жадно читал. Для меня осталась тайной его женитьба, похоже не слишком удачная. У него родилась дочка, единственная. В конце концов, уже во время войны, он отстранился от жизни. Выполнял свои обязанности, но не больше. Однажды я зашел к нему по какому-то делу в его комнатушку при ферме. Он лежал на кровати небритый, с двумя подушками под головой, и курил. Рядом — стопка книг и гора окурков. Говорил со мной приветливо, но с отсутствующим видом. У него был туберкулез, но он и не думал лечиться. Мне кажется, прикрываясь чахоткой, он в последний год войны совершал медленное самоубийство.

Я очень любил его приезды в Краков до войны, на Келецкую. Они с мамой, когда ей удавалось освободиться от повседневных домашних обязанностей, разговаривали часами. Оба были людьми во многом необычными. Кроме всего прочего — их связывали книги.

Знакомство матери с моим отцом, завершившееся браком, началось романтично — в результате случайной встречи. Произошло это так. Предприятие Яна Кендзора успешно развивалось. Его масло регулярно доставлялось в Краков. Каждый день ящики отправляли на подводах в Бядолины, примерно в восьми километрах от Боженчина, а оттуда железной дорогой в Краков. Кто-то должен был ежедневно ходить на почту, улаживать транспортные формальности. Это была она. А начальник почты — он. Ей двадцать лет, ему — двадцать три. Он родом из Поромбки Ушевской, деревеньки в предгорье, в шестнадцати километрах к югу от Боженчина, — сын бедного крестьянина. (Вот он — мезальянс, который постоянно портил им жизнь.) Свидетелей уже не осталось, но при их жизни все в один голос утверждали: то была любовь с первого взгляда.

Мой дед, Ян Кендзор, — скопидом, который хотел разбогатеть, используя своих детей. Этому способствовало его эротическое помешательство на второй, весьма мерзкой жене. Догадываюсь, что мать, закончив школу, пыталась вырваться из дома. С помощью дальних родственников она переехала в Познань, жила там в интернате и училась в коммерческом училище и на курсах стенографисток. О том времени вспоминала как о жизни более насыщенной, чем это было возможно в Боженчине. Неожиданные знакомства, компании, кафе, театры... Свои актерские способности, как и чувство юмора, я унаследовал от нее. Из того же периода до сих пор сохранились в памяти песенки 20-х годов. У матери был прекрасный слух, и в годы моего детства, помнится, она охотно пела.

Самым простым выходом для нее было поскорее выйти замуж. Претендентов — более чем достаточно. Мать была красивая. Но в ту пору она об этом не думала. Молодая, полная жизни, с открытым сердцем.

Похоже, что ее возвращение домой, к отцу на ферму, — проявление неизвестно чем вызванного смирения. Прошло много лет. Свидетелей

тех событий — не считая меня — нет в живых. Скорее всего, ее принудил вернуться моральный шантаж со стороны деда, поскольку именно тогда умерла, едва дожив до сорока, его первая жена. Потом дед привел в дом новую супругу. По-видимому, его дочь должна была заменить свою мать во всех домашних делах. Однако она подчинилась первой большой любви и перечеркнула планы деда.

В 1918 году после долгой неволи Польша воскресла, и в Боженчине появилось почтовое отделение. Почта — важное учреждение, и кто-то должен им управлять. Но разве может какой-то молокосос двадцати трех лет от роду обладать необходимым опытом? Или может? Заглянем в биографию отца.

Семья отца

Поромбка Ушевская расположена южнее железнодорожной линии Краков—Тарнув. За железной дорогой местность начинает подниматься, и сама Поромбка лежит уже на взгорье. Деревня тянется вдоль реки, между двумя довольно высокими и крутыми горами — Боченец и Глодув. Усадьба деда находилась к югу от Глодува, и, если смотреть сверху на костел и дом приходского священника у реки, на другом ее берегу можно было разглядеть каждую деталь и фигурки людей.

В небольшой усадьбе под одной соломенной крышей умещались кладовка, стойло для двух коров, кухня, жилая комната, а через сени — парадная комната, с видом на костел внизу. Только в двух последних помещениях — деревянный пол. В других — пол глинобитный. Снаружи усадьба была выкрашена в бледно-голубой цвет, к ней примыкала проселочная дорога, в палисаднике росли цветы.

В своих самых ранних воспоминаниях я вижу деревенскую усадьбу и себя в возрасте около трех лет рядом с бабушкой. Я любил бабушку, был к ней очень привязан. Маленькая, худенькая, вечно озабоченная, неизменно в завязанном под подбородком платочке. Простая женщина — кажется, она даже не умела читать. В воспоминаниях рядом с домом обязательно возникает костел и на его фоне — ксендз и викарий. И неслучайно: дед служил причетником.

Мой дед Игнаций Мрожек и моя бабушка Юлия Мрожек, урожденная Немец, поженились в 1902 году. Мой отец — их первый ребенок. В глубинах памяти сохранилось, что дед служил причетником, но мне говорили, что так было не всегда.

Мрожеки жили в Поромбке Ушевской самое малое со времен Марии Терезы, австрийской императрицы. По крайней мере так следует из рассказов Игнация, который слышал их от своего отца. Когда-то все они были кметами[1]. Приземистые, но очень крепкие, сидели в корчме, мало говорили и пили до потери сознания. Со временем кметы превратились в простых крестьян, разорились и захирели. Несколько лет Иг-

1. Кметы — термин, широко распространенный в Средние века у славянских народов и имевший различные значения. Первоначально кметами назывались, по-видимому, свободные члены общины, племени; в Польше кметы — крестьяне, владевшие землей на правах аренды (часто кмет — синоним зажиточного крестьянина).

наций Мрожек работал в чешских шахтах, затем вернулся в Поромбку и женился. Вот тогда-то приход предложил деду три морга[1] земли под обработку, за что тот обязался служить причетником.

Жизнь причетника тесно связана с костелом. Прежде всего причетник должен печься о святых делах, а уж потом выполнять мирские обязанности. В результате дед работал за двоих, однако за всю жизнь я не слышал от него ни слова жалобы. Он всегда был в хорошем расположении духа. Больше того — я никогда не слышал, чтобы он говорил возбужденно или с раздражением, что было редкостью как в его семье, так и вообще в польской деревне.

Не был он и пьяницей. Под пьянством я подразумеваю привычку глушить себя алкоголем по меньшей мере раз в неделю. Выпить он любил, но это другое дело. Особенно в Рождество, когда поздно возвращался домой после долгого колядования. Все уже спали или притворялись спящими, а он, в белом стихаре, прикрывающем голенища стоптанных сапог, маленький, худенький и лысенький, танцевал в горнице, подпевая себе: "Время танцевать еврею, черт царя уж схоронил". Под царем подразумевался царь Ирод.

Я любил звонить в костеле к Ангелу Господню[2]. Но был слишком мал, и дед сам бил в колокола, а я, ростом еще ниже его, только тянул за веревку.

Мне нравилось ездить вечерами на мельницу в повозке с плетеным кузовом. Дорога вилась близ речки, медлительные коровы постепенно усыпляли меня. Да, коровы, потому что дед — один из самых бедных в деревне — ездил на коровах, а не на лошадях. Зато коров было две.

В этих условиях родились пятеро сыновей и две дочки. Некоторыми из них родители могли гордиться. Анджей, наделенный недюжинной физической силой и не упускавший случая выпить, в будущем остепенился и при поддержке моего отца стал телефонным мастером. Помнится, будучи школьником, я помогал ему с математическими расчетами. Уже когда он вышел на пенсию, оказалось, что ему угрожает инвалидность — прогрессирующая болезнь Бюргера[3]. Тем не менее он ежедневно выпивал четвертинку, прописанную ему врачом. Умер он без обеих ног. Я любил его больше всех.

Казимеж, о котором мало что можно сказать, в молодости перенес воспаление мозговой оболочки, и его считали дурачком. Я не согласен с этим мнением. Казимеж рано познал несовершенство мира. Он беспрестанно трудился, но всегда в стороне от людей. А когда не работал — исчезал, и никто не мог его найти. Уединение было его главной страстью. Он умер, прежде чем наши судьбы пересеклись.

Ян мечтал о городе и тоже ушел в Краков. Кажется, он хотел стать кондитером, но в результате работал на почте мелким служащим в отделе посылок. Красивый, одухотворенный человек, но жизнь его сложи-

1. Морг — земельная мера, равная приблизительно 0,56 га.
2. Католическая молитва (Angelus Domini) во славу Воплощения Сына Божьего и Богоматеринства Девы Марии. Читается трижды в день — утром, в полдень и вечером. В монастырях и храмах чтение этой молитвы зачастую сопровождается колокольным звоном, который также называют Ангел Господень.
3. Воспаление артерий, особенно артерий ног; часто приводит к гангрене и венозному тромбозу.

лась трагически. На почте он запил и умер в семидесятых годах, оставив двоих детей.

Помню, как во время войны он мне пересказывал немые фильмы-вестерны — героя звали Том Микс[1]. Когда Ян расписывал первое появление Тома Микса — белый конь, белая шляпа, белый платок на шее, белая жилетка и белые перчатки, — видно было, что он все бы отдал за эту безукоризненную белизну, за эту детскую мечту.

Младший, Владислав, сразу после войны принял духовный сан. Теперь он уже пенсионер и пребывает на отдыхе в Доме отцов иезуитов.

Анна — самая упорная и настойчивая в своих стремлениях: с детства хотела изучать классическую филологию и стать учительницей. Ценой многих жертв добилась своего. В период коммунизма, когда ей грозила потеря места, она закончила факультет германистики и продолжала учительствовать. Сейчас она на пенсии, ей за восемьдесят.

Хелена всю свою жизнь посвятила братьям и сестрам. Готовила, убирала — до самой смерти.

И наконец — Антоний Мрожек, первенец, мой отец. Родился он в 1903 году, начал с выпаса коров, а после, нанимаясь на работу к соседям, скопил немного денег и, закончив восьмилетку, отправился в Бжешко, что в десяти километрах от Поромбки Ушевской, чтобы продолжить учебу. По-видимому, без согласия родителей. Там он жил в популярном в те времена "пансионе" — снимал койку в многонаселенной квартире для иногородних студентов.

В 1920 году, семнадцати лет от роду, Антоний добровольцем пошел на фронт — воевать с большевиками[2]. У Ленина были далеко идущие планы: пробиться к Германии, где произошла революция, а потом образовать мировую империю. Польша ему мешала.

Отец прошел от Бжешко до Киева и обратно. Семнадцатилетним новобранцем, не успев пройти военную подготовку, он попал в пехоту. Иногда он рассказывал мне о своей войне. Долгие марши, стычки, сражения, часто врукопашную, расстрелы пленных — с обеих сторон — сохранились в его памяти всего лишь как смутный сон. В Бжешко после демобилизации он не вернулся. О том, что с ним происходило после моего рождения, мне почти ничего не известно. Наверняка знаю лишь, что временами ему было очень трудно, и — почти наверняка — он так и не получил аттестата зрелости.

Каким же образом отец стал в Боженчине начальником почты, да еще в таком юном возрасте? Для получения ответственной должности аттестат зрелости непременно требовался примерно с 1930 года — года моего рождения — и вплоть до Второй мировой войны. Остается только одно объяснение: отцу просто повезло, невероятно повезло. Везенье плюс определенные способности. Всю жизнь он был образцовым почтовым работником и успешно продвигался по службе, с перерывом на

1. Том Эдвин Микс (1880–1940) — американский актер, звезда немого кино; снялся в нескольких сотнях фильмов.
2. Имеется в виду советско-польская война — вооруженный конфликт (1919–1921) Польши и Украинской Народной Рады, с одной стороны, и Советской России и Советской Украины, с другой, во время Гражданской войны в России.

оккупацию, до 1950 года. Тогда в Польше все перевернулось с ног на голову, и отца вышвырнули с работы за излишнюю совестливость: он заявил протест, когда обыкновенного ворюгу, которого он сам перед войной поймал на краске, назначили заведующим почтой. Через несколько лет отца на работу все же вернули.

Он не примыкал ни к одной мафии, как это назвали бы сегодня. Не был легионером, не принадлежал ни к Беспартийному блоку сотрудничества с правительством, ни к санации, ни к НРЛ[1], ни к социалистам (упаси боже!) — вообще ни к каким группировкам. Типичный поляк, который на все отвечает "нет". Любил порассуждать за водочкой в дружеском кругу на любую тему, лишь бы не слишком конкретную. Его абсолютная неосведомленность не мешала ему разглагольствовать с неизменным чувством благородного возмущения. Он даже анархистом не был — для этого нужно обладать хоть каким-то мировоззрением.

О некоторых говорят: "душа общества". Так можно было сказать об отце. На людях он умел быть очаровательным и, к моему удивлению, как правило, таким и был. Другое дело — дома, где он чувствовал себя не в своей тарелке. Ему постоянно требовалась публика. Чем больше сужался круг его знакомых, тем острее ощущал он потребность куда-нибудь отправиться и охотнее всего шел в какую-нибудь пивнушку. Там он становился королем жизни. Обожал дни рождения, именины, праздники и вообще все, что позволяло наполнить дом случайными людьми. Такой стиль человеческих отношений был не по душе матери. К концу своей короткой жизни (укороченной еще и годами, проведенными в санатории) она совершенно отстранилась от человека, которого когда-то любила. Но до последней минуты относилась к нему тактично и с пониманием.

Везло отцу и с женщинами. Он был красив, но дело не только в этом. Когда в Боженчине разнесся слух, что на почте появился молодой неженатый начальник, женское население затрясло как в лихорадке. По крайней мере об этом свидетельствуют — правда, в более сдержанных выражениях — письма пани Рогожовой, моей столетней тетушки, да и рассказы других женщин. Когда вскоре стало известно, что уже назначена его свадьба с моей будущей матушкой, все девушки ей завидовали. Кажется, в жизни матери это была последняя приятная весть. Умирая, отец попросил меня, чтобы сообщение о его смерти появилось в газете. Коммунизм уже разваливался, набирала силу "Солидарность". Я назвал отца "участником войны 1920 года"; исполнить его просьбу я сумел благодаря "Тыгоднику повшехному"[2] — другие газеты не поместили бы даже такой осторожный текст. Перед смертью отца что-то мучило, но что — он и сам не мог осознать. Его жизнь с моей матерью длилась недолго, я был слишком мал, чтобы разбираться в таких делах, а после — уже слишком занят собой. Мне кажется, в глазах матери отца спасало — по крайней мере неко-

1. Речь идет о польском легионе под командованием Пилсудского, во время Первой мировой войны сражавшемся на стороне Австро-Венгрии. Санация — обиходное название правящего лагеря сторонников Пилсудского (1926—1939), возникшее в связи с провозглашенным им лозунгом "моральной санации" общественной жизни в Польше. Беспартийный блок сотрудничества с правительством (1928—1935) — главная политическая организация лагеря. Национал-радикальный лагерь (ONR) — польская националистическая антисемитская организация, созданная в 1934 г., инспирирована итальянским фашизмом.
2. "Тыгодник повшехны" — польская еженедельная католическая газета, придерживающаяся либеральных позиций.

торое время — отсутствие цинизма. Была в нем какая-то детскость, простота, в чем он не отдавал себе отчета. Меня его ребячливость не слишком трогала, но я ценю его за порядочность. Ведь он выполнял свои основные обязанности перед детьми и — так или иначе — перед женой. Он любил ее до конца — по-своему, то есть не понимая.

Я очень мало знаю о своем отце. Не потому, что он мало рассказывал, — наоборот, рассказывал он очень много, но на избранные темы. Все остальное он приукрашивал, а выпив, приукрашивал до абсурда. Со временем он достиг в этом совершенства. В конце жизни все ему представлялось сказкой, рассказанной добрыми гномами.

Когда ему было сорок восемь, а мне двадцать один, я расстался с ним на три года. Я все ему простил, в том числе и эти его причуды. Понимал, что с детства его мучил комплекс неполноценности, и он от него так и не избавился. Корни неполноценности уходили в те времена, когда он поселился в Бжешко. Прямо из деревенской халупы отец попал в новые условия. В чем именно новые? Об этом он никогда не рассказывал.

Осень 1939-го (продолжение)

Хмурым, мрачным ноябрьским днем я стоял в саду, когда кто-то пришел и сообщил мне, что вернулся отец.

Вернулся до неузнаваемости изменившимся. В задрипанном пальтишке, небритый, нестриженый и похудевший; в глазах его отражалось одно — поражение. Поражение целого народа, поражение, перевернувшее всю его жизнь. Он напоминал мне дядю Юлиана, который месяцем раньше плакал, слушая радиосообщение из Варшавы. Под знаком этого поражения появился и дядя Казимеж. Призванный в армию как поручик, он участвовал в обороне Варшавы и переодетым вернулся домой. С тех пор поражение читалось на лицах всех мужчин в Польше. Выяснилось, что отец доехал со своим почтовым вагоном до Львова, но после подписания пакта Молотова—Риббентропа[1] и с началом всеобщего хаоса ему пришлось пешком пробираться домой. Подробностей я так никогда и не узнал. В те времена взрослые уделяли детям мало внимания, и дети слушали взрослых украдкой, дополняя потом обрывки услышанного собственным воображением.

Решили, что отец пока не будет раскрываться немцам как почтовый служащий. Останется в Боженчине, подождет развития событий. Англия и Франция тогда уже объявили войну Германии, но оставались "в состоянии готовности". Советский Союз завоевывал и никак не мог завоевать мужественную Финляндию, а остальные ждали, что предпримет Гитлер. Зима обещала быть суровой. Одна из тяжелых военных зим, когда температура опускалась ниже сорока.

Тем временем наша семья съезжалась в Боженчин. Из Иноврoцлава приехала моя тетка с мужем и двумя маленькими детьми. Их вышвырнули из собственного дома в чем были, не дав на сборы и двух часов. Ее муж по

1. Советско-германский договор о ненападении, подписанный 23 августа 1939 г. и открывший двери Второй мировой войне. В договор входил секретный протокол, предусматривавший разграничение сфер взаимных интересов, что позволило Германии и Советскому Союзу почти одновременно вторгнуться в Польшу и фактически поделить ее между собой.

фамилии Фенглер, немец по происхождению, спасался от Рейха, избегая статуса фольксдойча. Вместе нас было уже шестеро взрослых и шестеро детей — если считать меня ребенком — на одну комнату с двумя окнами, двумя кроватями и маленькой кухней. В кухне на ночь раскладывали постель, но теснота все равно была ужасная. Дед с женой занимали другую комнату, отделенную от нашей половины верандой и второй дверью. Отношения между нами были прохладные. Каждую минуту дверь из "той" комнаты открывалась, и на пороге показывалась "жена отца", то есть моего деда. Она проходила через нашу комнату, поднималась по трем ступенькам в кухню, становилась у печи, что-то стряпала, а затем проходила обратно и исчезала за дверью. Готовили у печи совместно, хотя разную еду — для них и для нас. Они ели в своей комнате, куда никого из нас не допускали.

Все пять лет войны, зимой и летом, жена деда ходила в сером вязаном шлеме, заколотом на шее. Маленькая, толстая, с раздутым какой-то болезнью зобом, с водянистыми выпученными глазами. У деда глаза были такие же, но, в отличие от жены, он был высокий. Выходя и возвращаясь по многу раз за день, она бормотала под нос: "Боже-Боже-Боже". Что означало призыв к Богу и просьбу: "Терпения-терпения-терпения". То есть терпения ко всем нам. С той поры я всю жизнь ценю просторные изолированные квартиры.

В том же году зимой, а потом и весной, не имея друзей — ни ровесников, ни старших, — я открыл для себя книги и увлекся чтением. Сначала я перечитал книги, стоявшие на этажерке в проходной комнате между комнатой деда и нашей, а позже — книги, которые нашел на чердаке и в соседнем доме у пани Рогожовой. Особенно запомнились мне два десятка толстых тяжелых томов, изданных в Вене еще до Первой мировой войны, — история мира от самых истоков до войны буров с англичанами в Африке в конце XIX века. Все тома были переплетены в темно-коричневую кожу и, по старинной моде, щедро украшены орнаментом. На уже пожелтевших страницах я обнаружил мелко отпечатанный текст и гравюры, офорты, картины сражений, портреты королей и государственных мужей. В каждом томе были обозначены громкие и давно забытые имена титулованных профессоров, которые некогда эту историю редактировали. Кроме книг, я обнаружил также годовые подшивки католических еженедельников и — главное — свежеоткрытые сокровища: "Огнем и мечом", "Потоп" и "Пан Володыёвский"[1].

На чердаке я натыкался на самые разные книги. Учебники по физике и химии 20-х годов — забытые свидетельства учебы в педагогическом лицее дяди Юлиана, дяди Казимежа и тети Янины. До сих пор помню принципы устройства паровой машины, изложенные в одном из учебников, или способ расчета "свободного падения физического тела". Попадались и романы. Разрозненные тома "Капитана Фракасса"[2], сочинения Анджея Струга[3], еще какая-то фривольная повестушка (перевод с французского) в дешевом издании с иллюстрациями, на нынешний взгляд невинными, а тогда пикантными. И множество других, разбросанных в полном беспорядке.

1. Трилогия лауреата Нобелевской премии Генрика Сенкевича (1846–1916).
2. Приключенческий роман Теофиля Готье.
3. Анджей Струг (Тадеуш Галецкий) (1871–1937) – польский прозаик и публицист, социалист, активный деятель движения за независимость Польши.

Соседний дом, где жила пани Рогожова, принадлежал вдове директора школы. В мансарде в нескольких шкафах помещалась не одна тысяча книг из школьной библиотеки, главным образом для молодежи. После молниеносной победы немцев страну парализовало. Обычно учеба в школах возобновлялась 1 сентября. Но шел уже ноябрь, а школы только начали оживать. Многие вопросы оставались без ответа. Например, какова будет судьба книг на польском языке? Будут ли они подвергнуты цензуре? На всякий случай их держали в шкафах – к моей великой радости.

Я принимался за чтение сразу же по возвращении из школы и читал до сумерек, которые в ноябре начинались около четырех, а при хмурой погоде – и в два. Потом зажигали керосиновую лампу. Я читал, с перерывом на ужин, до самого сна. Читал не под лампой, а поодаль, на краю светового круга. Керосиновая лампа предназначалась женщинам, которые занимались готовкой в кухне, у печи. Рядом со мной толклись шестеро взрослых и пятеро детей в возрасте от года до четырех лет, но я ни на кого не обращал внимания. Благодаря книгам я чувствовал себя владыкой мира. И однажды вдруг ослеп.

До сих пор не знаю, что со мной случилось. В Боженчине мысль о враче, тем более о враче-специалисте, казалась тогда настолько абсурдной, что никому и в голову не приходила. В радиусе шестидесяти километров не было ни одного врача. Я лежал неподвижно, мать меняла мне на глазах компрессы с ромашкой. Так я пролежал несколько дней, и слепота наконец начала постепенно отступать. Пришла весна, мир казался мне уже не таким скверным, и я забыл об этой напасти. Через три года, уже в Кракове, мать заметила, что я плохо вижу. Она пошла со мной в "соцстрах", кажется, на улице Батория. В результате проверки оказалось, что за последние три года зрение у меня ухудшилось – так появились первые в моей жизни очки.

Даже сегодня каждый поляк знает, что лечение по страховке доставляет больше хлопот, чем платное. К тому же шла война. Мать с большим трудом раздобыла для меня очки – конечно, еще довоенные: в роговой оправе, круглые и топорные. Других просто не было. Война длилась еще три года, но даже после войны с приходом социализма "временные трудности" в Польше затянулись очень надолго. Я рос, а очки по-прежнему сохраняли детский размер. Потом оправа сломалась, и я склеил ее гансопластырем (таких немецко-польских словечек ходило в те годы немало). Нормальные очки появились у меня, когда мне уже стукнуло двадцать один и я стал более везучим. Пишу об этом, чтобы напомнить, как трудно – порой на грани нищеты – мы тогда жили.

Со страхом ждали мы Гитлера, и Гитлер нас "не разочаровал". 10 мая он напал на Францию и разнес ее в течение двух месяцев. Первые несколько дней мы еще жили надеждой, но потом стали приходить все более мрачные известия – и Франция капитулировала. Это было особенно грустно, поскольку из европейских стран только Франция оказала сопротивление Германии, а теперь все закончилось. Англию не очень-то принимали в расчет. Россия поддерживала с Германией дружеские отношения, Америка пока оставалась нейтральной. Война затягивалась, и нужно было что-то предпринять. Решили, что мы все четверо снова по-

едем в Камень. На решение, несомненно, повлияла теснота в Боженчине. Она стала уже невыносимой. Однако, размышляя об этом сегодня, я нахожу тут определенную логику, действующую неумолимо, независимо от войн и других внешних обстоятельств. Достаточно было двух человек, чтобы эта логика победила.

Только в Камене, имея возможность сравнивать, я понял, насколько ненормальной была наша ситуация в Боженчине, хотя оба домовладельца носили одну фамилию: Людвик и Ян Кендзор, племянник и дядя. Старому Кендзору — под шестьдесят, молодому — тридцать восемь. Старого Кендзора односельчане ненавидели, молодого — уважали. У старого Кендзора вторая жена — чудовище, а молодой держал гарем хорошеньких служанок и, кроме того, был связан с красивой женщиной, своей ровесницей, умной и образованной, которая жила рядом с ним постоянно, в одном из двух домов усадьбы. Старый Кендзор — скупердяй, молодой — щедрый и великодушный. Отношения между обитателями обоих домов тоже складывались по-разному. У старого Кендзора единственной спутницей жизни оставалась вторая жена. Его не любили мужики, которые у него работали. В доме молодого Кендзора все было совершенно иначе. Ксендз, чей костел находился несколько выше усадьбы, а плебания[1] — совсем близко, не реже чем раз в день заходил сюда поболтать. Тут он заставал немецкого офицера, артиллериста, в мирной жизни — шахматиста, любившего после службы посидеть с дядей Людвиком за доской. Неписаный закон запрещал любые политические дискуссии, и ксендз, тоже шахматист, всячески сдерживал дядю. Приходили и лесники. У дяди до войны во втором доме было два шкафа охотничьего оружия, которое он вынужден был сдать оккупантам, о чем все знали. До войны он охотился в лесах графа Тарновского, согласно договору об аренде. Не знаю, о чем эти лесники с ним разговаривали, поскольку каждый раз, когда они приходили, меня отправляли на улицу играть на свежем воздухе. Приходили мастеровые с лесопилки и с мельницы обсудить практические вопросы. Приходили не связанные со службой знакомые, иногда из самого Жешува, чтобы просто поболтать. И, наконец, в дом у пруда приходили девушки. <...>

Так же, как и мой отец, дядя Людвик в 1920 году отправился на войну, но попал в плен. Легенда гласит, что он, вместе с группой пленных, в рамках народного просвещения посещал курсы марксизма. Неизвестно, проникся ли дядя Людвик учением Карла Маркса, но известно, что по возвращении в Польшу он учинил следующее.

В отсутствие дяди Людвика у его матери появился "жених". Уже на первую встречу сына с матерью вместе с ней пришел и кандидат в мужья. Происходило это в ресторане. Как только прозвучали слова о женитьбе, дядя Людвик поднял кружку и разбил ее о голову жениха. Следует добавить, что дяде Людвику было тогда семнадцать лет. Жених исчез навсегда, а сын остался с матерью. Вскоре он открыл дело и стал тем, кем хотел стать.

В 2004 году, разглядывая семейные реликвии, я нашел старую — в сепии — фотографию, на которой были запечатлены Юлиан, Зофья (моя будущая мать), Людвик и неизвестная мне женщина. Все стоят в пальто

1. Дом приходского священника.

перед домом. Снимок этот особенный. На старинных фотографиях все обычно старательно позируют и смотрят в одну точку. Этот же снимок, напротив, запечатлел всех в движении, и взгляды их направлены в разные стороны. Зофья, на других снимках серьезная, даже грустная, здесь — счастливо улыбается. Людвик, наоборот, серьезен и задумчив. Снимок сделан раньше, чем мать познакомилась с моим отцом.

Это дало мне повод для размышлений. Я не знал, что двоюродных брата и сестру так давно что-то связывало.

В Камень мы приехали осенью 1940 года. Я пошел в школу, в четвертый класс. Моей сестре Лидке исполнилось пять лет, она еще не училась. В школе я подружился с сыном директорши, Лёлеком Баранским и (в какой-то степени, принимая во внимание разницу в возрасте) с его старшим братом. Жили мы неподалеку друг от друга, так что часто встречались и после уроков. Обучение в школе, разумеется, было совместное.

В Камене отец чувствовал себя не лучшим образом. Уже год, как он не работал на почте. Ждали, что война вот-вот окончится, но она не кончалась. К почте отец относился как к делу своей жизни, но время шло — это лишало его уверенности. Вероятно, его терзало вынужденное бездействие и однообразие.

Я сделался религиозным. Может быть, это этап созревания? Но для созревания было слишком рано. Я оставался очень инфантильным. А может, это ксендз-законоучитель как следует взялся за нас и перестарался с покаянием в грехах? Он был очень требовательным — достаточно вспомнить о миллионах молитв, прочитанных в покаяние. И слишком скрупулезным в выискивании грехов — на самом деле, как я теперь понимаю, весьма невинных. Мы уже ходили к исповеди, уже изведали адские муки совести, независимо от того, были мы виноваты или нет. Помню обещания, что "это в последний раз" — когда соврал, не выполнил, забыл... Добросовестно пройденная школа неврастении.

Читал я много. В основном, книги для молодежи, которые брал в школе — почти исключительно польские, отечественные. Очень редко попадались переводные. Например, "Макбет" — книга, которая попала ко мне неведомо откуда в плачевном состоянии, без обложки, с вырванными там и сям страницами. Ничего не зная о Шекспире, я увидел в этой трагедии что-то неизведанное и невероятно интересное. Что-то, внезапно пробудившее мою фантазию. Но, в основном, тексты были привычные и добропорядочные, и тогда мне это очень нравилось. На полке стояли также экземпляры "Трилогии" Сенкевича, из чего я сделал вывод, что "Трилогия" имеется везде.

Весна в Камене и окрестностях началась с концентрации немецких войск. Мы еще не знали, что Гитлер готовит наступление на восток. В дом на прудах заявился отряд пехоты в полном снаряжении. Чужие, жесткие, непонятные слова звучали с раннего утра до ночи. До того я впервые увидел немца в Радлуве, неподалеку от Боженчина, в ноябре минувшего года. Не помню, кто меня туда с собой взял. Тот немец стоял мирно — обыкновенный, полноватый, в пилотке и светло-зеленом мундире, и единственным его оружием был штык, спрятанный в ножны. Но эти — очень молодые, рослые, натренированные и вооруженные. И проникнутые сознанием своей священной миссии и мистического

предназначения. Удавалось им это легко – в 1941 году все у них получалось без труда и никакие сомнения их не мучили.

Военные были повсюду. Во дворе офицеры в боевых касках муштровали солдат с ручными пулеметами, штурмуя наш ни в чем не повинный дом. Легкая артиллерия на рассвете выезжала в поле, чтобы в течение дня отрабатывать там стрельбу по мишеням. Подтянулись также танки и стояли теперь рядом с Каменем, замаскированные ветками. А мы, мальчишки, из кожи вон лезли, чтобы все это разглядеть.

Утром 22 июня 1941 года нас разбудили далекие пушки. Вскоре они замолкли, из чего мы сделали вывод, что фронт отдаляется. Еще несколько дней мы ближе к вечеру отправлялись на прогулку в восточном направлении, но, как и прежде, царила тишина. Фронт отдалился окончательно.

Что происходило дальше, я, к сожалению, не помню, кроме того, что мы снова уехали из Каменя, а поздней осенью 1941 года я остался один в Поромбке Ушевской. И меня охватил панический страх, что мать и отец уже никогда больше не будут вместе.

Помню, я навестил мать в доме дяди Людвика, куда она переехала. Впечатление от этого засело во мне крепче, чем от других событий, которых тоже вполне хватало. Но больше всего помнится мое отчаянное, невысказанное желание: "Вернись к отцу". Остальное было не важно. Из этого следует, что главное для ребенка в такой ситуации – ощущение внезапной незащищенности. По крайней мере для ребенка одиннадцати лет, потому что именно столько мне тогда было. И ощущение, что меня предали – ведь мать в ту пору была счастлива.

Я не помню, что́ моя мать решила. А возможно, никогда и не знал, ведь о таких вещах – для ребенка, быть может, важнейших – говорить в то время было не принято. Сегодня я могу лишь строить догадки.

По нынешним понятиям развод – дело простейшее. Но тогда в Польше, во время войны, в нашей социальной среде, развод был недопустим. Разумеется, развод церковный, а гражданский был равнозначен церковному. К тому же связь между родственниками считалась скандальной.

"Раздельное проживание"? Мать, я в этом уверен, по-своему любила мужа и еще больше – детей. О каком раздельном проживании, в таком случае, могла идти речь?

Ясно одно. Мои заклинания, даже невысказанные, не могли остаться не услышанными матерью, отзывчивой на любые чувства, которые я к ней испытывал, может, о том и не ведая. Так что до сих пор задумываюсь: не я ли помешал родителям развестись?

Отец вернулся в Краков на почту, мать и сестра поехали с ним, а меня отправили в Поромбку Ушевскую. Мать до конца своей короткой жизни – ей оставалось едва восемь лет – больше не видела дядю Людвика.

1942 год в Поромбке Ушевской

Школу – уже третью с начала войны – я воспринял равнодушно. И смирился с судьбой "одинокого интеллигента", хотя сам себя таковым не считал. В третий раз перебирал листья клена, дуба и липы, старательно зарисовывал их в тетради и подписывал: "Славомир Мрожек – 5 класс". В начале каждого учебного года первым заданием было рисование листьев.

На чердаке я снова обнаружил книги. На этот раз – религиозно-исторические: трудно назвать журналы вроде "Рыцеж Непокаляней"[1] изданиями чисто религиозными. К счастью, в доме было несколько сельскохозяйственных календарей, а у соседа я нашел переплетенные подшивки журнала, названия которого уже не помню. Кажется, это был "Варшавский курьер" 70-х годов XIX столетия.

Раньше я жил в Поромбке летом, а теперь уже стояла зима. Обильный снег выпал к Рождеству, а перед этим хватил трескучий мороз. Из-за недостатка дров в "парадной зале" царил вечный холод, а из-за отсутствия керосина керосиновую лампу заменили гораздо худшей – карбидной. К тому же нам объявили, что по причине суровой зимы школа будет закрыта впредь до новых распоряжений. На хозяйстве остались старики, Хеля, Казимеж, дядя Ясек и я. Весь день в постоянном полумраке неизменно шел снег, потом быстро темнело, и уже ничего не было видно. Только лай невидимых собак разносился по околице. По-прежнему соблюдалось затемнение. Карбидка светила кошмарным мертвенным светом и зачастую, злобно пошипев несколько секунд, внезапно гасла. Читать в таких условиях я не мог, даже с моим якобы уже хорошим зрением. Единственное, что мне оставалось, это закутаться на кухне в ворох старой одежды и предаваться мечтам. Воображение у меня тогда было безграничное. Корова за стеной время от времени чесалась, картошка под кроватью лежала спокойно, а я всей душой отдавался, например, музыке. И до сей поры не знаю, стоили чего-нибудь мои музыкальные фантазии или нет. Думаю, не стоили, но праздничное ощущение сохранилось.

Потом стало еще хуже. Крепнущие морозы при отсутствии топлива добрались и до кухни. Наша жизнь сконцентрировалась в одной комнате. Я круглосуточно не вылезал из постели. Развлечение у меня осталось одно – дышать на оконное стекло, пока не появится часть овина, навозная яма и собачья конура, из которой пес никогда не выходил, а также непрекращающийся снег. Как только я переставал дышать, окно зарастало фантастическими узорами. Выхода уже не предвиделось, и я решил действовать.

Я разработал далеко идущий план. У дяди Ясека во время войны не было постоянной работы. Он стал заниматься "торговлей" – это давало ему свободу выбора и передвижения. Кое-как дотянул до конца войны и отправился на Воссоединенные земли[2] – за добычей. Привез оттуда пару коньков, арфу и раскладушку. Это был его ответ на вопрос тети Хели: "Чем ты, собственно, занимаешься?"

А в 1942 году у него на "складе" лежало несколько пар новых туфель, которые он надеялся выгодно продать. Увы, покупатель не появлялся. Дядя Ясек находился в Поромбке, а потенциальные покупатели – на краковском рынке. В Краков, однако, дядя Ясек не ехал из-за суровой зимы. Он решил подождать, пока кончится зима и наступит весна. Мой же стратегический план заключался в том, чтобы дядя Ясек отправился в Краков сейчас, немедленно, и взял бы меня с собой.

1. "Рыцарь Приснодевы" – католический общественно-религиозный ежемесячник (1922–1956).
2. Воссоединенные земли – появившийся после Второй мировой войны термин, определивший западные и северные территории современной Польши, которые согласно решению Потсдамской конференции перешли под польскую юрисдикцию.

Я хотел вернуться в Краков неожиданно, без предупреждения. Потому мне и нужен был дядя Ясек. Совсем не одно и то же — вернуться самому или с кем-то. Тук-тук в дверь: "Кто там?" — "Я!", или: "Кто там?" — "Дядя Ясек, привез сюрприз". В Кракове я не был уже два с половиной года, и мое внезапное появление без сопровождающих могло поразить и рассердить мать, не говоря уж об отце. А я хотел остаться в Кракове, остаться навсегда. К тому же путешествие было далеко не безопасным. Мне едва исполнилось двенадцать — такой путь мальчик может проделать в мирное время, но не во время войны. Следовало выйти глубокой ночью, чтобы до рассвета успеть добраться до Стерковца, маленькой железнодорожной станции на линии Тарнув—Краков. Сомнительность затеи усугублялась тем, что для начала нужно было как-то выскользнуть из дома. Потом три часа топать по снегу, бездорожью, в безлюдной местности, в темноте — в любой момент можно наткнуться бог знает на какого татя в ночи. Лучше, если в путь отправятся два человека. Ну, скажем, полтора, если считать меня половинкой.

Поезда в основном перевозили солдат и военнопленных в немецкие концлагеря — обычные пассажирские были переполнены, особенно на коротких перегонах. Большинство пассажиров составляли торговцы, то есть простые женщины. На каждой станции, на каждом полустанке их поджидали жандармы и — в особых, более важных случаях — гестапо. И на станциях, и в поезде, на ходу, беспрерывно проверяли документы. Нужно ли уточнять, что за спекуляцию можно было поплатиться жизнью? Дядя Ясек как старший родственник должен был меня опекать. И — после некоторого нажима с моей стороны — он согласился меня сопровождать. <...>

Возвращение в Краков

Мать встретила меня с радостью. Радость, впрочем, была обоюдной и так велика, что не оставила места колебаниям. Отца решительно убедили, что я остаюсь с ними, — дальнейшие дискуссии отпали сами собой. Если за этим и крылись еще какие-то "взрослые" проблемы, то я о них не знал.

Два с половиной года я не видел Келецкую улицу, и возвращение домой пошло мне на пользу. Я оценил это годом позже, когда, согласно очередному немецкому распоряжению, нам пришлось в течение нескольких дней убраться из Оседля. Но пока что я попал в старые стены, в свой дом.

Я отыскал школу, которую уже нельзя было назвать провинциальной. Социальный состав учеников отражал все то, что произошло в Польше. В школе учились уроженцы Львова, которых после недолгой российской оккупации судьба забросила в Краков. Попадались как мальчики из семей с довоенными традициями, так и босяки, за три года немецкой оккупации прекрасно приспособившиеся к новой действительности.

Поменялся и преподавательский состав. Многие старые учителя исчезли, а те, для кого учительство оставалось единственным заработком, бедствовали.

Эта очередная моя школа находилась далеко от дома, в тогдашнем предместье Гжегожки. Путь лежал вдоль линии австрийских фортов, когда-то опоясывавших город. Школьное здание стояло в ряду загородных домов на улице Жулкевского. Частично замощенная улица пролегала сре-

ди мастерских, складов и садово-огородных участков. На "диких полях" немцы упражнялись в стрельбе. В разрушенных фортах ютились семьи. Мужчины группками сидели неподалеку, пили, играли в карты. Мы старались держаться подальше — приближаться к ним было небезопасно.

Занятия в школе шли с утра до позднего вечера. Не помню, чтобы наш класс приходил раньше чем в два часа дня. Зимой сразу зажигали лампочки — при обязательном тогда затемнении это производило гнетущее впечатление. Желтые, тусклые, голые лампочки и сгущающаяся темнота угнетают меня и теперь.

Я рос. Первые признаки взросления проявились в моих отношениях со школой. Сложилось мнение, что как на спортсмена и футболиста на меня рассчитывать нельзя, зато я вызывал интерес в "бандитских" компаниях. Это обеспечивало мне почтение или, по меньшей мере, уважение одноклассников: "Его лучше не трогать". Бандиты нуждались в "интеллигенте", а "интеллигент" нуждался в бандитах. Предполагалось, что таким образом составляется слитная смешанная группа. Я пишу "предполагалось", потому что в силу своего воспитания был в то время невинным как дитя, а "бандиты" заведомо ошибались во мне. На этой почве у меня возникало много лишних проблем, но в принципе такой расклад меня устраивал. Выбирать не приходилось.

Мать читала книги при любой возможности. Не раз после длинного дня, заполненного разнообразными хлопотами, она читала допоздна, вызывая упреки отца, который считал любовь к книгам фанаберией. Сам он не прочитал ни одной.

Раз в неделю, чаще всего в субботу, мы ходили в библиотеку. До войны она пользовалась огромной популярностью, и немецкий аппарат террора не в состоянии был изъять все книги. Мы привыкли брать от шести до восьми книжек каждую неделю. Именно тогда мать заметила, что я плохо вижу, и купила мне очки.

В апреле 1943 года обнаружились могилы в Катыни[1]. Конечно, мы верили, что палачи — немцы. Так нам хотелось в то время думать — по крайней мере, живущим в центральной Польше. Те, кто жил на востоке, лучше знали нашего второго соседа. Однако это событие потрясло меня по причине, не имеющей ничего общего с загадочными причинами гибели пятнадцати тысяч мужчин в расцвете лет[2]. В Поромбке Ушевской меня с детства кормили рассказами о всяких ужасах. Можно было подумать, что тамошние мои родственники получали удовольствие, пугая детей. Я платил за их удовольствие лихорадкой, ночными страхами и бессонницей. Пока не подрос — потребовалось несколько лет, чтобы забыть картины разлагающихся тел и прочие кошмары.

Постоянно не хватало продуктов. С тем временем можно сравнить только сорок с лишним лет "коммунизма". Каждую субботу мы с отцом

1. Катынский расстрел — массовый расстрел польских военнопленных в Катынском лесу (Смоленская область) во время Второй мировой войны. Долгое время утверждалось, что это сделали нацисты в 1941 г. Как свидетельствуют обнаруженные в 1992 г. документы, расстрелы производились по решению особой тройки НКВД СССР в соответствии с постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 г. Это подтверждено Главной военной прокуратурой РФ, констатировавшей вынесение тройкой НКВД смертных приговоров 14 542 польским военнопленным.

2. Расстрелы польских офицеров производились тогда и в других местах. Кроме 15 тысяч в Катыни, всего сотрудниками НКВД в апреле–мае 1940 г. было расстреляно 21 857 офицеров. Советское правительство признало свое "авторство" только в 1989 г.

отправлялись в деревню, чтобы в воскресенье к вечеру вернуться домой с новыми запасами. Задача наша облегчалась тем, что две семьи, в Боженчине и Поромбке Ушевской, как могли, старались нам помочь. Мы воздерживались от комментариев, только вздыхали. Обычно вставали ранним утром, а зимой — до рассвета. Благодаря почтовым знакомствам отца нам были обеспечены в поезде стоячие места. Пока ехали туда, в голове множились опасения — одно страшней другого, — связанные с обратной дорогой. Что, если немцы, устроив оцепление, не дадут нам выйти из поезда? Вдруг будут проверять багаж? Арестуют, посадят в тюрьму, вывезут в Освенцим?

Благополучно высаживаясь в Стерковце или Бядолинах, я испытывал облегчение, которое продолжалось двадцать четыре часа. Иногда его нарушали тревоги иного рода. До Боженчина нужно было шагать два часа без единого привала. До Поромбки Ушевской — не меньше, только в другую сторону. Но на подступах к Поромбке, примерно в километре от цели, стоял кабак. Я заранее знал, что произойдет. Помявшись, отец говорил мне: "Ну, мы уже дома. Я тут улажу кое-что в магазине, а ты иди. Если спросят, скажи: скоро приду". И приходил — на другой день.

Июнь 1943-го. Я перешел в следующий класс. Пришло письмо от тети Нюси с приглашением в Жмигруд. Ее муж Юлиуш получил там работу на молокозаводе. Мы с мамой и сестрой поехали туда, а отец, как всегда, остался в Кракове, на почте. Поезд двигался на юго-восток, по долинам и лесистым холмам. В Ясле нас ждала пролетка, и остаток пути мы проделали на лошадях.

В Боженчине и даже в Поромбке присутствие старейшин семьи — деда и бабки — немного сковывало меня. В Жмигруде были только мама и тетя Нюся, дядя Юлиуш почти не в счет — он уходил утром и возвращался к вечеру. Были еще дети. Но даже в маленькой квартире — всего лишь комната и кухня — у меня возникало ощущение простора и свободы. Я завел знакомство с соседским мальчиком и внимательно читал "Адлер" — откуда этот журнал взялся, не помню, — хотя и не знал немецкого. И вообще впервые за два месяца каникул я расслабился, перевел дух и даже испытывал радость.

После возвращения с каникул начались проблемы. Мы получили приказ в кратчайший срок покинуть дом на Келецкой, 28, и переехать в Подгуже. О выселениях, в том числе из Оседля, мы уже слышали и раньше, но до последней минуты тешили себя надеждой, что нас это, может быть, не коснется. Увы, коснулось.

Подгуже

В Подгуже мы переезжали в спешке, хмурым ноябрьским днем. Все наши пожитки были свалены в кучу как попало, возчик сидел сверху, лошадь еле тянула, а мы с матерью шагали рядом. Начало смеркаться. Напоминаю: происходило это во время войны, когда действовал (с 1 сентября 1939 года и до 8 мая 1945-го) комендантский час. Это означало, что во всем городе с сумерек до самого рассвета не мог блеснуть ни один огонек — при малейшем нарушении стреляли по окнам без предупреждения. Нам не

разрешили предварительно осмотреть новое место жительства, только дали адрес, и мы приближались к цели с растущим беспокойством.

Мы уже знали, что все евреи там уничтожены, и мысль о том, что нам предстоит поселиться в месте, еще не остывшем от прежних его обитателей, рождало в нас суеверный страх[1].

<...>

Над Подгуже постоянно носился трупный запах. Расположенный сразу за Вислой, окруженный холмами, с большой рыночной площадью и несколькими улочками, до войны убогий пролетарский этот пригород как нельзя лучше отвечал планам Гитлера. Еврейский квартал Казимеж находился по соседству, хотя и на другом берегу. Достаточно было выселить всех из Подгуже и переместить туда евреев, чтобы появилось временное гетто, жители которого будут обречены на уничтожение в концлагере.

На Келецкой евреев не было. В то время все — и особенно дети — жили больше жизнью своего района, а не города. Вот одно из двух воспоминаний, оставшихся у меня от предвоенных лет, — года не помню, но в школу я еще не ходил. Дело было летом. Я шел с матерью по Плянтам, от Главпочтамта к Вавелю[2]. На скамейках сидели мужчины, многие — бородатые. Женщин не помню. Мужчины говорили между собой на незнакомом мне языке. Меня поразило, что они были одеты в черное.

Второе воспоминание — более позднее. Мы ехали автобусом из Жешува в Камень на последние перед войной каникулы и минут на пять остановились в местечке Соколув. Там почти никто не выходил. За окнами стояла толпа детей — не помню, чтобы я видел таких детей даже в предвоенной Польше. Все босые, с заскорузлыми от грязи подошвами, в потрепанной одежке, но зато на каждом — шапка, пусть даже самая жалкая. Они разглядывали автобус и все молчали. Тогда я уже знал, что это евреи. Пассажиры громко их обсуждали, высказываясь весьма неодобрительно.

Эти отрывочные воспоминания связывает одно — ощущение взаимной отчужденности.

Над квартирой, куда нас поселили, находился чердак. Соседей не было. На чердак попадали через люки в потолке. Однажды я помогал матери развешивать там белье. Было темно, я держал в свободной руке свечу. И вдруг заметил в песке маленькую фотографию, снятую знаменитым "кодаком". На ней крупным планом был изображен молодой мужчина с семитскими чертами, в мундире Войска польского. Снимок явно довоенный. Больше на чердаке я ничего не обнаружил — как и всю квартиру, его успела тщательно вычистить команда из Baudienst[3].

Кто и почему оставил эту фотографию? Может, запечатленный на ней человек привез ее из Казимежа и намеренно оставил в Подгуже перед самой экзекуцией? На этот вопрос я так и не получил ответа. <...>

1. В 1941–1943 гг. на территории Подгуже находилось еврейское гетто. После ликвидации гетто большинство его обитателей погибли в газовых камерах Освенцима. В этом же районе Шиндлер организовал свою знаменитую фабрику.
2. Плянты — парковое кольцо в Кракове, окружающее Старый город. Возникло на месте древних городских стен, снесенных по решению австрийских властей в 1810–1814 гг. (после раздела эта часть Польши перешла к Австрии). Вавель — королевский замок в Кракове, существует с XI в.
3. Строительная служба (*нем.*) — одна из форм принудительных работ на территории оккупированной Польши.

В июне кончилась школа. Надо было решать, что делать дальше. В условиях Третьего рейха в моем распоряжении были следующие профучилища: торговое – двухлетние курсы для продавцов и химическое, выпускающее лаборантов с начальными знаниями для химической промышленности.

И это все. По окончании семилетки мне предстояло пополнить ряды трудящихся поляков, получать раз в месяц натуроплату водкой, продовольственный паек и необходимый запас наличных на курево в купюрах Генерал-губернаторства[1]. Тем временем приходили все более волнующие вести. На Восточном фронте бои шли уже в границах довоенной Польши, на Западном – войска союзников прочно укрепились в Нормандии и через Ла-Манш прибывали все новые подкрепления, а разгромленные люфтваффе прекратили свое существование. Отец принес с почты тревожное известие: в гестапо поступили доносы и надо ожидать арестов. В считаные дни мы собрались, заперли квартиру и уехали в Боженчин.

Снова Боженчин

Я не был в Боженчине два года. Теперь тут стало небезопасно. Рота немецкой жандармерии завладела так называемым Католическим домом – двухэтажным зданием с театральным залом, в котором прихожане представляли благочестивый репертуар. Католический дом соседствовал с дедовским, и теперь не стоило близко к нему подходить. Только издалека и украдкой я посматривал на двух украинок, привезенных жандармами. Бабы хоть куда, держались вместе, стирали, штопали и говорили на незнакомом языке.

Движение войск через Боженчин не прекращалось. Однажды прибыла автоколонна вермахта и разместилась в деревне. У сестер Залесных, двух старых дев, остановилась молодая женщина с очень светлыми волосами, высоким валиком уложенными надо лбом и волнами спускающимися по бокам. Откуда-то прослышали, что она артистка. Говорила она только по-немецки.

Вскоре у сестер Залесных стал появляться офицер; вместе с актрисой они уходили через садовую калитку в неизвестном направлении. Наблюдать их возвращение я не мог, так как ложился спать раньше. Разнесся слух, что актриса со своей труппой открывают Fronttheater[2]. Репетиции проходили в театральном зале Католического дома.

Взобравшись на грушу, а с груши на ограду, я через окно увидел рукав немецкого мундира, который двигался в такт исполняемой на виолончели мелодии: "Ich habe meine liebe Musik, Musik, Musik"[3]. Когда же показался профиль артистки, я испытал неописуемое счастье – увы, не-

1. Административно-территориальное образование на территории оккупированной нацистской Германией Польши (1939–1945) со столицей Краков. Губернатор Г. Франк был казнен по приговору Нюрнбергского суда. На территории Генерал-губернаторства действовало законодательство Германии, однако большинство его жителей не имели статуса граждан Германии и во многом были ограничены в правах. Целью режима была полная германизация территории и геноцид поляков и польских евреев; нацисты не пытались создать марионеточное польское правительство, вся администрация носила чисто немецкий характер.
2. Фронтовой театр (*нем.*).
3. "У меня есть моя дорогая музыка, музыка, музыка" (*нем.*).

долгое. Следует добавить, что шел 1943 год, а я с 1939-го не слышал ни одной ноты, поскольку слушать музыку было строго запрещено.

Красная Армия наступала на всех фронтах, и в любой момент мы ждали окончательного освобождения. В то время — в период с июля до конца августа 1944 года — мы были уверены, что "окончательное" освобождение придет с Запада. Великая наивность. Наши знания о Западе были минимальны. До тех пор, пока в Варшаве не началось восстание[1]. Шестьдесят с лишним дней и ночей, до полного его разгрома, стали для нас ускоренным курсом обучения на тему "Что такое Запад"[2].

Но все это мы узнали значительно позже. А тогда, в том памятном июле, нарастающая угроза лишь слегка отравляла удивительно радостное настроение.

Из Кракова доходили известия о том, что немцы каждый день на заре сгоняют жителей строить укрепления для защиты Третьего рейха. Под страхом смерти в работах принимали участие тысячи людей, однако в душе все уже праздновали неминуемый крах этого самого Третьего рейха. Приходили также вести с востока. По слухам, какие-то две бабы перешли Вислу близ Баранува и своими глазами видели советских солдат, даже покупали у них махорку. Дед Кендзор вызвал к себе моего отца и долго с ним что-то обговаривал. Отец позвал меня, и мы вдвоем начали копать яму под верандой. Копали несколько дней, пока не скрылись под землей, и я начал догадываться, что мы готовим подземное убежище. Оно было хорошо продумано — со стороны выглядело невинно и ничуть не походило на укрытие. Потом мы с отцом изнутри укрепили его досками, но на этом этапе мне было приказано отправиться в противоположный конец сада и вырыть там обыкновенный стрелковый окоп. Выполняя это задание, я наткнулся на свинью, закопанную год назад. Я вспомнил одну из бессонных ночей после вскрытия могил в Катыни в апреле 1943 года, и мне стало дурно. Так что я уже не видел, как дед Кендзор потихоньку отнес в убежище отрезы на костюмы, тюбиков сто крема для обуви "Эрдаль" и еще множество всякой всячины, которая должна была обеспечить им с женой безбедное существование после войны и до скончания века.

В чудесных свойствах убежища я убедился через месяц. Однажды ночью в окно постучал Филек, по прозвищу Колбасник, шепотом сообщил, что "хватают", и исчез в темноте. Семья, собравшись, постановила, что я спрячусь в убежище, существование которого ни для кого уже не было тайной. Полуодетый, я спустился в укрытие, и надо мной захлопнулся люк. Там до самого рассвета я любовался тюбиками "Эрдаля". Отец же исчез вместе с Филеком. Мне уже шел пятнадцатый год, я был худой, но высокий. Немецкие жандармы легко могли принять меня за взрослого. Известие о том, что "хватают", означало, что опасаться следует прежде всего немцев, но "хватать" могли, кроме них, и украинские или русские банды, состояв-

1. Вооруженное выступление в Варшаве (1 августа 1944 г.), направленное против немецких оккупантов и организованное подпольной Армией Крайовой, подчинявшейся польскому правительству в изгнании в Лондоне. Восстание длилось 63 дня и закончилось 2 октября капитуляцией повстанцев. В ходе Варшавского восстания погибли 10 тыс. повстанцев, 7 тыс. пропали без вести; погибло около 150 тыс. гражданского населения; значительные потери понесли и немцы. Варшавское восстание — одно из самых трагических событий Второй мировой войны и вызывает многочисленные споры историков.

2. Во время Варшавского восстания ни западные союзники, ни Советская Армия, стоявшая у стен Варшавы, не оказали повстанцам помощи, о которой просило командование Армии Крайовой.

шие из беглых пленных, либо наши родимые польские грабители. Утром оказалось, что никто не "хватает", хотя могло статься, что и "хватали" бы.

Как бы там ни было, та ночь в погребе все же нагнала на меня страху. Я дал зарок (теперь понимаю свою наивность): "Больше никогда не буду делать того-то и того-то, пусть только провидение позволит мне благополучно дождаться утра". Потом я об этом забыл.

Тем временем началось Варшавское восстание. Его завершение имело для всех — в том числе и для нас — серьезные политические и психологические последствия. Повстанцы начали борьбу в людном городе, а закончили в обезлюдевших руинах, среди пепелищ и трупов. Беженцы из Варшавы добирались даже до Боженчина. Я знаю об этом, поскольку был немым свидетелем того, как у нас в кухне мыла голову — впервые после Восстания — молоденькая девушка из Варшавы. Она мне очень понравилась. Немка из Фронтового театра мгновенно уступила ей место.

На Рождество немцы, которых мы уже — слишком поспешно — сочли побежденными, внезапно перешли в наступление в Арденнах, на границе Франции и Германии. К счастью, наступление быстро захлебнулось, но подпортило наше радужное настроение. Мы еще долго надеялись, что американцы перепрыгнут через всю Германию и, войдя в Польшу, спасут нас от Советского Союза. Между тем Красная Армия на юге от нас продвигалась вперед. Во фронтовых сводках можно было прочитать о тяжелых позиционных боях в районе Дукли[1], тогда как на севере вплоть до устья Вислы царила мертвая тишина.

В праздники неопределенность сохранялась. Северный фронт стоял неподвижно, но через Боженчин беспрерывным потоком шли войска и беженцы всякого рода. Сестры Залесные избавились от немки из Фронтового театра, и теперь у них были новые постояльцы, с востока: молодой лесничий с женой и ее братом. Последний был старше меня, но мы подружились. Мне очень нравилось его произношение — я впервые услышал акцент, характерный для жителей кресов[2]. Однако больше всего мне нравилась его сестра — с такой же напевной речью, но к тому же очень красивая. Слушая ее брата, я думал о ней. До сих пор, когда временами возвращаются давно забытые ощущения, я чувствую ее потрясающе свежий запах. Мои чувства, увы, были платоническими, но немка из Фронтового театра и полька из Варшавы померкли.

Я тогда не знал, что советские власти, захватывающие все новые территории Польши, особенно жестоко преследуют некоторые категории поляков — в частности, лесничих. Иначе я бы понимал, что трое моих друзей хотели убежать от этих властей как можно дальше. Надеюсь, им это удалось. Я вообще не знал, что в восточных районах поляки относились к строю, названному впоследствии самым прогрессивным, гораздо более скептически, чем в центральной Польше. Поэтому все, кто мог, бежали с востока на запад, а кто не мог, оставался на месте, не ожидая ничего хорошего. Раньше я никогда не покидал пределов цент-

1. Городок на южной границе Польши.
2. Кресы — пограничные области (*польск.*). Первоначально так называли границу между Польшей и татарской Ордой, впоследствии — восточные рубежи Речи Посполитой; в период между Первой и Второй мировыми войнами — всю территорию к востоку от линии Керзона, оккупированную в 1939 г. Красной Армией (в 1945 г. включенную в состав Украинской, Белорусской и Литовской республик).

ральной Польши, где на коммунистический строй смотрели хоть и с неприязнью, но умеренной. Это обстоятельство чуть позже сыграло в моей жизни роль более важную, чем я мог бы предположить.

Немецкая армия присутствовала в деревне постоянно, только сменялись части и рода войск. Немецкие газеты загадочно писали о новых видах оружия. Оружие одного из этих видов находилось у нас под боком, на заброшенном кирпичном заводе. Военные отрабатывали там управление противотанковыми фаустпатронами[1], которые были срочно приняты на вооружение. Другие новинки оставались засекреченными, на них только намекали, пока они не появились в небе над Лондоном как фау-1 и фау-2[2], о чем триумфально трубила немецкая пропаганда. Но для нас это означало лишь начало конца Германии.

В те дни произошел случай, который произвел на меня большое впечатление. Я сидел у окна и смотрел в сад, уже опавший и печальный. Ограда под прямым углом сворачивала влево в том месте, где несколько месяцев назад я вырыл стрелковый окоп. Вдруг с правой стороны я увидел мужчину в одной рубахе — он перемахнул через забор и побежал по диагонали налево, по-видимому с намерением повторно преодолеть препятствие в том же спринтерском темпе. Но прежде чем он успел подтянуться на руках, появились два жандарма и бросились вдогонку. Они оказались быстрее. В мгновение ока догнали его и стали избивать, он лишь заслонял голову руками. Продолжалось это долго; наконец жандармы поставили парня, уже обмякшего, на ноги и, подхватив под руки, повели обратно к забору. Перебросили его через ограду и исчезли вслед за ним. Вся сцена, как в немом кино, происходила в глухой тишине, поскольку рамы были двойные, а сад находился от дома на порядочном расстоянии.

Во время этой сцены я испытывал одновременно ненависть и унижение, в самом натуральном виде. Я все видел и ничего не мог предпринять. Более того! Я должен был прятаться, чтобы жандармы меня не заметили. Первый (и пока что единственный) раз я почувствовал, как ненависть, не получая выхода, перерождается в физическое состояние. Лишая способности мыслить, она требовала немедленных действий, в то время как никакие действия, пока я прятался, были невозможны. <...>

После происшествия в саду семейный совет решил, что я буду спать на чердаке. Меня долго еще считали ребенком, го́лоса в таких совещаниях я не имел и вынужден был подчиниться. Таким образом меня хотели хитроумно укрыть от внимания жандармов, и никто не подумал, что у тех хватало более важных проблем. На просторном чердаке со множеством укромных уголков, в разбросанной соломе я каждую минуту натыкался на скрытые сюрпризы, и в том числе — на книги. Кровати там не было, только пара тюфяков и гора перин. А также старомодные "бунды"[3] — тяжелые добротные накидки из толстого войлока. Зимой их набрасывали на верхнюю одежду во время долгих поездок в пролетке.

1. Фаустпатрон (панцерфауст) — ручной противотанковый гранатомет одноразового использования, примитивное оружие, созданное, чтобы быстро компенсировать практическое отсутствие противотанкового оружия в немецкой армии в конце Второй мировой войны.
2. "Оружие возмездия", применявшееся Германией в конце Второй мировой войны: фау-1 — крылатая ракета, фау-2 — баллистическая ракета.
3. Бурка (*польск., местное*).

Я устроился на чердаке. Вскоре температура упала до минус двадцати и под крышей стало очень холодно. Всячески показывая взрослым, что мне там в самый раз, я соорудил себе из перин логово и на ночь натягивал на голову вязаный шлем. Вся хитрость заключалась в том, чтобы перелезть из дневной одежды в ночную рубаху в рекордный срок. Потом уже можно было расслабиться, знобить начинало только через минуту. Изо рта шел пар, но это меня не волновало. Зато какие на чердаке открывались возможности! С чердака — не то что из тесных комнат — были четко слышны все звуки в радиусе нескольких километров. Лай собак, паровозные гудки, неслышные днем, всякие таинственные отголоски, начинавшие доходить до моих ушей только после захода солнца. Теперь к этим отзвукам добавилась война. Одинокий стрекочущий "кукурузник" мог часами кружить над нашими головами. Самолеты, чей монотонный гул доносился с большой высоты, двигались в темноте с запада на восток. И наконец, в январе 1945 года я услышал далекую, но ясно различимую канонаду. Меня мгновенно охватил восторг — этого сигнала мы ждали много месяцев.

Началось немецкое отступление. Через Боженчин шагали потрепанные отряды; ночевали у нас и на рассвете отправлялись дальше, на запад. Разные немцы появлялись в доме моего деда. Одного из них помню до сих пор. Он стоял на пороге кухни, статный, высокий, широкоплечий. В ту ночь шел дождь со снегом и капли стекали по его резиновому офицерскому плащу. На приглашение дяди Фенглера, который в таких случаях служил переводчиком, войти в дом ответил вежливым отказом. Он хотел только набрать горячей воды в котелок, который держал в руке. Его просьба на чужом языке, как и тон, совершенно неожиданные в захваченной им стране, на фоне немецкой грубости прозвучали очень непривычно. Я сообразил, что этот немец — необычный. Я был неопытным четырнадцатилетним подростком, но не мог не заметить разительного отличия между его поведением и тем, к чему приучили нас оккупанты.

В другой раз появился русский — власовец в немецком мундире. Он пришел около десяти вечера, когда в доме уже готовились ко сну. Обе мамы, то есть тетя Янина и моя мать, мыли в тазу обоих братишек и мою младшую сестру, когда пожаловал он, внеся с собой легкий запах алкоголя. Церемонно вежливый, расположился, однако, как у себя дома. Помня о Варшавском восстании, мы встретили его не слишком дружелюбно. Но он без умолку болтал по-русски. Дядя Фенглер и отец малость выпили для куражу — а что оставалось делать в такой ситуации? Тем более, оба не говорили по-русски, как и я. Я только понимал по отдельным польским словам, жестам и чисто инстинктивно, что власовец ненавидит коммунистов за то зло, которое Сталин причинил крестьянству. Сам он служил у немцев в обозе. Открыл нам великую тайну: в России у него спрятано зерно, и, вернувшись, он это зерно достанет и посеет. Насчет последнего у меня возникло сомнение, поскольку русский уже опьянел. И неизвестно, чем бы закончился его рассказ, если бы не постучали в окно. Власовец мгновенно протрезвел, встал, подошел к окну и обменялся несколькими словами с невидимым собеседником. Потом попрощался с нами — так же церемонно — и ушел. Обоз получил приказ выступать, и больше я его никогда не видел.

Не покидали Боженчин только жандармы, поселившиеся в Католическом доме. Они оставались — как символ тысячелетнего Рейха. Другие

отряды беспрерывно двигались на запад. Среди прочих прибыли саперы и задержались подольше. Не нужно было быть специалистом, чтобы понять почему. Через Боженчин протекает река Ушвица. Летом она мелеет. Зимой набухает. Была как раз середина зимы, и река могла стать препятствием для армии. Саперы ждали приказа. <...>

Тем временем события все быстрее сменяли одно другое. Мы пережили "бреющий полет над немецкими позициями". "Немецкими позициями" был, по-видимому, глупый или неопытный солдат, который выбежал из хаты с автоматом, спрятался в кустах у реки и дал короткую очередь в небо. Это заметил пилот, самолет — кажется, "кукурузник" — снизился и обстрелял нападавшего. Потом летал туда-сюда минут пятнадцать, обстреливая и наш дом, стоявший у самой реки. Когда он налетел первый раз, все попáдали на пол, укрываясь от пуль. Потом оказалось, что это лишнее: разброс был слишком большой. Одну пулю я нашел на чердаке в поленнице, другую — в наружной стене фермы.

Пережили мы также налет на Тарнув. Боженчин не так уж и близко от Тарнува, но это было ночью, и зрелище произвело на меня сильное впечатление. Мы стояли у дома и смотрели на широкий горизонт. В небо взмывали под разными углами цветные ракеты, над ними беспрерывно скрещивались лучи прожекторов, не утихали взрывы и зенитная канонада. Создавалось впечатление, будто наблюдаешь фейерверк для гостей, приглашенных торжественно отметить национальный праздник. Тем более что нам это ничего не стоило. Однако фронт неотвратимо приближался, и мы наконец решили перебраться в убежище.

Укрытия, убежища, погреба — это целая глава в истории Второй мировой войны. Они могли быть очень разными, но происходило в них всегда одно и то же. Как ни отличались бы друг от друга люди, прятавшиеся в укрытии, они уравнивались после первой же ночи. Вот мой дед, человек почтенный, с положением, в возрасте, — бессильно скорчился на кошме. Вот сестры Залесные, ничем не хуже и не лучше Яна Кендзора, — такие же беспомощные, как он. И его жена, и тетя Янка с двумя детьми, дядя Фенглер, мой отец, молодая женщина со своим молодым мужем, ее юный брат и я.

Для убежища выбрали самый глубокий погреб на молочной ферме. Но в нем было слишком тесно — все, кого я перечислил, едва там помещались. И так холодно, что не усидеть без пальто и шапки. Жена Яна Кендзора и сестры Залесные тут же затянули молитву к Деве Марии, а я, слушая их, думал о том, что лучше внезапная смерть, чем эти причитания. Мужчины выходили во двор покурить и, подчиняясь мужскому любопытству, пытались разузнать, где сейчас немцы, а где русские. Вести доходили противоречивые. Одни утверждали, что русские подбираются к кладбищу, а другие — что это немцы зашли в тыл русским. И так мы сидели до полуночи в полной неопределенности, как вдруг раздался оглушительный грохот, слышный даже в погребе. Это немцы взорвали мост на реке — а потом исчезли.

На следующий день в Боженчине не было ни немцев, ни русских. Только к полудню сообщили, что тут и там появляется конная разведка, но, несмотря на огромное желание, увидеть мне никого не удалось. Первым советским человеком, которого я встретил, был офицер в шинели

песочного цвета и фуражке с голубым околышем. У рынка рядом с зеленым джипом водитель, окруженный толпой зевак, раздавал листовки. Лицо у офицера было на удивление семитским — что казалось особенно странным после немецкой оккупации, поскольку германская армия была на сто процентов Judenfrei[1] (как выражались спесивые немцы), — и на удивление (как сказали бы через пару лет) западным.

Почти одновременно по северо-восточной дороге в Боженчин вступил полк пехоты. Это была та самая дорога, по которой осенью 1939 года отступала польская армия. Солдаты снова шли мимо дома Рогожа, только на запад. Они были довольно хорошо, хотя и по-разному, вооружены. Ручные пулеметы Токарева и устаревшие "максимы" на колесах, с бронированным щитком для защиты лежащего пехотинца. Современные ППШ вперемежку с винтовками образца Первой мировой войны. Много джипов и тяжелых студебеккеров из американских поставок. Тяжелая артиллерия, минометы и легкие противотанковые орудия — также новейших моделей.

Мы с отцом решили разыскать: он — свою жену, я — свою мать, которая незадолго до того почему-то отправилась в Поромбку. Никаких вестей оттуда не приходило — после ухода немцев страна превратилась в пустыню без всяких средств связи. Мы решили идти в Поромбку пешком. Путешествие неожиданно оказалось долгим и опасным.

Мы встали перед рассветом и вышли из дома очень рано, в восемь, поскольку хотели добраться до Поромбки засветло. Больше всего опасались бандитов. Успеть можно было, если весь путь проделать за шесть часов, включая и короткий отдых. К счастью, на безукоризненно чистом небе взошло яркое солнце, снег искрился, по схваченной морозом дороге идти было легко.

Сразу же за поворотом мы увидели Католический дом. Часть окон, несмотря на мороз, открыта. Во дворе снег вытоптан, затвердевшие на морозе следы шин скрещиваются в разных направлениях. Кругом рассыпана солома и валяются какие-то котелки и ящики.

Сразу же за кладбищем дорога была пуста. Слева на горизонте чернела едва заметная линия лесов. Позади исчезал из виду Боженчин и таяла на глазах башня костела. Перед нами лежала Бельча — пока еще на порядочном расстоянии. Дорога на Бельчу проходила через лесок, правда редкий, но все же заслоняющий вид вокруг. К примеру, если бы кто-нибудь притаился за елью... Я следовал за отцом с большой опаской, а о чем думал отец, мне уже никогда не узнать.

Потом мы снова вышли на простор. В таких ситуациях пустынная равнина приносит облегчение. Пусто нам показалось и в Бельче. Хотя... вот, кажется, в окне мелькнуло чье-то лицо. Может, кто-то прячется внутри? Осторожно, оглядываясь по сторонам, мы прошли через Бельчу.

Добрались до железной дороги. Поезда еще не ходили, и мы пошли дальше. Снова лес, на этот раз густой, сосновый, с подлеском. Дорога начала подниматься. Вдруг из-за деревьев донесся птичий щебет. Это показалось нам подозрительным. Ведь зимой птицы улетают. Мы остановились.

— Слышал? — спросил отец.

1. Свободная от евреев (*нем.*).

— Слышал.

Наступила тишина. Потом щебет повторился, на этот раз справа.

— Что будем делать? — В голосе отца слышалась неуверенность.

— Может, это не птица? — Мне хотелось усилить его неуверенность и повернуть домой, но отец уже принял решение:

— Пойдем.

Мы пошли, готовые к тому, что вот-вот услышим щебет в третий раз, слева или справа, а потом из леса выйдут двое и преградят нам путь. Но время шло, а птицы как-то помалкивали. Лес начал снижаться. По шоссе в сторону Кракова двигались с довольно большими равными интервалами одинаковые, маленькие, словно игрушечные, автомобильчики.

— Перекур, — с облегчением сказал отец.

Мы сели. Отец достал стеклянный мундштучок, переломил сигарету, одну половинку спрятал в карман, другую вставил в мундштук и с наслаждением закурил.

— Пленные, — с удовлетворением сказал он, глядя на колонну машин. Колонна тянулась беспрерывно, но все же кончилась. Отец встал, посмотрел на небо, подождал с минуту.

— Могут нагрянуть самолеты, — сказал он.

Потом закинул рюкзак на спину и бегом пустился через шоссе. Я за ним. Отец в кювет, и я за ним. Отец в гору, и я за ним. Отдохнули только на противоположном склоне.

— Получилось, — сказал отец.

Дальше дорога петляла и незаметно, но неуклонно спускалась вниз. Мы прошли четыре или пять километров. Начало смеркаться — медленно, пока солнце совсем не ушло за холмы. Река внизу была скована льдом. Наконец-то мы приближались к Поромбке.

— Что это? — спросил отец, глядя вниз, налево, на снежное поле. То, о чем он спрашивал, в сумерках уже едва можно было различить.

Мы свернули с дороги и стали спускаться. Приблизившись, увидели воронку, совсем свежую. В воздухе еще стоял резкий запах тротила. Растерзанная земля, влажная и бурая, резко выделялась на снежном поле. Казалось, взорвалась какая-то чужая планета.

— Пойдем быстрее, — сказал отец.

Когда мы приблизились к усадьбе, уже совсем стемнело, но мы не заметили вокруг ни одного огонька. Война продолжалась и требовала затемнения. Когда мы открыли дверь, на нас хлынула волна тепла и света от керосиновой лампы. В комнате мы увидели маму. Она рассказала, что днем прилетал русский самолет и ни с того ни с сего сбросил бомбу. Только одну. Ту самую, воронку от которой мы видели по дороге.

Никогда потом нам с отцом не удавалось достичь такой близости. <...>

Отец и сын в поисках жены и матери в вышеописанных декорациях — почти классический сюжет. В нем можно выделить много побочных линий. Например: моя мать прожила после этого только четыре года, и случайный самолет, сбросивший единственную бомбу, мог оказаться предвестником ее скорой смерти. Либо: я постепенно взрослел, и мать отступала на второй план. Либо: война закончилась и с ней закончилась тесная связь трех персонажей. Редко, однако, в моей жизни будущее подавало мне знак в таком театральном виде.

Конец войны

Война закончилась. И что же дальше? С 1 сентября 1939 года и — как позже оказалось — до 8 мая 1945 года, то есть дня окончательного завершения войны, наша жизнь протекала словно во сне. Необходимо проснуться, сбросить с себя этот кошмар и жить дальше — такую потребность испытывал буквально каждый поляк. Взрыв радости, неистового подъема, безудержных фантазий и безграничного счастья продолжался несколько месяцев, пока реальность не заставила поляков опомниться. Жизнь как сон — подобные теории хорошо развивать в философии, и то лишь в разделе "индивидуум". Но в обычной жизни им не место, и если такое случится, то — через определенное время — закончится смертью. <...>

Мы вернулись в Краков. С одобрения родных я записался в гимназию. Я тянулся к учебе, что было естественно, но, кроме того, боялся задохнуться, если не обзаведусь знакомыми и друзьями. Гимназия открывала новые возможности. У матери на этот счет сомнений не было, отцу же какой-никакой опыт на почте говорил, что образование окупается. Особенно его привлекала карьера юриста, врача или хотя бы инженера.

Школьное дело находилось в стадии организации, как и вся Польша. Не помню, чтобы выбор гимназии-лицея имени Бартоломея Новодворского был продиктован ее "древним" происхождением. Скорее всего, мать слышала, что это лучшая из краковских гимназий и что она "с традициями". Туда меня и записали.

Экзамен прошел очень быстро. Война еще продолжалась, но ни у меня, ни у школы не было лишнего времени. На то, что я делал между июнем 1944-го и февралем 1945 года, просто махнули рукой. Меня приняли сразу во второй класс. Но я-то знал, что в тот период ходил на тайные "курсы" — так называлось подпольное обучение во время немецкой оккупации, — поэтому совесть моя была чиста. В доме деда скрывался кузен Фенглеров — бывший курсант военного училища пан Казик. Сдав на аттестат зрелости перед самой войной, он, не закончив училища, пошел в армию, бежал из плена и всю войну прятался. С год назад тайком пробрался в Боженчин из Великой Польши[1] и работал на молочной ферме. Пан Казик занимался со мной по нескольким предметам, в том числе английским. Он играл на губной гармонике, подрабатывал как фотограф и успел соблазнить массу девиц. Очень красивый, высокий, с великолепной белокурой шевелюрой, пан Казик был моим кумиром.

Итак, гимназия имени Новодворского стала моей школой. Но уроки проходили в гимназии Собеского, поскольку в здании нашей гимназии еще совсем недавно располагались казармы. Пока что его приводили в нормальное состояние. В первой половине мая, в разгар весны, я шел по улице Собеского. Одно из окон, выходящих на улицу, распахнулось, и оттуда донеслась звучавшая по радио песня Эдит Пиаф "La vie en rose"[2]. На

1. Регион в западной части Польши, в IX–X вв. — племенная территория полян. Первоначально называлась Полония, после присоединения к Польше новых территорий установилось название Большая Польша (в отличие от Малой Польши). Историческая столица края — Познань.
2. "Жизнь в розовом цвете" (*франц.*).

меня нахлынули те же чувства, о каких я писал выше: радость незабываемых минут.

К тому времени я еще ни разу не был в театре. В довоенной Польше он для меня оставался недоступным — не только из-за стоимости билетов, хотя и поэтому тоже. В театр ходили лишь представители определенной — "высокой" — общественной прослойки. Правду сказать, еще и из снобизма. Позже, во время войны, полякам ходить в театр запрещалось: был такой приказ от АК[1]. Теперь пришло время первой в моей жизни премьеры. Краковский театр имени Юлиуша Словацкого, во время войны nur für Deutsche[2], поставил первый послевоенный спектакль — "Свадьбу" Выспянского, — предназначенный, в частности, и для старшеклассников. Я посмотрел этот спектакль и под впечатлением долго ходил как в горячке. С тех пор театр сделался частью моей жизни. И в конце концов стал моей профессией.

После пятилетнего перерыва мы словно заново открыли для себя кино. Во время войны немецкая пропаганда вынуждала смотреть только подцензурные немецкие фильмы. Идиотские оперетки qui pro quo[3] с третьеразрядными актерами или, наоборот, антисемитские "душераздирающие драмы", такие, как "Еврей Зюсс"[4]. Да еще кинохронику, тоже прошедшую цензуру, с репортажами о победах немецкого оружия на всех фронтах. Теперь мы открыли кино американское, английское, французское, шведское, итальянское, чехословацкое, польское, советское, а также и немецкое — но до 1933 года, то есть до прихода Гитлера к власти. Это были фильмы, сделанные в период с 20-х годов вплоть до 1948 года, когда коммунистическая цензура стала вездесущей. Мы с моим другом Янушем Смульским дошли до того, что заключали пари: кто больше посмотрит фильмов. В кино ходили во второй половине дня, после уроков, по два и даже по три раза в день. Завели тетрадки, разграфили их по рубрикам, для каждого фильма составляли подробнейшую статистику, соревновались в подсчете деталей. Мы мечтали о кинорежиссуре, я даже проник в секретариат свежеиспеченного Управления по делам кинематографии, чтобы разведать насчет приема в киношколу. Думаю, я тогда еще носил короткие штаны.

Зачастив в кино, мы, сами того не понимая, с опозданием на пять лет знакомились с миром. Мы уже были на пути к одичанию, и подмога подоспела вовремя. К сожалению, длилось это всего три года. Тем, кто успел в эти годы вдохнуть побольше воздуха, повезло, поскольку потом все пошло по-прежнему. Можно сказать и так: началось радикальное ограничение личной свободы, чем на сей раз мы были обязаны коммунизму.

К длинному списку уронов, нанесенных мне немецкой оккупацией, следует добавить еще один, может быть, и не самый важный, но весьма чувствительный: пять лет я был лишен газет. Мой врожденный интерес к ним проявился, едва я научился читать. Единственной доступной мне газетой был "Гонец Краковски", издаваемый хотя и на польском языке,

1. Армия Крайова.
2. Только для немцев (*нем.*).
3. Букв.: одно вместо другого (*лат.*) — путаница, неразбериха.
4. Фильм "Еврей Зюсс" был снят в 1940 г. немецким режиссером Файтом Харланом по одноименному историческому роману Лиона Фейхтвангера (1918); любопытно, что сам роман назвать "антисемитским" никак нельзя.

но абсолютно в духе немецкой пропаганды. Наука читать — и писать — между строк пригодилась мне потом в моих отношениях с коммунистической цензурой, вплоть до эмиграции. Можно сказать, мне приходилось заниматься этим примерно двадцать лет. Впрочем, как и всему моему поколению — с той разницей, что не все могли эмигрировать.

Но на протяжении тех трех лет я наслаждался обилием газет и журналов. Ну, не таким уж обилием, ибо негласная цензура существовала с самого начала, пока не проявилась открыто во всем своем великолепии. Однако после немецкой оккупации проблем и вопросов накопилось такое множество, что хватило на три года. Оболванивание началось позже и продолжалось почти сорок лет.

8 мая 1945 года Германия капитулировала. Начало и конец войны определили границы самого важного для меня периода. Но от остальной моей жизни эти годы отличались не качеством, а лишь тотальными трудностями. То, что происходило тогда, уже никогда не повторялось.

В Польше война продолжалась дольше, чем везде: 5 лет 8 месяцев и 8 дней.

Жизнь после войны

День 3 мая 1946 года совпал с выходным, но никакой демонстрации не планировалось[1]. Студенческая молодежь организовала ее по собственному почину. На демонстрантов я наткнулся возле Рыночной площади, у филармонии.

Провозглашались лозунги. Но какие? С тех пор прошло много лет. Говоря обобщенно — антигосударственные. Атмосфера накалялась. В какой-то момент я вдруг очутился в толпе.

Признáюсь, я тоже что-то провозглашал. Как и отец, я не принадлежал ни к одной политической группировке. Моя "политика" носила абстрактно-польский характер — в верхах явно нарастали пророссийские тенденции, и мы старались этому помешать. Поэтому я выкрикивал что-то, ратуя за создание правительства, которое могло бы эти тенденции ограничить, например: "Миколайчика, Миколайчика!" — это имя знала вся страна. Позже, когда дело приняло вполне ожидаемый оборот, Миколайчик бежал на Запад и умер в эмиграции[2].

Вдруг началась стрельба — по густой толпе палили из окон второго этажа углового многоэтажного здания Воеводского комитета ПРП[3]. Запальчивые выкрики мгновенно умолкли — поднялась паника. Видимо, еще не пришло время решительной схватки, как в Познани в 1956 году[4] — тогда

1. Конституция 3 мая, официально именовавшаяся "Правительственным законом от 3 мая", — конституция Речи Посполитой, принятая Чрезвычайным сеймом 3 мая 1791 г. В 1918 г. после воссоединения Польши День Конституции 3 мая был провозглашен официальным праздником. Правительство Польской Народной Республики не приветствовало этот праздник, но патриотически настроенные поляки продолжали его отмечать, хотя и неофициально. В 1990 г. он был возрожден и объявлен государственным праздником.
2. Станислав Миколайчик (1901–1966) — государственный и политический деятель; вице-премьер (1940–1943), затем премьер-министр (1943–1944) польского правительства в изгнании.
3. Польская рабочая партия — наследница довоенной Польской коммунистической партии.
4. "Познанский Июнь" (Познанское восстание) 1956 г. — первое из нескольких крупных выступлений польского народа против коммунистического правительства.

подобный поворот событий разъярил толпу и спровоцировал ее на насильственный захват Комитета. В Кракове в тот день люди разбежались, вслепую ища спасения. Перебежав Рынок, я втиснулся в подворотню на другой стороне площади. Кто-то запер за нами ворота.

С Рынка слышался топот бегущих, возбужденные голоса преследователей. Наконец все стихло, и мы начали совещаться; но люди собрались совершенно случайные, поэтому совещание получилось сумбурным и кратким. Осторожно выглядывая наружу, мы по очереди выходили на Рынок. Все разошлись в разные стороны.

Я долго петлял, проверяя, не следят ли за мной, прежде чем добрался до нашей улицы. Вся семья была дома, и я с облегчением рассказал обо всем, что видел. Отец решительно одобрил мое поведение и заявил, что гордится мной. Мать спрашивала, не пострадал ли я, а сестра была слишком мала, чтобы о чем-то спрашивать. Судя по этому воспоминанию, в 1946 году я еще прислушивался к мнению отца. Так продолжалось до окончания школы, а потом, с 1950 года, все изменилось.

Болезнь матери

Я уже учился в первом классе лицея. Однажды ночью меня разбудил яркий свет, резкий и безжалостный. Не понимая, что происходит, я с трудом возвращался в реальность. Возле кровати, наклонившись надо мной, стоял отец, полностью одетый. Это он разбудил меня.

— Мама заболела, — сказал он.

Но еще прежде чем он это произнес, я заметил в лице отца разительную перемену. Голос тоже изменился: впервые в нем звучала растерянность.

— У нее кровотечение. Я вызвал "скорую".

Я посмотрел на будильник — была глубокая ночь.

Я почувствовал: надо встать, что-то делать, за что-то взяться, но все еще не понимал, что происходит.

— Она уже в больнице.

Только тогда я понял. Однако еще не все, не до конца. Да, с матерью такое случилось впервые, и я не знал, как долго это продлится. Потому что заболела она знаменитой боженчинской чахоткой. От этой болезни умерли многие в нашей семье, и благодаря рассказам матери и дяди Юлиана я имел о ней довольно полное представление. Но одни умерли, а другие оставались здоровыми, и считалось, что мою мать болезнь минует.

Порядок в нашем доме нарушился. Полбеды, если бы это продолжалось несколько дней. Но шли недели, мать не возвращалась. А потом уехала в санаторий в Закопане. Я с трудом приспосабливался к новым условиям. Отсутствие матери ощущалось даже в простейших вещах. Например, исчезли бутерброды с крутым яйцом, которые каждое утро в полвосьмого я брал с собой в школу на второй завтрак. Отец и сестра тоже переживали отсутствие матери, каждый по-своему. В нашем доме появились так называемые домработницы, но они часто менялись. Впрочем, отцу они быстро надоели, и он стал питаться бог знает где; мы с сестрой были предоставлены самим себе. Одно время к нам приходила вдова довоенного полицейского, скромная женщина. Она уже не ждала

от жизни ничего хорошего и была полной противоположностью всем другим горе-стряпухам, более молодым и ожидающим, что вот-вот на них свалятся с неба несметные богатства с Голливудом в придачу. Помню, например, одну толстую бабу, которая беспрерывно повторяла "а-чть-я-зато-могу" и так же беспрерывно спала, хотя приходила только в дневное время. В общем, за исключением вдовы, все домработницы стряпали отвратительно, и часто я сам готовил себе блюдо под названием "свиная тушенка", то есть хлеб со смальцем, либо "кашанку"[1]. <...>

Однако не только такие мелочи, как готовка и уборка, мучили меня теперь. Главное – в другом. Мать единственная относилась ко мне с теплотой, что в нашем кругу не было принято. Увы, незатейливые выражения и вульгарная лексика среди крестьян были в порядке вещей. Я знаю, что говорю, поскольку сам происхожу из класса, который с натяжкой можно назвать средним, а частично – из крестьян. Но от матери я никогда не слышал невежливого или брошенного с раздражением слова, а тем более грубости. В моем окружении она единственная принадлежала – по своей природе – к сферам, которые некогда без всякой иронии называли высшими, хотя на самом деле к ним не принадлежала.

В наших беседах проявлялось также ее особое обаяние, утонченность и даже мягкий юмор – если бы слово "юмор" не было обесценено нынешней вульгаризацией понятий. В нормальной обстановке, не требующей серьезного разговора, мы с ней придерживались шутливого тона, который был недоступен никому, кроме нас.

Одним словом, я был всего лишь подросток, внезапно потерявший мать.

В школе дела у меня шли все хуже, но призрак выпускных экзаменов уже маячил на горизонте. <...>

До 1948 года в Польше еще действовала сложившаяся в межвоенном двадцатилетии[2] система школьного образования. Учителя наши, как и мы, пережили оккупацию, учебники тоже были довоенные. На торжестве в конце учебного года школьный хор исполнял ту же "Богородицу", что и триста лет назад.

Теперь веками установленные традиции начали меняться. Сначала нам сменили директора. Его место занял член новой партии, человек грубый, известный "новыми" взглядами, – и стал устанавливать новые порядки. Прежде всего нас начали агитировать, чтобы мы вступали в Союз польской молодежи, созданный по указке сверху в том же 1948 году. Со временем это помпезно названное объединение превратилось во всеобщую организацию с убогой идеологической начинкой. Принадлежность к ней оказалась еще одной добавкой к комплекту заявлений, автобиографий и справок, которые стали кошмаром моей коммунистической юности. Союз польской молодежи считался ступенью для вступления в ПОРП[3].

В глазах директора наш последний, выпускной, класс был слишком "буржуазным", чтобы нас можно было радикально переделать. Школе

1. Колбаса, начиненная кровью, требухой и кашей.
2. Имеется в виду период между 1918 и 1939 гг., когда Польша – после многих разделов – существовала как целостное суверенное государство.
3. Польская объединенная рабочая партия, обновленная ПРП.

пока еще недоставало "новой" программы обучения, новых учебников, а нам — "прогрессивного мышления". Поэтому на нас махнули рукой и решили допустить к выпускным экзаменам, а потом уж заняться новыми — во всех смыслах — учениками. Вожделенные учебники (притом одинаковые для всей Польши) уже готовились к печати, а передовому мышлению еще только предстояло расцвести. При содействии Управления безопасности. <...>

Учился я все хуже. Часто линял с уроков. Все равно куда. Лишь бы не идти в школу. Вместо того чтобы вставать около восьми утра, я долго спал, а потом читал, не вылезая из постели. Зимой смеркалось рано. Время шло, и от голода у меня начинало сосать под ложечкой, что странным образом доставляло мне какое-то извращенное наслаждение. Продолжая лежать, я заключал сам с собой пари: сколько я еще выдержу. По-видимому, дома не было никакой еды, иначе я встал бы и приготовил себе хотя бы бутерброд. Неухоженность, запущенность квартиры способствовала моей лености. Чем хуже — тем лучше.

В школе я тоже вел себя странно. Нашего учителя биологии мы все дружно не любили. Он вечно строил гримасы, демонстрируя свое безмерное отвращение к нам, ученикам. Сейчас я его понимаю, но тогда, как и все, не любил. В начале урока он обычно открывал классный журнал и после садистски долгого размышления, во время которого в классе нарастало напряжение, в конце концов называл имя ученика, которого хотел спросить. Однажды он вызвал меня. Я встал и уже собрался перечислить органы зверушек, которых мы прорабатывали на прошлых уроках, но взглянул на его лицо — и меня вдруг охватило жгучее желание избавиться от "всего этого". То есть не только от зверушек и физиономии учителя, но и от школы, от Кракова, от Польши. Мне захотелось оказаться где-нибудь невероятно далеко — так далеко, что просто... нигде. Это "нигде" малость меня успокоило. Но, чтобы с чего-то начать, я решил избавиться от лицезрения учителя и отвернулся. Здание бывшей гимназии Новодворского находилось напротив Вавеля, а занимались мы в тот день на третьем этаже. Я перевел взгляд на крыши Вавельского холма и вдруг заметил на одной из них словно бы маленький костерок. Зимнее утро было, как всегда в Кракове в такую пору, похоже на сумерки, к тому же все тонуло в однообразной серости тумана. Но огонь был живым, как... скажем, как сердце. Разумеется, объяснялось это очень просто. Рабочие ремонтировали крыши Вавеля, частично разбирая их до стропил, а так как было холодно, они разожгли костер. Но для меня самое существенное то, что я помню этот случай с восемнадцати лет.

Так вот, я смотрел вдаль, и биолог напрасно ждал моего ответа. А мне вдруг стало решительно на все наплевать, чему я страшно обрадовался. Желчные шутки учителя в мой адрес я пропускал мимо ушей, они интересовали меня не больше, чем муравей под микроскопом. Учитель, видя мое равнодушие, оставил меня в покое и разрешил сесть. Я сел, целиком поглощенный своим открытием. Оно пригодилось мне четырнадцать лет спустя, когда я уехал из Польши. А открыл я тогда, что никакая сила не может меня переубедить, если я на что-то решился.

История с биологом повторялась неоднократно, пока наконец не превратилась в рутину. В начале урока учитель вызывал меня, я подни-

мался, биолог задавал мне вопрос о зверушке, а я, глядя на него, упорно молчал. Одноклассники заранее предвкушали этот спектакль, но потом он и им наскучил. Пришла весна, и об этой истории постепенно забыли. Не забыли только я и биолог. Должен признаться — на выпускном экзамене он все же поразил меня: поставил мне "удовлетворительно", позволив перешагнуть этот порог. За что я ему очень благодарен.

Мать в то время была в санатории. Ей сделали пневмоторакс, и не похоже было, что она вернется домой в ближайшее время. Я навестил ее в Закопане. Она встретила меня тепло, но казалась чуть отстраненной. Может быть, потому что впервые находилась в необычной ситуации, то есть среди чужих?

По мере приближения выпускных экзаменов одноклассники заранее выбирали себе профессию. Я же долго не мог определиться. Ругал себя за инфантильность и неприспособленность к жизни. Наконец вроде бы решил поступать на архитектурный, но как-то не слишком уверенно. В глубине души меня продолжали мучить сомнения. В тот период мне не хватало взрослого мужчины, который в случае необходимости поддержал бы меня, помог советом. Отец на эту роль не годился, а совет требовался чрезвычайно. В результате, весь в сомнениях и колебаниях, я все же выбрал архитектуру. Это был компромисс между двумя направлениями: "художественным", близким моей натуре, и "солидно-практичным", на что настраивал меня отец. Тогда я еще считался с отцом.

Но сделать выбор оказалось недостаточным. В системе высшего образования произошли перемены. По разнарядке местá — и на архитектурном, и на других факультетах — предназначались в первую очередь "рабочим", затем "крестьянам", а уж напоследок "трудовой интеллигенции". К какой категории принадлежал я? Принимая во внимание мою родословную — ко всем трем. <...>

Аттестат зрелости

Последний экзамен я сдал 19 марта 1949 года. Еле переполз на "другую сторону зрелости". С общей оценкой — "удовлетворительно". Я объясняю это все большим пренебрежением к учебе, а также тогдашним моим состоянием, близким к истерическому. Меня очень тревожил вопрос: что, если я не сдам экзамены на аттестат? Однако просто учиться и хорошо к ним подготовиться у меня не было сил. С другой стороны, я очень хотел получить свидетельство о своей зрелости. Это означало свободу. Поэтому я сначала не поверил успеху, а потом пришел в необузданный восторг. Его степень можно понять по одной выходке — детской, но спонтанной. После объявления результатов мы с Лешеком Хердегеном[1], с которым я тогда дружил, пошли к нему домой. Уселись в его комнате, и старенькая няня принесла свиные отбивные. Внезапно меня осенила идея — как отомстить за долгие годы школьных мучений. Я поделился своим замыслом с Хердегеном, который охотно с ним согласился. Как только няня, оставив еду на столе, вышла, мы тотчас же схватили тетради по математике, уже совершенно, по нашему мнению, бесполезные, и испещрили страницы жирны-

1. Лешек Хердеген (1929–1980) — известный актер и литератор.

ми пятнами от котлет. Это и было нашей местью. Хотелось бы отметить, что у свободы много имен.

С месяц мы бродили сами не свои, опьяненные свободой. Но, кроме того, что я навсегда освободился от школьных уроков, в моей жизни мало что изменилось. Все мои проблемы остались при мне.

Неожиданно с кратким визитом в Краков приехал дядя Людвик. Он повел меня в ресторан, в ныне уже не существующий "Живец" на Флорианской. В таком относительно роскошном заведении я был впервые. Официанты, я заметил, относились к дяде почтительно, и тот принимал это как должное. Во время обеда я коротко рассказал ему о болезни матери, выпускных экзаменах и своих планах на будущее. Он слушал внимательно, с непроницаемым видом, а когда мы уже заканчивали обед, пригласил меня к себе в Камень, на все каникулы. И, должно быть, догадываясь о моей ситуации, вручил мне порядочную сумму на расходы. Вместо того чтобы экономить, я купил себе первые в жизни часы и билет в первый класс. Подсознательно я установил свои приоритеты на всю жизнь.

В то время мне было девятнадцать лет. В 1941 году, когда я впервые увидел дядю Людвика, — одиннадцать. За восемь лет я почти забыл о нем. Когда он снова появился, я, конечно, его вспомнил, но никаких зарубок из прошлого в моей памяти не сохранилось. Тогда я был ребенком, теперь — почти мужчина. Изменился характер отношений между отцом и мной, а также — между мной и дядей Людвиком. Сегодня я уже понимаю, что для радикальных изменений требуется совсем немного времени.

В Камене я застал дядю в том же окружении, что и восемь лет назад. Та же секретарша, только полинявшая, и молоденькие хорошенькие служанки — восемь лет назад им было лет по восемь и они ходили в школу. Я устроился в домике над прудом и проводил там почти все время. Такой вариант оказался очень кстати, поскольку в Кракове я жил с отцом и сестрой и меня все больше тяготили их частые ссоры. Домик над прудом подходил мне идеально. Кровать, кресло и простой стол у окна на фоне сада — а больше ничего и не нужно. Я нуждался в передышке и покое, чтобы поразмышлять о своей свежеприобретенной зрелости. Каникулы в Камене пришлись ко времени.

Я с удовольствием совершал велосипедные прогулки. В богатом дядюшкином хозяйстве был не один велосипед, а несколько. Стояла прекрасная погода, разгар лета. Днем, после вкусного обеда, я отправлялся на велосипеде исследовать окрестности. Автомобили в то время встречались очень редко, люди заняты были жатвой, каждый на своем поле, и велосипед оставался, можно сказать, "владыкой дорог". В Ниске я разглядывал мост на Сане, тогда еще разрушенный. Рядом с временным понтонным мостом появились первые признаки восстановления. Солнце садилось, вокруг тишина. Помню, сидя на досках, я наслаждался предвечерним покоем и уплетал бутерброд с колбасой. Для заметки: в Камене я жевал непрерывно, и кухарка не могла надивиться моему аппетиту. <...>

Не забывал я и о подготовке к вступительным экзаменам на архитектурный, хотя не очень понимал, как за это взяться. В Кракове я часто рисовал разные памятники старины. <...> В Камене был только один костел, к тому же весьма скромный, и бесконечно рисовать его было скучно. Так что я предпочитал ходить в лес неподалеку от усадьбы дяди Людвика. Рас-

стилал одеяло и углублялся в "Рабочий календарь 1949 года". Текст был еще более нудный, чем мои занятия рисованием. Ничего оттуда не помню, кроме одного: "Болеслав Берут[1] родился в Рурах Иезуитских".

Лишь одно доставляло мне удовольствие — изучение английского языка. Уже в школе я много читал по-английски, даже серьезную литературу, частенько на уроках биологии или математики. И к выпускным экзаменам был уже прилично подкован.

Вечерами после ужина в кухне старого дома я прощался с дядей Людвиком и якобы отправлялся спать. Впрочем, никто меня не проверял. Подойдя к домику над прудом, я, вместо того чтобы повернуть налево, шел направо и перемахивал через забор. По ту сторону — ни души, пустое поле, за которым начинался лес. На чистом небе зажигались звезды. Отовсюду доносились разные ночные шорохи. Я бегом пускался к лесу. Бежал легко, без усилий. Так бегают девятнадцатилетние, и им кажется, что бежать они могут бесконечно. От беспричинной радости вырастают крылья, ноги не касаются земли, сердце работает в отличном ритме. Когда я подбегал к лесу, в небе как раз появлялась луна. Лес сразу менялся и казался зачарованным. Я тоже менялся и сливался воедино с луной, лесом, ночью. Так, по крайней мере, кажется мне сегодня, когда подобные прогулки уже навсегда остались в прошлом.

По возвращении в Краков в начале сентября я повидался с матерью — второй раз за два года. Встреча состоялась за городом, на территории больницы Пронднцкого, в большом саду или парке. Мы сидели рядом на скамейке. Я никого вокруг не видел, хотя наверняка мимо проходили медсестры и пациенты. Погода стояла хорошая, слишком хорошая, чтобы это могло продолжаться долго. В удивительно прозрачном воздухе даль просматривалась в мельчайших деталях. И плавали паутинки — начиналось бабье лето.

Я был в простеньком голубом свитерке с закатанными рукавами. Мать — в темном платье с белым воротничком. Выглядела по-прежнему молодо.

— Ты возмужал, — сказала она с удивлением.

Мне так не казалось: ведь, несмотря на высокий рост, я весил всего пятьдесят девять килограммов. Но я и не думал возражать. Не обратил внимания и на то, что она молодо выглядит. Для меня она всегда была молодой. Разница в двадцать три года не казалась мне тогда существенной.

Мама задала мне несколько вопросов об отце. Инстинктивно я отвечал скупо. Я не очень-то знал, что он поделывал в течение этих двух лет, а врать не хотел. Потом она спросила о сестре, которой тогда уже исполнилось четырнадцать. С сестрой было связано столько проблем, что я старался о них не говорить. Тем более что мать сознавала свою ответственность и одновременно — из-за болезни — свою полную беспомощность. И очень от этого страдала. В общем, я рассказал ей мало, хотя очень хотелось рассказать побольше.

Время, отведенное для посещения, истекло. Попрощались мы как обычно. В моей памяти "обычно" означает по-дружески и с доверием. Мы всегда могли положиться друг на друга.

1. Болеслав Берут (Бернацкий) (1892–1956) — партийный и государственный деятель, с марта 1954 г. — первый секретарь ПОРП.

Меня приняли на архитектурный. Без всякой посторонней помощи. <...>

Я штудировал свою архитектуру – с постепенно угасающим энтузиазмом. <...>

Смерть матери

Уже не помню, каким образом я узнал о смерти матери. Ни с кем конкретно у меня это не связано. Может, я получил телеграмму? Во всяком случае, произошло это совершенно неожиданно. Ничего подобного я не ожидал, мать находилась далеко, не в Кракове. Я уже к этому привык, и вдруг...

Информация содержала дату ее похорон в Боженчине – День поминовения 1949 года.

Знакомую с детства дорогу Краков–Бядолины я проделал поездом. Сильный ветер, дождь со снегом, слякоть... Не знаю, как отец добрался до Боженчина. Когда я вошел в дом, он был уже там и, на мой взгляд, разыгрывал комедию. Потом меня на минуту допустили к гробу. Помню это очень четко, потому что рядом никого не было и ничто меня не отвлекало. Я вышел на веранду, где стоял открытый гроб. Впервые я увидел мать спокойной и впервые – совсем чужой.

Это меня поразило. Между нами что-то произошло, но что – я понять не мог. Я впервые столкнулся со смертью близкого человека. Думаю, именно в такие моменты начинаешь испытывать глобальное одиночество.

Похороны состоялись на следующее утро. Не знаю, кто на них присутствовал. Едва узнал своего отца. Мне показалось, что ведет он себя довольно странно – я не знал, что с той поры должен буду к этому привыкать. Странность заключалась в том, что он находился рядом со мной один, без матери. Оказалось, что между нами нет никакой близости. И раньше, в те редкие минуты, когда он бывал дома, мы не составляли единую группу "отец-мать-сын", поскольку между отцом и сыном не было доверия. Как ребенок я имел право на доверие, но, отвергнутый отцом, нашел убежище у матери.

Отец во время похорон вел себя "как положено", и я не мог этого принять. В надлежащие моменты он плакал, а потом, когда могилу уже частично засыпали, со скорбным видом принимал соболезнования. После похорон он явно почувствовал облегчение. Я же вел себя с точностью до наоборот. Во время похорон упорно сохранял каменное выражение лица и не сделал ни одного лишнего движения. В толпе уже начали шептаться, что "так негоже". Хотя я не паясничал, как Гамлет на похоронах Офелии, чтобы скрыть волнение, а просто сохранял серьезность, что естественно на похоронах матери. Лишь когда вернулись домой и все, как обычно после похорон, с облегчением вздохнули, я вышел в сад и вернулся на кладбище.

Идти было недалеко. Дед жил от кладбища в двух шагах. Достаточно миновать Католический дом и перейти дорогу – и ты в его вечной тени. В те времена кладбище было засажено туей. Могила матери скрывалась под венками и лентами. Рядом – могилы ее сестер, братьев, моей бабушки и моего деда, Яна Кендзора, который скончался двумя годами раньше. Без всяких помех я предъявил счет своей совести – может быть, самый суровый за всю мою жизнь. Это был ключ к дальнейшему существова-

нию, которое при других обстоятельствах наверняка сложилось бы иначе. Одновременно я прощался с матерью. Когда она умерла, я почувствовал себя свободным. Я понял, что она пожертвовала собой ради меня. Ушла, когда я стал взрослым.

Я вернулся в Краков, но с тех пор видел жизнь в ином ракурсе. Я остался один — это и хорошо, и плохо. Но мной надолго завладело "плохо", пока с годами "хорошо" не вернуло мне равновесие.

С некоторых пор Лешек Хердеген общался с поэтом Адамом Влодеком, опекавшим Молодежное объединение при Союзе писателей в Кракове. Влодек — личность весьма оригинальная: маленький, толстый, с буйной шевелюрой над низким лбом и острым взглядом. Сын профессионального военного, он наперекор отцу с детства проявлял левацкие наклонности. Однако оставался человеком на редкость открытым, всегда в хорошем настроении, полным энергии, со специфическим юмором. Вскоре Влодек стал для меня, как и для прочих, другом. Умер он внезапно, в семидесятые годы. <...>

Хердеген уговаривал меня принять участие в приемах у Влодеков по четвергам. Я смертельно этого боялся, потому что в то время был совершеннейшим дикарем. В школе я еще как-то приноравливался к своему окружению и поддерживал приятельские связи, правда немногочисленные. Но на архитектурном совсем одичал.

Однако искушение оказалось очень уж сильным. В восемь вечера мы с Лешеком стояли перед дверью на последнем этаже второго флигеля в доме 22 по Крупничей улице[1].

Никого из присутствующих, кроме Лешека, я не знал. Только позже начал различать отдельные лица. Жену Влодека, Виславу Шимборскую[2] (потом они развелись), молодого лысого мужчину в мундире, журналиста (кажется, он единственный был при галстуке) и его жену, какого-то гладколицего юношу в студенческой фуражке. Было еще двое или трое "в штатском" и несколько женщин. Все оживленно разговаривали, слышался смех; пили умеренно. Тон задавал Адам.

— Декадент, пришел-таки! — воскликнул он, завидев меня.

Как выяснилось, Лешек уже раньше, рассказывая обо мне, употребил это или, может быть, близкое слово. Подхваченное Адамом, с его легкой руки оно стало моим прозвищем. С тех пор год или два меня называли "декадентом".

За весь вечер я так и не выдавил из себя ни слова. На все попытки вовлечь меня в разговор отвечал "немым" взглядом, за которым скрывалось безмерное отчаяние от собственной нелюдимости — она в ту пору достигла предела.

Я продолжал изучать архитектуру. Все чаще прогуливал лекции, но с октября до конца ноября прошло слишком мало времени, и пока это уберегало меня от неприятных последствий. Однажды мне пришла в голову мысль — показать свои рисунки Тадеушу Бжозовскому[3], в то время

1. В этом здании находился краковский Дом литераторов.
2. Вислава Шимборская (р. 1923) — поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе (1996).
3. Тадеуш Бжозовский (1918–1987) — художник, один из самых ярких представителей краковской художественной богемы.

ассистенту на факультетской кафедре графики. В здании было темно и пусто, и я попал к нужной двери только после долгих блужданий по этажам и коридорам. Постучал, и сердце сильно забилось.

Тадеуша Бжозовского я знал по лекциям. Но там его всегда окружали студенты. Бжозовский говорил тихо и подчеркнуто вежливо, так что непонятно было — серьезно он относится к соседу или, может быть, насмехается. Но здесь, в этой огромной комнате — такой большой, что свет торшера почти не рассеивал мрака, — он принял меня тепло, даже сердечно. У меня мгновенно возникло ощущение, будто мы давным-давно знакомы. Потом я понял, что в то жестокое время на людях он вел себя с повышенной осторожностью. Бжозовский был на двенадцать лет старше меня — и намного опытнее. Я сознавал это, уважал его и оттого меньше робел. <...>

Приближался новый, 1950 год и с ним — новогодние праздники. Я не знал, что делать. Первый Новый год после школы, а я совершенно один. О моей семье лучше не вспоминать, у Влодеков я еще не прижился, а Лешек Хердеген куда-то исчез. Если бы кто-нибудь надо мной сжалился и пригласил на бал, так я ведь даже танцевать не умел. От депрессии меня спас Тадеуш.

— Если тебе нечего делать, приходи ко мне в мастерскую. Флорианская... — и назвал номер.

Я сделал вид, что уже получил несколько предложений и теперь их обдумываю. А 31 декабря 1949 года пунктуально явился по указанному адресу. Флорианская тогда еще не была улицей туристов и бутиков. Из Флорианских ворот выныривал смешной трамвай и, едва протискиваясь между вековых стен, "несся" по рельсам к Рынку. Совсем как такса, чья "стремительность" странно противоречит ее росточку. На Флорианской было пусто. В Кракове в районе Рыночной площади тогда крутилось в сто раз меньше народу, чем теперь — массовое празднование Нового года в многотысячной толпе под открытым небом изобрели только через пятьдесят лет. Все стремились успеть до "шперы"[1], а дворники уже поджидали опаздывающих, чтобы ровно в десять слупить с них праздничный штраф. Я вошел в дом и поднялся на второй этаж.

Окна мастерской Тадеуша выходили на улицу. Оба были плотно занавешены, впрочем, как и всегда, когда он работал, — Флорианская давала не много света даже днем. В комнате стоял характерный запах масляных красок, темперы и других принадлежностей живописца. Входная дверь отделялась от помещения шторой. И еще я с восхищением заметил, что перекрытия в мастерской не обычные прямоугольные, а, как в средневековье, арочные.

Когда я вошел, веселье уже начиналось. Снова, как и у Влодека, в голове у меня все завертелось, и я с трудом различал отдельные лица. Кое-кого я видел впервые, многие теперь уже стерлись из памяти. Разумеется, был Тадеуш и его старший брат, легко узнаваемый — очень похожий на младшего, только повыше ростом. У обоих высокий благородный

1. От *нем.* Sperre — закрытие. После войны словечко осталось от немецкого комендантского часа. По старинному обычаю дворники в 10 вечера перед Новым годом запирали ворота и брали с опоздавших плату.

лоб, усы и очки. Еще были Ян Щепанский[1] с женой Данусей и Барбара Гавдзик — будущая жена и мать двоих сыновей Тадеуша, прекрасный иллюстратор; был странноватый, ужасно худой и сверхпородистый граф, говоривший с французским акцентом (в какой-то момент этот акцент у него исчез и граф погрузился в пьяный сон); и еще много женщин и мужчин, а может, и не слишком много, просто в небольшом помещении было тесновато, — и все очень, очень молодые.

Именно там я впервые в жизни выпил. Не пишу "напился", поскольку раньше вообще не пил. И потому проявил полнейшее невежество и понятную беспечность: не понимал, что́ я пью и сколько, — и очень удивился, когда заметил, что уже пьян, а чуть позже — что мне плохо и становится все хуже. Алкоголь вызывал у меня отвращение в связи с отцом, но когда я с отцом расстался, отвращение прошло.

Поэтому я не могу сегодня вспомнить, с кем разговаривал и о чем. В конце концов, прошло пятьдесят пять лет. Могу только рассказать о своих впечатлениях от новогодней ночи 1949—1950 года.

Во-первых, я пил с людьми искусства. Не важно, что пил неумело и был моложе всех. Но там у меня впервые появилась уверенность, что я буду принадлежать к их кругу. Ощущение, что наконец-то я у себя дома, поддерживало меня потом всю жизнь.

Во-вторых, я пил с женщинами, точнее, с прекрасными дамами, и это было замечательно.

И в-третьих, я пил за будущее. Я еще не знал, каким оно будет, но верил, что будет необыкновенным.

Без профессии

Вскоре после этого я стоял перед доской с официальными объявлениями. Вдруг до меня дошло, что в одном из них речь идет обо мне.

"Студент Славомир Мрожек срочно приглашается в деканат", — гласило объявление.

Я украдкой глянул по сторонам, проверяя, не смотрят ли на меня, и сначала медленно, а потом все быстрее зашагал к выходу.

Нет, у меня уже не было сил для выяснения отношений в деканате, это не кончилось бы добром. И ради чего? Только чтобы остаться на архитектурном? В один миг я решил покончить с архитектурой, и у меня сразу поднялось настроение. Мало того — я словно сбросил с себя лишний груз. Но и это не все: я почувствовал себя счастливым! Оставалось ответить на один вопрос: на что я буду жить?

Отец по-прежнему давал мне ссуды. Не могу назвать это иначе. Он не терял надежды, что в конце концов я стану архитектором, начну зарабатывать и тогда верну ему деньги. Это были мизерные суммы, да и получал я их нерегулярно. Но отец давал мне деньги, надеясь, что я помогу ему подняться на ступеньку по социальной лестнице. Он был крестьянином, в чем не признавался, а я, его сын, должен стать архитектором.

1. Ян Юзеф Щепанский (1919—2003) — прозаик, журналист, эссеист, киносценарист, переводчик.

Я не рассказал ему о своем поступке. Не смог, струсил. Решил, что немного повременю, пусть пока остается в заблуждении, а там посмотрим. С этой мыслью я ушел из Политехнического навсегда.

Спустя некоторое время, поджидая на остановке трамвай, я купил "Шпильки" – уже выходивший тогда сатирический еженедельник. Открыл его – и глазам не поверил: в рубрике "Требуются новые сотрудники" среди победителей конкурса в качестве нового сотрудника фигурировал я! Сразу в двух ипостасях: я получил две первые премии – за юмореску и за рисунок!

Двумя месяцами раньше я напечатал эту юмореску у Лешека Хердегена – на машинке без польских литер. Отец Лешека после лагеря для военнопленных остался в американской зоне, ездил по Германии и под крылом Красного Креста разыскивал польских детей с Замойщины, увезенных для германизации[1]. Он и прислал эту машинку сыну в подарок, вместе с курткой, брюками, свитером и кожаными гетрами[2]. К юмореске я добавил рисунок, отпечатанный теперь тысячным тиражом в журнале, который я держал в руках. Посылая рисунок в редакцию, я не очень-то верил в успех. И вдруг – двойная первая премия! Я чувствовал себя на седьмом небе.

Теперь я мог признаться отцу, что бросил архитектуру. У меня для этого появились финансовые – пусть и незначительные – основания. Я стал поставщиком рисунков для так называемых сатирических страничек в газетах и тонких журналах. На юморески я пока мало надеялся, они занимали слишком много места, зато рисунок всегда можно куда-нибудь втиснуть.

Отец отнесся к моему сообщению спокойнее, чем я ожидал. Мне вдруг стало ясно, что мое будущее никогда его особенно не интересовало, и я вздохнул с облегчением. Фантазер и эгоист, он заполнял свою жизнь выдумками, работой на почте и страстью к выпивке: алкоголь, как ни странно, ему не вредил – вероятно, благодаря железному здоровью. Единственное, что я от него унаследовал, – фантазии, которые с трудом отличаю от действительности.

Весной я окончательно переехал к Хердегену. На Пражновского заглядывал изредка и надолго там не задерживался. Тяжело было наблюдать, как беспомощен отец в отношениях с моей сестрой. Скандалы между ними не прекращались. Не семья, а сплошное недоразумение.

На чердаке у Хердегена у меня по крайней мере был покой. В моем распоряжении была кровать, рядом – никаких соседей. Я мылся под краном холодной водой, спать ложился, когда хотел, и семья Лешека, хотя и многочисленная, нисколько мне не мешала. <...>

Жизнь у Лешека на Сверчевского, 17 очень сблизила меня с Влодеком. Он жил рядом, на Крупничей, 22. Мне достаточно было выглянуть со своего чердака, чтобы увидеть над деревьями в открытом окне пятого этажа его пышную шевелюру с молодецким чубом и тучный торс. Причем обна-

1. В 1942–1943 гг. нацисты выселили с Замойщины (Юго-Восточная часть Польши) десятки тысяч поляков для последующей колонизации района. Часть из них, в основном дети, вывозились в Германию для ассимиляции.
2. Кожаные гетры были введены в обмундирование немецкой армии к концу войны – вместе со шнурованными ботинками вместо сапог.

женный. У Влодека была привычка — когда температура приближалась к тридцати градусам — ходить дома голышом. Часто я приходил к нему днем, когда он в кухне по всем правилам науки варил в большом котелке какой-то мерзкий кофе с цикорием. Он утверждал, что ему нужно на завтрак около литра этого эрзац-кофе и больше ничего. Потом он одевался (очень скромно), и мы шли в молочное кафе, где он съедал восемь булок, соответствующее количество масла и яичницу из пяти яиц. Отдав должное его организму, мы отправлялись по делам. По пути обменивались приветствиями с его знакомыми, иногда останавливались поболтать. Влодек таскал с собой рюкзак, набитый книгами и журналами. Останавливался перед книжными лавками, иной раз заходил внутрь. С книготорговцами поддерживал приятельские отношения.

Вечером я возвращался домой, то есть на чердак. Влодек тоже шел домой — писать. Он готовил себя к этому весь день. Было заметно, как возрастает его беспокойство, возбуждение и нетерпение. Откроется ли ему во время работы этой ночью нечто такое, что не открывалось до сих пор?

Влодек был коммунист. Единственный коммунист, которого я тогда знал. Потом их развелось предостаточно. Могу добавить, что Влодек был коммунист-энтузиаст. Уже позже, за границей, я слышал — болтали о нем всякое. Будто он доносил в органы безопасности, невзирая на дружбу, которая у поляков якобы в большой цене. Частично я в это верил, частично — нет, то есть не спешил с выводами. Всякое могло быть. В тот период партия была "наше всё", и преданность ей Влодек считал своим святейшим долгом. Вопреки логике, на все ее указания он откликался немедленным согласием. Тито предатель? Так точно, предатель. Происки врачей — и уж как-то так получилось, что эти врачи евреи, — против Сталина? Так точно, против Сталина. Я ведь сказал: Влодек был коммунист-энтузиаст.

В период террора Управление общественной безопасности являлось сердцем партии. Название этой священной организации произносили с благоговейным ужасом, о ней старались не говорить совсем или как можно меньше. Причем обе стороны: как партийцы, так и те, кого партия преследовала. Причиной был все тот же страх. Коммунисты, имеющие что-либо общее с УБ, натыкались на предусмотрительное молчание остальных. Даже Сталин боялся — страх пронизывал всех, от Сталина до самых низов.

Влодек в беседах со мной не скрывал своих убеждений. Он говорил о них открыто и просто. Язык у него был очень забавный, сочный и чуть-чуть грубоватый, с неожиданными жаргонными оборотами. Я не возражал и не соглашался — мне все это было безразлично. Сохранял свою позу декадента. Он, веруя в "силу марксизма", надеялся, что рано или поздно я попаду в его сети. Двадцатилетний декадент — это смешно, долго под такой вывеской не продержишься.

Иногда доходов от рисунков не хватало мне даже на еду. Я старался как-то пополнить свой бюджет, прибегая к разным способам, легальным и нелегальным. К нелегальным относилась торговля сигаретами. Отец еще получал пайки из американских подарков в виде сигарет "Lucky Strike", но ясно было, что скоро это кончится, поскольку с приходом социализма кончилось все. Отец курил только свои, польские, и я собирал американские, чтобы затем продать их на улице втридорога. Первый

опыт прошел гладко. Я отправился к Главпочтамту с сигаретами, упрятанными в маленький чемоданчик, и с колотящимся сердцем продавал их случайным прохожим. Вторая попытка завершилась фиаско. Только я показался у Главпочтамта, ко мне подошел какой-то мужчина и недвусмысленно дал понять, чтобы я "у...вал" куда подальше. Оказалось, что на Главпочтамте — да и не только там — орудовала мафия и пресекала конкуренцию. На том и пришел конец моей нелегальной деятельности.

Я встретил соученика — его отец держал на Звежинецкой улице маленькую закусочную для алкашей и искал кого-нибудь, кто оформил бы для него меню. Судя по каракулям хозяина и уровню графики на листочках с перечнем блюд, помощь требовалась незамедлительно. Я соорудил меню и получил обед.

По знакомству меня приняли в театр статистом. Театр помещался на Скарбовой, в зале профсоюзов. Играли какую-то пьесу Леонова. Спектакль, вероятно, делал неплохие сборы и довольно долго не сходил с репертуара. Мне дали эпизодическую роль изможденного бедолаги — я к тому времени и вправду изрядно отощал. <...>

Но не забывал я и об учебе. На этот раз место архитектуры должна была занять "чистая" живопись. Толчком послужила встреча с Тадеушем Бжозовским, но тягу к живописи я испытывал со школьных лет. <...>

Собрания по четвергам у Влодеков продолжались. Я уже не так робел, как вначале. Со временем начал писать для нас с Лешеком короткие сценки — абсурдные мини-спектакли, требующие минимума технических средств. Мы с ним были равноправными исполнителями, клоунами — но клоунами серьезными. Думаю, наши представления превосходили уровнем нынешние развеселые ток-шоу, в которых актеры из кожи лезут, стараясь в своем шутовстве слиться со зрителем. Нашу скромную по количеству публику отделяла от нас лишь условная линия. Однако тогда еще не стремились, как сейчас, заставить зрителей участвовать в представлении вместе с исполнителями, актерами были только мы. <...>

Наступил июль 1950 года.

Сегодня, когда обилие информации дело обычное, трудно представить, насколько неожиданным для всех было известие о рождении Новой Гуты[1], о чем торжественно объявили на съезде Польской объединенной рабочей партии в Варшаве. Разумеется, решение о новостройке носило политический и военный характер и было принято не без участия Москвы. Но мы ограничимся Краковом и его жителями.

Для Влодека наступило время действовать. Безошибочным признаком этого был снова появившийся на его плече набитый свежими газетами рюкзак, с которым он не расставался ни на минуту. То был апогей его карьеры — до выхода из партии. Реакции Влодека на другие события, например, начавшуюся через год Корейскую войну, не были столь эффектными. Ему не понадобилось, чтобы проявить себя, ехать в Азию. Беззащитная подкраковская деревня — рукой подать — заменила ему экзотические края. Притом "приказ к исполнению" — преобразовать эту плодородную землю в металлургический комбинат под стать

1. Новая Гута — исторический район Кракова на левом берегу Вислы; в 1949 г. там началось городское строительство, а в 1950-м — в рамках "шестилетнего плана" индустриализации страны — строительство большого металлургического комбината.

грандиозному Магнитогорску на Урале — звучал по-большевистски, по-советски.

Влодек решил использовать меня. "Использовать меня" — слишком сильно сказано, учитывая диспропорцию между заданием и мною. Столь важное начинание не может обойтись без серьезных изменений во всей стране. Один двадцатилетний, никому не известный юнец ничего тут не сделает. Но Влодек задумал использовать меня в более скромных масштабах. И решил, что именно я напишу репортаж к 22 июля[1] 1950 года — знаменательной дате для города, которого еще не было.

Я понятия не имел, как пишется репортаж и как вообще пишется что бы то ни было. Написал лишь одну юмореску на конкурс, которую напечатали в "Шпильках". Но во мне проснулась амбиция. Точнее — амбиция писателя.

Если бы я начал писать позже или если бы мое мировоззрение к тому времени уже более-менее сформировалось, репортаж о Новой Гуте в 1950 году не появился бы. Но я родился в крестьянской и полуинтеллигентной семье, которая не имела определенного мировоззрения. Чего же можно было ждать от меня, двадцатилетнего? В 1987 году, уже в Париже, заполняя анкету, я написал:

В двадцать лет я готов был принять любую идеологию, не заглядывая ей в зубы, — лишь бы она имела революционную окраску. Потому что был готов к собственной, личной революции. Мастера от политики отлично это понимали. Манипулирование юностью — дело для них привычное. И они пели мне, бренча на романтической лире: "Пойдем с нами, юноша. Мы тебе предлагаем именно то, что тебе нужно. Мы с тобой хотим одного и того же, разница лишь в том, что мы знаем, как этого достичь, а ты не знаешь. Да, этот мир прогнил, прикончим его вместе, а потом построим новый".

Мне повезло, что я не родился немцем — скажем, в 1913 году. Тогда бы из меня получился гитлеровец, поскольку техника вербовки была та же. Но так ли уж повезло, если не было принципиальной разницы между нацизмом и коммунизмом? <...>[2] Попал бы на войну на немецкой стороне, уже взрослым, и имел бы значительно больше шансов совершать мерзости покрупнее тех, что я совершил, будучи прокоммунистическим молокососом в 1950 году. <...> К сожалению, я не был исключением среди юнцов. Из таких, как я, рекрутировали и в гитлерюгенд, и в комсомол в ранний героический период расцвета обеих идеологий, пока принадлежность к партии не стала уже лишь вопросом оппортунизма. Неудовлетворенные, лишние бунтующие молодые люди есть в каждом поколении, и как они распорядятся своим бунтом, зависит только от обстоятельств.

Разумеется, я испытывал неприязнь к марксизму, даже сопротивлялся ему. Я имею в виду мое "декадентство". Но само это слово говорит о ребячестве, несерьезности такого сопротивления, готового уступить любому другому предложению. Такое предложение, открывающее новые возможности, и сделал мне Адам Влодек.

1. Государственный праздник возрождения Польши — главный праздник Народной Польши; отмечался ежегодно 22 июля, начиная с 1945 г.
2. Купюры в цитате сделаны автором.

Возможность писать — это великое искушение. Честно говоря, головокружительное. В Кракове в 1950 году вдруг вынырнуть из небытия, когда тебе каких-то двадцать лет... И где! В "Пшекруе" — уже тогда самом популярном в Польше журнале. Ведь Влодек задумал опубликовать мой репортаж именно в "Пшекруе".

Затея на первый взгляд пустая, но, если посмотреть глубже, своя логика в ней была. Влодек тогда имел большой вес в Союзе писателей, к тому же он отвечал за Молодежное объединение. Мариан Эйле, главный редактор "Пшекруя", обязан был напечатать репортаж. Тут уж ничего не поделаешь, но Эйле хотел, чтобы автором репортажа был человек молодой и неизвестный. Так он уберегал своих сотрудников от компрометации.

Из Варшавы уже просачивались слухи, что молодые писатели ринулись в бой. Не буду называть фамилии, пусть каждый отчитывается за свою жизнь сам, как умеет. Иных уж нет в живых, кто-то давно сменил убеждения. Так или иначе, образовалась варшавская марксистско-сталинская группа, выступавшая под лозунгом "Революция!" Другие писатели, преимущественно пожилые, уходили в подполье. Но к 1950 году это уже утратило смысл, и они готовились к долгому маршу сквозь беды и унижения. Таких было немного.

"Революция!" — это слово как с неба свалилось в образе Новой Гуты. Именно здесь могла свершиться революция. Множество молодых писателей понаехало в Краков, другие ожидались в ближайшее время. Все прибыли писать рассказы и репортажи. Эйле пришлось поторопиться.

День стоял солнечный. Мы поехали в Новую Гуту на грузовике, организованном "по партийной линии" Адамом Влодеком, который с утра проявлял удвоенную энергию. Грузовичок, кажется "ЗИС", по-советски без затей, с кабиной без крыши, убрали зеленью. Почему-то — может, ввиду приближающейся даты 22 июля — все вокруг было украшено зеленью и красными флагами. Предвидя жаркий день, я ехал в кузове. В одной рубашке, на голове — буйная шевелюра, на носу — очки с маленькими круглыми близко посаженными стеклами. Эти очки в псевдороговой оправе, давно уже заклеенной пластырем, я носил с двенадцати лет. Мы с Адамом и еще несколько человек, не помню кто, стояли под ветром и щурились на утреннем солнце. Дорога показалась мне длинной: никогда в жизни не ездил я на восток от Кракова. Обычно на прогулки отправлялись в обратную сторону, на запад. В будущей Новой Гуте я увидел именно то, что я больше всего не люблю. Подкраковская деревня потеряла свое лицо и превратилась в странный конгломерат. "Гигантские печи" — мифическая цель, венец всей этой шумихи, если даже допустить, что это кому-то действительно было нужно, скажем, настоящему коммунисту, — в моих глазах были сущей бессмыслицей.

В скобках заметим: как можно было предлагать народу марксизм — окостеневшую со всеми своими атрибутами систему столетней давности? Как можно было прославлять гигантские печи, когда они уже уходили в прошлое, а пролетариат на Западе превращался в средний класс? Но то был привет от Советского Союза, и я умолкаю.

В Новой Гуте я находился в состоянии отупения. Не помню, вернее, не увидел ничего, что бы врезалось в память, хотя все вокруг кипело. Я ходил, пытаясь смотреть на все глазом репортера. Вглядывался в рою-

щих канавы юнаков из "Службы Польше"[1], голых по пояс (погода стояла — мечта), в одинаковых вылинявших пилотках и широченных форменных брюках. Но ничего интересного или особенного в них не находил. Я сам был юнаком, призванным на "службу" еще до выпускных экзаменов: в июле и августе 1948 года мы жили в казематах форта Бёрнерово под Варшавой и строили там секретный военный аэродром. Внимательно разглядывал я мужиков из окрестностей Новой Гуты — "внештатных работников", приезжавших на запряженных лошадьми телегах, они вывозили землю, — но мужики тем более не были для меня сенсацией: я жил среди них с детства. Так что глазу репортера не за что было зацепиться, однако я не сдавался.

Побывал на совещании с тогдашним лидером группы "Революция!", когда-то очень известным. Он ненадолго прибыл из Варшавы. Мы окружили его полукругом, мы — "партийный актив", люди моего возраста, и "журналисты-социалисты", тогда тоже молодые. Гость по-советски молчал, то есть не терял бдительности. Я тоже молчал, просто из застенчивости, а также от удивления, что в столь юном возрасте он уже так высоко взлетел. Только позже я научился оценивать людей вне зависимости от возраста.

Короткую июльскую ночь я провел вместе с многочисленными юнаками в только что выстроенном бараке. Это не прибавило мне энтузиазма: я еще хорошо помнил свой опыт всего лишь трехлетней давности. Потом происходило что-то еще — совершенно не помню что, — и с некоторым облегчением я вернулся в Краков на том же грузовике с Влодеком и остальными.

Тем не менее через несколько дней я написал свой репортаж и остался очень доволен собственной сообразительностью. В репортаже я полностью поменял минус на плюс — то, чего я больше всего не любил, вдруг якобы привело меня в восторг. Самое удивительное — там не было ни капли цинизма. Это был образец скверной писанины, то есть набор лжи, и ключом к ней являлась байка о Польше, которая только что шагнула в светлое будущее. Если бы не юный возраст, можно было подумать, что я спятил.

Чего я там только не написал! Начал с самого важного, поскольку в басне должна быть мораль: наконец-то Польша, следуя учению марксизма-ленинизма, под руководством партии обрела счастье. Много лет спустя, в эмиграции, я смотрел по телевизору фильм Лени Рифеншталь — к тому времени уже исторический — о партайтаге, устроенном в честь Гитлера до войны в Нюрнберге[2]. Я навострил уши — до меня донеслось далекое эхо того времени. Бравые мóлодцы в спортивных майках маршировали стройными рядами, еще не солдаты, без оружия, но с лопатами. Атмосфера торжественная и серьезная, не за горами неслыханные преступления — но пока что тихо, ша. Невыносимо смешной и отвратительный пафос. Что-то мне это напомнило...

1. "Служба Польше" — государственная парамилитарная молодежная организация (1948–1955).
2. Лени Рифеншталь (1902–2003) — немецкий режиссер-документалист, одна из самых талантливых женщин-режиссеров за всю историю кинематографа, в истории останется "пособницей Гитлера". Автор упоминает фильм о съезде нацистской партии в 1936 г.

Меня ждал триумф. Друзья Влодека поздравляли меня, незнакомые пожилые люди, читая в кафе "Пшекруй", спрашивали с неприязнью: "Кто такой этот Мрожек?" – и только вокруг образовалась пустота. Опьяненный успехом, я не сразу обратил на это внимание.

Наступил сентябрь, и с ним подоспел экзамен в Художественное училище. На этот раз я был уверен, что меня примут. Мне казалось, что мои способности будут оценены по достоинству – и я не ошибся. <...>

Работа в газете "Дзенник польски"

<...> В "Дзенник польски" срочно потребовался журналист. Мне сообщил об этом Адам Влодек, спросив, что я на этот счет думаю.

И я решился на очередную перемену. Последний год я едва сводил концы с концами, считал копейки и был сыт этим по горло. Мне нужны были мало-мальские средства для существования, лучше всего – постоянное жалованье, и предложение "Дзенника" подоспело очень вовремя. От "чистой живописи" можно было пока отказаться. Двадцатилетнему человеку ни одно решение не кажется окончательным – круг замкнулся значительно позже. Я намеревался вернуться к изобразительному искусству, когда "рабочие и крестьяне" притомятся и уже не будут толпами стремиться в художники. Но больше всего мне хотелось писать и публиковаться. Хоть я и не представлял, что и как буду писать, тем более – публиковать. Так или иначе, я впервые отправился в "Дзенник польски".

Я пришел в секретариат, и через минуту меня принял в своем кабинете главный редактор. Помню его лицо. Это был Станислав Витольд Балицкий, до войны сотрудник концерна "Иллюстрированный ежедневный курьер". Концерн принадлежал Мариану Домбровскому – довоенному магнату, воспитавшему многих замечательных журналистов. Меня поразила внешность Балицкого – его молодое лицо, огромный рост и массивная фигура. Но главное – в нем было что-то особенное, с чем прежде мне, Мрожеку из Боженчина, встречаться не приходилось. Некая не подлежащая сомнению величественность человека родом из высших сфер общества, как тогда говорили. Нечто похожее я наблюдал позже в Лондоне у бывших крупных деятелей эмиграции, играющих в бридж. Другое дело, что под этим "нечто" могла скрываться просто глупость.

Главный задал мне пару банальных вопросов и заявил, что с сегодняшнего дня я могу приступить к работе. После чего вызвал редактора Шидловского, отвечающего за городскую рубрику, и передал меня в его руки.

Несколько лет назад, уже по возвращении в Польшу, я посетил "Дзенник польски". Вспоминали старые времена. Я не могу проверить истинность полученной информации по первоисточнику – история сия больше похожа на легенду, чем на установленный факт, – но пересказываю ее в точности как услышал. После моего ухода Балицкий выглянул из кабинета и сказал секретарше примерно следующее: "Видели этого тощего очкарика? Запомните мои слова – скоро о нем все заговорят".

Жаль, что Станислав Витольд Балицкий не высказался публично. Быть может, это избавило бы меня от долгих лет разочарований и надежд.

У редактора Шидловского рука оказалась твердая, но, как вскоре я убедился, справедливая, и самого его нельзя было упрекнуть в недоброжела-

тельности. Теперь, спустя много лет, я учитываю еще одно: его возраст и бурное время. Шидловский, так же как и Балицкий, целых пять лет был отлучен от профессии. Во время оккупации в Кракове выходила единственная газета – "Гонец Краковски", которую издавали немцы. После войны Шидловский вернулся в "Дзенник польски", но прекрасно видел, что творится вокруг. Единственным выходом оставалась пенсия. Надеюсь, он ее дождался.

Первым моим материалом в "Дзеннике" была информация о массовом митинге на открытом воздухе по поводу неожиданного обмена денег[1]. Подобные сообщения относились к городской тематике. Мероприятие било по "спекулянтам, паразитам и расхитителям общественных средств". Разумеется, не по "трудовому народу". Митингующие размахивали транспарантами с "правильными" лозунгами. Представитель ПОРП, возглавлявший партийный актив, профсоюзный деятель и представители трудовых коллективов выступали друг за другом, восхваляя политику партии и правительства и осуждая "врагов народа". Раздавались также возгласы, клеймящие "американский империализм".

Пока я это писал, меня одолевала невероятная скука. Вроде бы писал я о справедливом деле, но тоскливое ощущение не проходило. И продолжало усугубляться, пока я не покинул "Дзенник польски". В какой-то мере воспитанный уже в Народной Польше, я не представлял себе, что в газету можно писать иначе. То есть писать – да, но вот публиковать?..

Шесть раз в неделю нужно было в восемь ноль-ноль являться в редакцию и расписываться в секретариате. Опоздавшему грозило суровое наказание, которое определяли на общем собрании коллектива. С восьми часов в секретариате дежурила некая М. Г., молодая, но уже расплывшаяся особа, которая вспоминается мне в ядовито-зеленых тонах. Возможно, она часто носила платье такого цвета. Опоздавшим от нее не было спасения. Эта же самая М. Г. однажды выломала дверь в туалете и на спине принесла в кабинет главного редактора, поскольку на двери изнутри кто-то написал оскорбительные слова в ее адрес. Она хотела доказать, что против нее затевают заговор. Замечу в скобках, что главным редактором тогда был уже не Балицкий. Вскоре после моего прихода в газету его убрали и заменили кем-то другим.

Жизнь городского отдела газеты проходила в большой комнате на втором этаже. Из окон были видны площадь Велеполе, трамваи, почтамт и Сенная улица вдали. У каждого был свой уголок, у тех, кто поважнее, – стол. Почетное место занимала пани Икс (фамилия улетучилась из памяти), степенная машинистка с довоенной пишущей машинкой. В свободные минуты, когда никто ей не диктовал, она вязала на спицах.

Ошибается тот, кто думает, будто мой репортаж произвел на кого-то сильное впечатление. Я тоже перестал заблуждаться на этот счет. Редактор Шидловский относился ко мне как к мальчику на побегушках, что́ я воспринимал как должное и не предъявлял претензий. Начал я с редактирования кинопрограмм. В мои обязанности входило следить, чтобы в каждом номере на последней странице появлялись названия фильмов

1. В октябре 1950 г. в Польше была произведена денежная реформа наподобие проведенной в Советском Союзе в 1947 г. Злотые были обменяны в эквиваленте 100:1 и (в некоторых случаях) 100:3.

с указанием страны-производителя и начала сеансов. Вскоре, по политическим причинам, список фильмов сильно сократился и в нем остались только те, что производились в странах народной демократии и СССР. Часто я путал детали: страну и даже время сеансов. Тогда Управление кинематографии направляло письмо с протестом в "Дзенник польски" и редактор Шидловский яростно на меня обрушивался.

В час дня начинался обеденный перерыв. Наступала релаксация (тогда этого слова еще не знали), и все отправлялись на самый верхний этаж с пристройкой и просторной террасой. Польша становилась страной всеобщей скуки, и никто, кроме молодых, которые хотели сделать партийную карьеру, на работе особо себя не утруждал. И я тоже. Прерваться и подкрепиться — это грело мне душу, я еще помнил минувший голодный год. Однажды за обедом, когда я наслаждался блаженным ощущением сытости, люди повскакали из-за столов и побежали на террасу. Оказывается, какой-то молодой человек по неизвестным причинам вышел на террасу чуть раньше — и исчез. Через минуту его обнаружили мертвым. Он лежал внизу на асфальте. Как известно, наше здание было тогда одним из самых высоких в Кракове. Вскоре выходить на террасу запретили. Прочитать об этом происшествии нельзя было ни в "Дзеннике", ни в любой другой газете. Городская хроника давно уже перестала помещать подобную информацию — как якобы нарушающую общественное спокойствие.

По определенному графику я заступал на ночное дежурство в типографии. Ни молодость, ни отсутствие опыта от этого не освобождали. Следовало вычитать весь номер, буква за буквой, от доски до доски, и расписаться в том, что я его прочитал. С этим не шутили. Ходили смутные слухи о том, что некоторые, подписав номер, бесследно исчезали. Много времени проходило, пока они снова появлялись, а иные не появлялись уже никогда. Все знали, что на площади Свободы находится Управление общественной безопасности, но никто не говорил об этом вслух. Газеты также подлежали тайному надзору, проверялась каждая буква. Если обнаруживалась ошибка, за последствия отвечал дежурный. Журналисты потихоньку рассказывали друг другу, как в речи самого Сталина в слове "страной" обнаружилась злостная ошибка и назавтра подписавший номер редактор пропал без вести. За такую ошибку сажали по меньшей мере как за саботаж, а то и за что-нибудь посерьезней.

Дни проходили однообразно, без особых эмоций, если страх перед ночными дежурствами не считать сильным переживанием. Журналистика оказалась такой же бюрократической рутиной, как все вокруг. От скуки я начал читать. Скрытно, конечно, то есть в туалете. Туалет служил не только местом для тайных нападок на начальство, как в случае с М. Г., но и нелегальной читальней. Я проводил там немало минут, на всякий случай время от времени спуская воду. Помню, в туалете я прочитал все греческие трагедии, которые брал у Хердегена.

Получив должность в "Дзеннике польском", я снова перебрался на Пражновского, к тому времени переименованную в Мархлевского. В Польше установили порядок, при котором нельзя было жить неизвестно где, да это было и невозможно. В любую минуту власть могла распорядиться местом проживания гражданина по-своему, то есть она распоряжалась и мною, и — по мере того как укреплялись мои правильные взгляды — я позволял собой распоряжаться все более охотно. Я был замечен

властью, и вскоре после Нового года меня вызвал главный редактор. Мне сообщили, что я повышен в должности и являюсь теперь репортером по всему Краковскому и даже по Жешувскому воеводству. Моя новая обязанность — выезжать на несколько дней то в один, то в другой район и "поставлять вести с мест". "Вести с мест" — это был новый девиз, который в то время взяли на вооружение все газеты.

Честно говоря, я не очень-то радовался этому повышению. Зима стояла морозная, вставать приходилось задолго до рассвета. Мы встречались у машины: водитель, Ян Кальковский, фотограф и я. Старая многоместная машина, брошенная немцами, прежде использовалась как радиостанция. Окончательно мы просыпались, только когда уже светало и машина катила по заснеженной дороге в незнакомой местности. Больше всего в этих поездках мне не нравилась необходимость слишком рано вставать. Зато чем длиннее была дорога, тем больше времени оставалось для мечтаний, для приятного, хотя и пустого приукрашивания действительности. Но уже первые дорожные знаки возвращали меня на землю, и через минуту машина останавливалась в городке, чаще всего на рыночной площади. Мы отправлялись прямиком в партийный комитет и требовали встречи с первым секретарем или его заместителем. В комитете начинался переполох: неизвестно, с чем мы приехали, а ожидать можно самого худшего. Первый секретарь тотчас же появлялся, и мы предъявляли журналистские удостоверения. Тут хозяева явно вздыхали с облегчением, поскольку теперь уже становилось ясно, чего нужно ждать — и это не было самым страшным. Секретарь произносил несколько фраз, чаще всего насчет роли прессы в укреплении нашего строя, и передавал нас соответствующему руководителю, чтобы он нами занялся. Тот приглашал нас к себе, усаживал к столу, предлагал чаю или "чего-нибудь покрепче" и произносил на заданную тему цветистую речь, полную цифр и подробностей. Сплошная липа, однако мы старательно конспектировали, и все записанное было идентично тому, что содержалось во врученном нам оригинале. Записывал, впрочем, преимущественно я, а Ясь Кальковский — опытный профессионал — только поддакивал, посматривая на часы в ожидании обеда. Видимо, был уверен, что воспроизведет все по памяти, когда позже будет писать для газеты.

До какой степени мы, журналисты, и с нами наши читатели, жили в блаженном неведении о том, что происходит, свидетельствует хотя бы такой факт. В первые зимние месяцы 1952 года, в ходе гражданской войны между поляками и украинцами, погибли тысячи, многие поселки были сожжены. Украинцы, которых не выслали в Россию, так называемые лемки[1], были вывезены на Воссоединенные земли. В любой нормальной стране районы, охваченные пожаром, сохраняли бы в течение долгих лет заметные для журналиста следы. Но мы таковых не заметили. Мне было всего двадцать два года, Ясь Кальковский ненамного старше. Только позже, когда коммунизм стал разваливаться, мы узнали правду.

Мы выезжали из Кракова в Малую Польшу почти каждую неделю. <...> После командировок, продолжавшихся от трех дней до недели, возвраща-

1. Восточнославянская этническая группа (русины), населяющая исторический район Галиции, Закарпатья и северную часть Словакии.

лись в Краков. Со временем, в порядке исключения, мне разрешили работать дома. Я мог не соблюдать трудовую дисциплину и появлялся в редакции через несколько дней с готовой рукописью. Официальный тон своих текстов я старался оживить, описывая второстепенных персонажей и включая эпизоды, показавшиеся мне забавными. Однако это было нелегко: общий стиль должен был быть напыщенным и высокопарным, как вся тогдашняя Польша. Хуже всего, что я и сам не до конца это сознавал. <...>

Дома работать мне было неудобно. Я всегда хотел жить отдельно — совместное проживание меня тяготило. И тут подвернулась оказия. В Доме литераторов во флигеле освободилась маленькая комната, которую я мог занять. Но для этого надо было вступить в Союз польских писателей. Тут же верный Адам Влодек начал действовать. Он объяснил в Союзе, что я пишу книгу, однако мне негде жить, что было полуправдой. Поручился, что, получив жилье, я за полгода завершу книгу и необходимые формальности будут соблюдены.

Адам верил в меня с первой минуты. Верил, что я стану писателем. Для точности: такие же надежды он возлагал на многих молодых, как во времена нашей дружбы, так и после моего отъезда из Польши. Прирожденный педагог, он редко ошибался. Я мог бы перечислить целый ряд поныне известных писателей — его воспитанников.

Переселялся я в июне 1952 года. Погода стояла прекрасная, а все мои пожитки умещались на кровати, которую мы с Хердегеном несли от улицы Пражновского до моего нового места жительства. Сначала шествовали по длинному бульвару, потом, миновав костел, — по улице Любич, под железнодорожным мостом, а после вдоль Плянт до Крупничей. По дороге много раз останавливались, усаживались на кровать и не спеша вели дискуссии. Оба молодые и многообещающие. Еще далеки были от нас заботы зрелого возраста, и впереди простиралось необъятное будущее.

Я поселился на пятом, последнем, этаже, во флигеле дома 22 по Крупничей улице. Вся квартира состояла из одной комнаты, к тому же маленькой — не больше пятнадцати квадратных метров, — и в ней могло поместиться лишь самое необходимое. Кровать стояла слева, шкаф — справа. За кроватью — кресло, один стул, стол и кафельная печь. В нише с левой стороны размещался микроскопический умывальник, и над ним — зеркало. <...>

К моменту моего вселения в соседней комнате жил актер Эдек Рончковский; через несколько лет его сменил Тадеуш Новак[1]. Но у Эдека комната была больше моей. В общей прихожей стояли ящики для угля, на зиму. Вход — тоже общий. Существует легенда, связанная с Домом литераторов. Сразу после освобождения, когда повсюду царил хаос и многие дома стояли пустые, на Крупничую заявилась делегация Союза польских писателей. Дом во время оккупации служил гостиницей для немецких нефтяников. Этим объяснялась как планировка комнат, так и наличие Bierstube[2] — баварского ресторана внизу, — а также запас вин и крепких напитков, оставленный немцами. Писатели, хотя выбор помещения для бу-

1. Тадеуш Новак (1930–1991) — поэт и прозаик, один из выдающихся послевоенных представителей так называемой деревенской прозы.
2. Пивная (*нем.*).

дущего Дома литераторов был неограниченным, задержались на Крупничей, 22, пока не уничтожили все запасы. И... остались здесь навсегда. <...>

Мои отношения с Адамом Влодеком еще больше упрочились с тех пор, как я поселился с ним по соседству. Он не скрывал, что одна из его целей — мое вступление в партию. Вспоминал об этом все чаще, а я, чтобы его не обидеть, поддакивал: "А может, правда вступить?" Но одна мысль об этом приводила меня в ужас. Партия, откровенное изобретение большевиков, — нет, это было мне не по душе. Как и вообще полякам — тогда, в 1952 году. Одно дело — прогрессивные взгляды, это еще как-то укладывалось в польскую ментальность. Земельная реформа или, на худой конец, польско-советская дружба — еще куда ни шло, но только не партия.

Однако все в моей жизни тогда вело к тому, чтобы стать мне партийцем. Прежде всего характер моей работы в "Дзеннике". Я преуспевал. Мои тексты из чисто репортерских все больше превращались в публицистические. Меня все чаще освобождали от "трудовой дисциплины", и я оставался дома писать важные статьи на очень важные темы. Выход на довольно широкую общественную арену привел к результатам, для меня весьма неожиданным. "Если этот малый пишет искренне, почему он не вступает в партию?" И вопрос дополнялся тезисом: "Он так пишет на всякий случай, но в партию не вступает, ибо, если что-то вдруг изменится..." Нужно помнить, что в 1952 году вот-вот ждали войны между Советским Союзом и остальным миром. По крайней мере в Кракове. И действительно, тут-то и зарыта собака.

Как я уже писал, после моего триумфального, как мне казалось, репортажа о Новой Гуте вокруг образовалась пустота. Исчезли почти все. Все, кто был мне дорог. Друзья детства и те, которые появились позже. Исчез Тадеуш Бжозовский и другие, менее близкие знакомые. Я пребывал в наивном изумлении. И на этих "всех" очень обижался.

"Как же так? — вопрошал я. — У меня полно рецептов спасения человечества — и вот ваша благодарность? Я тут каждый день доказываю в 'Дзеннике', что единственный путь — марксизм-ленинизм-сталинизм, что для нас это единственный выход, а вы так со мной обращаетесь? Хорошо, раз такое дело — запишусь в партию вам назло. Отомщу вам. Будете знать, что я не шучу".

Это говорит только об одном: о моей тогдашней, стыдно сказать, беспредельной инфантильности. Я обиделся на польскую общественность за то, что она не желала признавать мою правоту. Если бы еще я открывал польскому обществу что-то новое, интересное, я бы меньше его раздражал. Но только потому, что в Польшу пришла Красная Армия, я, двадцатилетний недоучка, навязывал читателям то, что было известно миру уже сто лет. И навязывал страстно, поскольку вообразил, будто открыл секрет гуманности и поскорее хотел поделиться этим секретом с людьми.

Но в партию все же не вступал.

К осени 1952 года снова нависла угроза армии, а с армией шутки плохи. Даже мои наиболее известные молодые коллеги боялись призыва.

Я почти опоздал. И начал лихорадочно подыскивать вуз, где количество абитуриентов не превышало бы многократно количества доступных мест. Наконец нашел: факультет африканских, восточных и дальневосточных языков.

Я сдал экзамены в третий раз в своей жизни. Прекрасно понимая, что придется уже в третий раз ходить на слишком хорошо знакомые занятия по военной подготовке. Раз в неделю, в субботу, одетые в военную форму, мы должны были собираться на Блоне[1], где нам предстояло обучаться стрельбе, а также участвовать в учениях по обороне страны и противоатомных учениях, ставших уже легендарными среди студентов вследствие тупости офицеров. Потом раз в год, в каникулы, приходила по почте повестка: такому-то явиться на станцию такую-то с запасом сухих продуктов на два дня. Цель — двухмесячный выезд на секретный полигон где-то в Польше. Только там мы могли узнать, что такое настоящая армия. И так целых пять лет. Нет уж — поступить, получить отсрочку от армии и поскорее исчезнуть. Беспокоиться будем потом.

И началась учеба в Ягеллонском университете. <...> В общем-то, факультет был симпатичный, но не для моих прозаических целей. Я получил нужные мне документы, отметился в армии, а потом покинул университет.

Что касается жилья, я сдержал слово. Закончил свою первую книгу под названием "Практичные полупанцири", она должна была выйти в течение года в краковском издательстве "Выдавництво литерацке". Препятствий для моего приема в Союз польских писателей больше не было, а в случае чего Адам Влодек все бы уладил. Так что все шло замечательно, если бы не удар с неожиданной стороны.

То, что я сейчас расскажу, словно бы противоречит уговору, который я заключил с читателем на первых страницах книги. Я оставил за собой право не говорить о своей интимной жизни. Но история, о которой стоит вспомнить, касается исключительно меня одного и, как это ни парадоксально, связана с Польской объединенной рабочей партией.

Меня "предала" девушка, с которой я жил какое-то время. Теперь это кажется мне смешным, и отсюда кавычки. При своей тогдашней незрелости я вполне заслужил это предательство. Вел себя как типичный мужлан или попросту — как свинья. Короче говоря, вопреки ожиданиям моей подруги, провел новогодний вечер с другой особой. За что и был справедливо наказан.

Я ужасно страдал, но молчал. В жизни молодого мужчины должна однажды наступить минута, когда он начинает ужасно страдать. Но мое самолюбие увлекло меня в неожиданную сторону, что, как я уже сказал, парадоксальным образом оказалось связанным... с партией.

В то время — может быть, только в моем сознании — вступление в партию представлялось чем-то возвышенным и романтичным. Не столь романтичным, как вступление в тайное общество, но близко к этому. Причина таилась в "романтизации" Польской рабочей партии, предшественницы Польской объединенной рабочей партии, а также в печальной правде о злоключениях польских коммунистов перед войной. (Потом выяснилось, что после разгона компартии в Польше Сталин предательски уничтожал польских коммунистов в Советском Союзе, сажал их и высылал в Германию прямо в объятия гестапо. Но тогда я об этом еще не знал.)

После войны членов Польской рабочей партии красочно изображали жертвами, погибавшими от пуль реакции. Мастером в этом деле был

1. Блоне — обширный луг (48 га) в пределах Кракова, вблизи от исторического центра.

Ежи Анджеевский[1], книгами которого я в ту пору восхищался. Видя враждебное отношение общества к коммунистам, я опасался, что темная масса одержит верх над просвещенными членами партии, и, желая им помочь, вознамерился укрепить их ряды. Преданный женщиной, я решил посвятить себя партии и погибнуть – желательно от происков реакции. И о своем решении немедленно сообщил Влодеку.

Это повлекло за собой трагикомические последствия. Лешек Хердеген, всегда подражавший мне, также объявил себя кандидатом в члены партии. Как и Л. Ф., считавшийся в те времена выдающимся интеллектуалом. И втроем мы дружно присоединились к лагерю прогресса.

Первичную партийную организацию при Союзе польских писателей возглавлял тогда Владислав Махеек, фигура после войны известная. По происхождению крестьянин, в годы оккупации он примыкал к крайне левым и воевал с немцами, а после войны – с антикоммунистической партизанщиной. С самого начала Махеек занимал важные посты в партии и в "аппарате". Говорили также, что он был агентом НКВД. Воистину так. Умер он уже после победы "Солидарности" и до конца оставался неприкасаемым. Писатель по призванию, автор множества романов, главный редактор краковского еженедельника "Жиче литерацке". Заика и горький пьяница.

Сам о том не ведая, Махеек обладал чувством юмора и стал для полонистов и вообще для многих (к ним принадлежит и автор этой книги) неисчерпаемой сокровищницей курьезов польского языка.

Собрания первичной организации проходили обычно вечером, в кабинете председателя, но в отсутствие секретарши. Так повелось, что и летом, и зимой я, Лешек Хердеген и Л. Ф. сидели в дальнем углу, у печки, подальше от председательствующего. Это позволяло нам шепотом перешучиваться. Совсем как в школе.

Сравнение со школой этим не исчерпывается. На собрании соблюдался определенный ритуал, завершалось оно пением "Интернационала". Конечно стоя. Я никогда не знал, то ли я пою "Gaudeamus igitur", гимн моей школы, то ли что-то еще. Короче говоря, чувствовал себя глупо. На всякий случай пел тихо, но все же чтобы другие слышали. Ощущение, что "тут что-то не так", не покидало меня на собрании и какое-то время после него – до следующего раза.

Вскоре атмосфера таинственности, которая связывалась у меня с партией перед вступлением в нее, полностью рассеялась и сменилась бюрократической скукой. Собрания начинались с проверки присутствующих, затем следовало обсуждение административных вопросов. Слегка развлекали компанию "у печки" сообщения о международном положении, особенно если с информацией выступал не слишком интеллигентный однопартиец. Партийных тайн, которые прежде так интриговали меня, не было и в помине. А если и были, то совсем на другом уровне. Иногда объявлялась всеобщая мобилизация. Например, когда пресса сообщила, следуя указанию партии, что забой свиней находится под угрозой из-за падения поголовья. Тогда мы, передовой отряд писателей, взяли на себя обязательство написать каждый по рассказу, воспевающему поголовье свиней. И я написал такой рассказ, однако в будущее Собрание сочинений он не вошел.

1. Ежи Анджеевский (1909–1983) – прозаик, публицист, киносценарист ("Пепел и алмаз", "Врата рая" и др.).

Рассеялась также атмосфера придуманной мною опасности. Старые знакомые по-прежнему избегали меня, но "пуль реакции" как-то не наблюдалось. Оставалась партия, и я не знал, что с ней делать. Передо мной продолжал маячить образ светлого будущего, хотя и на этот счет появились кое-какие сомнения. <...>

В тот период произошло важное событие: примирение с отцом. После того как я ушел из дома, мое ожесточение постепенно сменилось жалостью к нему; вдобавок я испытывал удовлетворение от того, что справляюсь с жизнью самостоятельно. Жалость была весьма уместна: я застал отца в плохом состоянии. Он продолжал жить вместе с моей сестрой — из-за отсутствия иных возможностей. Наладить их отношения можно было, лишь разделив их. После долгих стараний мне это удалось. С тех пор отец и сестра стали жить врозь.

Весь последний период жизни отца я оставался примерным сыном. Не видел уже смысла мстить ему, да и желания такого не испытывал. До конца его дней я писал ему длинные письма, в том числе и из эмиграции. Приглашал его за границу, отправлял посылки, деликатно заботясь о его здоровье. По мере того как мое положение за границей упрочивалось, у отца появлялось все больше оснований чего-то от меня требовать. Однако он этого не делал. Отец ничего не требовал, а мои подарки принимал с благодарностью.

Особое место в моей жизни занимают две весны: весна 1945 года, когда закончилась война, и весна 1953-го, когда умер Сталин.

Окончание войны не было неожиданным. Падение Третьего рейха начиналось незаметно, потом стало очевидным и завершилось триумфальной победой союзников. Смерть Сталина — напротив. Мощь Советского Союза оставалась нерушимой, и вдруг, в течение нескольких дней, Сталин умирает — и смерть его застала всех врасплох. И та и другая весна дарили надежду на лучшие времена. <...>

После смерти Сталина в Польше начался процесс, который можно назвать "от капитализма к коммунизму и обратно". В Мексике я долго колебался, решая, возвращаться ли в Польшу, но посчитал, что коммунизм в Польше уже кончился, и вернулся. Я вернулся, но и поныне не уверен, что дело обстоит именно так. Существующая в Польше демократия — не то же самое, что укоренившаяся в веках демократия западных стран.

Я сознаю, что для меня — бывшего гражданина Народной Польши — фраза "от капитализма к коммунизму и обратно" звучит дурно и неуклюже из-за слова "капитализм", хоть я и считаю коммунизм величайшим злом. Это один из элементов подсознания, укоренившийся во мне по принципу рефлексов собаки Павлова. Такие рефлексы свойственны значительной части поляков, которым в 1945 году было по пятнадцать лет.

Поэтому скажем так: с течением времени общество все больше освобождалось от чар коммунизма. Во всем, даже в забавах и развлечениях. Именно после смерти Сталина в Кракове начались перемены. Прежде всего в Доме литераторов. Я уже не помню, кому в голову пришла эта идея, но в столовой — переименованной потом в кафе — стали устраивать неофициальные сатирические вечера. Каждую субботу там собиралось из-

бранное общество — ужинали, слушали сатирические произведения в исполнении коллег-писателей. А потом — страшно подумать! — танцевали.

Сатирические программы готовили более пожилые писатели. Они тогда казались мне дряхлыми. На самом же деле пребывали в расцвете сил. Так получилось, что я среди них был единственным молодым — по крайней мере до некоторых пор. Когда началась моя ресторанная карьера, мне не исполнилось и двадцати трех. Наименование "сатирик" прилипло ко мне прежде, чем меня стали считать писателем. Впрочем, я ничего не имел против. В общем, я начал участвовать в сатирических вечерах. Стал популярным, и моя слава захватила более широкие круги — Краков был тогда маленьким городом.

Пристанищем для тех, кто ложился спать утром, служили три ночных ресторана: "Варшавянка", "Французский отель" и "Феникс". За одну ночь, бывало, мы большой компанией наведывались во все три по очереди. Как говорит само слово, общественная жизнь требует общества. Круг моих знакомых быстро расширился. Я имею в виду не только тех, кого каждую ночь встречал в кабаках, но и более поверхностные знакомства. Например, университетских профессоров, с которыми раскланивался на улице. А также тех, кто со всеми на "ты", целыми днями сплетничают по телефону и часто попадаются на глаза — опять же ночью, в тех же ночных ресторанах. Таких в Кракове было очень много.

Где компания — там и бутылка. С этим у меня проблем не было. Правда, я приобщился к крепким напиткам поздно, на двадцатом году жизни, но потом наверстал. Когда переехал в Варшаву, у меня к полудню уже начинали дрожать руки — значит, если не выпью хоть рюмочку, будет плохо. За границей это прошло. <...>

Прощание с "Дзенником"

Весной 1955 года случилось неслыханное — Международный фестиваль молодежи в Варшаве. Впервые на две недели открыли границы, впустив в Польшу разномастную молодежь. Прогресс был ошеломительный — этого не понять будущим, уже более нормальным поколениям. А мы тогда в Польше восприняли это как предвестие далеко идущих, почти революционных перемен. <...>

Я продолжал работать в "Дзеннике". Для молодого, но уже продвинутого журналиста не составило труда попасть в число участников фестиваля. <...> Все было бы терпимо, если бы не наш национальный вечер во Дворце культуры и науки[1].

И сегодня четко всплывают в памяти залы Дворца, сотня одинаково одетых полек и поляков, взявшихся за руки и поющих бессмертную песенку "Шла девчонка во лесочек, шла девчонка во зеленый..." Я вовсе не мечтал петь эту песенку, тем более — сплетя с кем-то руки. Но меня поразила ситуация в целом: я, впавший в детство кретин двадцати четырех лет, держусь за ручки с такими же впавшими в детство поляками и польками

1. Дворец культуры и науки имени И. В. Сталина, сооруженный в Варшаве в 1953 г., — родная сестра московских высоток, подаренная Польше Советским Союзом.

и резво отплясываю, распевая: "...во лесочек, ха-ха-ха, во зеленый, ха-ха-ха". И все это – во дворце из поддельного золота и искусственного камня. Впечатление, что кто-то делает из меня дурака, было настолько сильным, что, охваченный яростью, я старался понять, кто это, и готов был его убить. В то же время я не мог эту ярость показать и кривил рот в фальшивой улыбке перед публикой, представляющей "молодежь всего мира". Эта молодежь окружала нас со всех сторон и бурно аплодировала. Я улучил момент и исчез.

Первым последствием этих событий был мой уход из газеты, что потребовало немалой дипломатии. Получив аудиенцию у главного редактора, я попросил об отставке. Излагая свои аргументы, плел всякий вздор. А речь шла просто о свободе. Так сложилось, что на взлете карьеры журналистика меня уже не интересовала. Это была правда, но я не хотел обижать коллег, и, кроме того, царящее вокруг лицемерие заставляло меня принять позу: "я слабенький, не бейте меня". Мысль, мучившая меня во Дворце культуры и науки, прояснилась: дурака из меня делает не кто-то, а я сам. Визит в редакцию и явился результатом этих размышлений. Но чтобы высказать все до конца, нужно было подождать смены режима.

Я не был сумасшедшим и не желал лезть на рожон. Перед глазами у меня был пример – человек, в сопротивлении режиму зашедший дальше всех, мой недавно скончавшийся гениальный ровесник Януш Шпотанский, философ, математик и шахматист. За свое сопротивление Януш заплатил тюрьмой: он распространял среди знакомых сатирические поэмы, и кто-то на него донес. Я понимал, что в Польше очень важно принадлежать к какой-нибудь организации и иметь членский билет. Тогда сохранялся шанс, что организация защитит тебя, если возникнет такая необходимость. Вот я и заменил журналистику на куда более престижную профессию, впрочем уже давно мне знакомую. Моей "высшей инстанцией" стал Союз польских писателей.

Таким образом, после четырех лет пребывания в Союзе статистом я стал его полноценным членом. То есть формально согласным с его идейными принципами. Такова тогда была судьба польских литераторов.

Я обрел относительную свободу, и мне все больше везло. Забросив ненавистную публицистику, начал писать фельетоны и рассказы в общепольскую периодику. "Пшекруй" продолжал печатать мои рисунки. Альбомы рисунков выходили и в издательстве "Искра". Через год я опубликовал иллюстрированную повесть под названием "Бегство на юг". Зимой 1956 года написал повесть "Короткое лето". Но заговорить с миром и самим собой до конца откровенно я смог только в эмиграции. <...>

Поездка в Россию

Это была моя первая поездка за границу, не считая нескольких дней в Словакии. И первая в истории заграничная туристическая поездка, организованная "Орбисом" – государственным турагентством. <...>

Россия запомнилась мне по двум причинам. Во-первых, я испытал там новое для себя ощущение пространства. Во-вторых, уже в поезде познакомился со своей будущей женой.

Маршрут пролегал через Москву, Киев и Одессу. В Одессе мы пересели на пароход. Один день отдыха на рейде в Ялте – и финальная пристань в Батуми. Проведенная там неделя была насыщена экскурсиями. Потом мы вернулись в Одессу, а оттуда поездом в Москву и Варшаву.

В течение двух недель я словно пребывал в лихорадке, а в Одессе, на знаменитой лестнице, испытал левитацию. Чувство простора, свободы и неограниченных возможностей охватило меня с необычайной силой. Я вдруг вспомнил, что еще молод и все у меня впереди. Кто бы подумал, что мое бегство на Запад семь лет спустя началось на Востоке. <...>

Возвращался я из России иным человеком, сам еще о том не зная. Мария Обремба – моя будущая жена – была уроженкой Силезии. Ее отец, впоследствии врач, участвовал в Силезском восстании как адъютант Корфанты[1]. Бабушка говорила только по-немецки, но ее крестьянская семья из "зеленой" Силезии сохраняла польский дух. Мать – из Познани. Насколько я помню, она совершила мезальянс, выйдя замуж за крестьянского сына, о чем не переставала ему напоминать. В 1939 году отец Марии, известный к тому времени в Катовице врач, вынужден был бежать, скрываясь от гестапо. После войны он вернулся домой, но вскоре умер. Мария часто ездила в Варшаву – навестить сестру-близняшку. Она закончила Академию художеств и периодически работала в разных местах, но главным образом занималась живописью, что в эпоху соцреализма было делом нелегким.

По возвращении в Польшу мы поддерживали знакомство. Я бывал в Катовице чаще, чем она в Кракове, из-за микроскопических размеров моей каморки на Крупничей. Ее квартира, еще довоенная, даже после "уплотнения" оставалась более-менее просторной.

Пока мы путешествовали по России, в Польше совершилась почти-революция, названная в польской прессе "познанскими событиями". После очередного повышения цен на предметы первой необходимости рабочие в Познани подняли бунт. Сожгли ненавистное здание УБ и освободили заключенных. Несмотря на полное отсутствие информации, казалось, что вот-вот вся страна присоединится к Познани. Однако милиция и армия жестко расправились с бунтарями. Погибло много людей, до сих пор никто не знает сколько, и председатель Совета министров – некий Циранкевич[2] – торжественно заявил: "Каждый провокатор или безумец, который отважится поднять руку на народную власть, должен твердо знать, что эта рука будет отсечена". <...>

Жизнь после Октября[3] становилась все интересней. Историки утверждают, что перемены начались уже раньше, после знаменитого доклада Хру-

1. Войцех (Адальберт) Корфанты (1873–1939) – лидер движения за независимость Силезии от Германии (1919–1921). После ожесточенной борьбы восставших поляков с германскими войсками по решению Совета Лиги Наций от 17.10.1921 г. юго-восточная часть германской Верхней Силезии с центром в Катовице вошла в состав Польши.
2. Юзеф Циранкевич (1911–1989) – премьер-министр Польской Народной Республики в 1947–1952 и 1954–1970 гг.
3. "Польский Октябрь" – период послаблений коммунистического режима (так называемая оттепель Гомулки), наступивший после 8-го пленума ЦК ПОРП (октябрь 1956 г.), на котором Первым секретарем ЦК был избран возвращенный из опалы В. Гомулка. События эти связаны с разоблачением в СССР культа личности Сталина на XX съезде КПСС.

щева. В Польше впервые издали "Злого" Леопольда Тырманда[1]; роман имел оглушительный успех. Блестящую карьеру делал Марек Хласко[2]. Оживала частная инициатива. Каждый день мы обедали в новом ресторане на Славковской или в ресторане "Под грушей" – на углу Щепанской. В обоих невозможно было отыскать свободное место, поскольку их посещали люди незаурядные, многообещающие – и притягивали других. Краковская публика все охотнее причисляла меня к таковым. Каждый день до четырех утра мы крепко пили в "Варшавянке". Некоторые – до потери сознания. Лешек Хердеген пожинал лавры в Старом театре. Наступил золотой период кабаре "Пивница под Баранами"[3]. Множились концерты, спектакли, балы, увеселения. Абстракционизм все смелее проникал в театр, литературу и живопись. Люди называли репродукции абстрактных картин "пикáссы", понятия не имея о знаменитом художнике. В воздухе ощущалось революционное настроение, хотя из осторожности никто об этом не говорил. Жизнь нам улыбалась.

Активно сотрудничая с "Пшекруем", я вел еще и сатирическую рубрику "Прогрессист" в ежедневном "Дзеннике польском", а после – в еженедельнике "Жиче литерацке". Принял предложение писать театральные рецензии в вечернюю газету "Эхо краковске". Постоянно писал рассказы – был завален работой.

И все меньше принимал участие в партийной жизни. Секретный доклад Хрущева поверг в шок ПОРП и другие коммунистические партии Европы. Польская партия на время утратила былую уверенность. Этому способствовали многочисленные скандалы, в первую очередь скандал со Святлым – давним функционером УБ, который бежал в Америку, – да и робкая демократия последнего года тоже сделала свое дело. Партия пребывала в растерянности, поспешно менялись первые секретари, затевались разные реформы. Для таких, как я, – идеальный момент, чтобы исчезнуть. Свою принадлежность к партии я все больше ощущал как недоразумение, однако от этого она не переставала оставаться фактом. <...>

В конце 1957 года в Кракове появились Цибульский и Кобеля[4]. Они пригласили меня участвовать во второй программе студенческого театра "Бим-Бом", слава которого в Польше бурно росла.

Так я оказался в Сопоте, в "Гранд Отеле". "Бим-Бом", межвузовский театрик в Гданьске[5], находился под опекой многих солидных организаций – таких, как СПМ[6], вузовский совет, ректорат и неизбежная ПОРП. Но в тот период цензура ослабела, почти не давала о себе знать, и "Бим-Бом" делал что хотел. Уже само название говорило, что театр достаточно аполитичный, работающий в жанре юмора и сатиры – тогда это являлось сенсаци-

1. Леопольд Тырманд (1920–1985) – прозаик и публицист, необычайно популярный в Польше в 1950-е гг.; в 1965 г. эмигрировал, жил в США.
2. Марек Хласко (1934–1969) – писатель и публицист. С 1958 г. жил в эмиграции – в Германии, Израиле, США. Его произведения публиковались в "ИЛ" (1991, № 9; 1992, № 8-9; 1993, № 12; 2000, № 2).
3. Краковский погребок "Под Баранами" – легендарное кабаре, которое основал и вплоть до самой смерти бессменно возглавлял Петр Скшинецкий. В 2006 г. отметил свое 50-летие.
4. Збигнев Цибульский (1927–1967) – знаменитый актер, режиссер; много и успешно снимался в кино ("Пепел и алмаз" и др.). Богумил Кобеля (1931–1969) – актер театра и кино. Вместе с Цибульским основал в Гданьске студенческий театр "Бим-Бом".
5. Гданьск, Сопот и Гдыня составляют единый городской конгломерат "Труймясто" (тройной город).
6. Союз польской молодежи.

ей, — и весьма сентиментальный. Главным двигателем там был Збигнев Цибульский, выполнявший обязанности директора, а ближайшим его соратником — Богумил Кобеля. Оба — профессиональные актеры, но сами участия в представлениях "Бим-Бома" не принимали. Актерами там были любители, студенты разных факультетов из разных институтов. <...>

Мы собирались в составе: Кобеля, Вова Белицкий, Яцек Федорович, иногда и Цибульский. Сидели часами, разговаривая о чем угодно, и незаметно вырисовывалась программа будущего спектакля "Серьезная радость". Эта программа казалась нам вершиной утонченного поэтического искусства, хотя, по сути, она укладывалась в строгие рамки конкретной эпохи. И использовала характерный для тогдашней публицистики прием типа "социализм с человеческим лицом".

То и дело к нам подсаживались разные люди. Рассказывали несколько пустячных историй, пару анекдотов и исчезали, уступая место другим. Время от времени кто-нибудь из нас выдавал новую идею; чаще всего ее отвергали, в исключительных случаях — принимали. Подсознательно — а может, и сознательно — мы гонялись за идеями, даже когда каждый оставался наедине с собой. И сразу же спешили поделиться с остальными. По моему опыту, так вообще создаются программы кабаре. <...>

Близился день премьеры, напряжение нарастало. До нас доходили слухи, будто в театр собирается вся местная интеллигенция. От желающих не было отбоя, администрация не успевала отвечать на звонки, артисты все сильнее мандражировали. Но больше всех волновался я. Ведь это был мой сценический дебют. Когда наступил торжественный вечер, я уселся — проявив излишнюю, как оказалось позже, скромность — среди публики. Не сомневался, что по окончании спектакля кто-нибудь вызовет меня на сцену и я буду кланяться под крики "браво", утопая в цветах среди прекрасных поклонниц. Но я недооценил авторскую ментальность. Каждый из авторов представления жаждет быть первым, а если это не удается, то скрепя сердце готов разделить успех с каким-то одним партнером, ну, может, с двумя, в крайнем случае с тремя, но — упаси господи — уж никак не с четырьмя! Так что, если один из авторов уселся в зрительном зале и не позаботился о том, чтобы самолично появиться на сцене, — тем лучше для остальных.

А успех был воистину огромный. И гремели аплодисменты, и прекрасные женщины обступили авторов — но, увы, все это без меня. С тяжелым и горьким чувством я уехал в Краков.

В Кракове, как только я сошел с поезда, в голову мне пришла прекрасная мысль: напишу-ка я пьесу, все равно какую, и буду пожинать лавры сам. Правда, на ту пору ни одной пьесы я не написал, но был у меня замысел, который не годился для рассказа, зато для пьесы подходил в самый раз. И я решил приступить к делу.

Мой первый театр

Я поехал в Собешув, в не существующий уже нынче пансионат. Я всегда любил Воссоединенные земли, поскольку все там немецкое и можно во-

ображать, будто ты за границей. Местность была довольно гористая и лесистая, пансионат располагался в парке, отдыхающих мало — точно не помню сколько, ибо писал, как в трансе, шесть дней и ночей, пока не вывел слово "Конец". Мой рекорд в сочинении пьес.

Завершив работу над пьесой (она называлась "Полиция"), я почувствовал облегчение и одновременно радикальную перемену. Хотя это была комедия, я впервые ощутил себя настоящим писателем и с тех пор никогда в этом не сомневался. Результат превзошел все ожидания и принес мне много радости. Театр в Польше был тогда важнейшим из искусств — причина крылась прежде всего в его массовости и в умении обходить цензурные ограничения. Обладая необходимыми способностями творить для театра и наивно веруя, что эти способности будут сохраняться вечно, я чувствовал себя властелином Вселенной.

Вернувшись в Краков, я переписал текст и занялся его распространением. Я понимал, что пьеса — свежая, новаторская и заслуживает немедленной постановки. Отнес ее в Старый театр и стал ждать восторженного ответа.

Между тем ответ пришел не сразу. Директор театра, с которым меня связывало отдаленное знакомство — в Кракове все как-то знают друг друга, — собственноручно написал, что пьеса, в общем, неплоха, но не лишена недостатков, и, чтобы эти недостатки исправить, он предлагает мне встретиться. Выправленная по его советам пьеса будет подписана этим директором и мной — и поставлена в его театре.

Прочитав все это, я не мог удержаться от смеха, но одновременно испытал настоящий триумф. Не ответив на письмо, я послал "Полицию" в Варшаву, Адаму Тарну, недавно назначенному редактором журнала "Диалог". Немедленно пришла телеграмма примерно такого содержания: "Пьеса отличная. Предлагаю Театр драматычны в Варшаве. Прошу приехать оговорить условия".

Пьесу я завершил в марте. Театральный сезон продолжается до конца июня, после чего театры приостанавливают работу до 1 сентября. Значит, премьера должна состояться не позднее конца июня, но для "проката" спектакля останется мало времени. Вскоре я начал догадываться, с чем была связана поспешность Адама Тарна: продолжающаяся два года "оттепель" шла к концу. <...>

В конце июня я снова отправился в Варшаву — на премьеру. Каждому неврастенику, который постоянно терзается по поводу своей горькой судьбы, советую написать пьесу и поставить ее в театре. Театр драматычны в Варшаве, помещающийся во Дворце культуры и науки, не видел человека более счастливого, чем я. Зрители сползали с кресел от смеха и ежеминутно аплодировали. С каждым антрактом возбуждение росло, и в конце третьего акта, когда сержант произнес последнюю фразу: "Да здравствует свобода!", повисла тишина, а потом ее обрушил единодушный и долго не прекращавшийся шквал аплодисментов. Меня вызвали на сцену, я кланялся вместе с актерами бессчетное количество раз, давал интервью за кулисами, и Свидерский — режиссер спектакля — вывел меня через боковой выход, чтобы уберечь от толпы неожиданных почитателей, которые два часа назад знать не знали о моем существовании. Все, что было для меня самым важным, произошло. <...>

В 1959 году мы с женой переезжали в Варшаву. В Кракове мне оставалось сделать только одно — порвать с Польской объединенной рабочей партией. Помог случай: на улице я встретил Владислава Махеека, нашего первого секретаря, и он предложил мне написать "что-нибудь" об Америке (откуда я недавно вернулся) в "Жиче литерацке". Я обещал и заодно попросил принять меня по неотложному делу. Он сказал, чтобы я пришел в резиденцию ПОРП на углу Рыночной площади и Висленской улицы, и назначил дату. Из этого самого здания ПОРП, которая называлась тогда ПРП, стреляли по мне и моим товарищам 3 мая 1946 года, когда мы митинговали против партии и правительства. <...>

В назначенный день я захватил с собой членский билет ПОРП и отправился на встречу. Память, случается, подводит, но иногда воспроизводит события с мельчайшими подробностями. Точной даты не помню, но знаю, что был октябрь и день стоял солнечный. После проверки документов на проходной я поднялся на второй этаж и вошел в просторную комнату с высоким потолком. Махеек сидел за столом, я сел напротив. За окном было еще светло, так что могло быть часа четыре дня. Я подтвердил обещание написать "что-нибудь", а потом достал партбилет, положил его на стол и сказал:

— Вот вам мой билет.

Он не удивился. Кажется, был с похмелья. Взял билет и тупо на него посмотрел.

— Ну, я хотел бы выйти из партии, — пояснил я.

— А может, еще передумаете? — спросил Махеек без особой уверенности.

— Э-э-э, нет.

Махеек одной рукой выдвинул ящик, другой — положил в него мой билет и закрыл ящик. Я не верил собственным глазам. Это было все.

— Пишите этот ваш репортаж.

Я вышел, пьяный от счастья. <...>

Коротко о дальнейшем

Мария Обремба, моя жена и друг, прожив еще десять лет, внезапно скончалась в годовщину нашей свадьбы, 31 октября 1969 года. Причина — скоротечный рак. От первого симптома до кончины прошло всего восемнадцать дней. Ее похоронили в Западном Берлине, а позже, благодаря хлопотам ее сестры и с моего согласия, перезахоронили в Катовице.

Когда еще в Варшаве я сообщил ей о своем намерении вместе уехать на Запад и там остаться — а мы тогда не знали, какое будущее нас ждет, — она сказала:

— Лучше драить полы там, чем оставаться тут.

Добавлю, что это было через два с половиной года после нашего переезда в Варшаву и, благодаря моей карьере, мы ни в чем не нуждались.

Мы уехали из Польши 8 июня 1963 года, якобы чтобы провести отпуск на западном берегу Лигурийского моря, но возвращаться не собирались — решили остаться в одной из европейских стран. Пять лет я торговался с властями Народной Польши, настаивая на своем, пока на-

конец, устав от их жульнических уловок, не попросил убежища во Франции. В этом мне помогло участие Польши во вторжении в Чехословакию в рамках Варшавского договора.

В октябре 1987 года, в Париже, я женился второй раз – на Сусане Осорио. В конце 1989 года мы покинули Париж и поселились в горах, в шестидесяти километрах к западу от Мехико-Сити. И прожили на фазенде семь лет, пока обстоятельства не вынудили нас навсегда вернуться в Польшу[1].

Валтасар

В декабре 2003 года я ненадолго приехал в Париж. <...> Там мне привиделся сон...

Мне снилось, что мои имя и фамилия значатся по-польски на служебном бланке. Буквы, которые я хорошо помню, были напечатаны на принтере. Одновременно прозвучал голос, словно ниоткуда. Голос сообщил, что вскоре меня ждет длительная поездка за границу. Прилагающийся документ я возьму с собой. По прибытии на место предъявлю его местным властям. Потом власти исполнят все, что я от них потребую, но с одним условием: я никогда больше не воспользуюсь своим настоящим именем и фамилией. Мое имя теперь будет Валтасар.

Проснулся я под впечатлением от этого сна. Валтасар... Я никогда не был в восторге от своей фамилии. Она сопутствовала мне как скучная необходимость. Позже, уже начав писать, я сохранял ее как отцовское наследство. До момента, когда меня поразила афазия.

Афазия

Событие это – вернее, катастрофа – связано с кровоизлиянием в мозг, которое я перенес воскресным утром 15 мая 2002 года. Я сидел за столом и писал, не помню уже что. И вдруг со мной что-то произошло. Я пытался продолжать писать, но мне становилось все хуже. Тогда я пошел в спальню и лег. Временами терял сознание.

Сусана первая поняла, что нужны срочные меры, и позвонила доктору Кшиштофу Струзику. К счастью, он оказался дома. Совершенно не помню, как он появился. Помню только, что я стоял на улице, на ярком солнце, и ждал "скорую". Мне было жаль этого дня – я знал, что он уже не вернется никогда. Лежа в машине "скорой помощи", я смотрел на голубое небо. Меня охватило полное равнодушие. Машина остановилась. Помню какие-то коридоры, переходы, склонявшиеся надо мной лица, все время новые. Все было путано и хаотично.

1. В газете "Жечпосполита" от 10.04.2008 появилось сообщение о том, что Славомир Мрожек уезжает из Польши.
– Да, я намерен поселиться в Ницце и провести там остаток дней, – сообщил корреспонденту этой газеты выдающийся драматург, прозаик и сатирик. – Мне уже под 80, пора и отдохнуть. В Ницце хороший климат.
– Но только ли достоинства французского климата – причина переезда? В Кракове поговаривают, будто вам давно не по душе то, что происходит в Польше, в особенности – правление партии "Право и Справедливость", два года пребывавшей у власти.
– Я ожидал этого вопроса. Уверяю вас, я стремлюсь только к покою, – сказал репортеру "Жечпосполитой" Славомир Мрожек. – Я живу здесь уже 13 лет. Любой человек, даже поляк, имеет право на отдых.

Началось самое скверное. Вокруг меня безостановочно двигались какие-то безобразно изуродованные предметы. Плыли — то до бесконечности раздуваясь, то съеживаясь до ничтожных размеров, — и я никакими силами не мог удержать их на месте. Что-то боролось во мне за сохранение пропорций, но каждый миг я рисковал провалиться в небытие. И вдруг неожиданно увидел самого себя. Моя фигура появилась в дверях, а потом начала медленно перемещаться вдоль кроватей. Сестры не обращали на нее внимания. Оказавшись возле своей кровати, я с облегчением лег. Тогда одна из сестер поставила мне капельницу. Я был спасен.

Даже уже начав в больнице ходить рядом с кроватью, я оставался вне реальности. Я не осознавал, что лишился речи. В ответ на приветливые слова сестер вежливо улыбался, и мне казалось это достаточным. Все вокруг были очень предупредительны. Позже я понял почему. Мне подсовывали простые детские упражнения, которые я выполнял или нет, в зависимости от самочувствия. Но я еще не знал, что потерял способность пользоваться языком — и устно, и письменно. Складывал кубики, не понимая, как это важно для моего дальнейшего восстановления после инсульта. Сусана хлопала вместе со мной в ладоши, будто забавы ради, и считала со мной от одного до десяти, а когда выдавался хороший день — от десяти до одного. Принесла мне складную карту Европы для детей до семи лет. Карта была поделена на несколько частей, и я должен был правильно сложить их. Что получалось не сразу.

Потом стали приходить специалисты по физиотерапии, и я убедился, что упражнения, раньше казавшиеся пустяковыми — не о чем и говорить! — теперь для меня — проблема. Появились также различные остроумные устройства, вроде бы простые в обращении — с их помощью ко мне должна была полностью вернуться точность движений, — но справиться с ними было не под силу. А когда начали приходить разные логопеды, я взбунтовался. Не отвечал на вопросы и притворялся немым — каковым на самом деле и являлся. И вскоре эти люди исчезли.

Каждый день около десяти утра в палату вплывал ритуальный кортеж с шефом клиники во главе. За ним шли врачи и врачихи разных специальностей, а в хвосте — студенты. Я заметил, что армия и больница не благоприятствуют демократии.

Наконец наступил день моего возвращения домой. Перед дверьми я попросил ключ — после столь долгого отсутствия хотел войти в квартиру первым. Но не смог ни выключить сигнализацию, ни повернуть ключ в замке, так что это сделали за меня. Потом я сразу подошел к телефону и попытался позвонить, но не сумел набрать нужные цифры, так что и эту затею пришлось оставить. Я присел на стул, но когда спустя минуту встал, все закружилось. Я еще не знал, что моя способность к восприятию окружающего мира, различению противоположных понятий — таких, например, как верх — низ, право — лево, — а также к определению расстояния или времени стала весьма ограниченной. И понял, что теперь должен тяжело трудиться, чтобы вернуть утраченное. Вот итоги моего поражения:

Я знал несколько иностранных языков. После возвращения из больницы выяснилось, что не могу говорить ни на одном.

Польский, мой родной язык, вдруг стал недоступным. Я не мог составить ни одного осмысленного предложения.

Я мог читать, но не понимал того, что читаю.

Я разучился пользоваться пишущей машинкой, компьютером, факсом, телефоном. Не знал также, как пользоваться кредитной карточкой.

Я не умел считать и не мог ориентироваться в календаре.

Необходимость выйти на улицу вызывала во мне решительное сопротивление. Я панически боялся встречи с чужими.

Единственное, что у меня сохранилось, — это умение слушать музыку. Я почувствовал, что понимаю ее теперь гораздо лучше, особенно если закрываю глаза.

Видя мою апатию, доктор Кшиштоф Струзик порекомендовал мне сотрудничество с логопедом — пани Беатой Миколайко. Я очень хотел снова писать, поэтому лечение требовалось необычное. Мы начали с кропотливого повторения, запоминания и составления первых правильных фраз. Мне необходимо было побороть страх перед людьми и перед внешним миром. Преодолеть апатию и начать действовать. Первые успехи — правильные ответы на заданные вопросы, а также адекватная ориентация во времени и пространстве и способность прокомментировать происходящее вокруг — позволили мне поверить, что я преодолею афазию и вернусь к профессии. <...>

Старость

Пока человек молод, он пытается обогнать мир. Потом едва поспевает шагать с ним в ногу, и наконец — мир начинает его обгонять.

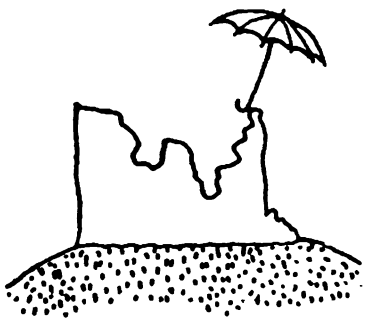
Еще в Мексике, находясь в полной изоляции, я об этом не думал. Делал свое дело — все остальное меня не касалось. Но после возвращения в Европу и Польшу я оказался в гуще непростой действительности — необходимо было как-то с этим справляться. Что не всегда удавалось. Поначалу я оставался в моде, что казалось мне естественным результатом моего долгого отсутствия — в течение тридцати трех лет я напоминал о себе весьма скупо. На улаживание простых, но жизненно важных дел ушло каких-нибудь три года. Я занимался жильем, бумагами и прочими земными, будничными проблемами. Только потом смог осмотреться и понять, что, в сущности, я старею.

Неожиданно "на помощь" пришла афазия. Она подействовала на меня как самоубийство — хоть и неудавшееся, но оставившее неизгладимый след. Поменяв имя и подписываясь "Валтасар", я открыто признаюсь в собственном несовершенстве. С этого момента меня нельзя ни хвалить, ни осуждать за все, что я написал до афазии, поскольку того человека уже нет.

Другое дело — моя принадлежность к Польше. Что бы я впредь ни написал, без сомнения, будет принадлежать Польше. А совсем еще недавно бывало по-разному. Привыкший к свободе и еще полный сил, я не мог свыкнуться с мыслью, что Польша — моя судьба. Но теперь могу говорить и писать только по-польски и испытываю облегчение как человек, после долгих скитаний вернувшийся в родной дом.

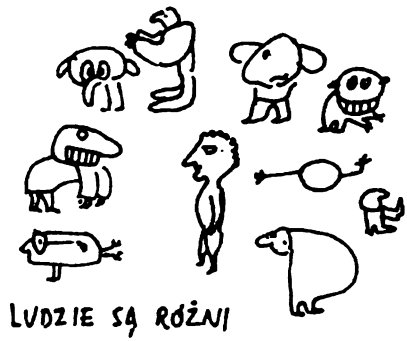
Человек глазами Славомира Мрожека

Карикатуры



А вы почему не такой, как все?

У вас, наверное, внутри пусто

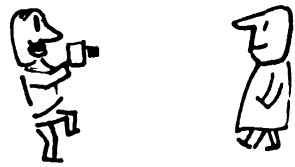


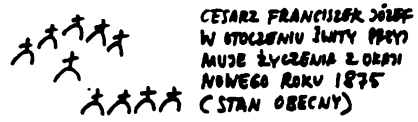
Все люди разные

Нам, пожалуйста, один бинокль на двоих

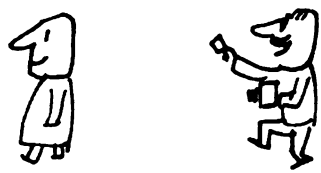
Вождь, веди нас за собой!

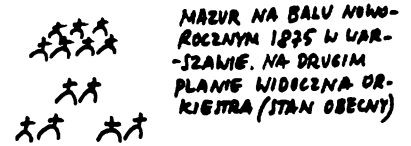
© 1993 Diogenes Verlag AG Zürich



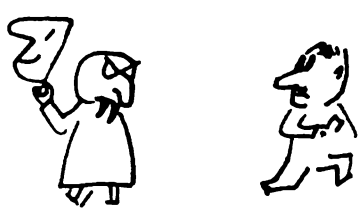


Император Франц-Йозеф в сопровождении свиты принимает поздравления с новым 1875 годом (состояние на сегодняшний день)

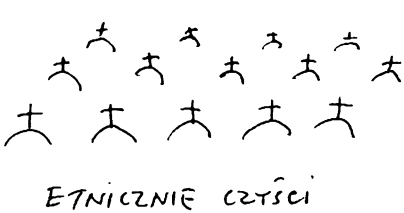




Новогодний бал 1875 года в Варшаве – мазурка. На втором плане – оркестр (состояние на сегодняшний день)



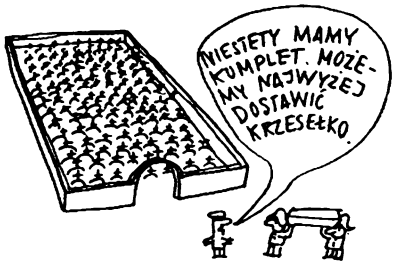
Славомир Мрожек в 1875 году



Этнически чистые

И перестань наконец действовать мне на нервы!

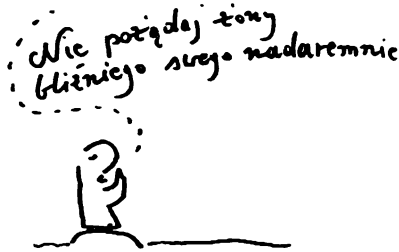
Метек в отпуске, Юзек уехал с делегацией, Тенка жена не пускает, а ты, как всегда, выкрутился



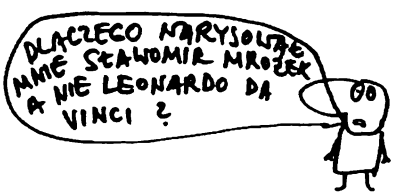
У нас все места заняты. Можем предложить только стул.

– А вы что, воскресать не собираетесь?
– Ищи дурака!

Поговорим серьезно: я не с вами, но и не против вас



Не желай жены ближнего твоего понапрасну



Почему меня нарисовал Славомир Мрожек, а не Леонардо да Винчи?

Если глаз твой соблазняет тебя, значит, ты смотришь на что-то красивое

Не вижу оснований оскорблять человека

Со Славомиром Мрожеком беседует Ежи Кёниг[1]
(фрагменты)

Перевод К. Старосельской

Ежи Кёниг. Я думаю, ты счастливый человек, — говорю это без тени зависти. Можешь меня поправить, если сочтешь нужным. Ты — фигура известная, даже очень, но известно о тебе очень мало.

Славомир Мрожек. Ради такого счастья пришлось немного потрудиться. Я старался, чтобы обо мне знали не слишком много.

Е. К. И вправду, не важно, какой цвет больше нравится писателю — желтый или красный, — важно, что́ он пишет. Для тех молодых людей, кто сегодня читает, смотрит пьесы и изучает творчество Мрожека, Славомир Мрожек — классик, притом современный. Могу ли я спросить тебя о твоих адресах — но с конца? Сейчас это Мексика[2], перед тем был Париж, авеню Франко-Рюсс.

С. М. Париж был долго — двадцать два года, перед тем была Италия (Генуя, виа Прандина, 18), был год в Западном Берлине (Маттерхорнштрассе), были адреса в Соединенных Штатах — и это, кажется, все. А когда-то была еще Варшава, Пекарская улица, до того — Хелмская, еще раньше был Краков, а совсем давно — две деревни, которые я могу назвать родными, потому что с ними имели что-то общее мои родители, — ну вот, теперь всё.

Е. К. Молодой человек из провинции попал в другое полушарие... <...> Думаю, сегодня Славомир Мрожек уже не тот для нас, тех, кто вместе с ним рос и читал "Слона" или "Прогрессиста"[3]. Читая твои первые пьесы, мы осваивались с окружающей действительностью. Думаю, ты — вольно или невольно — очень помогал нам понять, что же вокруг происходит. Выражаясь несколько патетически: для нашего поколения Мрожек был писателем, который спасал нас от шизофрении, то есть позволял видеть действительность такой, какой она была: жестокой, но и смешной. <...>

С. М. Все не так однозначно. Я не стремился стоять в сторонке, смеяться и издеваться. В моем случае насмешка маскировала собственную психическую ущербность, даже отчаяние. Вообще юмор часто становится способом "держать фасон", и касается это не только отдельных личностей, но и целых народов. Много говорят о еврейском или армянском юморе, однако существует и польский юмор. Говорят также о юморе Центральной Европы, хотя чаще его называют восточным. И во всех

© К. Старосельская. Перевод, 2008

1. Ежи Кёниг (р. 1931) — польский театральный критик, публицист, русист. (*Здесь и далее — прим. перев.*)
2. Беседа состоялась в 1994 г.
3. "Слон" — один из первых рассказов Мрожека (1956). С 1956 по 1960 г. Мрожек вел в разных газетах и журналах пародийно-сатирическую рубрику "Прогрессист".

этих случаях речь идет о народах, отягощенных горьким опытом, которые насмешничали, чтобы сохранить чувство юмора, что в свою очередь помогало сохранять психическое равновесие. <...>

Е. К. Твой дебют как драматурга в 1958 году — я имею в виду "Полицию" — состоялся в не слишком благоприятных обстоятельствах. Ты решил стать драматургом, хотя отношения с директорами театров у тебя складывались не наилучшим образом. <...> Потом вмешалась цензура: тебе предложили немного изменить название: сделать "Полицейских" вместо "Полиции". Это важное изменение?

С. М. Для меня — очень важное. <...>

Е. К. "Полиция" и последующие, быстро появлявшиеся одна за другой пьесы все-таки попадали в разные театры, где их интерпретировали самым невероятным образом.

С. М. Я с большим вниманием отношусь к интерпретации своих текстов. И поэтому стараюсь давать подробные разъяснения постановщикам. Для одних пьес это очень важно, для других — не очень, а для некоторых совсем не важно.

Е. К. В ближайшее время состоится премьера "Любви в Крыму"[1]. Театр, который хочет поставить пьесу, должен принять твои условия, состоящие из десяти пунктов[2]. Написанных серьезно, но с чувством юмора. <...>

С. М. Требования мои достаточно скромны: от режиссера не требуется ничего необычайного. Я с большим уважением отношусь к режиссеру и его месту в театре, но, если он не способен представить себе то, что́ я хочу сказать, значит, он просто не годится для своей роли. <...> Что бы я ни делал, у меня всегда есть практические основания, соответствующие конкретной ситуации. Я практик, а не теоретик. <...>

Е. К. Потом настал 1965 год — очень важный в истории Славомира Мрожека и в истории польского театра: тогда появилось "Танго". Ты сознаешь, что "Танго" ознаменовало собой довольно резкий поворот в твоем творчестве?

С. М. Да. Это была моя первая пьеса, написанная после того, как я уехал из Польши. Последствия отъезда были для меня весьма драматичны, особенно в первые годы. Уехал я в 1963 году. И считал, что обязательно должен что-то написать. Писал в совершенно новых для себя условиях: в убогой комнате, не имея уверенности в завтрашнем дне... Я пребывал в страшном напряжении и поэтому написал "Танго" очень быстро. В иных условиях, здесь, в Польше, так быстро я бы не справился.

Я тогда уже был другим, и пьеса получилась другая. <...> "Танго" до сих пор играют, у него есть зритель. Речь там идет об отношениях между разными поколениями.

Е. К. Там есть попытка объяснить, что такое прогресс. Устами Эдека Славомир Мрожек говорит: "Передом вперед". Это серьезная пьеса, в которой много смешных реплик, ставших расхожими цитатами. В своей тогдашней рецензии я написал: "Антоша Чехонте стал Антоном Че-

1. Опубликована в "ИЛ", 1994, № 10. Перевод Л. Бухова.
2. Премьера "Любви в Крыму" состоялась в краковском Старом театре в 1994 г. Предполагалось, что спектакль будет ставить Ежи Яроцкий, однако он не согласился с предложенными Мрожеком десятью пунктами, и постановку осуществил Мачей Войтышко; в том же году пьеса была поставлена Эрвином Аксером во Вспулчесном театре в Варшаве.

ховым" — разумеется, это относилось к Мрожеку. Вообще в твоих пьесах есть что-то чеховское. Я прав?

С. М. Да. Я вообще писатель камерный, буря — не моя стихия. У меня больше общего с Чеховым, чем с Ионеско.

Е. К. Твоя последняя пьеса — "Любовь в Крыму". У Чехова был дом в Крыму, очень безвкусный. В том, что он там писал, ясно ощущается жестокость. Пристало ли быть жестоким драматургу, родившемуся к востоку от Запада и к западу от Востока, как сказал бы Славомир Мрожек?

С. М. Жестокость... Смотря что под этим понимать. Жестоко причинять кому-то страдания ради собственного удовольствия. Если принять это определение, то ни Чехова, ни меня жестокими назвать нельзя.

Е. К. Я это понимаю иначе. Человек страдающий — смешон. Можно быть смешным и одновременно страдать.

С. М. Страдание стоит в опасной близости к гротеску. Однако не будем заходить так далеко.

Е. К. Принято считать, что драматургия XX века — за исключением Чехова — принесла мало нового. Чехов писал о людях, разговаривающих друг с другом.

С. М. Драматурги, как правило, стараются убедить всех, что люди друг с другом не разговаривают. Я так не думаю. Человеку не всегда удается понять другого, но он всегда к этому стремится. Благодаря взаимопониманию мы можем существовать как общество, как цивилизованное общество.

Е. К. Есть некий стереотип восприятия творчества Мрожека, а именно: это драматургия силлогизмов, математических уравнений или расчетов, его собственный голос слышен редко. <...>

С. М. Это верно, но не в отношении "Любви в Крыму". Тут меня вели за собой персонажи. Это не холодная пьеса — не я управлял персонажами, а некоторым образом они управляли мною.

Е. К. Одно из твоих "Коротких писем" начинается фразой: "Я из Кракова, он из Римини, я — Мрожек, он — Феллини, а кроме этого, всё у нас очень похоже".

С. М. Тут речь идет о провинции. О том, какие преимущества дает и каким бременем ложится на плечи провинциальное происхождение.

Е. К. Обретали ли твои пьесы, относящиеся к так называемой элитарной литературе — независимо от того, написаны они в Кракове, Париже или Мексике, — популярность? Мы теперь все чаще имеем дело с произведениями либо элитарными, либо популярными; либо с чем-то высоким, либо с таким, что все читают, но к чему относятся пренебрежительно. Есть ли у "Любви в Крыму" шанс стать популярной пьесой?

С. М. По-моему, да.

Е. К. Это высокое искусство?

С. М. Не слишком низкое.

Е. К. И как это совместить?

С. М. Мне кажется, это совместимо, хотя я не считаю, что "Любовь в Крыму" ждет очень уж большая популярность, — впрочем, ее, возможно, будут довольно часто ставить.

Е. К. Может, так оно и будет и она доставит удовольствие большому числу зрителей, но не станет терзать публику, заставляя расшифровывать включенные в нее ребусы.

С. М. Поскольку пьеса эта многоплановая, многослойная, в ней есть слой, или плоскость, открытый для всех либо почти всех. А тот, кто захочет увидеть иные перспективы или измерения, тоже кое-что для себя найдет.

Е. К. Итак, то, что всем нравится, необязательно должно быть низким. Славомир Мрожек предлагает нам несколько иначе взглянуть на проблемы современного искусства.

Ты прошел огромный путь от Боженчина до Мексики, и со времен "Полиции" до "Любви в Крыму" многое в твоем творчестве изменилось. К счастью, не манера писать о людях.

С. М. Да, то, что всем нравится, далеко не всегда должно быть низким. А что, вообще-то, нам интересно? Типичные ситуации, человеческие чувства, любовь, страдания, ненависть, амбиции. Это будет существовать вечно. Все мы попадали и будем попадать в такие ситуации, вот о них и надо говорить — необязательно чересчур усложненно, шаржированно. И ничего зазорного для большого искусства тут нет. <...> На уровне сюжета все во всех пьесах схоже. Но внутри непременно есть нечто исключительное: любая история, любой человек абсолютно неповторимы.

Е. К. В твоем багаже есть несколько произведений чертовски оригинальных — именно потому, что ты сознательно стараешься, чтобы они были неоригинальны. Где-то слышится голос Выспянского, где-то — Фредро. И такие пьесы необычайно оригинальны, хотя соотносятся с тем, что уже когда-то существовало.

С. М. Начиная писать, я никогда не ставил перед собой задачи на этот раз блеснуть оригинальностью. Не бывало у меня таких мотиваций.

Е. К. Вернемся к цитате: "Я из Кракова, он из Римини". И в случае Мрожека, и в случае Феллини самое важное все-таки — прошлое. От него мы не можем освободиться.

С. М. Не можем, да и не нужно — если освободимся, что нам останется? <...> Откуда брать опыт, если не из прошлого? Настоящее проходит так быстро, что практически неуловимо. О будущем можно подумать лишь одно: что оно настанет, прошлое же доступно по крайней мере в наших воспоминаниях.

Е. К. Настоящее — то, о чем Гёте говорит: "Остановись, мгновенье". Однако благодаря писателю мгновенье длится. Его запомнили, описали — и оно существует.

С. М. Поэтому я люблю живопись и фильмам предпочитаю фотографии. Ты не просто смотришь на то, что́ на картине изображено, — ты погружаешься в созерцание.

Е. К. А музыку?

С. М. Музыка по природе своей всегда в движении. <...> Как я выбираю песни для постановок своих пьес? Два года назад режиссер, ставивший "Танго" в Париже, рассказывал, что выбрал для спектакля танго "Кумпарсита", но почему именно его, объяснить не мог. Так происходит и со мной: я просто *знаю*, что должна быть эта, а не иная музыка. По тому же принципу я выбирал музыку для "Любви в Крыму": песни должны соответствовать моменту, конкретному персонажу, а возможно, и мне самому. Вообще, музыка в театре для меня важнее литературы: это не просто иллюстрация, она задает ритм всему представлению. Музыка подсказывает, как должен двигаться актер, как и когда нужно менять темп игры. Те-

атр — искусство во времени, а организованное время — это уже музыкальность. Я вообще против музыкальных иллюстраций. Пьеса должна говорить сама за себя. В "Любви в Крыму" появляются призраки, и мы слышим звуки музыки. Я же считаю, что призрак, появляющийся в тишине, гораздо сильнее, чем тот, появлению которого сопутствует шум. Музыкальная иллюстрация нарушает ритм, чего я предвидеть не могу. Звуковые эффекты пропадают, зато шуму много. Это вовсе не означает, что я враждебно отношусь к музыке, — совсем наоборот. <...>

Е. К. Вернемся еще раз к твоему дебюту. Описанные в "Полиции" ситуации (непонятно, кто, собственно, кого арестовал) встречаются сплошь и рядом. Вначале жизнь была "мрожековской" и так была описана, а затем то, что написано Мрожеком, начинает врастать в жизнь.

С. М. Сейчас такого, как в "Полиции", не бывает. Никто никого просто так не арестовывает.

Е. К. В августе 1968 года польские войска вступают в Чехословакию. Ты в это время живешь в Париже и делаешь нечто само собой разумеющееся — удивительно, почему все этого не сделали. Ты отправляешь в европейские газеты короткое письмо, смысл которого можно свести к следующему: "я не имею с этим ничего общего".

С. М. Я воспринял как личное оскорбление то, что меня с этим отождествляют. Пришел в ярость и разрядиться сумел, только потребовав, чтобы меня в это не вмешивали.

Е. К. Реакция последовала жестокая. Славомир Мрожек на долгие годы исчез со сцены, из издательств, журналов.

С. М. Не хочу говорить о своей мартирологии — не было такого. У меня отобрали польский паспорт, что лишило меня возможности вернуться в Польшу, мои книги изъяли из продажи, но через несколько лет все стало возвращаться на свои места.

Е. К. Но мы, зрители, ощутили это гораздо болезненнее, потому что с той поры не могли нормально общаться с Мрожеком, усваивать его уроки. Хотя ты никогда никого не хотел поучать. Твои уроки спасали наше поколение от национальной шизофрении, связанной с нашим временем.

С. М. Как известно, результаты наших намерений не всегда достойны самих намерений. Не всегда то, чего хочет поучающий, доходит до ученика. Иногда результат получается прямо противоположный. Каковы результаты моих поучений — неизвестно.

Е. К. <...> В заключение скажу, что нам нужен Мрожек, и хорошо было бы, чтобы и Мрожеку мы были нужны. <...>

С. М. Вот в этой взаимности — мое счастье. Я всегда, во время всех своих жизненных передряг, знал, что кому-то нужен, кто-то на меня рассчитывает. А это позволяет не терять душевного равновесия и сохранять такое отношение к миру, суть которого я бы определил следующим образом: не вижу оснований марать человека, не вижу оснований его оскорблять.

Ирина Лаппо

Мрожек на русской сцене

Физически, собственной персоной Славомир Мрожек был в России дважды: в 1956 году — как рядовой польский турист, путешествовавший по Советскому Союзу, и почти полвека спустя, в 2002 году, — уже в качестве почетного гостя, маститого писателя, корифея театра абсурда, живой легенды. Творческое же его присутствие в русской культуре гораздо ощутимей: сотни спектаклей, десятки переводов, несколько книжных изданий. Русская тема также занимает не последнее место в творчестве Мрожека: это и трагические хитросплетения польской и русской истории, о которых не всегда можно было говорить открыто (в одном из фельетонов Мрожек признался: "Когда я писал сатиру о дырке на мосту, я чувствовал себя так, будто это сатира на нечто глобальное, может быть даже, на весь Советский Союз"); и чеховские подтексты, декорации и перепевы многих его пьес, и, наконец, невероятный коктейль под названием "Любовь в Крыму", который мастер абсурда смешал в конце своего творческого пути из русской истории, литературы и действительности, приправив эту гремучую смесь Шекспиром.

Отношения Мрожека с русским театром складывались непросто. Под соусом "советско-польской дружбы" перевели было и напечатали несколько его рассказов, попытались кое-что поставить в театре, но когда в 1968 году Мрожек позволил себе роскошь высказать собственное, весьма нелицеприятное мнение на тему "братской помощи Чехословакии", его карьера в Советском Союзе закончилась, не успев толком начаться. Когда гласность и перестройка пошатнули основы советского мира, запрещенный Мрожек триумфально вернулся на российскую сцену, а когда ситуация стабилизировалась, незаметно перешел в категорию "классика". Таким образом, в истории появления драм Мрожека на русской сцене можно выделить четыре периода.

Первый, этап знакомства, пришелся на годы хрущевской оттепели и был связан с попытками советского театра завязать диалог с западной культурой. По мере появления очередных пьес молодого, но уже знаменитого у себя на родине писателя их переводят, печатают и ставят в театрах. Период этот был краток, но знакомство состоялось, и имя Мрожека запечатлелось в памяти русских интеллигентов, которых позже стали называть шестидесятниками. Именно этому поколению, которое сохранило то, что было изъято из библиотек и снято с репертуара, обязан Мрожек взрывом популярности, который наступил в конце 80-х.

В Польше на драматургии Мрожека выросло несколько поколений зрителей: его пьесы ставили ведущие режиссеры, в печати регулярно появлялось практически все, что он написал (запрет на его сочинения на родине длился всего несколько лет, в России — несколько десятилетий), а лучшие литературные критики чутко следили за его творчеством. В сознании среднестатистического поляка именно благодаря Мрожеку сплелись в еди-

© Ирина Лаппо, 2008

ное, неразрывное целое театр абсурда и абсурд житейский, в чем смиренно признается и сам автор: "Понятие абсурда пошло в народ и, соответственно опошлившись, там и осталось". Его имя попало в разговорный язык: бытовые, а особенно бюрократические абсурдные ситуации поляки с ходу комментируют "Как из Мрожека!" или "Ну, этого и Мрожек не придумал бы!"

В России дело обстояло иначе. Если уж в печати и мелькал термин "театр абсурда", то ему неизменно сопутствовали определения "буржуазный, гнилой, вырождающийся". Когда в 1967 году в антологии "Современные польские пьесы" опубликовали его драму "В открытом море", предполагалось, что читатель проинтерпретирует алогичность изображаемого как пародию (!) на модный театр абсурда. О некоторых явлениях современной культуры в Советском Союзе можно было писать либо плохо, либо — ничего. Лишь изредка в печати появлялись ценные критические статьи, но об истинных намерениях их авторов сегодня судить трудно. Например, после ключевой фразы: "Распад гниющего буржуазного мира проник даже на сцену" можно было не без иронии, но зато подробно пересказать содержание основных пьес Беккета. "Театр абсурда, уходящий корнями в разлагающуюся буржуазную культуру, — прямое свидетельство ее вырождения, ее прогрессирующего духовного убожества" — так мотивирует свой "праведный гнев" другой критик, после чего с чистой совестью излагает основные постулаты фундаментальной работы Мартина Эсслина[1], рассказывает историю театра абсурда, указывает на его философские основы, экзистенциальные корни, основные художественные приемы и излагает краткое содержание двух десятков пьес, советскому читателю не известных и никаких надежд на перевод и публикацию не имеющих.

Второй — самый длительный — период взаимодействия Мрожека с официальной русской культурой можно обозначить как полное его отсутствие в таковой. В 1968 году Мрожек попадает в черный список, и его перестают печатать в Советском Союзе. Парадоксально, но цензурный запрет касался прежде всего имени, само творчество непокорного польского писателя резкого неприятия властей не вызывало, поэтому можно было поставить и показать пьесу Мрожека под фамилией некоего мифического NN. Государственные театры такой конспирации опасались, а вот студенты не отказывали себе в удовольствии прикоснуться к неведомому театру абсурда.

Третий этап — настоящая мода на Мрожека — был подготовлен двумя предыдущими; польского автора уже знали — по крайней мере в театраль-

1. Мартин Эсслин (1918–2002) — англоязычный критик, венгр по национальности, исследователь и теоретик театра, автор монографии о театре абсурда "The Theatre of the Absurd" (1962), в которой впервые ввел этот термин.

ной среде, помнили его ранние пьесы, карикатуры и рассказы, следили — насколько это было возможно — за развитием его творчества и мечтали, что когда-нибудь... может быть... удастся что-нибудь поставить. Перестройка, гласность и прочее такую возможность предоставили. Можно не печатать автора, можно его не ставить, но нельзя запретить его помнить. И люди помнили. Без этой памяти не было бы целой серии мрожековских постановок в Театре-студии "Человек", в том числе "Стриптиза" (режиссер Людмила Рошкован) — самого "долгоиграющего" из всех его спектаклей, не будоражили бы театральную Москву подпольные "Эмигранты" (режиссер Михаил Мокеев)[1], не играли бы 17 лет подряд в питерском театре на Фонтанке "Танго" (режиссер Семен Спивак).

Пик популярности Мрожека в России пришелся на сезон 1988/1989, когда было поставлено столько его вещей, сколько ни до, ни после. Вспыхнувший интерес был не случаен. Мрожек появился на русской сцене в самый подходящий момент: освободившись от цензурного гнета, театр — осознававший свою отсталость в области сценической техники, утомленный публицистическими разборками по поводу исторического прошлого, заполонившими отечественную драматургию, — устремился на поиски нового драматургического материала, который позволил бы не только освежить актерское мастерство, но и соответствовал бы духу времени. "Неожиданно" — с тридцатилетним опозданием — появившийся на горизонте театр абсурда был принят с энтузиазмом. Мрожек триумфально выходит на русскую сцену. И весьма показательно, в какой "компании": Беккет, Ионеско, Жене. Причем именно Мрожек оказался понятнее всех простому зрителю, не подготовленному к восприятию ставшей классической на Западе, но практически неизвестной в России драме этого типа. Важно еще и то, что пробелы в образовании российского зрителя этим не ограничивались: в конце 80-х оказалось, что на карте культуры — множество белых пятен (философия Бердяева и Соловьева, творчество Набокова, Гумилева, Бродского, Цветаевой, Ремизова...); все это в невероятном темпе печаталось, изучалось, комментировалось и осваивалось. То, что творчество Мрожека не потерялось в лавине новых имен и направлений, — заслуга прежде всего режиссеров. К тому же в узком интеллигентском кругу драматургия абсурда "ходила по рукам" в распечатках, и сценические реализации значительно опередили публикацию переводов.

"Театр абсурда" оказался ключом, открывшим польскому драматургу дверь, в которую не дано было войти ни одному его соотечественнику. В истории культурных контактов России и Польши ничего похожего не было. Польская драматургия была представлена на российской сцене весьма скромно, и почти обязательное присутствие Мрожека на афишах конца 1980 — начала 1990-х было настоящим событием, его пьесы ставились в столицах и провинции, от Вильнюса и Минска до Еревана и Комсомольска-на-Амуре — по всему Советскому Союзу.

1. "Эмигранты" вошли в историю русского театра как один из немногочисленных подпольных спектаклей. На протяжении четырех лет его играли в московском подвале на ул. Бауманской; до сих пор эту постановку вспоминают счастливчики, которым в начале 80-х удалось добраться до легендарного подвала. Стать зрителем этого спектакля было непросто: благодаря протекции друзей можно было попасть в список, потом получить известие о дате и времени, у станции метро группки зрителей встречал сам режиссер или один из зрителей, который в очередной раз шел смотреть "Эмигрантов".

"Количественный" успех 1988–1990-х годов не сразу перешел в "качественный". Краткая, сжатая форма одноактных пьес заинтересовала молодой русский авангард, который переел системы Станиславского и бросился на поиски нового сценического языка. Близка оказалась российскому зрителю и тематика притчевых пьес Мрожека: государство, беспардонно вторгающееся в личное жизненное пространство, манипуляция людьми при помощи идеологических клише и лозунгов, страх перед властью, ведущий к потере собственного "я". Возможно, спектакли того периода не отличались новизной интерпретации, но ввели имя автора в широкий театральный обиход, а главное – стали появляться в печати пылившиеся в библиотечных отделах переводы.

Характерной особенностью четвертого периода стала ликвидация отставания: начиная с "Портрета", пьесы Мрожека появляются на русских сценах не позже чем через год после польских премьер, а "Вдовы", поставленные в Москве в январе 1994 года под названием "Банан", оказались первой заграничной премьерой пьесы. Тогда же в 90-е появляются некоторые сомнения в долговечности интереса к творчеству польского автора. Мрожек оккупирует российские театры вместе с абсурдистами и вместе с ними начинает постепенно исчезать с афиш, чтобы уступить место оперявшейся современной национальной драматургии. Репертуарные изменения, наблюдавшиеся в российском театре в 1980–1990-е годы, можно было бы схематически выразить так: от публицистической драмы через театр абсурда к драме так называемой новой волны. Механизм этого процесса вроде бы выглядит довольно прозрачным. В середине 1980-х – когда политическая и эстетическая свобода казались понятиями одного порядка – особой популярностью пользовалась социальная драматургия, и сцену заполнила "чернуха" – пьесы, демонстрировавшие отвратительную действительность, деградацию ценностей, отсутствие перспектив, однако и театр, и, что важнее, зритель быстро устали от всего этого. Оторванный от мирового театрального процесса и собственного прошлого, российский театр занялся заполнением лакун уже не исторического, а эстетического характера. Учеба у Беккета, Ионеско, Жене, Мрожека позволила режиссерам иначе взглянуть и на творчество отечественных драматургов. Для русской сцены драматургия Мрожека оказалась ценным опытом – она сыграла роль своеобразного катализатора, который не только "спровоцировал" появление новой актерской техники и средств выражения, но и беспощадно разоблачил беспомощность тех, кто обратился к творчеству Мрожека, гоняясь за модой. Режиссерские и актерские провалы обнажили неактуальность и неадекватность старых театральных форм и показали, что нельзя измениться не меняясь, невозможно браться за драматургию нового типа, не учитывая новых сценических требований.

Мода на абсурд ушла, но интерес к творчеству Мрожека остался и "стабилизировался" на уровне 2-3 премьер в сезон, причем география постановок все еще расширяется. Мрожека теперь ставят редко, но метко: чуть ли не каждый новый спектакль становится событием театральной жизни, а постановки отличаются новизной подхода. Пьесы Мрожека остаются по-прежнему привлекательными для российской сцены, и, возможно, эта стабильность более показательна, чем театральный бум конца 80-х: если сегодня режиссер берется за постановку Мрожека, то это уже не дань моде, а внутренняя потребность.

Русские постановки пьес Мрожека значительно, а то и разительно, отличаются от польских. Можно выделить две взаимоисключающие тенденции: с одной стороны, Мрожек, которого воспринимали как автора абсурдистского, служил поводом для театрального эксперимента; с другой — русская сценическая традиция и актерская школа заставляли актеров искать и, что более удивительно, находить в его схематичных персонажах глубокую психологическую правду. И хотя главной чертой восприятия Мрожека в России был все же взгляд "сквозь очки" абсурда, было бы, однако, большим упрощением сводить всю "карьеру" Мрожека в России лишь к моде на абсурд. Конец 1980-х годов был не только переломным, но и кризисным: разочарование, крушение идеалов, переоценка ценностей — таковы характерные черты этого периода. Интерес к пьесам мрожековского типа объясняется сходством настроений, господствующих в послевоенной Европе и посткоммунистической России, тем более что свежесть драматургического материала открывала перед театром новые возможности. Пьесы Мрожека обогащали театральный язык, заставляли режиссеров выходить за рамки известного, актеров — искать соответствующую для размытых диалогов и схематических персонажей манеру исполнения; словом, для многих они стали настоящей школой концептуальной режиссуры и условного театра, увлекательным приключением и своеобразным мастер-классом.

В отличие от польского театра, в театре российском — несмотря на тридцатилетний цензурный запрет (а может, именно из-за него) — Мрожек не обрел статуса автора остросоциального. Политический лозунг его творчества: "борьба с коммунизмом" — эксплуатируемый в Польше так активно, что, когда лозунг этот потерял актуальность, пьесы Мрожека посыпались с афиш как перезрелые яблоки, — на русской сцене практически не прозвучал. Там, где польский зритель видел острую политическую сатиру, российский — искал и находил психологическую драму. Социально-политическая направленность в некотором смысле вообще чужда русской культуре[1], поэтому театр упорно искал у Мрожека чего-то, спрятанного глубоко внутри, игнорируя то, что было видно невооруженным глазом, предпочитая общечеловеческое конкретно-политическому, эксплуатируя мотивы психологические и бытовые. Мрожек мог показаться русским зрителям слишком сухим, критичным. Чересчур интеллектуальным. Его "холодная жестокость" по отношению к собственным героям вступала в конфликт с устоявшейся русской традицией, согласно которой автор должен если не сострадать каждому "униженному и оскорбленному", то хотя бы отнестись к нему с пониманием. Хотя Мрожек раскрывал действие социально-психологических механизмов, но сочувствовать им отказывался. Этот конфликт между устоявшейся традицией и мрожековским подходом подчас заставлял зрителей подозревать польского автора в мизантропии. Даже самые верные поклонники мастера, к которым, без сомнения, можно отнести режиссера и актера Романа Козака, упрекали его в эмоциональной холодности и равнодушии к героям. Козак, работая над спектаклем "Любовь в Крыму", который, впрочем, особого интереса у российской публики не вызвал и быстро исчез из репертуара МХАТа, признавался: "Для него наша страна представляет тематический интерес

1. Редакция не разделяет точку зрения автора. *(Прим. ред.)*

из-за своей исключительной душевности, которой самому Мрожеку, наверное, немного не хватает". Еще резче прозвучала эта мысль у театральных критиков, постоянно упрекавших актеров и режиссеров в том, что, играя Мрожека, они сосредоточиваются не на вине героев, как задумывал автор, а на их беде, что якобы противоречило его идее.

Отсутствие у российских режиссеров живого интереса к политике, особенно "к борьбе с коммунизмом", которую неутомимо вел Мрожек, меняет смысл его пьес. Политические мотивы, доминирующие в польских сценических интерпретациях и, казалось бы, близкие нашему опыту, не прозвучали в российском театре, который решительно предпочитал заниматься общечеловеческими проблемами, извлекая из драматургии Мрожека абсурдность космического устройства мира, а не алогизмы конкретной политической системы. Почему? Ответ в значительной степени связан с разницей в понимании задач театра, его места в культуре и обществе Польши и России. Русский театр — после нескольких попыток и последовавших за ними провалов (как художественных, так и коммерческих) — предпочитает особо не выяснять отношения с коммунистическим прошлым. После периода интенсивного исследования "белых пятен" историко-политические темы уходят даже не на второй план, а вообще из театра, уступая место проблематике этико-эстетической. Глубокий анализ механизмов человеческого порабощения и манипуляции, вмешательства государства и власти в частную жизнь перестает занимать публику, так как не соответствует ее запросам и желаниям, вследствие чего для сценической интерпретации Мрожека требуется значительно более широкий контекст, чем тот, что используется в польском театре, для которого один из самых существенных вопросов — это разоблачение социалистического строя. В Польше творчество Мрожека всегда воспринимали сквозь призму политики, там искусство чтения между строк достигало порой таких высот, что публика видела политические намеки даже там, где их не было у автора. Да и вообще типичной чертой польского театра всегда была его приверженность политике. Там театр не раз уходил в подполье, активно включаясь в политическую борьбу, которую понимали как борьбу за независимость, за сохранение национального самосознания. В России же театр, исключая короткий период агитпропа, не занимался чистой политикой и от навязываемой ему в советское время функции идеологической трибуны убегал в психологизм. Характерной его чертой был метафизический и литературный характер. Уже одного этого было достаточно, чтобы пьесы Мрожека в России перестали быть политическими комментариями. Тем более что в Советском Союзе гротеск оказался слишком слабым камуфляжем для небезопасных идей, а после перестройки потребность в эзоповом языке и вовсе исчезла. Однако оказалось, что аполитичная интерпретация пьес Мрожека не только возможна, но и интересна, поскольку благодаря многозначности текста герои перемещаются в контекст личного опыта, а универсальность приема доведения до абсурда и юмор диалогов позволяют ставить вопросы общечеловеческого характера. Учитывая опыт русских театральных постановок, польских интерпретаторов Мрожека можно даже упрекнуть в том, что они заузили Мрожека, сведя содержание его пьес к политической сатире. Но и русский театр, обходивший стороной Мрожека-политика, до некоторой степени обеднил Мрожека. Были в этом, однако, и положительные стороны: русскому теа-

тру удалось разрешить проблему "говорящих голов", с которой не удавалось справиться польским режиссерам. Польская критика, со своей стороны, не раз ругала пьесы Мрожека за статичность, несценичность, чрезмерный интеллектуализм, но русским актерам статичные мрожековские "говорящие головы" не мешали, благодаря своим техническим возможностям они с легкостью "наполняли" такую "голову" внутренней жизнью.

Сцена из пьесы "Портрет". Постановка 1988 года

Предпринятая в конце перестройки попытка российского театра отказаться от системы Станиславского (до тех пор официально принятой и единственной признанной в стране) с треском провалилась. Сценическая теория и режиссерско-актерский метод, разработанные Станиславским, по-прежнему культивируются в России и лежат в основе практического обучения, составляя гордость русского театра. В польском театре отношения с системой Станиславского не сложились по ряду политических причин, и развитие актерского мастерства пошло другим путем. По воспоминаниям очевидцев, после просмотра русских "Эмигрантов" и "Стриптиза", которые демонстрировались на посвященном Мрожеку Краковском фестивале 1990 года, автор был растроган тем, с каким уважением отнеслись к его текстам русские театры. Подробная и тонкая психологическая проработка, типичная для большинства русских постановок, и есть оригинальный вклад российского театра в прочтение Мрожека. Искажает ли такое психологическое углубление схематичных мрожековских образов общую картину его драматургии? Ехидный Мрожек с "человеческим лицом" — почему бы и нет? Его холодная, бесстрастно-интеллектуальная драматургия, как представляется, вызывала у исполнителей внутреннее сопротивление. Актеры упорно искали психологические мотивировки поведения героев — так появился странный гибрид концептуальной режиссуры и психологизированного лицедейства, душевности и интеллекта, который и является характерной особенностью русских мрожековских спектаклей последних лет. При такой психологическо-реалистической манере исполнения гротескно-абсурдистский текст Мрожека получает неожиданно сильный комический заряд, ибо авторский юмор звучит при этом особенно ясно, а диалог обретает неожиданную выразительность. Российская история сценической жизни Мрожека открыла новое поле интерпретационных возможностей, мимо которых равнодушно прошел театр польский. Глубокое переосмысление творений драматурга русским театром позволило отвлечься от польских традиционных прочтений, увидеть иной облик Мрожека и расширить границы понимания, за которые сам писатель, возможно, выходить не собирался.

Роберт Чандлер

"Очуждать или осваивать": по следам переводческого семинара

Перевод с английского Ю. Клименовой. *Под редакцией* А. Борисенко

Пока мы знакомимся, один из участников, Кристофер Вудел, говорит, что, при всей нелюбви к словам "очуждать" и "осваивать", признает их полезность: они описывают те два стремления, которые всегда в нем боролись. Я тут же заявляю, что мне подозрителен переводчик, которому они не знакомы. С одной стороны, мы хотим переложить произведение на английский, чтобы оно стало доступно читателю; с другой — возможно, именно чуждость текста в первую очередь и привлекает нас. Перевод был бы лишен смысла, если бы мы не могли хотя бы частично сохранять чуждость оригинала.

*

Я начинаю с цитаты из Вальтера Беньямина, который в важнейшем своем эссе "Задача переводчика" приводит следующие слова: "Принципиальная ошибка переводчика в том, что он фиксирует случайное состояние своего языка вместо того, чтобы позволить ему прийти в движение под мощным воздействием иностранного. <...> Он обязан расширять и углублять свой язык посредством чужого. Мы совершенно не представляем, насколько это возможно"[1]. Больше всего в этом отрывке меня привлекает последнее предложение. Бывало, я месяцами бился над той или иной фразой, пытаясь понять: это еще по-английски или уже нет, а потом, читая корректуру или опубликованный текст, недоумевал, что́ могло меня смутить.

*

Одним из лучших прозаических переводов прошлого века я считаю перевод рассказа Ивана Бунина "Господин из Сан-Франциско", выполненный Котельянским—Лоренсом—Вульфом. Котельянский сделал буквальный перевод; его отредактировал Лоренс для публикации в "Дайэл", потом Леонард Вульф для "Хогарт-пресс". И у Лоренса, и у Вульфа была легкая рука; как редакторы они знали, где остановиться. Они понимали: достаточно нескольких штрихов, чтобы искусный подстрочник стал поэзией. Но пора переходить от общих рассуждений к конкретным примерам, и я раздаю участникам семинара отрывки из этого перевода:

а) *Неаполь рос и приближался; музыканты, блестя медью духовых инструментов, уже столпились на палубе.* ("Naples grew and drew nearer. The brass band, shining with the brass of their instruments, had already assembled on deck.")

Переведено поразительно живо и почти дословно, не считая слова "brass", которое в оригинале не повторяется. У Бунина — "музыканты", тогда как в переводе "brass band" (медный духовой оркестр). Меня

© Robert Chandler, 2003
© Ю. Клименова. Перевод, 2008

1. Беньямин цитирует Рудольфа Паннвица. Здесь и далее статья Беньямина "Задача переводчика" цитируется в переводе Е. Павлова по изданию: В. Беньямин. Задача переводчика / Перев. с нем. Е. Павлова // Комментарии. — М.: Спб., 1997, вып. 11, с. 65—82. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

удивляет, что этот звучный повтор не нравится некоторым членам семинара. Как часто мне советовали убрать из моих переводов повторы, архаизмы, инверсии! Может быть, наше отношение к языку порой отдает пуританством?

б) *...вереницы шуршащих по лестницам шелками и отражающихся в зеркалах декольтированных дам* ("strings of bare-shouldered ladies rustling with their silks on the staircases and reflecting themselves in the mirrors.")

"Reflecting themselves" (отражая себя) — блестяще и в то же время возмутительно буквально. По-русски это обычный возвратный глагол, который большинство перевело бы просто как "being reflected" (отражаясь), тогда как "reflecting themselves" (отражая себя) предполагает, что дамы проявляют определенную активность, возможно, чуть заметно что-то поправляют, оглядывая себя в зеркале. Здесь есть и другой оттенок значения: "reflecting upon themselves" — думая о себе, то есть спускаясь к обеду, дамы озабочены тем, как они смотрятся со стороны.

в) *Тяжелый туман до самого основания скрывал Везувий, низко серел над свинцовой зыбью моря.* ("A heavy fog hid Vesuvius to the base, and came greying low over the leaden heave of the sea.")

В русском часто используются глаголы цветообозначения там, где в английском стоит вспомогательный глагол "to be". "A tree *was* greening at the end of the garden" (Дерево зеленело в глубине сада) — так выглядит дословный перевод совершенно нормального русского предложения. "Came greying low" кажется мне очень удачной находкой. В буквальном переводе было бы "was greying low". Форма "came" вместо "was" примиряет нас с этим неанглийским оборотом, сохраняя при этом всю его необычность и яркость. С точки зрения ритма вторая часть предложения идеальна.

г) *...он стал точно к венцу готовиться: повсюду зажег электричество, наполнил все зеркала отражением света и блеска, мебели и раскрытых сундуков.* ("...he began to make preparations as if for his wedding. He turned on all the electric lights, and filled the mirror with brilliance and reflection of furniture and open trunks.")

Герой-миллионер думает, что готовится к обеду; однако вместо свадьбы его ждут сердечный приступ и смерть. Переводчики были правы, решив не использовать артикли перед существительными в конце предложения. В русском языке нет определенных и неопределенных артиклей; менее чуткий переводчик написал бы что-то вроде "filled the mirror with the brilliance and reflections of the furniture and open trunks". И мистическая — или псевдомистическая — тональность этого мгновения была бы потеряна.

д) *...где только один попугай деревянно бормотал что-то, возясь перед сном в своей клетке.* ("where the lonely parrot woodenly muttered something as he bustled himself in his cage.")

Здесь, мне кажется, Лоренс недосмотрел. "Bustled himself" (возился с собой), как и "reflecting themselves" (отражали себя) — перевод предельно буквальный. Но, в отличие от "reflecting themselves", он не интересен и не выразителен, а лишь странен. Думаю, Леонард Вульф тоже это почувствовал. Во втором издании рассказа "bustled himself" (возился с собой) было заменено на "bustled about" (возился).

*

Готовясь к семинару, я в очередной раз понял, что сегодняшние споры вокруг проблемы перевода не новы, что все было сказано — причем гораздо яснее — в XVI и XVII веках, когда велись знаменитые споры о переводе Библии. Язык этих дебатов был необычайно образным, но на общем фоне выделялась одна центральная метафора: метафора света. Пуритане в своей Библии, как и в своих церквях, стремились прежде всего к ясности; у них не было времени на таинственность и затемненность, на витражи в архитектуре и литературе. Католики и представители Высокой церкви, на-

против, боялись, как бы не возникла иллюзия ясности, как бы люди не решили вдруг, что постигли тайны, которые постичь нельзя. Говоря современным языком, они были сторонниками "очуждения". Дуэйско-Реймский перевод Библии[1], сделанный католиками и вышедший в 1582-м (Новый Завет), в 1610-м (Ветхий Завет), Бенсон Бобрик описал как "в высшей степени ученый, во многом замечательный английский вариант текста, насыщенный латинизмами, в которых слова транслитерировались либо сохранялись в первоначальном виде"[2]. Некоторые из этих слов вошли в язык; другие столь же малопонятны сейчас, как и тогда. Переводчики шли по стопам Стивена Гардинера, одного из самых консервативных епископов времен Генриха VIII. Бобрик пишет, что Гардинер пришел на собрание 1542 года, посвященное переводу Библии, со списком из 99 латинских слов, "которые, ввиду изначально присущего им истинного значения, а также ввиду величия предмета, ими выражаемого", по его мнению, не стоило переводить, а следовало только англизировать. В список входили: poenitentia (раскаяние), caritas (милосердие), gratia (милость), ecclesia (церковь), sacramentum (таинство), simulacrum (изображение), idolum (образ), spiritus sanctus (Святой Дух), benedictio (благословение), adorare (почитать), elementa (стихии)... Гардинер считал, что эти слова столь важны и сакральны, что лучше оставить их вовсе не переведенными, чем перевести несовершенно. Протестанты, разумеется, думали иначе: "Дабы не воссиял свет Слова, — писал один из них, — [Гардинер] вознамерился поместить свет Слова в темную лампу... указать мирянам их место; чтобы они, будучи допущены во внешний предел, не имели бы входа во Святая Святых сих таинственных изречений, доступных лишь пониманию первосвященника"[3].

1. Перевод сделан в монастыре Дуэ, издан в Реймсе.
2. Бенсон Бобрик. Как создавалась английская Библия (Benson Bobrick. The Making of the English Bible. — London: Orion, 2003).
3. Там же, с. 158.

*

Недавно я наткнулся на те же доводы, что у Гардинера и у католических переводчиков Библии, в книге польского журналиста Мариуша Вилька. В оригинале текст его романа "Черный лед" — рассказ о двух годах, проведенных на Соловецких островах в Белом море, — усеян иностранными словами и выражениями, не меньше чем католическая Библия Гардинера; только непереведенные слова — не латинские, а русские. Автор разрывается между двумя желаниями. С одной стороны, он страстно хочет разгадать и объяснить Россию: он много путешествовал, но чувствовал, что она все время ускользает от него, и решил остановиться на одном месте (выбрав Соловецкие острова как микрокосм всей страны) и изучить его как следует. С другой стороны, Вильк явно проникся сознанием, что Россию не суждено понять ни ему, ни его читателям. Чтобы они помнили об инакости России и не воспринимали российскую действительность через призму знакомых понятий, автор оставляет многие слова непереведенными. Мало того, что он приводит типично советские канцеляризмы и неуклюжие идиомы по-русски, так еще и не переводит слово "картошка". Иностранцам, говорит он, не дано понять почти религиозного отношения жителей Соловков к "kartoshka". Поэтому Вильк, эдакий современный епископ Гардинер, уснащает свой польский словами чужого языка[1].

*

Незадолго до Пасхи, читаем мы у святого Марка, женщина возлила "миро из нарда" на голову Иисуса. В Библии Короля Иакова дальнейшее описано так: "And there were some that had indignation within themselves, and said, Why was this waste of the ointment made? For it might have been sold for more than three hundred pence, and

1. Разумеется, это вызвало трудности у английского переводчика. Вильк рассчитывает на то, что многие его читатели хоть как-то помнят русский. К тому же многие русские слова в его тексте родственны польским. Если бы *все* русские слова остались в английском тексте, английским читателям понять перевод было бы гораздо труднее, чем полякам — оригинал.

have been given to the poor. And they murmured against her. And Jesus said, Let her alone; why trouble ye her? she hath wrought a good work on me." ("Некоторые же вознегодовали и говорили между собою: к чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более нежели за триста динариев и раздать нищим. И роптали на нее. Но Иисус сказал: оставьте ее; что ее смущаете? Она доброе дело сделала для Меня[1].")

Суть этого рассказа в извечной борьбе между пуританским здравым смыслом и широко распространенной любовью к ритуалам и пышным богослужениям. Любопытно, что такая же борьба развернулась и по поводу того, как следует переводить жалобу "возроптавших": "Ut quid perditio ista unguenti facta est?" Лютер цитирует это предложение по Вульгате: "К чему сия трата мира?" — и далее говорит: "Если б я вслед за этими ослами и буквоедами пошел, мне бы пришлось это вот как на немецкий переложить: почему произошла эта потеря мира? Да только что ж это за немецкий такой? Какой же немец так говорит: произошла потеря мира? А если он попробует такое уразуметь, так подумает, будто миро потерялось и его искать надобно. <...> Однако ж немецкий человек говорит вот как: на что такое излишество, или: зачем такие траты? Вот это — по-немецки!"[2] Как всегда, Лютер выражается четко и ясно, но упускает из виду, что Вульгата специально была написана возвышенным стилем. Думаю, что Лютер, явно не любивший таинственности и излишеств, сам бы оказался в числе роптавших на женщину. Четыреста лет спустя переводчики Новой английской Библии вняли его совету, предпочтя вариант "К чему сия трата?" — понятно, идиоматично, без глупостей.

Однако в Библии Короля Иакова перевод вышел иным — и, возможно, более глубоким. "К чему сотворена сия трата мира?" Может показаться, что Лютер критиковал переводы именно такого рода: дескать, по-нашему так не говорится. Но если вдуматься, этот буквальный перевод очень выразителен и в ритмическом, и в смысловом отношении: он наводит на мысль о том, что женщина, возливающая миро на голову Христа, ничего не растратила, а, наоборот, что-то *сотворила*. Она, сама того не зная, готовит Иисуса к последним испытаниям: к Тайной Вечере и Распятию. Как говорит сам Иисус, она "доброе дело сделала".

*

В принципе я сторонник очуждающего перевода. Но я слишком часто вижу, как "очуждение" служит оправданием плохих переводов. Верные, по сути, заявления о необходимости воспроизводить оригинал "во всей его неповторимости" или "странности" предваряют тексты, которые, похоже, состряпаны наспех, на скорую руку. Участники семинара, большинство которых — практикующие переводчики, а не ученые-теоретики, встречают мои слова одобрительным гулом: им все это хорошо знакомо.

На странном английском писать нетрудно — труднее сделать странность оправданной. По-моему, лучшие переводчики — те, что знают, когда писать затейливо, а когда — просто. В Библии Короля Иакова, к примеру, много выразительных гебраизмов, но словарный состав ее не велик, и самые памятные стихи зачастую поразительно просты, например: "When the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy." ("Когда пели все утренние звезды и все сыны Божии восклицали от радости".)

Между прочим, неожиданные английские версии в основном возникают не потому, что переводчик хочет придумать нечто особенное, а потому, что чувствует: нет другого выхода. Он вынужден прибегать к необычным выражениям, так как более привычный язык не донесет того, что в оригинале всего важнее. Сделанный Мэри Фил Корзак перевод Книги Бытия, к примеру, разительно отличается от всех предыдущих, но правила английской грамматики и лексики она нарушает отнюдь не из стремления к оригинальности. На-

1. Мк. 14:4–5.
2. Цит. по: "Антология переводческой мысли" (в печати) / Перев. с нем. С. Ромашко.

против, она убедительно объясняет свое вольное, как может показаться, обращение с английской лексикой:

В некоторых случаях, чтобы всякий раз переводить некое слово языка-источника одинаково, приходится адаптировать английский язык к особенностям древнееврейского словоупотребления. В качестве примера я возьму глагол *yalad*, который я перевела как "to breed". В древнееврейском глагол *yalad* употреблялся по отношению к мужчинам, женщинам и животным. <...> Я считаю, что использовать один и тот же глагол, независимо от того, идет ли речь о людях или о животных, значит подчеркнуть их родство. <...> Существительное *toledot* образовано от того же корня, что и *yalad*. <...> Я перевела *toledot* как "breedings":

"These are the breedings of the skies and the earth at their creation." ("*Вот родословная неба и земли, при сотворении их*".)

"This is the record of the breedings of Adam." ("*Вот родословная Адама*".)

Родословная Ноя... Исава, Иакова! Общий английский корень связывает жизнь животных, людей и вселенной. Так мироздание и человечество объединены единым процессом рождения.

В отличие от ранних и классических переводчиков Библии, Мэри Фил Корзак не обогатила английскую литературу новыми ритмами и интонациями. Сила ее в другом: она невероятно внимательна к каждому слову оригинала.

*

Сторонники "очуждения" часто говорят, что перевод и должен восприниматься как перевод; было бы ошибкой считать, утверждают они, что идеальный перевод, скажем, на английский, должен звучать так, словно он изначально был написан по-английски. Опасная точка зрения, если сильно увлечься! Однако порой и в самом деле стоит честно обнажить прием. Мэри Фил Корзак, к примеру, способна донести мысль о родстве людей, животных и мироздания в целом, только обратив внимание читателя на заимствованный характер слов, взятых ею из чуждого мира.

Я сам давно пытаюсь ввести в английский язык слово "toská". В "Счастливой Москве" Платонова мы с коллегами упорно его не переводили. В предисловии я цитирую Владимира Набокова, который так объяснил значение этого сугубо русского слова, ключевого для понимания русскими самих себя:

Ни одно слово в английском не передает всех оттенков слова "тоска". В его наибольшей глубине и болезненности — это чувство большого духовного страдания без какой-либо особой причины. На менее болезненном уровне — неясная боль души, страстное желание в отсутствии объекта желания, болезненное томление, смутное беспокойство, умственные страдания, сильное стремление. В отдельных случаях это может быть желание кого-либо или чего-либо определенного, ностальгия, любовное томление. На низшем уровне тоска переходит в ennui[1], скуку...[2]

Выслушав зачитанный мной отрывок, один из членов семинара замечает: мы же не требуем, чтобы Набоков объяснил слово "ennui", а ведь когда-то оно наверняка казалось не менее странным, чем теперь — слово "toská".

Со временем я все больше понимаю, как много всего надо учесть, прежде чем употребить транслитерированное слово в определенном контексте. Так, в "Счастливой Москве", одном из самых сложных и неоднозначных произведений Платонова, мы с коллегами-переводчиками часто вводили слово "toská": с нашей точки зрения, это было отчасти оправдано тем, что Платонов и сам акцентирует на нем внимание.

Порой именно сила и необычность платоновских образов диктует выбор незнакомого слова:

1. Апатия, скука (*франц.*).
2. В. Набоков. Комментарии к "Евгению Онегину" Александра Пушкина / Перев. с англ.; под ред. А. Н. Николюкина. — М.: НПК "Интелвак", 1999. С. 151–152.

Днем Сарториус был почти всегда счастлив и удовлетворен текущей работой, но по ночам, когда он лежал навзничь на папках старых дел, внутри его рождалась тоска, она вырастала из-под его нагрудных костей, как дерево поднималось к потолочному своду Старо-Гостинного двора и шевелилось там черными листьями. ("In the daytime Sartorius was nearly always happy, satisfied by the work he was doing, but during the nights, as he lay on his back on heaps of old files, *toská* was born inside him, a restless yearning that grew up from beneath the bones of his chest like the tree that climbed towards the vaulted ceiling of the Old Merchants' Arcade and rustled its black leaves there.")

Иногда незнакомое слово в английском тексте передает ужас, который ощущается в оригинале, но может исчезнуть в переводе:

Быть непрерывным, одинаковым человеком он не мог, в нем наступала тоска. ("It was impossible for him to remain the same uninterrupted person, he was being gripped by *toská*.")

Но вот что удивительно: мы почувствовали, что не можем использовать слово "toská", когда приступили к работе над центральноазиатским романом Платонова "Джан". "Джан" — произведение более понятное, оптимистичное и ровное, чем "Счастливая Москва". Язык не такой шероховатый — привлекает меньше внимания. Платонов неоднократно употребляет слово "тоска", но это не то неизбывное гнетущее чувство, что в "Счастливой Москве". Не знаю, в этом ли причина или в чем-то другом, — трудно сказать; так или иначе нам не потребовалось слово "toská" при переводе "Джана". В какое бы предложение мы ни пытались его вставить, оно всюду казалось чужеродным. Вот здесь, к примеру, оно лишь мешает восприятию:

...и сердце его уже утомилось от блуждания, тщетной надежды, от тоски и памяти по Ксене, Айдым и Ханом ("and his heart grew exhausted from wandering, from the memory and *toská* he felt for Ksenya, Aidym, and Khanom.")

Кончилось тем, что мы заменили "toská" на "longing".

Был еще случай, когда я намеренно не перевел слово, — в "Карнаке" Эжена Гильвика. Этот цикл стихов представляет собой размышления о мегалитах Бретани, о камнях и море, о времени и пространстве. Часто используется неточная рифма "père" (отец) — "pierre" (камень), плюс постоянно обыгрывается сходство слов "mère" (мать) и "mer" (море). В большинстве случаев можно было это опустить, так как связь между морем и матерью ясна читателю и без этой переклички. Но одно коротенькое стихотворение упорно не желало переводиться. Все варианты хромали.

Si par hasard tu crois à la valeur
des sons
Tu dois bien frissonner
A ce seul nom de mer.

Если так случилось,
что ты веришь в звуки,
Можешь ли не вздрогнуть,
Слыша слово "море"?

Только вычитывая корректуру, я нашел решение, простое и сложное одновременно:

If you happen to believe
in the power of sounds,
Then you must surely shiver
At the mere[1] word: mer.

Благодаря одному крошечному французскому слову, которое наверняка знакомо каждому читателю, английское "mere" наполняется особым смыслом. Кроме своего прямого значения, оно рождает ассоциации с французским "mère" ("мать") и с древнеанглийским "mere" ("озеро" или "море"). Обыгрываются три значения, причем все они уместны в данном контексте. Признать невозможность перевода не значит признать поражение.

Лондон, 2003 г.

1. Mere — простой (*англ.*).

Александр Жолковский
"Красотка очень молода..."

Весной 2007 года в одном из лос-анджелесских музеев была выставка, посвященная Магритту и его новейшим последователям. Мы собрались на нее в день перед закрытием, народу было — не протолкнешься. Лейтмотивом выставки была, естественно, вездесущая магриттовская трубка, которая не трубка ("Ceci n'est pas une pipe"), — написанная где маслом, где гуашью, где пером, где синтетическими красками, всех возможных цветов и размеров, в рамках и просто на стенах, где плоская, а где и трехмерная, главным образом в аккуратных стеклянных витринках, а в одном случае — в виде лежащего на полу уютного агрегата из дерева, коры и уж не помню какого еще материала величиной с небольшую индейскую пирогу.

Среди прочей публики по залам ходила Джулия Робертс собственной персоной со спутником (наверное, мужем), без грима, в восточного вида туфлях на мягкой плоской подошве, и, судя по всему, на последнем месяце беременности[1], являя собой едва ли не наиболее интересный экспонат выставки. Поразительным образом, к ней никто не приставал, не просил автографов, не подходил и даже не пялился. Вполне в духе мероприятия все вели себя как ни в чем не бывало, как если бы звезда была не звезда.

Мы тоже сдержались. Мне, конечно, очень хотелось поделиться с ней своими глубокими соображениями о ее сигнатурном фильме "Pretty Woman" (1990; в российском прокате "Красотка"), но я овладел собой, утешаясь намерением когда-нибудь поделиться ими с читателем, что и делаю.

"Красотка" реализует сразу два родственных сюжета — спасение проститутки клиентом и брак Золушки с прекрасным принцем. В связи со "Справкой" Бабеля я в начале 90-х как раз занимался изображением проституции в русской и западной литературе[1] и с тем бóльшим интересом следил за действием. Как-то вечером посмотрел по телевизору два раза подряд.

Оба сюжетных мотива разработаны очень внятно. Их сцепление держится на клишированном образе проститутки с золотым сердцем (по-английски это роскошная аллитерация: a hooker with a heart of gold); Джулия Робертс смотрится отлично; Ричард Гир спасает ее от бедности и проституции, она его от бизнесменской черствости; заодно ненавязчиво проводится достоевско-постмодерная и слегка феминистская идея Уважения к Другому, а само имя героини — Вивиан — придает ей ауру "живости, жизненности" (вспомним "Доктора Живаго").

Ричарда Гира я всегда недолюбливал (за малый рост и какую-то общую мелковатость — хотя мне иногда думают польстить сходством с ним), но тут он меня не раздражал, и я честно болел за него. Я даже ввел переклички с "Красоткой" в курс "Шедевров русской новеллы" для калифорнийских первокурсников, общий художественный багаж с которыми находить становится все труднее (с

© Александр Жолковский, 2008

1. Интернет сообщает, что она успешно родила — мальчика — 18 июня.

1. А. Жолковский. Топос проституции в литературе // Он же. Полтора рассказа Бабеля: "Гюи де Мопассан" и "Справка / Гонорар". Структура, смысл, фон. — М.: КомКнига, 2006. С. 168–217.

Евангелием знакомо процентов тридцать, "Гамлета" читало хорошо если десять-пятнадцать, а о Вальтере Скотте, Мопассане и Генри Джеймсе не слыхал никто).

Одно место фильма бросилось мне в глаза полным выпадением из круга стереотипов. По окончании срока, на который Вивиан была нанята миллионером за кругленькую сумму и во время которого они сблизились, он предлагает продолжить связь — снять ей квартирку, открыть счет в банке и т. п. Заработанные деньги она берет (тогда как русская красавица обычно бросает их в камин, а при отсутствии такового — на пол), но на роль содержанки не соглашается: not good enough, это не то, о чем она мечтала, в голове у нее Prince Charming. Она направляется к двери, он ее удерживает и просит провести с ним еще одну ночь, на этот раз не за деньги, а потому что и она этого хочет. Она отказывается и уходит.

Дальше все возвращается в привычную колею: он понимает, что не может без нее жить, узнает ее адрес и в последнюю минуту перед ее отбытием в другой город и новую жизнь успевает заехать за ней на белом коне (черном лимузине) и, преодолевая мучивший его всю жизнь страх высоты, карабкается к ней с букетом в руках по пожарной лестнице, так что она имеет возможность процитировать ему концовку своей программной сказки: "And she rescues him right back" ("И она спасает его в ответ"). Поцелуй в диафрагму.

Почему же меня так удивил ее отказ? Не только привлек мое внимание как специалиста по изображению проституции, но и задел непосредственно — видимо, как носителя соответствующей ментальности. В отклонении героиней роли содержанки ничего обидного вроде бы нет: общение с клиентом и заработанные деньги вернули ей чувство собственного достоинства (это один из лейтмотивов фильма — как и, скажем, второй части "Записок из подполья"), и предлагаемый компромисс ее не устраивает. Но отказ от бесплатной ночи любви в привычные рамки русского топоса не укладывается.

Собственно, к этому моменту Вивиан проституткой уже не является — она заработала достаточно, чтобы, как сказал бы Беня Крик, "бросить профессию" — уехать, продолжить образование и встать на честный трудовой путь. Героя она явно любит, он ее тоже (в конце фильма это подтвердится), и отдаться ему теперь по любви, в порядке свободного выбора свободной женщины, казалось бы, более чем естественно. В чем же дело?

По сюжету — в ее приверженности той сказочно-романтической мечте о принце, которая засела в ее голове с детства, по сути же — в хладнокровном расчете деловой американки, отлично владеющей искусством переговоров. Отказывая ему сейчас, она завоевывает его навсегда. Для чего на наших глазах как бы внезапно превращается из проститутки обратно в девственницу, невинность которой может быть куплена лишь ценой венчания. Ее сердце оказывается золотым в самом буквальном смысле слова. (На этот случай в английском есть выражение "She is a gold-digger" — "Она золотоискательница".)

Сама по себе договорно-финансовая сторона половых отношений не новость. Этому учат: литература (все тот же топос проституции — раздел, посвященный уравнению "буржуазный брак = проституция"); фольклор (типа анекдота о женщине, которую мужчина спрашивает, отдастся ли она ему за миллион? — да; а за сто рублей? — за кого вы меня принимаете?! — да нет, мы оба понимаем, что вы такое, просто торгуемся); американская юриспруденция (с ее понятием "prenuptial agreement" — договора о разделе имущества в браке и при разводе) и личный опыт (к собственно проституткам мне обращаться не приходилось, но с каким-то количеством женщин разной степени обеспеченности и материальной заинтересованности я за долгую жизнь дело имел). И все-

таки во взаимном бескорыстии что-то есть. Best things in life are free[1].

Вообще, вызывает недоумение, почему в финале он, как надо понимать, решает на ней жениться. Об их религиозных и семейных ценностях в фильме не было ни слова — как и о планах иметь детей. Ее curriculum vitae (профессиональное резюме) к браку не располагает. По-чернышевски и толстовски спасать ее тоже не надо — она уже спасена. Она уверяет, что только замужество избавит ее от сплетен и приставаний циников — так это вряд ли: всегда найдется, кому припомнить ее прошлое. Тем более, что ее любовь к герою до сих пор была сугубо и последовательно продажной.

Вынуждает его к браку мертвая хватка героини, не замечаемая им не случайно, а в результате перевоспитания, которому Вивиан подвергала его на протяжении фильма, отучая от жесткого обращения с противниками. Он и отучился, размяк и, боюсь, не догадается составить толкового брачного контракта, необходимого для ограждения его миллионов. Но, чем черт не шутит, может, одумается, и тогда продолжением "Красотки" станет "Невыносимая жестокость" ("Intolerabe Cruelty", 2003) братьев Коэн, с Джорджем Клуни и Кэтрин Зета-Джонс.

P. S. Мораль? С одной стороны: *Что значит имя? Роза пахнет розой, / Хоть розой назови ее, хоть нет* (Шекспир). "Роза это роза это роза" (Г. Стайн). И даже: "Иногда сигара — это просто сигара" (Фрейд). А с другой: "Если на клетке слона прочтешь надпись 'буйвол', не верь глазам своим" (Козьма Прутков). В общем, Ceci n'est pas une pipe.

1. Самое лучшее дается даром (*англ.*).

Кеннет Кук
Страуса любить невозможно

Рассказ

Перевод с английского Тины Васильевой

СТРАУС — птица дьявольская. В его глазах — круглых, безжалостных и противных — отражается все его естество — ненависть и презрение ко всему живому в целом, и ко мне в частности. К тому же лягается он не хуже верблюда, а клювом может раскрошить камень.

Только раз в жизни мне "посчастливилось" столкнуться со страусом, но и эта встреча вселила в меня такой ужас, что, по мне, лучше иметь дело со свирепым коалой.

По странному совпадению, я оказался нос к носу со страусом по милости той же сотрудницы Службы охраны парков и дикой природы, которая несколько лет назад бросила меня в когти коалы. Доктор Мэри Энн Локер — приятная в общении женщина, однако из-за ее глубокого убеждения, что животные без всякого сомнения более полезные существа, чем люди, работать с ней было сущим адом.

Я случайно увидел ее в Музее Южной Австралии через несколько лет после приключения с коалой-убийцей, и поскольку мои раны зажили, то не кинулся от нее бежать, что было бы разумнее всего. Это была коротенькая, пухленькая, кругленькая дама с хорошенькими маленькими ушками, выглядывавшими из пушистых каштановых волос. Она ненамного моложе меня, но не верьте общепризнанной истине о благоразумии взрослых. Это совершеннейшая чушь! Никакой связи между возрастом и благоразумием нет, что я и продемонстрировал, приняв предложение Мэри Энн отправиться с ней на поиски страусиного яйца.

— А разве в Австралии есть страусы, — спросил я, — где-то, кроме зоопарков?

— О боже, конечно! — ответила Мэри Энн. — Тут их видимо-невидимо. Завезли в начале века, пытались разводить из-за перьев. Из затеи ничего не вышло, и страусы оказались на воле. Тут полно мест, где они водятся.

Оказалось, одним из таких мест был Куронг, лежащий к востоку от Аделаиды, — роскошный кусок земли, состоящий из песка, морских бухточек и чахлого кустарника. Его облюбовали водоплавающие птицы, и оно изобиловало пеликанами. Водилось здесь и множество других крылатых созданий — практически все виды, которые только можно себе вообразить.

©1987 by K. C. Productions Pty. Ltd
© Тина Васильева. Перевод, 2008
Редакция благодарит правообладателя за любезно предоставленную возможность безвозмездной публикации.

Это одно из тех редких мест, где южноавстралийское правительство разрешает охоту ради спорта на лисиц и кроликов, проявляя поразительную наивность, полагая, что охотники ограничиваются отстрелом только этих вредителей.

Мэри Энн предложила отправиться в Куронг на поиски страусиного яйца.

– А зачем тебе понадобилось страусиное яйцо? – спросил я.

– Я пишу диссертацию о родстве между эму и обыкновенным страусом, и поэтому мне надо найти яйцо одного и другого вида, причем в одинаковом состоянии.

– Ты что, пишешь еще одну докторскую?

– Да, пишу.

– Зачем?

– В наши дни лишняя ученая степень не помешает, – ответила она.

Что поделаешь, она была ученым. Порода, которую в целом я не выношу, но Мэри Энн относилась к тем редким, лучшим ее представителям, которых вполне можно принимать в обществе.

Это тогда я так думал.

Так я оказался в мчавшемся через Куронг джипе рядом с Мэри Энн.

– Смотри, вон как раз один бежит! – сказала Мэри Энн.

Справа от машины я увидел крупного страуса, который скакал через пески, распустив перья наподобие видавшей виды черно-белой балетной пачки.

Существо это напоминало старую крашеную балерину, прыгающую на длинных тощих ногах перед возмущенными зрителями.

– Интересно, как это ты собираешься подобраться к твари, которая несется с такой скоростью? – спросил я.

– А я и не собираюсь, – ответила Мэри Энн, – нам нужно просто идти по его следам, пока не найдем яйцо. Пошли!

Она выскочила из машины и начала рыться в багажнике. Вскоре она вынырнула оттуда, держа в руке сетчатую сумку и еще что-то, похожее на большое одноствольное ружье.

– А это что такое? – спросил я.

– Сетка, чтобы нести яйцо. Я бы не хотела лишний раз трогать его руками.

– Да нет, я имею в виду вот ту штуковину.

– Это парализующее ружье, – сказала Мэри Энн.

– Зачем оно тебе понадобилось? Ты что, собираешься парализовать яйца?

– Естественно, нет. Просто иногда страусы ведут себя довольно агрессивно, особенно если дело касается их потомства.

Вот когда я понял, что пора сматывать удочки, но прозрение, как всегда, пришло слишком поздно. Не мог же я оглушить Мэри Энн и уехать на ее машине.

Лучше б я тогда так и сделал.

Мэри Энн запихнула сетку в карман своего голубого комбинезона, забросила ружье на плечо и зашагала вперед. Я поплелся за ней. Вскоре мы напали на следы страуса. Они были размером с обеденную тарелку и сильно вдавлены в песок. Было ясно, что здесь пробежала очень тяже-

лая птица. Мне тут же представилось, как подобные следы отпечатываются на разных частях моего тела.

— А это твое ружье, оно способно остановить такую тварь? — нервно спросил я.

— Конечно! — сказала она. — Несколько секунд, и страус будет спать. Главное, ружье не причинит ему абсолютно никакого вреда.

Меня совершенно не волновало, будет ли какой-нибудь вред причинен страусу. Гораздо больше меня беспокоило, сколько вреда он сам успеет причинить до того, как свалится. Я бы предпочел свое старое надежное оружие 0.303 калибра.

Часа два мы шли по следам, которые в основном вели нас по кругу, и в конце концов наткнулись на гнездо. Там лежало яйцо, размером и формой похожее на мяч для игры в регби. Цветом оно не отличалось от яйца эму. Мэри Энн опустилась на колени перед яйцом и нежно его ощупала.

— Отличный экземпляр! — объявила она. — К тому же птенец вот-вот вылупится!

Она вытащила из кармана комбинезона стетоскоп и приложила его к яйцу:

— Точно! Слышно, как сильно бьется его сердце. Там внутри совершенно сформировавшийся птенец. Как раз то, что мне нужно! Если мы возьмем яйцо, а позже вернем его на место, то никакого вреда ему это не причинит. — Она вытащила сетку и протянула ее мне. — Держи ее вот так, открытой, а я положу в нее яйцо.

Поднять яйцо с земли стоило Мэри Энн довольно больших усилий. Когда яйцо очутилось в сумке, я сам был поражен, насколько оно тяжелое.

— Хочешь, я его понесу, — предложил я.

— Нет, лучше я сама, с ним надо поосторожнее. Лучше возьми ружье.

Она вручила мне ружье, взяла яйцо, и мы направились к машине.

Мэри Энн шла очень медленно; она несла сумку, неуклюже держа ее перед собой обеими руками, чтобы яйцо не разбилось. В двадцати футах перед ней брел я.

Неожиданно раздался жуткий вой, будто в пастуший рог дул верблюд-астматик, и из кустов в двадцати метрах от меня возник огромный страус.

Голова страуса возвышалась примерно на три метра над землей, туловище с раздувавшимися от гнева перьями казалось гигантским. Глаза сверкали от ярости и жажды крови. Клюв, это смертоносное оружие, был приоткрыт, и тот ужасный звук, который мы слышали, извергался как бы из самого страусиного нутра, поднимаясь по длинной, вибрирующей шее. Его мощные когти рыли землю, поднимая тучи пыли; он уже почти навис надо мною.

Я закрыл лицо руками и завизжал — я всегда так делаю в момент опасности. Однако этому отродью до меня не было никакого дела, он проскочил мимо, хлестнув перьями как хлыстом мне по рукам, и бросился на Мэри Энн.

Для нее это не было такой неожиданностью, как для меня, поэтому она успела развернуться и побежать. Она была довольно резвым созданием, несмотря на свою округлость, и выдала довольно неплохое время, однако куда ей было тягаться со страусом! Он настигал ее с явным намерением затоптать до смерти, успев до того выклевать ей мозги.

Даже убегая, Мэри Энн продолжала держать перед собой сумку с несчастным яйцом, чтобы не повредить его. Ученые — преданные своему делу люди.

За несколько миллионов лет до всего происходящего милость божья бросила на пути Мэри Энн огромный валун, на который было довольно легко взобраться и по которому она взлетела вверх как опоссум. Страус оказался у камня почти одновременно с ней и стукнул клювом, целясь ей в спину, но промахнулся и отколол от валуна кусок размером с мою голову. Я содрогнулся, представив, что мог бы сделать со спиной Мэри Энн удар такой силы. Она взлетела на вершину на высоту четырех метров и рухнула там, задыхаясь, но по-прежнему прижимая к себе яйцо, а страус в это время тщетно исполнял воинственный танец, вздымая когтями клубы пыли и откалывая клювом здоровенные куски камня. Ногами он отбивал первобытный барабанный аккомпанемент своему яростному, подвывающему кулдыканью.

Это была очень рассерженная птица.

Я озирался в поисках подходящего дерева, но страус не проявлял ко мне никакого интереса. Он жаждал разделаться с Мэри Энн и вернуть свое яйцо.

Мэри Энн с трудом поднялась, внимательно осмотрела яйцо и крикнула мне:

— Влепи дротик в эту тварь!

Тут я вспомнил о парализующем ружье, сорвал его с плеча и попытался разобраться в его механизме. У меня ничего не получалось.

— Как оно работает? — крикнул я.

— Потяни затвор на себя, пока не раздастся щелчок, прицелься и нажми на курок! — Я едва ее расслышал сквозь тот ужасный шум, который поднимал страус.

Я нашел затвор и оттянул его назад. Это оказалось довольно просто. Подняв ружье к плечу, я пытался навести его на страуса. Но чертова скотина распрыгалась так, что попасть в нее было все равно, что в шарик от пинг-понга в разгар игры.

— Лучше подойди поближе, — крикнула Мэри Энн.

У меня не было ни малейшего желания этого делать. Мое внутреннее Я твердило, что единственное, что я действительно должен сделать, это развернуться, бежать к машине и ехать за помощью. Мэри Энн в данный момент ничего не угрожало. Хотя кто знает — с тем усердием, с которым страус клевал и лягал валун, на котором она сидела, тот довольно скоро мог вместе с Мэри Энн превратиться в груду щебня. По натуре своей я совсем не герой, но так как все внимание страуса было сосредоточено на Мэри Энн, я счел вполне безопасным подойти на несколько метров ближе, чтобы попасть в цель.

Удостоверившись, что неподалеку есть дерево, на которое, если что, я смогу легко взобраться, я приблизился к страусу на расстояние десяти метров. Наведя ружье на неистовую фигуру, покрытую перьями, я раскачивал дуло в такт с ее движениями.

— Стреляй в бедро! — кричала Мэри Энн.

Я знал, что, даже стреляя в упор, я вряд ли мог вообще попасть в него, не говоря уж о конкретных частях его тела. Тем не менее я постарался. У

меня ушло около пяти минут на то, чтобы попасть в такт с движениями страуса, сосредоточившись на его бедре. Наконец я нажал на курок.

Это было духовое ружье, поэтому особого шума оно не произвело, зато отдача от него была удивительно сильной. Транквилизирующий дротик устремился прямо и точно.

В мэри-энновское предплечье.

— Ты... — завизжала Мэри Энн, употребив набор слов, которые я никак не ожидал услышать из уст ученого.

Она выдернула дротик из плеча так же стремительно, как тот вонзился в него. Транквилизатор, однако, успел проникнуть в руку. Эффект был ужасающий. Почти сразу у Мэри Энн начали подгибаться колени. Она крикнула мне: "Сними меня отсюда, ты...", — снова продемонстрировав потрясающе богатый словарь. После этого, упав на спину, она начала кататься, издавая странные звуки, которые звучали в унисон с чудными звуками, издаваемыми страусом.

Моим первым побуждением было убраться отсюда подобру-поздорову. Но, подумав, я решил остаться, ведь если станет известно, что я бросил мою ученую хозяйку на милость сумасшедшего страуса, перед этим выстрелив в нее из парализующего ружья, моя репутация сильно пострадает.

Мэри Энн корчилась на вершине камня, рискуя рано или поздно скатиться прямо под ноги страусу.

Я снова передернул затвор и выстрелил, но, само собой, в цель не попал. Ничего не оставалось, как проявить героизм, что было совершенно не в моем стиле.

Размахивая ружьем как дубинкой, я рванул к камню. Страус повернул голову и лягнул меня правой ногой. Когтем он полоснул по рубашке, сорвав ее с меня. В ответ я швырнул ему в голову ружье и случайно попал.

Тут страус разъярился окончательно, а мне не оставалось ничего другого, как кинуться наверх.

Я услышал, как его жуткий клюв с грохотом ударил о камень прямо у моих ног; в следующий момент я уже лежал, задыхаясь, на вершине, вцепившись в Мэри Энн и пытаясь удержать ее наверху.

Она издавала какие-то совершенно нечленораздельные звуки, и я не сразу сообразил, что это она просто хохочет. Заходясь от смеха, она каталась по камню почти в пределах досягаемости смертоносного клюва. Все дело было в транквилизаторе. Он попал ей в кровь, и от этого она вела себя как пьяная. Я понятия не имел, что делать, поэтому довольствовался тем, что издавал успокаивающие звуки и не давал ей скатиться к страусу.

Тут я заметил, что яйцо, по-прежнему целое, лежит на краю валуна.

Ситуация была тупиковая. Я что есть силы цеплялся за Мэри Энн. Страус не выказывал ни малейшего желания убраться. Эта история грозила продолжаться до бесконечности, пока я не умру от изнурения, голода, жажды и стыда — по отдельности или от всего вместе взятого.

Внезапно Мэри Энн заснула. Сначала я подумал, что она умерла, но пока я лихорадочно нащупывал ее пульс, она начала громко храпеть. Я оставил ее лежать там, где она была, встал и взглянул вниз на страуса. Он продолжал яростно бить ногами по земле и откалывать от валуна куски не хуже отбойного молотка.

Я поднял с земли яйцо, все еще лежащее в сетке, и начал размышлять.

А что, если я сброшу его вниз? Может, это умиротворит страуса и он уберется отсюда? С другой стороны, яйцо может разбиться, цыпленок внутри погибнет, и все это спровоцирует еще более яростную вспышку страусиного гнева. Так я стоял с яйцом в дрожащих руках, как вдруг позади меня проскрипел голос:

— Что это ты задумал, черт возьми?

Я обернулся. Трезвая, хладнокровная, бдительная Мэри Энн сидела и свирепо глядела на меня.

— Ты в порядке! — радостно воскликнул я.

— Естественно, в порядке, — ответила Мэри Энн, — не так уж много ты и всадил в меня этого транквилизатора. Ничего страшного, я вела себя глупо всего несколько минут. Так что ты собрался делать с яйцом?

— Думал вернуть его матери в надежде, что она уйдет отсюда.

— Это самец, — сказала Мэри Энн, педантичная, как всегда.

— Ты хочешь сказать, что он даже не откладывал это яйцо?

— Это было бы необычно с биологической точки зрения, — сказала Мэри Энн.

Меня не слишком занимала научная сторона вопроса.

— Допуская, что это ОН — и будь я проклят, если понимаю, по каким признакам ты это определяешь, — он проявляет сильный отцовский инстинкт по отношению к этому яйцу. Почему бы ему его не отдать? В конце концов это его яйцо, если оно вообще чье-то.

— Только через мой труп, — заявила Мэри Энн, забирая яйцо у меня из рук.

Я воздержался от замечания, что это может произойти раньше, чем она думает.

— Дай мне ружье, — сказала она, — я нокаутирую эту тварь.

Она подчеркнула слово Я, подразумевая, что я оказался на это неспособен. Разумеется, у нее были все основания так говорить. Она вытащила дротик с транквилизатором из кармана комбинезона. Я показал ей на землю, где страус продолжал обмолачивать валун.

— Я швырнул его в страуса, когда лез сюда тебе на помощь, — сказал я, оправдываясь.

Мэри Энн хмыкнула.

— В таком случае тебе лучше спуститься и подобрать ружье, — сказала она, — иначе нам придется остаться здесь навсегда.

Я взглянул на страуса, чья энергия, по-видимому, была неистощима, и твердо покачал головой.

— Ни за что, Мэри Энн.

Вообще я не обладаю даром убеждения, но бывают случаи, когда я способен выражаться решительно. Это был как раз такой случай.

Мэри Энн оценила мою твердость, поднялась и стала размышлять.

— Знаешь что, — сказала она примерно через минуту, — давай так: ты возьмешь яйцо, соскользнешь с камня по обратной стороне и побежишь изо всех сил. Страус погонится за тобой, я схвачу ружье и подстрелю его прежде, чем он тебя настигнет. Как тебе это?

— Нет, Мэри Энн, — твердо ответил я.

— Какого черта! — сказала Мэри Энн, чья манера выражаться под давлением обстоятельств выказывала прискорбную тенденцию скатиться до трущобного уровня.

— ТЫ берешь яйцо и бежишь, а Я хватаю ружье и подстреливаю его прежде, чем он тебя нагонит. Как тебе это?

Мэри Энн невозмутимо посмотрела на меня.

— Я бы не доверила тебе подстрелить даже резиновую утку в ванной, — сказала она.

Учитывая обстоятельства, в чем-то она была права.

Минут десять мы просидели в мрачном молчании; я не отводил взгляда от страуса, который к этому времени уже стер в порошок довольно приличную часть валуна.

Если мы будем так сидеть, то — и это только дело времени — мы оба свалимся с камня под удары клюва и когтей.

— Ладно, — произнес я обиженно, — давай сюда это чертово яйцо.

— Будь с ним поосторожнее, — напутствовала Мэри Энн.

— Заткнись, — буркнул я в ответ, не чувствуя себя больше обязанным быть чересчур вежливым с Мэри Энн.

Я соскользнул вниз, вцепившись в яйцо, и, не заботясь больше о том, кокну я его или нет, рванул к машине. Назад я не смотрел, но услышал, как подвывающее кулдыканье прервалось, а затем раздалось снова еще громче, чем раньше.

Я слышал приближающуюся тяжелую поступь огромных лап. Мэри Энн тем временем съехала с камня, схватила ружье, зарядила дротик, которых у нее, видимо, был целый запас, и начала стрелять, устремившись вслед за нами.

Мимо моей головы свистели дротики. Ясно было, что если я сам не упаду под ноги страусу от изнеможения, то очень скоро буду транквилизирован в легкую неподвижную добычу. По крайней мере это будет небольно, успел подумать я.

Земля вокруг меня уже сотрясалась под ударами страусиных лап. Я чувствовал на шее его горячее дыхание. От его кулдыканья темнело в глазах. Я задыхался. Наконец на повороте дороги я обернулся и, когда страус устремился вперед, собираясь меня прикончить, швырнул в него яйцом.

Скорлупа разлетелась. Я остановился и посмотрел — внизу в сетке трепыхался живой и невредимый, лишь слегка оглушенный, страусенок. Он был довольно крупный. Страусенка каким-то образом оказалось гораздо больше, чем яйца.

Он ухитрился выпутаться из сетки и быстрехонько побежал в кусты. Его папаша — полагаю, это был отец — с кудахтаньем вместо прежнего злобного кулдыканья кинулся следом за ним.

Я стоял на месте, задыхаясь. Гневно размахивая ружьем, ко мне подбежала Мэри Энн.

— Что ты сделал с моим яйцом? — закричала она, уставившись на сетку с кусками скорлупы.

— Поехали домой, Мэри Энн, — устало сказал я.

Когда, ну когда я научусь НИКОГДА не связываться с учеными?

"Откуда-то приходят к нам слова..."

Паломник. Страницы европейской поэзии XIV–XX веков в переводах лауреата Государственной премии России Александра Ревича. — М.: Этерна, 2007

Собрание переводов — всегда большое искушение, большая честь, но и большой риск для их автора, ведь выстроенные в ряд работы могут обнажить излюбленные приемы, речевые обороты — словом, будет видна одна рука, и пусть даже это рука мастера, возникнет некоторая двусмысленность: чья скрипка первая — Шекспира или Пастернака, Бернса или Маршака? Что, собственно, значит "поэт-переводчик"? Переводчик поэзии непременно должен быть поэтом, иначе он сумеет скопировать скелет оригинала, передать ход образной мысли (хоть образ при этом растает), но никогда не передаст души и музыки стиха. Однако не каждый поэт обладает чуткостью, пластичностью и смирением переводчика.

"Жизнь поэзии пронизана мистикой, и перевод поэзии — тоже", — пишет Александр Ревич в предисловии к сборнику "Паломник". Вся книга — подтверждение этой мысли, ибо перевоплощение творческой личности, поэта, обладающего собственным голосом, собственной, узнаваемой в каждой строке интонацией, во множество очень разных поэтов разных времен и культур невозможно без вмешательства некой мистической силы:

Повелитель дон Родриго,
Чтобы трон прославить свой,
Объявил турнир в Толедо,
Небывалый будет бой...

Романсеро

Я заперт в декабре,
как старец безголосый,
который пред окном темнеющим сидит,
блуждает по своим
слепым воспоминаньям,
с улыбкою по светлым улицам бредет,
не видя ничего,
на тени натыкаясь, теперь
и много долгих лет, холодных,
как декабрь...

Филипп Жаккоте

Сновиденьем странным
Призраки парят
В зареве багряном,
Как в песках закат.
Долгим караваном,
Как в песках закат,
Их уходит ряд
В зареве багряном.

Поль Верлен

Я, мадам, Фома Неверный,
Верой в небо не томим,
Что мне Рим ваш лицемерный,
Что мне ваш Иерусалим!

Генрих Гейне

Ты жизнь мне, Боже, дал,
чтоб я тебе служил,
Ты воскресил того,
кто голову сложил,
Ты длань ко мне простер;
Тебе, Господь, на лоно
Я душу положу,
прими же благосклонно...

Теодор Агриппа д'Обинье

Беда стряслась нежданно —
Убила пани пана,
В лесной зарыла чаще
Над речкою журчащей...

Адам Мицкевич

Смеркалось. Растаяли краски,
печальные по-человечьи,
Звезды зажглись, и казалось,
там дети, несущие свечи,
И казалось, что вечер
сошел с колеи.

Все это случилось в Белянах
средь леса густого
В 1935 году
от Рождества Христова.
Константы Ильдефонс
Галчинский

...постигал я какие законы
управляют огнем чья корона
пылает во мраке
и где кладут свои яйца
змееподобные реки
и куда убегает просторное поле
со своим чернобылом
и чертополохом и черным волом
и куда уплывает солома
которую ты отряхнул с плеча
Янис Рицос

Строгие классические размеры, наивные народные мелодии, гибкий свободный стих, лихое безбожие и глубокая вера, галльское изящество и славянская напевность, стройность и угловатость, пафос и озорство — и все без фальши, без натуги.

В предисловии к "Паломнику" сам Ревич охотно приводит несколько поистине мистических историй, которые полны поэзии и, благодаря еще одному таланту Александра Михайловича — блестящего рассказчика, хорошо известны среди его друзей и коллег. Пожалуй, самая удивительная из них — история о том, как изменился его почерк за время работы над переводом "Трагических поэм" Теодора Агриппы д'Обинье:

Уже завершив многолетнюю работу, <...> я с удивлением заметил, как изменился за эти годы мой почерк: был острый, стал округлый. Неужели изменился и характер? В дальнейшем я убедился и в этом. Однажды мне попался на глаза автограф страницы из поэм д'Обинье: мой русский почерк стал походить на старофранцузскую вязь переводимого поэта. Долго не мог прийти в себя. Д'Обинье не только расширил мой стилистический круг, но внедрил в меня свой мир[1].

1. "Паломник", с. 6.

В такое не поверит только безнадежный материалист, не верящий также, что любой художник (великий или нет, но настоящий) становится каналом, по которому проходит... музыка, вдохновение, информация, красота, она же истина — кому как нравится, и главная его забота — убрать помехи на пути этого потока. Сказал же Микеланджело, как просто быть скульптором: берешь кусок мрамора и отсекаешь все лишнее. Помехи возникают от незнания и неумения, искусство убирать их, оставляя чистый звук, — и есть мастерство.

Переводчик поэзии в высшем проявлении своего таланта переводит не только текст, но и то, что за этим текстом скрывается, то есть страну, время, атмосферу, коллизии, героев. И все это надо видеть и осязать. Но самое главное, необходимо во что бы то ни стало передать состояние автора и героев. Плакать, если они плачут, смеяться, если смешно. <...> Перевод должен воздействовать на сознание с той же силой, как подлинник. Это и есть конгениальность. Тогда он — перевод, а не пересказ, переложение, что способен сделать ремесленник[1].

Можно ли научить и научиться такому переводу, Ревичу, много лет преподающему в Литературном институте, виднее.

В сборник входят переводы с итальянского, испанского, сербохорватского, французского, немецкого, польского, английского и греческого языков. Это произведения Петрарки и Ронсара, Гёте и Гюго, Мицкевича и Томаса Мура, Малларме, Норвида, Тувима, Паламаса, Рицоса... Если представить себе весь сонм поэтов, в каждого из которых переводчик вживался в полную меру своего таланта, создается впечатление многомерной жизни, жиз-

1. Там же, с. 9–10.

ни в разных слоях времени и пространства. Изнуряет или обогащает такой опыт?

Ответом на этот вопрос, который Ревичу-поэту задают довольно часто, служит еще одна из его любимых устных новелл:

> Однажды Евгений Рейн уговаривал меня бросить переводы. "Зачем, — говорит, — ты переводишь все эти стихи, огромные, неподъемные кирпичи? Это же трата сил, энергии". Я разозлился и ответил: "Силы и энергию тратят, когда пытаются создать нечто похожее на поэзию, дотянуть поэта, которого считаешь хуже себя, до нужного уровня. Тащить надо, подымать, тратить силы. А когда я перевожу Агриппу, он меня возносит в такие духовные и художественные высоты, какие вам не снились"[1].

Что сказать? "Героические поэмы" пламенного протестанта, соратника Генриха IV Агриппы д'Обинье действительно неподъемны — даже и в буквальном смысле слова. Да и такой читательский труд не каждому по плечу. А уж поднять все исторические, метафорические, поэтические пласты текста... Между тем для перевода — перевода такого класса, о котором идет речь, — "читать текст со словарем" недостаточно, надо, как было сказано, видеть и осязать происходящее, мыслить теми же категориями, а главное, дышать тем же дыханием. Грудь современного человека не вмещает такого мощного ("бесконечно длинного", как пишет Ревич), эпического, дантовского дыхания; немудрено, что за двадцать с лишним лет — столько длилась работа — оно расширило внутренний мир переводчика по всем измерениям. Ревич — один из немногих сегодняшних поэтов, для которого эпическая эстетика вполне органична, свидетельство тому — его поэмы последних лет. (В своеобразном преломлении это свойство проявилось и при переводе "Чудовищного шедевра" греческого поэта XX века Яниса Рицоса, позволив Ревичу разглядеть в оригинале не просто поток сознания — вот уж чего читатели до тошноты нахлебались в современной прозе, отечественной и зарубежной, — а добротно скрепленные ритмом также "удлиненного" дыхания поэтические строки и найти для них адекватную форму в другом языке.)

Истово верующий Агриппа ощущал себя пророком, которому ангел Божий вложил в грудь "угль, пылающий огнем", а в уста — слог Ветхого Завета. Этим же слогом написан перевод. Но слог — это нечто большее, чем лексика и даже стиль, чтобы им овладеть, надо усвоить — то есть принять, сделать чем-то своим — также и суть того, чему подражаешь, а при этом измениться может не только почерк и характер, но и мировоззрение. Что и произошло с Ревичем. Об этом переломе в сознании он говорил не раз, сказано об этом также в предисловии к "Паломнику", к которому мы и отсылаем читателей.

Свидетельство удивительного слияния двух поэтов — венок сонетов, который переводчик предпослал русскому изданию "Трагических поэм". Вот первый из них:

> Откуда-то из глубины веков,
> Из бездны сна, неведомо откуда
> Врывается в сознанье
> звон клинков,
> Предсмертный страх всплывает
> из-под спуда.
>
> Проулок загораживает груда
> Кровавых тел детей и стариков,
> Мужчин и женщин,
> и в жилище блуда
> Мы видим
> окровавленный альков.

1. Интервью газете "Русская мысль", 8—14 января 1998 г.

Мне все равно,
в какой реке струится
Сегодня кровь
и чья теперь столица
Передо мной —
Париж или Москва.

Старинный это город или новый,
Откуда-то приходят к нам слова,
Доносятся тревожной меди зовы.

Снова приходит в голову мысль о параллельном существовании в двух временах. Там и тут война, одинаково бесчеловечная в XVI и XX веке; чтобы перевоплотиться в раненого молодого Агриппу, переводчику достаточно вспомнить себя девятнадцатилетним мальчишкой, истекающим кровью на поле боя. В высоком ветхозаветном регистре опыт обоих солдат смыкается.

Пусть профессионалы пропустят следующий абзац, иначе не миновать мне насмешек. Простым же читателям могу признаться: я никогда не понимала, как можно написать сонет — живой, в котором бьется пульс, в котором строчки не подогнаны друг к другу и рифмы не подобраны искусственно, пусть даже и искусно, по всем известной схеме, в котором образ, мысль и форма неразделимы. И даже если допустить — а приходится! — что сонетная матрица существует где-то в сознании поэта и стихотворение неведомым образом вызревает в ней, как яблоко, в заранее предопределенном виде, то как такое же яблоко вырастить в себе из заданного цвета, вкуса и размера, то есть перевести?

Чудны дела Твои, Господи!

Ревич — не единственный прекрасный переводчик сонетов, в том числе сонетов Петрарки. Причем, как признается он сам, в этом случае никакой близости к поэтике великого итальянца он не ощущал. Позволю себе снова процитировать давнишнее интервью:

Мне предложили, долго уговаривали, перевести около сорока сонетов. Я знал переводы, которые казались мне великими, Вячеслава Иванова. Иванов утверждает, что Петрарка писал богословскую поэзию, а все, что говорится о донне Лауре, это чистая символика, религиозная христианская символика. И еще та Прекрасная Дама, к которой пришли символисты. По переводам, если хорошо читать, это заметно.

Я стал смотреть Петрарку, приняв на веру эту концепцию. Но, когда стал переводить, вдруг почувствовал: оттуда, через строчки, горловые рыдания пошли. Пошла человеческая любовь. <...> Петрарка оказался шире, глубже, чем мы все. Он удовлетворил все чаяния. Вот это и дало мне его перевести. Но поэт он мне чужой[1].

Всё, что не ранит,
привлечет едва ли,
Нет, я стремлюсь во сне и наяву
К Мадонне, к смерти,
к роковому краю.

Все эти двадцать долгих лет
печали
Стенаньями и вздохами живу.
Я пойман, я люблю, я умираю.

Кто бы, прочтя эти строки, сказал, что Петрарка чужд переводчику? Никто, кроме самого Ревича. Точно так же только он сам знает, какие поэты ему созвучны, питают его душу. Помимо Агриппы, он называет Верлена и Галчинского.

Галчинский, которого Ревич переводил и тридцать лет назад, и совсем недавно, научил его "пользоваться незавышенным слогом", в случае же с Верленом — снова мистика. "Он научил меня не нажимать на строку, на интонацию и даже на поэтическую фонетику, делать стих испаряющимся"[2].

Это испарение достигалось огромным трудом, иной раз делались и забраковывались десять,

1. Интервью газете "Русская мысль", 8—14 января 1998 г.
2. Там же.

двенадцать вариантов перевода одного, особенно прозрачного стихотворения. А тот, что оказывался самым верным, ломал каноны ремесла:

Les sanglots longs	*Осень в надрывах*
Des violons	*Скрипок тоскливых*
De l'automne	*Плачет навзрыд,*
Blessent mon cœur	*Так монотонны*
D'une langueur	*Всхлипы и стоны –*
Monotone.	*Сердце болит.*

Интуиция подсказала переводчику поменять местами мужские и женские рифмы в "Осенней песни", и получилась щемящая протяжность оригинала.

Мистика не в этом — вернее, не только в этом проникновении в тайну звукописи. Верлен стал посредником между Ревичем и Пастернаком, ему открылось глубокое сродство этих двух поэтов, когда он переводил сборник "Мудрость", в котором видел вершину верленовской поэзии.

Хотелось бы особо сказать о переводах из Филиппа Жаккоте (по-русски его имя пишут также с одним "к" — Жакоте), почти ровесника Ревича, одного из самых значительных франкоязычных поэтов наших дней. Его тонкая лирика преображает зеленый лист, порыв ночного ветра, синюю тень в капли вечности. В свое время для Жаккоте стало потрясением знакомство с японской классической поэзией: "Как никакая другая, в величайшей простоте и одновременно изысканности, избегая тяги к исступлению и разрыву, она умела озарить бесконечностью самые обыденные моменты самого заурядного существования"[1]. "Самая большая тайна в том ...что бесконечное может войти в конечное — и оттуда сиять"[2], — пишет Жаккоте. По сути, то же самое, хотя другими словами говорит Ревич, называя его поэтом, который пытается "выразить невидимое, вместить неземное в земную атмосферу" (цитирую по личной беседе).

Представленные в книге "Паломник" стихотворения были переведены для антологии швейцарской поэзии, которая вышла в свет в 1981 году, это было первое знакомство русской публики с Филиппом Жаккоте. Год назад в издательстве "Текст" впервые вышел большой сборник его стихов и прозы. Некоторые из ранее переведенных Ревичем стихотворений даны в нем в других переводах. Не стану утомлять читателей сравнением, да и не берусь судить о достоинствах той или иной версии. Ревич далек от принятого в Европе и постепенно распространяющегося также у нас так называемого "аналитического перевода", главная цель которого — с точностью подстрочника передать сцепление слов и образов, порой в ущерб звучанию и форме. Все выходящее из-под его пера поет, это может быть странная, не всегда привычная для нашего уха, но всегда гармоничная музыка. Жаккоте в исполнении Ревича всегда узнаваем — в рифмованных, белых и свободных стихах (где все же слышатся пунктирные созвучия):

Едва забрезжит день,
ступаю за порог,
до края белый снег
пространство заволок,
склоняется трава
в ответ на мой привет,
и вижу я,
что здесь надежде места нет.

***

Ночная темнота —
огромный спящий город,
Где ветер шелестит...
Он из далекой дали
Июньской полночью
к постели прилетел.

1. Филипп Жакоте. Прогулка под деревьями / Перевод А. Кузнецовой. — М.: Текст, 2007, с. 383.
2. Там же, с. 382.

***

Мы и сами живем там,
где дали и круговорот,
и сердце все время в пути;
от растений к пернатым,
от пернатых к созвездьям,
от созвездий к любви.
И любовь, находясь взаперти,
в неустанном круженье.
В движенье,
служанкой заботливой
ночью светильник несет.

Интересно, что Жаккоте и сам виртуоз литературного перевода, переложивший на французский язык "Одиссею" Гомера, стихи Гёльдерлина, Рильке, Леопарди, Гонгоры. В свое время его потрясла и "спасла от упадка" встреча с поэзией Мандельштама и знакомство с его судьбой. Прочитав несколько его произведений в переводе на французский, он начал изучать русский, чтобы читать в оригинале, а затем и переводить самому эти "истинно свободные стихи, написанные на языке, не похожем на тот жуткий суконный язык, который подчинил себе всю страну"[1].

Мандельштам не относится к числу любимых поэтов Ревича, зато в отношении к Верлену они с Жаккоте, называющим поэзию автора покаянной "Мудрости" "тихой, смиренной", удивительно сходятся.

Вообще, когда читаешь эссе Ревича о поэзии (Александр Ревич. Из книги жизни. — М.: Радуга, 2007) и эссе Филиппа Жаккоте (Ф. Жакоте. Прогулка под деревьями. — М.: Текст, 2007), иной раз вдруг слышишь удивительные созвучия.

В заключение — забавная перекличка поэтов-переводчиков и последняя история о мистике поэзии и перевода.

"Гёте... переводу не поддается, — пишет Жаккоте, — а причина в том, что в его стихах головокружительное словесное искусство, исключительная поэтическая техника сочетаются со свободным лирическим дыханием. То есть он одновременно и необыкновенно виртуозный мастер, и живой, непосредственный, затрагивающий сердце и душу поэт. Такое же сочетание мастерства и естественности можно наблюдать у Пушкина, который тоже плохо поддается переводу"[1].

Ревич перевел только одно стихотворение Гёте, нечаянно, "во хмелю", и этот перевод заставил крупного специалиста по немецкой литературе Н. Н. Вильям-Вильмонта воскликнуть: "Что вы сделали! <...> Перевели непереводимое"[2].

Когда в бескрайности природы,
Где, повторяясь, всё течет,
Растут бесчисленные своды,
И каждый свод врастает в свод,
Тогда звезда и червь убогий
Равны пред мощью бытия,
И мнится нам покоем в Боге
Вся мировая толчея.

"...Перевел стихотворение и удивился: стихи по-русски, отнюдь не по моей воле, оказались похожими на русские стихи Тютчева"[3].

Поистине, "таинство присутствует в каждом стихотворении"[4], — сказал Филипп Жаккоте, и Александр Ревич с удовольствием подписался бы под его словами.

Наталья Мавлевич

1. Филипп Жакоте. Прогулка под деревьями, с. 402.

1. Там же, с. 404.
2. "Паломник", с. 9.
3. Там же.
4. Филипп Жакоте. Прогулка под деревьями, с. 382.

Феномен Рышарда Капущинского

Рышард Капущинский *Император. Шахиншах* / Перевод с польского С. И. Ларина. — М.: Европейские издания, 2007

Выход под одной обложкой двух, уже ставших новейшей классикой, книг — "Императора" и "Шахиншаха" (впервые на русском языке) дает нам повод поговорить о своеобразии таланта их автора — о самом феномене Капущинского. С одной стороны, перед нами один из самых знаменитых польских писателей конца прошлого века, книги которого переведены на неимоверное количество языков, имя которого не раз входило в неофициальный "нобелевский шортлист". А с другой — спор о том, чем же, собственно, занимался Капущинский в литературе, не прекращается до сих пор. То есть уже очевидно, что Капущинский входит в число тех, кто определял формы и содержание современной... А вот тут происходит заминка. Современной журналистики? Литературы? Философии (как минимум политической философии и философии истории)? Конечно, можно сказать: и журналистики, и литературы, и философии истории. Но ведь есть же точка, в которой все эти свойства таланта Капущинского сходились, и она не может не иметь названия или хотя бы развернутого определения.

В некрологах, появившихся после его смерти в прошлом году, Капущинский чаще всего именуется журналистом. Он и был им. Писал "актуальные репортажи" из "горячих точек планеты". А затем на том же материале писал свои книги. По форме — документальная проза, книги журналиста-международника о событиях в Анголе, в Эфиопии, в Иране, Либерии, Венесуэле и т. д. Век подобных книг, как правило, короток — актуальность их напрямую зависит от актуальности задействованного материала. И как только описанные в них события перестают быть "злобой дня", для книги наступает томительная пауза — ожидание обретения (или не-обретения) второй жизни в качестве исторического свидетельства, в каковом она и имеет шанс продолжить свою жизнь для потомков. С книгами Капущинского подобного не происходит, они заставляют читать себя без оглядок на злободневность их материала. Хотя, казалось бы, чем может взволновать нас на фоне нынешних процессов на Ближнем Востоке история правления и падения в 1974 году последнего императора Эфиопии Хайле Селассие, описанная в "Императоре"? Да и нынешнее драматическое напряжение иранского сюжета делает свержение шаха в 1978 году, описанное в "Шахиншахе", позавчерашней новостью. И тем не менее невозможно оторваться (сужу, естественно, по себе) от изложения Капущинским этих как бы давно остывших новостей. Дело здесь не в актуальности описываемых событий, дело в актуальности мысли — в попытках автора найти и сформулировать некие универсалии, размыкающие временную и географическую (национальную) замкнутость описываемого.

А это уже не вполне журналистика, это скорее политическая публицистика, это философия истории, писавшаяся, так сказать, в реальном времени. У Капущинского с самого начала был собственный путь в журналистике. В 1955 году начинающим журналистом он написал очерк об одном из социалистических предприятий Польской народной республики, в котором позволил себе далеко выйти за рамки дозволенного в социалистической прессе. В оттепельной эйфории тогдашней

Польши очерк стал событием, принес автору известность и первую литературную премию — золотой крест ордена Заслуги, — но в то же время Капущинский был взят на заметку властями. Перед молодым журналистом замаячила перспектива в недалеком будущем оказаться непубликуемым на родине автором. И Капущинский занялся международной журналистикой, отправился писать репортажи из далеких и экзотических стран. Материал, на котором он работал, не связывался напрямую с общественной и политической жизнью стран "социалистического лагеря", и это обеспечивало автору определенную свободу публичного размышления об истории и современности. Предельно упрощая, можно было бы сказать, что Капущинский нашел собственную форму эзопова языка в разговоре о современности. Именно так читали его в 60—70-е годы в Восточной Европе, где книги Капущинского были обречены — перефразируем пушкинскую фразу — "разойтись на политические аллюзии", на иносказательный комментарий к текущей политической и общественной жизни.

Однако наступившие времена сделали ненужными наши навыки чтения между строк, тем не менее книги Капущинского попрежнему сохраняют для нас свою энергетику. Одна из причин этого в том, что, сопрягая как бы разные менталитеты, разные исторические ситуации — Иран или Эфиопию 70-х с социалистической явью Восточной Европы, в поисках скрещений, в поисках интернационального, вневременного их содержания, — автор в своих размышлениях должен был двигаться в глубь описываемых событий. И именно это давало неожиданную остроту и емкость его умозаключениям по поводу фактов, казалось бы, исчерпывающе вписанных в определенную историческую ситуацию.

Внутренняя структура его текстов во многом определена сложным взаимодействием тематик Востока и Запада, в котором Восток — объект исследования, ну а субъект — европейский менталитет автора. Говоря языком сегодняшней культурологии, в сочинениях Капущинского несомненны признаки стратегий современной "ориенталистики", то есть попыток через описание Чужого сформулировать Свое, сделать исследование восточного деспотизма формой самоидентификации Запада. Именно так, например, подходит к манере мышления Капущинского в его книге о России "Империум" американский культуролог Максим Вальдштейн[1]. Но я бы, например, наличие "ориенталистики" у Капущинского отнес к родовым чертам самого жанра путевых записок европейца, странствующего по Востоку, нежели к индивидуальным особенностям мышления Капущинского. Капущинский, разумеется, европеец. Но в отличие, скажем, от француза или англичанина, у него, как у выходца из страны "социалистического лагеря", был как бы дополнительный душевный орган, позволяющий чувствовать описываемый материал изнутри. Нищета, война, бытовая и общественная жизнь тоталитарных режимов были темами не только его репортажей и книг, но — его жизни. И чего нет в его изображении Африки или Ближнего Востока, так это смакования экзотики африканской и ближневосточной архаики в противовес разумному, гуманному и комфортному устройству современного Запада, то есть отсутствует подспудное самолюбование западного человека. Капущинского проблемы восточных деспотий задевают изнутри — можно предположить, что это

1 Максим Вальдштейн. Новый Маркиз де Кюстин, или Новый травелог о России в постколониальном прочтении / НЛО, 2003, № 60.

следствие его первых столкновений с "большой историей", когда в семилетнем возрасте он вместе с семьей бежал из родного Пинска (нынешняя Беларусь) от советской оккупации, чтобы оказаться — в немецкой; ну а отрочество Капущинского и юность пришлись на годы "становления социализма" в Польше. Интерес Капущинского к механизму современных диктаторских режимов, к тому, как и что подтачивает изнутри несокрушимые на первый взгляд диктатуры, интерес к тому, что несет с собой революция и чем потом расплачивается страна за революционную эйфорию, был интересом личным, интересом, так сказать, насущным. И, соответственно, разгадку воздействия книг Капущинского следует искать не в его якобы умении пользоваться политическими аллюзиями (напротив, он-то как раз старается по возможности уйти от аллегорического, то есть уплощенного метода мышления), — дело в сложности задач, которые он ставил перед собой, и вытекающей из этого сложности и как бы даже парадоксальности выбора стилистик повествования.

Вот как бы неуместный для документального повествования эпизод из "Шахиншаха" — в новогоднюю ночь 1979 года вместо того, чтобы ехать на вечеринку к коллегам, автор-повествователь отправляется на тегеранскую площадь перед американским посольством. На площади ничего не происходит. Там пусто, темно, морозно. За окнами здания, где скрываются заложники, никакого движения. В будке на площади мерзнут два исламских стража нового иранского порядка. Самое глухое в этот час и безжизненное место во всем Тегеране. Что делает там автор-повествователь? Не за информацией же он приехал. Автор как бы и сам не знает. Но, повторяю, при всей странности подобного описания в историческом документальном расследовании воспринимается оно абсолютно органичным для всего строя повествования Капущинского. Образ этой впавшей в ночное морозное оцепенение площади собирает в пучок множество мотивов книги, это своеобразная метафора конца истории шахского Ирана и начала его новой истории. Иными словами, природа этого описания — это уже природа художественного образа.

Именно на энергетику художественного образа во многом ориентируется Капущинский в своих книгах. На его емкость, неоднозначность, позволяющую мысли жить неоскопленной жесткостью и однозначностью политической формулировки.

Одна из структурообразующих для книги "Император" мыслей, на которой во многом держится повествование, может даже обескуражить своей очевидностью. Да, диктатура это всегда — антинародный режим. Персонификация этого зла — сам диктатор. При этом так же очевидно, что "короля делает свита", что "по Сеньке и шапка" и так далее. Все это вроде как бы исчерпывающе проиллюстрировано огромным количеством фактов, приводимых в "Императоре": режим Хайле Селассие обрекал Эфиопию на нищету, голод, на самоубийственный в XX веке застой. Все назначения на руководящие посты (от поста министра до начальника почтового отделения) осуществлялись в государстве одним человеком — императором, и отбирал император исключительно по принципу личной преданности из самых никчемных (жадных, трусливых, неинициативных) — выбирал по себе, такому же неграмотному, вероломному, лживому, подлому... И при этом эфиопское общество оставалось монолитным, даже в момент первой — в 1960 году — революции. Восставших против диктатуры Селассие разгромил как раз народ, за спасение которого и вы-

ступил генерал Менгисту; автор подчеркивает: не правительственные войска со своими автоматами и пушками сокрушили революционеров, а колья и камни "простых эфиопов".

Казалось бы, тема исчерпана. Но зачем-то для этих как бы простеньких умозаключений автор выбирает необыкновенно сложный, громоздкий путь — текст книги представляет собой прямую речь немногих уцелевших после революции придворных Селассие. При этом автор убирает индивидуальные различия из речи своих исповедующихся собеседников, но не лишает эту речь эмоциональной окраски. Нам предоставляется возможность услышать голос самого режима. Прием, позволяющий автору как бы без особых усилий создать образ императорского двора как термитника — собрания людей-функций. Ну, а воплощение почти абсолютное этого термитника в книге — сам Селассие. То есть Капущинский парадоксальным способом заставляет исповедаться самого императора, потому как Селассие плоть от плоти этой дворцовой черни, он так же — с той же истовостью, с тем же сладострастием — раболепствовал, так же искал протекции вышестоящих, но был хитрее и терпеливее других, и подлее, и вероломнее — императором он стал в результате сговора с западными странами, которые помогли ему устроить переворот и свергнуть в свое время законного наследника.

Здесь автор не сообщает, он — изображает. Погружает нас в свою мысль, предлагает прожить ее. И эффект неожиданный — постепенно картина теряет однозначность. Да, Селассие ничтожен и отвратителен, но и — по-своему — велик. Мы видим мужество и выдержку старого человека, заставляющего себя ежедневно совершать уже физически непосильный для него ритуал. И в этот усложняющийся по мере повествования образ органично входят такие, например, факты: когда-то и сам Селассие пытался преобразовать этот термитник: "в самом начале своей монаршей карьеры запретил отрубать руки-ноги, что служило обычной мерой наказания даже за мелкие провинности", "запретил обычай, состоявший в том, что человека, обвиненного в убийстве (обвиняла в этом чернь, ибо судов не существовало), четвертовали и эту экзекуцию выполнял самый близкий родственник, так, например, сын убивал отца, мать — сына"; Селассие "закупает первые типографии, и по его повелению выходит первая в государстве газета. Потом открывает первый банк", "публикует декрет, осуждающий работорговлю. Выносит решения ликвидировать ее к 1950 году" и так далее. Но император тут же уперся в границы своих возможностей — он чуть не лишился трона, решившись завести в стране авиацию, дьявольское, по мнению его подданных, изобретение XX века.

То есть Капущинский быстро отодвигает в сторону фигуру императора и культивируемый им стиль управления в стране как способ объяснения устройства и функционирования эфиопского диктаторского режима. Дело не в императоре — дело в законах, по которым жил этот термитник; дело в тех глубинных связях, которые возникают между "почвой" и порожденной ею системой управления. Созданный Капущинским в "Императоре" образ монархии как социопсихологического феномена в ее архаичном — африканском в данном случае — варианте выглядит почти гротескным, он заставляет вспомнить фантасмагоричный образ племени Иеху из "Сообщения Броуди" Борхеса. Вот, например, деталь, помогающая понять, с какой страной имел дело тот же несчастный Селассие, — способ вы-

явления преступника, практиковавшийся в Эфиопии начала XX века: "Чародеи поили мальчиков тайным зельем, и те, одурманенные, обалделые, ведомые сверхъестественной силой, входили в чей-нибудь дом и указывали преступника. Тому, на кого они указывали, по традиции отрубали ноги и руки".

Здесь уже дышит сама почва, на которой выстраивается система власти, и не надо обманывать себя утверждением, что почва эта исключительно темная, древняя, африканская. Соотношения общественной "системы" и "почвы" имеют свои законы, и законы эти универсальны, в частности, логика их, как правило, не соотносится с логикой "разумного" или "гуманного" — достаточно вспомнить о государственной практике власти режимов Сталина и Гитлера, большинством населения их стран воспринимавшейся естественной нормой.

Одна из самых важных для содержания обеих книг Капущинского мыслей — мысль о соотношении структуры и революции. Позволю себе еще одну развернутую цитату (цитировать Капущинского — удовольствие): "Любая революция — это противоборство двух сил: структуры и движения. Движение атакует структуру, стремясь ее уничтожить, структура обороняется, хочет уничтожить движение. Обе силы одинаково мощные, обладают разными особенностями. Особенность движения — его спонтанность, стихийная, динамическая экспансивность и непродолжительность. Зато свойства структуры — вялость, устойчивость, удивительная, почти инстинктивная способность к выживанию. Структуру относительно легко создать, несравненно труднее ее уничтожить. Она может просуществовать гораздо дольше тех факторов, которые способствовали ее созданию". Формулировка, возникшая в тексте уже ближе к концу повествования в "Шахиншахе", опять же не должна обманывать кажущейся очевидностью. Та сложная система образов, с помощью которой автор ее разворачивает, лишает сказанное философской сентенциозности и спрямленности. В частности, история двух восточных деспотий и освобождения народа от их гнета в обеих книгах композиционно обрамлена — и тем самым как бы подсвечена изнутри — изображением постреволюционного террора, разрухи и похмельного оцепенения общества, чреватых возникновением "новой" структуры.

Иными словами, в книгах Капущинского мы имеем дело не только с информацией о фактах новейшей истории и цепью умозаключений политического мыслителя — перед нами тексты, имеющие художественную природу. Капущинский скрещивает документалистику с эстетикой. И скрещивание это обладает могучей взрывной силой, оно высвобождает в бытовом, ограниченном временем, местом, ситуацией и прочим — бытийное. Капущинский работал с фактом как художник, а значит — как философ.

Сергей Костырко

Философия в легком жанре

Зиновий Зиник *У себя за границей.* М.: Три квадрата, 2007

В одном из московских издательств вышла новая книга Зиновия Зиника — русского писателя, живущего в Лондоне. Немедленное указание на место жительства автора в данном случае оправ-

данно: это не биографическая подробность, а что-то вроде профессионального самоопределения. Книга так и называется — "У себя за границей", и если сводить ее темы к одному общему сюжету, то он совпадет с авторской характеристикой: "русский писатель, живущий в Лондоне". И это сюжет? Вот именно, да еще какой, оказывается, увлекательный.

Разумеется, мы говорим сейчас о сквозном или даже внутреннем сюжете книги, а каждая ее глава — очерк, новелла, скетч — отдельная, самостоятельная история. Книга и есть собрание таких историй, часто переходящих одна в другую, когда конец одной подхватывается началом следующей. Их длина определена жанром short story: короткие истории, "малая проза". О чем именно в них говорится, не перескажешь и на десятке страниц: в каждом очерке сходится множество событий, происходивших с автором или с кем-то другим — в другой стране, в другом времени. Некоторые их герои очень известны, даже знамениты, но это ни с какого боку не байки про знаменитостей, хотя бы потому, что их *главный* герой — не само действующее лицо, а та ситуация, в которой он оказывается. Ситуация всегда неожиданная, часто неловкая.

Вот, к примеру, нелегкая писательская судьба занесла рассказчика в лондонский марокканский бар, где он беседует с каким-то местным иракцем, по виду мелким лавочником, излагает ему свои идеи — в упрощенном, разумеется, приспособленном к уровню собеседника виде. Тот оказывается на удивление доброжелательным слушателем и собеседником. "'Yes, yes! — восклицал он и повторял: — baktyn!' Слово 'бактын', с ударением на 'а', означало, наверное, по-багдадски что-то утвердительное, вроде 'вот именно!' или, скажем, 'совершенно точно!' — 'бактын!'. Продолжая мою мысль, он сказал, что именно эта зеркальная амбивалентность Востока в российском Западе и Запада в иракском Востоке и объясняет, почему 'бактын' в переводе так популярен среди иракской интеллигенции.

— Кто-кто? — переспросил я.

— Бактын, — повторял мой собеседник. — Михаил Бактын".

Подобные ситуации ставят героя на место, и это место всякий раз *новое*. Раз за разом, из рассказа в рассказ он меняет положение, а соответственно и точку зрения. Меняющаяся точка зрения всю панораму событий делает подвижной, скользящей, неочевидной и явно нуждающейся в переосмыслении. В ней начинает просматриваться движущееся колесо истории, что особенно заметно, когда мысль автора блуждает по разным временам, а не только по разным странам.

Но и на такого героя, как "ситуация", у Зиника находится управа: сложная и часто загадочная связь одной ситуации с другой, с другими. Это своего рода "бог из машины", ставящий "ситуацию" на свое — боковое — место и указывающий следствиям на причину. Такая связь — еще одна, и, возможно, главная тема книги: "сближение далековатостей", как называет ее автор, цитируя Ломоносова. И Зиник, надо сказать, мастерски умеет выхватывать сюжетные нити из разных клубков, связывая их прочными узелками.

Часть этих историй мы могли читать и раньше: в "Итогах" или в "Новом времени", "Эсквайре" или "Критической массе". Некоторые были первоначально написаны по-английски для лондонского еженедельника "The Times Literary Supplement", где Зиник ведет колонку. Но, собранный в книгу, текст обнаруживает иное жанровое измерение (о чем чуть позже), а в авторе обнаруживается иное авторское "я".

Повествование ведется от первого лица, но ведет его не автор текста, а рассказчик — действующий персонаж каждой истории. Ему же принадлежат и все размышления по ходу дела. В этих попутных суждениях, как, впрочем, и в самих историях, постепенно проявляется какой-то новый облик — новый герой, незнакомый читателям прежних произведений Зиника. И герой, надо сказать, очень неожиданный.

В нем присутствуют некоторые качества, которые кажутся очень редкими, непривычными. Одно из них замечается исподволь и выходит на поверхность как незнакомый интеллектуальный этикет. Он свой в каждом времени и в каждой стране. Уловить, а потом и усвоить чужой этикет способны только очень чуткие и хорошо обучаемые люди. Герой Зиника как раз из таких. Но говорить о его интеллектуальном двуязычии можно только в переносном значении: как о метафоре особого состояния сознания или о двойном зрении. Едва ли герой всерьез собирался стать англичанином, но он безусловно хотел стать *немного* англичанином. То есть и англичанином тоже. Хотел научиться жить в другом мире, понимать другой язык, не забывая о своем. И постоянно сравнивая.

Он, пожалуй, эксцентрик, но не настаивает на том, что это его личное свойство. Мол, все мы, англичане, немного эксцентрики, и недавние в том числе. В каком-то смысле он эксцентрик поневоле. Даже его заносчивость понятна и объяснима, как нормальное ролевое, то есть чисто техническое допущение: да, вы правы, но на таких оборотах артиста всегда немного заносит. Но позвольте, тогда где мы, собственно, находимся — в цирке, что ли? Да, отчасти и в цирке. А рабочих рук как всегда не хватает, вот и приходится совмещать мыслительную акробатику с движениями печального клоуна.

Несмотря на избранный жанр, совершенно не предполагающий никакой такой "исповедальности", это книга довольно откровенная. Заметно, что она написана в период, когда обстоятельства складываются для ее автора не лучшим образом. Автор это не то чтобы скрывает, но старается обратить в шутку. Что не всегда удается. Но — странным образом — книге очень на пользу и то и другое: и то, что пытается, и то, что не всегда удается. Общий тон книги почти завораживает какой-то внутренней непритязательностью. Ее герой многое знает, о многом догадывается, но ни на чем особенно не настаивает. (И в этом тоже есть что-то английское.)

Постепенно начинаешь иначе понимать и название книги. Само слово "граница" оборачивается новым значением. "У себя за границей" — это еще и за границей себя прежнего, на переходе пограничных состояний. А там, как известно, все другое и ни в чем нет полной уверенности.

Пруст однажды заметил, что для современного Гамлета вопрос не в том, "быть" или "не быть", а в том, "принадлежать" или "не принадлежать". Эмиграция как будто отвечает на этот вопрос, но с неизбежностью ставит другой, и не менее сложный: чему именно ты *не* принадлежишь? Похоже, это занятие на всю оставшуюся жизнь. "Уехавший из России всякий свой шаг за границей сравнивает с гипотетическим шагом аналогичного порядка у себя на родине, как если бы он не уезжал. Он все время примеривается: а что бы вышло из этого моего поступка, если бы я вообще не уехал? Поэтому всякое мгновение эмигрант переживает дважды. Так что мои два десятка лет на Альбионе надо удвоить, и если прибавить три десятка до отъез-

да, то я скоро сравняюсь в возрасте с моим отцом".

Мы назвали героя Зиника "эксцентриком поневоле", но есть одно обстоятельство, позволяющее видеть здесь выбор добровольный, обдуманный и вполне логичный. У мира, по счастью, не один центр, их множество, и чем дальше ты от одного, тем ближе к другому. Зинику важно испытывать притяжения разных центров, качаясь как маятник с непредсказуемой траекторией. Впрочем, возможно и более продуктивное сравнение: не принадлежа полностью ни одному из своих миров, герой вынужден заниматься своего рода "челночной дипломатией". Челнок снует, прокладывая уточную нить. Но где "основа"? Без нее, без их соединения не возникнут — не *выткутся* – все эти вещи: ткань существования, полотно событий.

Герой понимает уникальность, обособленность *чужого,* но в то же время чувствует, что нет в мире ничего, что было бы абсолютно чуждым. Что мир только кажется разобщенным и обособленным, а в действительности все его части связаны невидимыми нитями (или иначе: соединены сюжетными линиями). Для Зиника эти линии, эти нити — постоянный объект наблюдения, все более пристального, накаленного страстным личным интересом. Рассказывая свои истории, писатель думает о жизни вообще, о том, как она устроена: действительно ли в ней присутствует эта всеобщая связность, или это очередная иллюзия?

Можно позавидовать художественному уровню лондонского еженедельника, регулярно допускающего на свои страницы то, что является "колонкой" только по виду, но не по существу. Вещи Зиника из соображений мимикрии сохраняют облик скетча — емкой и лапидарной "малой прозы", но внутренне постоянно нарушают жанровые границы. Еще и в этом смысле повествование вновь и вновь оказывается "у себя за границей": во власти внутренней тьмы и смуты, недоумения и замешательства. Это замечаешь не сразу, автор как будто скрывает от нас двойное дно своей прозы. Но, обнаружившись, оно затягивает посильнее любой интриги.

Нам кажется, что современный человек способен сохранять в себе "человеческое", только постоянно задаваясь вопросами относительно самого себя. И именно теми вопросами, которые обращают его к самому началу: к его "бытию" и его "исходу". В этом, возможно, причина острого и тревожного, недоверчивого внимания к тому "другому", кто добровольно изгнал себя из области "ответов" в область "вопросов". Его опыт нам, мягко говоря, небезразличен: он находится там, где стоило бы оказаться каждому.

Но еще стоило бы, пожалуй, поблагодарить автора за то, что он не выталкивает нас в эту "область вопросов", а только приоткрывает ее да еще умело декорирует занимательной заграничной экзотикой. Зиник относится к читателю сочувственно и старается излагать вполне серьезные вещи легко и забавно, пользуясь какими-то *примерами,* по ходу дела перерастающими в притчи. Но, по сути, это философия в легком жанре: маскирующиеся под очерки нравов упражнения в сведении концов с концами.

Михаил Айзенберг

У книжной витрины

с Михаилом Визелем

Письма Фридриха Ницше / Сост. и пер. с нем. Игоря Эбаноидзе. — М.: Культурная революция, 2007. — 400 с. — 4000 экз. (п)

Поразительно, но это первое издание эпистолярного наследия Ницше на русском языке. Приводится 337 писем — примерно девятая часть всего эпистолярного наследия философа, но зато они охватывают всю его жизнь, начиная со сдержанных отчетов 14-летнего подростка и заканчивая последними горячечными посланиями 1889 года, подписанными попеременно "Дионис" и "Распятый". Составитель-переводчик подчеркивает, что его не устроило ни одно из имеющихся немецких изданий эпистолярия Ницше, и он проделал всю текстологическую работу практически с нуля, опираясь на подлинники писем.

Джим Додж *Трикстер, Гермес, Джокер* / Пер. с англ. А. Веденичевой, Е. Тиновицкой. — М.: Гаятри, 2008. — 496 с. — 3000 экз. (п)

Заслуженный американский неформал и контркультурщик Додж написал толстый алхимический роман об американских "запрещенных людях" — анархистах-подпольщиках 60-х. Эти люди, взыскуя истины о первоэлементах и ища свое место в мире, не считают зазорным подделывать документы, не платят никаких налогов и вообще американскую государственную машину в упор не видят. Что не мешает им пользоваться ей по мере необходимости. Так, герой пересылает героине на заброшенную ферму на Диком Западе по почте чеки на круглую сумму — и она их, разумеется, исправно получает. Попробовали бы они поиграть в анархизм таким образом в советской деревне.

Томас Манн *Путь на волшебную гору* / Пер. с нем.; Предисл., сост., коммент. С. А. Апта. — М.: Вагриус, 2008. — 464 с. — (Мой XX век). 3000 экз. (п)

В известной вагриусовской серии "Мой XX век" выходит на сей раз не мемуаристика, а собрание публицистических и критических работ Томаса Манна, а также его публичные выступления и открытые письма. Названия говорят сами за себя: "Нобелевскому комитету по присуждению премий мира. Осло"; "Фрейд и будущее"; "Гёте как представитель бюргерской эпохи"; "Опыт о Чехове"; "Достоевский — но в меру".

Примо Леви *Периодическая система* / Пер. с итал. Е. Дмитриевой, И. Шубиной. — М.: Текст, 2008. — 352 с. — (Проза еврейской жизни). 5000 экз. (п)

Эта книга 1975 года гораздо светлее и мягче прославившей Леви страшной исповеди об Освенциме "Человек ли это?" (1947). Будучи химиком по образованию и проработав всю жизнь на химическом производстве, Леви берет за основу таблицу Менделеева и заполняет 21 ее клетку художественными рассказами и воспоминаниями, "отталкиваясь" от того или иного химического элемента. Инертный газ аргон ассоциируется у него с собственными предками, пьемонтскими евреями, не любившими вступать во взаимодействие с кем-либо; фосфор заставляет вспомнить о первой любви, а сера "вдохновляет" на настоящий неореалистический рассказ.

Бен Элтон *Светская дурь* / Пер. с англ. А. Балджи. — М.: Иностранка, 2008. — 480 с. — (The Best of Иностранка).

Известный британский комедиограф на сей раз представил книгу в жанре "а что, если?" А что, если легализовать *все* наркотики? Все равно ведь война проиграна, и они стали частью повседневной жизни. Но если их легализовать, то удастся ли проследить за надлежащим качеством и, главное, вырвать этот выгодный бизнес из рук преступников: ведь губят людей не только сами наркотики, но и необходимость ради них воровать, убивать, торговать собственным телом... Впрочем, высказываются эти весьма неоднозначные мысли не самим автором, а главным героем — скромным членом парламента Питером Педжетом, который после предложения законопроекта о легализации наркотиков стал всенародной знаменитостью. Питер упивается своей славой и не подозревает, что чем выше он возносится, тем ближе его сокрушительное падение. Ведь, как он сам всегда говорит (и автор с ним, похоже, соглашается), губят людей не наркотики, а собственные пороки.

Халед Хоссейни *Бегущий за ветром* / Пер. с англ. С. Соколова. — М.: Фантом Пресс, 2008. — 448 с. — (The Best of Phantom). 5000 экз.

Успешный американец афганского происхождения (богатая европеизированная семья успела покинуть страну незадолго до ввода советских войск и начала бесконечной войны) мучается воспоминаниями о проявленной им некогда трусости: он, ребенок, не вступился за своего сверстника-слугу перед уличными хулиганами-насильниками. Теперь, много лет, стран и революций спустя, он пытается исправить свою тогдашнюю оплошность. Роман Хоссейни с его описаниями патриархального кабульского быта, взорванного, в прямом смысле слова, событиями XX века, получился убедительным — не зря он попал в международные бестселлеры и пережил экранизацию. То ли доведенный до высшей степени утонченности ориентализм, то ли его преодоление.

Марио Варгас Льоса *Тетради дона Ригоберто* / Пер. с исп. Е. Матерновской. — М.: Иностранка, 2008. — 528 с. — (The Best of Иностранка). 7000 экз. (п)

Роман 1997 года "Тетради дона Ригоберто" — продолжение вышедшего девятью годами раньше "Похвального слова мачехе": описание титанических и весьма изощренных усилий подростка Фончито, направленных на то, чтобы помирить отца, эксцентричного лимского богача дона Ригоберто с женой Лукрецией. При том, что расстались они со скандалом из-за него же: кудрявый ангелочек фактически совратил собственную мачеху, а потом с невинным видом "проболтался" об этом отцу. Подобно "Похвальному слову...", "Тетради..." насквозь пронизаны эротикой. Только в первой книге она воздушная, грациозная, а во второй — густая, избыточная, барочная. Можно даже сказать — декадентская, как картины обожаемого Фончито австрийского художника Эгона Шиле. Для Варгаса Льосы этот необычный роман во многом оказался экспериментальным, открывающим новые пути в его творчестве.

Амели Нотомб *Серная кислота* / Пер. с франц. И. Кузнецовой. *Дневник ласточки* / Пер. с франц. Наталии и Игоря Поповых. — М.: Иностранка, 2008. — 272 с. — (The Best of Иностранка). 5000 экз. (п)

Два маленьких романа под одной обложкой не скажут ничего нового тем, кто знаком с предыдущим творчеством неутомимой бельгийки. Любовь—ненависть, наслаждение—страдание, сатира—гротеск — набор тем и приемов, которые она успешно и изобретательно использует уже 15 лет. На сей раз на материале некого "телевизионного концлаге-

ря" – доведенного до абсурда реалити-шоу, где надзиратели взаправду мучают заключенных ("Серная кислота"), и исповеди наемного убийцы, получавшего от своей работы наслаждение сексуального свойства ("Дневник ласточки"). Гораздо интереснее оказалось сопоставить тексты с автором – мадемуазель Нотомб посетила Москву в начале февраля и общалась с читателями, в том числе накоротке. Непосредственное наблюдение подтвердило то, что всегда чувствовалось по текстам: баронесса Нотомб далеко не так эксцентрична и мрачна, как хочет казаться.

Стиан Холе *Лето Гармана* / Пер. с норв. О. Дробот. – М.: Махаон, 2008. – 40 с. – 3000 экз. (п)

Красочно иллюстрированная детская книга, хоть и завоевавшая Гран-при на ярмарке детской литературы в Болонье, нарушает все каноны этой самой литературы. При том, что сюжет у нее вполне "нормальный". Маленький Гарман, живущий в большом загородном доме, готовится к школе. В дом на лето, как обычно, приезжают тетушки-старушки, которые пытаются рассказать ему о школе, о взрослой жизни и о смерти. Только вот изложена эта история совершенно "ненормально": с помощью огромных гиперреалистических комиксов, в которых старушки с фарфоровыми челюстями катаются на скейтах, а сам герой так и не получает ответа на мучающие его вопросы. По этой книге видно, какая благополучная страна – Норвегия. Потому что позволить себе столь тревожные детские книги могут только люди, у которых есть уверенность и в завтрашнем, и в послезавтрашнем дне. Сколько найдется у такой книги читателей в России – интересный вопрос. Хотелось бы, чтобы побольше.

По материалам зарубежной прессы

Cees Noteboom *Rote regen.* – Atlas, 2007, 224 p.

В сборнике автобиографических рассказов и очерков "Красный дождь" нидерландский писатель Сейс Нотебоом вспоминает свои многочисленные путешествия разных лет. Отправной точкой для него становится летний домик на острове Менорка, куда он каждый год приезжает и где дождь действительно бывает красным – оттого, что грозовые тучи, поливающие остров дождями, подхватывают по пути с юга красноватый песок Сахары.

За свою жизнь Нотебоом побывал во многих странах: он объездил почти все Средиземноморье, посетил Дальний Восток и Латинскую Америку. Но возвращается он всегда домой, в Амстердам, или на полюбившуюся ему Менорку. В приветственной речи, посвященной выходу "Красного дождя", Филипп Нобль, переводчик, публицист и соавтор Нотебоома по одной из книг, высказал мысль, что остров тоже герой книги, наряду с вспоминающим прошлое путешественником, – но также и "компактная вселенная", даже краткое описание которой открывает читателю очень многое.

Воспоминания иногда подводят, и тогда приходится их достраивать, утверждает Нотебоом. Его тексты полны тоски по ушедшему и выветрившемуся из памяти прошлому, но печаль его светла, – добавляют читатели книги в Нидерландах и Германии, где перевод вышел едва ли не в тот же день, что и оригинал на родине.

Ryszard Kapuściński *Dałem głos ubogim.* – Znak, 2008, 140 s.

"Пословица о том, что все дороги ведут в Рим, справедлива для Рышарда Капущинского", – пишет Алиция Капущинская, вдова известнейшего польского журналиста, в предисловии к посмертно изданной книге "Я позволил говорить бедным". И первое его путешествие, и последнее оказались связаны с Римом. В 2006 году Р. Капущинский приехал в университет итальянского города Больцано, чтобы ответить на вопросы местных студентов. Беседы с ними, дополненные несколькими статьями и очерками польских и итальянских авторов о самом Капущинском, и составили вышедшую в январе книгу. Таким образом, несмотря на одно лишь имя, Капущинский, на обложке, перед читателем – нечто вроде сборника.

В книжных обозрениях Польши отмечается, помимо прочего, что это издание – своего рода пересказ уже знакомых мыслей автора для молодых читателей, для которых его книги уже часть истории. Человек, хорошо знакомый с творчеством Рышарда Капущинского, скорее всего не найдет здесь ничего нового, не высказанного ранее. Однако те, для кого "Я позволил говорить бедным" станет одной из первых его книг, не останутся разочарованы, поскольку смогут получить цельное представление о личности Капущинского.

Oliver Sacks *Musicophilia: Tales of Music and the Brain.* – Knopf, 2007, 381 p.

В конце 2007 года американский нейропсихолог и автор целого ряда научно-популярных книг Оливер Сакс выпустил новую часть своих "записок врача", посвященную на сей раз музыке – "музыке как болезни и музыке как лекарству", по выражению обозревателя "Вашингтон пост" Питера Крамера. "Музыкофи-

лия: истории о музыке и мозге" заслужила высокую оценку многих критиков в США.

В "Музыкофилию" Сакс включил истории – или, по его собственным словам, "врачебные анекдоты" (в первоначальном смысле этого слова), – которые раскрывают множество удивительных свойств музыки. Среди наблюдавшихся у Сакса пациентов – люди, страдающие навязчивыми музыкальными галлюцинациями, и люди, у которых после мозговой травмы открываются композиторские способности; дирижер, сохранивший свои навыки, несмотря на тяжелое расстройство памяти, и пациенты с синдромом Альцгеймера, которые боролись с недугом с помощью музыкотерапии.

Обозреватель "Нью-Йорк ревью оф букс" Колин Макгинн пишет о книге так: "Девизом всех историй Сакса о неврологических расстройствах может стать фраза 'сохранить себя'". Уважение к человеку, испытывающему жестокие страдания, ценность личности, сколь бы тяжелыми ни были ее нарушения, – таково кредо Оливера Сакса.

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE
Faustus (from the German of Goethe). – Oxford University Press, 2007, 360 p.

Осенью 2007 года в британских научных кругах разгорелась дискуссия о том, завершил ли Сэмюэл Тейлор Колридж перевод гётевского "Фауста". Столь необычная постановка вопроса объясняется тем, что письма поэта и свидетельства самого Гёте говорят нам: Колридж над переводом работал, – но "Фауст" в его переложении так и не был опубликован, ни при жизни английского романтика, ни посмертно. Рукописей перевода также не сохранилось.

В 1971 году, однако, американский ученый Пол Залл предположил, что анонимный английский перевод "Фауста" 1821 года на самом деле принадлежит Колриджу. Британцы Фридерик Бэрвик и Джеймс Маккьюсик продолжили исследование Залла; итогом их работы стало вышедшее в конце прошлого года академическое издание этого перевода, снабженное подробными текстологическими комментариями и историей возникновения текста, а также статьей, где рассказывается, почему Колридж решил издать перевод анонимно.

Аргументы ученых вполне убедительны, пишет в "Таймс литерари саплмент" поэт и публицист Келли Гровье. Он вспоминает высказывание Т. С. Элиота: любое новое произведение в литературном каноне влияет на наше восприятие предыдущих, – и выражает уверенность в том, что вновь найденный перевод "Фауста" в чем-то изменит наше понимание английского – и европейского – романтизма.

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
Manon, danseuse et autres textes inédits. – P.: Gallimard, 2007

Четыре небольших тома ранее не публиковавшихся произведений и писем обладателя Гран-при Французской академии Антуана де Сент-Экзюпери, выпущенных издательством "Галлимар" в ноябре 2007 года, сразу же стали сенсацией на родине писателя. Центральное место в собрании занимает написанная в 1923 году новелла "Манон, танцовщица", текст которой долгое время считался утраченным (в галлимаровской "Плеяде" воспроизведено лишь несколько строк). Найденная машинописная копия "сказки", как сам Экзюпери называл свое раннее сочинение, проливает свет на формирование поэтики будущего автора "Маленького принца". Фабула проста: Манон, парижская проститутка, бредет утром по Пляс Пигаль и размышляет о том, как "тяжело оставаться женщиной, когда завтрашний обед зависит от мужчины". Однажды она встречает человека, рядом с которым надеется навсегда забыть о едком сигаретном дыме танцплощадок. Увы, надежды Манон не оправдались: узнав о ее прошлом, любовник сбегает, а она в отчаянии бросается под колеса автомобиля, но выживает; только танцевать больше не сможет.

Второй и четвертый тома объединяют неизданные фрагменты по-

лучившего в 1931 году "Фемину" романа "Ночной полет" (на русском языке он вышел в 1962 году в переводе М. Ваксмахера), раннее не публиковавшиеся главы из романа "Почта – на Юг" (или "Южный почтовый" в новом переводе внука Норы Галь Дмитрия Кузьмина), а также два неизвестных текста философского содержания "Вечернее свидание с самолетом" (" Je suis allé voir mon avion ce soir") и "Летчик" ("Le pilote").

В третьем томе читатели найдут семь любовных писем Экзюпери к Натали Палей, княжне из дома Романовых, парижской манекенщице и актрисе.

Новелла "Манон, танцовщица" и письма к Палей появятся вскоре на страницах "ИЛ".

WILLIAM TREVOR *Cheating at Canasta.* – Viking, 2007, 232 p.

В статье для "Нью-Йорк ревью оф букс", посвященной выходу нового сборника рассказов ирландского писателя Уильяма Тревора "Поддавки в канасту", писательница и критик Клэр Мессюд причисляет Тревора к числу "небожителей" англо-ирландской литературы. Она повторяет уже привычные в англоязычной критике сравнения Тревора с Чеховым и отмечает его уникальную способность с равной убедительностью передавать множество различных настроений: иронию, печаль, нежность.

"Рассказы Тревора – не застывшие монолитные глыбы, а сложные, хрупкие, живые создания", – пишет Мессюд. Она утверждает далее, что его писательская техника столь продумана, что читатель ее не ощущает – так естественны его герои и их чувства.

Примером мастерства Уильяма Тревора критик считает заглавный рассказ сборника. Его герой Мэллори тяжело переживает болезнь своей жены Джулии – ее личность медленно разрушается из-за синдрома Альцгеймера – и, сидя в одиночестве в их любимом ресторане, вспоминает, как она взяла с него обещание играть с ней в "канасту", когда он навещает ее в больнице. С развитием болезни Джулия оказывается неспособна общаться с мужем, но в карты играть еще может, и Мэллори поддается жене, чтобы та порадовалась выигрышу. "Этот рассказ сокрушительно печален, но также и прекрасен; это гимн супружеской любви и человеческому достоинству", – заканчивает статью Клэр Мессюд.

KERTÉSZ IMRE *K. Dosszié.* – Budapest: Magvetö, 2006, 235 p.

"'Досье К.' – единственная книга, написать которую меня побудил внешний мир, а не внутренний", – пишет в предисловии к своему сочинению венгерский писатель, нобелевский лауреат Имре Кертес. Книга представляет собой вымышленный диалог о жизни писателя, его родителях, о том, как он попал в концлагерь и каким оттуда вернулся, о борьбе за свободу мысли при двух диктатурах, о том, насколько автобиографичны его романы. "Никогда прежде Имре Кертес не был столь откровенен: он рассказывает о своей жизни без прикрас, с безукоризненной интеллектуальной честностью", – пишет литературный обозреватель газеты "Монд".

В интервью интернет-изданию "Signandsight" (www.signandsight.com) Кертес рассказал о работе над книгой: "После того как я получил Нобелевскую премию, обо мне написали и наговорили столько чепухи, что мы вместе с моим издателем решили опубликовать пространное интервью, надеясь хоть как-то исправить сложившееся у читателей ошибочное представление. Затем почти год я встречался с другом, литературным критиком и издателем Золтаном Хафнером. Когда он прислал мне готовую запись наших разговоров в увесистой папке, я прочел свои первые ответы – бессвязные ответы типичного интервьюера, – отложил рукопись в сторону и сел писать книгу 'Досье К.'. Золтан – слишком тактичный собеседник (все, кто знаком с этим добрейшим из литературных критиков, со мной согласятся), а мне нужен был вытягивающий из меня ответы наглец".

MAURICE BLANCHOT *Chroniques littéraires du "Journal des débats" avril 1941 – août 1944.* – P.: Gallimard, 2007, 688 p.

По словам издателя книги, никогда французский писатель, мыслитель и эссеист Морис Бланшо не писал о литературе так много, как во время войны. Каждую неделю выходила статья, где рецензировалась одна или несколько недавно вышедших книг (романы, стихи, эссе), и всякий раз Бланшо от критики переходил к интерпретации, а от интерпретации – к теоретическим рассуждениям. С апреля 1941 года по август 1944-го в "Журналь де деба" Бланшо опубликовал 173 литературно-критических статьи. Знаменитая газета, первый номер которой вышел в 1789 году, с июня 1940 года финансировалась правительством Виши и закрылась на следующий день после публикации последней заметки Бланшо. В 1943 году в издательстве "Галлимар" вышел сборник "Ошибки" ("Faux pas"), состоявший из 55 статей мыслителя, остальные опубликованы в настоящей книге "Литературные хроники 'Журналь де деба'".

"Бланшо не успел отредактировать последний сборник, оригиналы статей утрачены, поэтому мы взяли текст непосредственно из 'Журналь де деба' и внесли в него минимум корректуры. Учитывая, что газета выходила в характерном для ежедневных изданий режиме цейтнота, да еще и во время войны, в статьях часто встречаются пунктуационные и грамматические ошибки, их мы исправили, а все, что можно списать на особенность авторского стиля, оставили без изменений, – пишет исследователь творчества Бланшо и составитель 'Хроник' Кристоф Бидан в предисловии. – Читатели найдут здесь рассуждения о Данте, Рабле, Декарте, Монтескье, Блейке, Жарри, Джойсе, Жироду, Малларме, о французских сюрреалистах и немецких романтиках. На материале статей мы видим, как происходило становление критика, для которого написание рецензии стало интеллектуальной необходимостью".

Подготовили А. ЛЕШНЕВСКАЯ, И. МОКИН

Георг Кляйн
Georg Klein
[р. 1953]. Немецкий прозаик. Лауреат премии имени братьев Гримм города Ханау [1999] и премии имени Ингеборг Бахман [2000].

Автор сборников рассказов *Призыв слепой рыбы* [*Anrufung des blinden Fisches*, 1999] и *Про немцев* [*Von den Deutschen*, 2002], романов *Barbar Rosa. Детективная история* [*Barbar Rosa. Eine Detektivgeschichte*, 2001], *Солнце нам светит* [*Die Sonne scheint uns*, 2004] и *Грех Добро Молния* [*Sünde Güte Blitz*, 2007].
Перевод публикуемого романа выполнен по изданию *Libidissi* [Berlin: Fest, 1998].

Татьяна Александровна Баскакова
Переводчик с немецкого, французского и итальянского языков.

В ее переводе изданы книги А. Роке *Брейгель, или Мастерская сновидений*, И. Фрэн *Клеопатра, или Неподражаемая*, О. Ролена *Пейзажи детства*, Р. Сафрански *Хайдеггер. Гёрманский мастер и его время*, романы К. Крахта *Faserland* и *1979*, А. Шмидта *Каменное сердце*, А. Дёблина *Три прыжка Ван Луня*, повесть Т. Бернхарда *Холод: Изоляция*, текст Герта Йонке *Говорящий по часовой стрелке* и др. В *ИЛ* в ее переводе печатались рассказы А. Шмидта [1999, № 7] и И. фон Кизерицки [2002, № 5], повесть Т. Бернхарда *Племянник Витгенштейна* [2003, № 2], роман Ф. Йегги *Пролетарка* [2003, № 3], фрагменты книги Х. Х. Янна *Деревянный корабль* [2003, № 9], письма и афоризмы П. Целана [2005, № 4], повесть А. Шмидта *Черные зеркала* [2005, № 5] и др.

Хавьер Мариас
Javier Marías
[р. 1951]. Испанский писатель, переводчик, литературовед и публицист. Лауреат многих национальных и международных премий.

Автор романов *Повелитель времени* [*El monarca del tiempo*, 1978], *Чувствительный мужчина* [*El hombre sentimental*, 1986], *Черная изнанка времени* [*Negra espalda del tiempo*, 1998], *Дорога за горизонт* [*Travesía del horizonte*, 1999], *Век* [*El siglo*, 2000] и др., а также десяти сборников рассказов, четырех книг эссе. Переводил с английского на испанский произведения Дж. Апдайка, Дж. Конрада, В. Набокова, Р. Л. Стивенсона, У. Фолкнера, Дж. Д. Сэлинджера и др. В *ИЛ* опубликован его роман *В час битвы завтра вспомни обо мне...* [2002, № 5].
Рассказ *Разбитый бинокль* [*Prismáticos rotos*] взят из сборника *Когда я был мертвым* [*Cuando fuí mortal*. Madrid: Alfaguara, 1998], рассказы *И настоящее, и прошлое...* [*Serán nostalgias*] и *Песня лорда Рендалла* [*La canción de lord Rendall*] — из сборника *Пока они спят* [*Mientras ellas duermen*. Madrid: Alfaguara, 2000].

Тоне Павчек
Tone Pavček
[р. 1928]. Словенский поэт, переводчик, эссеист, автор книг для детей. Лауреат нескольких национальных литературных премий, в том числе высшей награды Словении в области литературы — премии Франце Прешерна [1984].

Автор поэтических сборников *Мечты продолжают жить* [*Sanje živijo dalje*, 1958], *Плененный океан* [*Ujeti ocean*, 1964], *Языческие гимны* [*Poganske hvalnice*, 1976], *Пустошь* [*Goličava*, 1988], *Темная заря* [*Temna zarja*, 1996], *Дары* [*Darovi*, 2005] и др. В русских переводах стихи Павчека публиковались в сборниках *Земля и мужество* [М., 1981], *Поэзия современной Югославии* [М., 1981], *Поэзия Словении. XX век* [М., 1989].
Публикуемые стихи взяты из книги *Рассветы* [*Razsviti*. Ljubljana: EDINA d.o.o., 2001], эссе — из журнала *Sodobnost* [1987, № 12].

Надежда Николаевна Старикова
Литературовед, доктор филологических наук, переводчик со словенского.

Автор монографии *Словенский исторический роман 1920–30-х годов. Типология. Генеалогия. Поэтика* [2006], соавтор *Истории литератур Восточной Европы после Второй мировой войны* [т. 2, 2001], редактор и переводчик антологии *Современная словенская проза, поэзия, драма* [2001].
В *ИЛ* публиковались ее предисловия к стихам Т. Шаламуна, А. Ихана, Ф. Прешерна, К. Ковича.

Исмаиль Кадарэ
Ismail Kadare
[р. 1936]. Албанский поэт, прозаик, эссеист. Лауреат премии Чино дель Дука [1992], Букеровской премии [2005]. Живет во Франции.

Автор сборников стихов *Юношеские порывы* [*Frymëzimet djaloshare*, 1957], *Мечтания* [*Ëndërrimet*, 1957], *Мой век* [*Shekulli im*, 1961], *О чем задумались эти горы* [*Përse mendohen këto male*, 1964], *Время* [*Koha*, 1977] и др., романов *Город без рекламы* [*Quteti pa reklama*, 1959], *Чудовище* [*Përbindëshi*, 1965], *Хроника в камне* [*Kronikë në gur*, 1971], *Великая зима* [*Dimri i madh*, 1977; рус. перев. *Суровая зима*, 1992], *Погибший апрель* [*Prilli i thyer*, 1978], *Досье Г* [*Dosja H*, 1990], *Три траурные песни о Косово* [*Tri këngë zie për Kosovën*, 1998], *Дочь Агамемнона* [*Vajza e Agamemnonit*, 2004] и др., сборников рассказов и эссе. В *ИЛ* печатались его роман *Генерал армии мертвых* [1989, № 6], новелла *Вестник беды* [1992, № 8-9] и рассказ *Великая Стена* [1995, № 9].
Рассказ *Lamtumira e së keqes* публикуется по двуязычному [албанско-французскому] изданию сочинений [*Vepra*, т. 3. Fayard, 1995].

Славомир Мрожек
Sławomir Mrożek
[р. 1930]. Польский драматург, прозаик, эссеист. Кавалер ордена Возрождения Польши.

Автор пьес *Полиция* [*Policja*, 1958], *Индюк* [*Indyk*, 1960], *Танго* [*Tango*, 1964], *Игры с привидениями* [*Drugie danie*, 1968], *Эмигранты* [*Emigranci*, 1974], *Контракт* [*Kontrakt*, 1986], *Портрет* [*Portret*, 1987] и др.; ряда сборников рассказов и фельетонов. На русском языке изданы три его сборника: *Хочу быть лошадью* [1990], *Тестариум. Избранные пьесы и проза* [2001] и *Дневник возвращения. Рассказы* [2004]. В *ИЛ* напечатаны его пьесы *Любовь в Крыму* [1996, № 10] и *Прекрасный вид* [2000, № 1], рассказы [1988, № 5; 1996, № 6], *Моя автобиография* [2000, № 8], *Дневник возвращения* [2001, № 7].
Публикуемые тексты взяты из книг *Валтасар* [*Baltazar*. Warszawa: Noir sur Blanc, 2006] и *Varia. Жизнь и другие обстоятельства* [*Varia. Życie i inne okoliczności*. Warszawa: Noir sur Blanc, 2003].

Ирина Лаппо
Филолог-славист, преподаватель польского языка и литературы, переводчик с польского. Лауреат премии Польского посольства за лучший переводческий дебют [1992], почетного *диплома критики зоИЛ* [2005].

Автор статей о театре, теории и практике перевода и этнолингвистике. В *ИЛ* опубликован ее перевод романа Д. Масловской *Польско-русская война под бело-красным флагом* [2005, № 2].

Роберт Чандлер
Robert Chandler
[р. 1953]. Переводчик с русского языка на английский, преподаватель. Лауреат премии Американской ассоциации учителей славянских и восточноевропейских языков [2004 – за перевод на английский язык повести А. Платонова *Джан*; 2007 – за перевод на английский язык романа Х. Исмаилова *Железная Дорога*].

Перевел на английский язык произведения В. Гроссмана *Жизнь и Судьба* [*Life and Fate*, 1986], А. Платонова *Котлован* [*The Foundation Pit*, 1996], *Возвращение* [*The Return*, 1999], *Счастливая Москва* [*Happy Moscow*, 2001] и др., А. Пушкина *Дубровский* [*Dubrovsky*, 2003], *Капитанская дочка* [*The Captain's Daughter*, 2007]. Редактор и переводчик сборника русских рассказов [*Russian Short Stories From Pushkin to Buida*. Penguin Classics, 2005].
Текст публикуется по рукописи, любезно предоставленной автором редакции журнала.

Александр Константинович Жолковский
[р. 1937]. Филолог, прозаик, профессор Университета Южной Калифорнии [Лос-Анджелес]. Живет в Санта-Монике.

Автор работ о Пушкине, Пастернаке, Ахматовой, Бабеле, инфинитивной поэзии. Среди его последних книг – *Избранные статьи о русской поэзии* [2005], *Михаил Зощенко: поэтика недоверия* [2007], *Звезды и немного нервно. Мемуарные виньетки* [2008].

Кеннет Кук Kenneth Cook
[1929–1987]. Австралийский писатель, журналист, сценарист.

Автор книг *Проснуться в страхе* [*Wake in Fright*, 1961], *Цепь тьмы* [*Chain of Darkness*, 1963], *Кроваво-красные розы* [*Blood Red Roses*, 1963], *Тунец* [*Tuna*, 1967], *Свинья* [*Pig*, 1980], *Коала-убийца* [*Killer Koala*, 1986] и др.
Рассказ *You Can't Love an Ostrich* публикуется по изданию *Безумие в кружавчиках* [*Frill-Necked Frenzy*. Moorebank: Corgiannt Bantam Books, 1987].

Наталья Самойловна Мавлевич
Переводчик с французского. Лауреат премии *Иноллитл* [1999] и премии имени Мориса Вакмахера [2001].

В ее переводах издавались произведения М. Эме, Б. Виана, М. Юрсенар, Э. Ионеско, Лотреамона, Л. Арагона, М. Жакоба, М. Шагала, Б. Шагал, А. Жарри, Э. Чорана, Э. Ажара и др. В *ИЛ* печатались *Песни Мальдодора* Лотреамона [1993, № 1], романы А. Сарразен *Перелом* [1993, № 10, 11], Э. Ажара *Голубчик* [1995, № 7], А. Нотомб *Антихриста* [2004, № 10], Дай Сы-цзе *Комплекс Ди* [2005, № 8], миниатюры Ф. Делерма [2002, № 7], пьеса Э.-Э. Шмитта *Гость* [2004, № 6], фрагменты книги П. Брюкнера *Вечная эйфория* [2006, № 3], мини-рассказы Ф. Делерма [2006, № 9], фрагменты романа Р. де Са Морейры *Книжник* [2007, № 11] и др.

Сергей Павлович Костырко
[р. 1949]. Прозаик, эссеист, литературный критик. Литературный куратор *Журнального зала* в Интернете.

Автор книги прозы *Шлягеры прошлого лета* [1996]. Как критик регулярно публикуется в журнале *Новый мир*, в сетевых изданиях *Журнальный зал*, *Взгляд*. Прозу и эссеистику печатал в журналах *Новый мир*, *Урал*, *Знамя*.

Михаил Натанович Айзенберг
[р. 1948]. Поэт, эссеист. Лауреат премии журнала *Знамя* [2001] и премии Андрея Белого [2003].

Автор шести книг стихотворений: *Указатель имен* [М.,1993], *Пунктуация местности* [М.,1995], *За Красными воротами* [М., 2000], *Другие и прежние вещи* [М., 2000], *В метре от нас* [М., 2004], *Рассеянная масса* [М., 2008] – и трех книг эссеистики: *Взгляд на свободного художника* [М., 1997], *Оправданное присутствие* [М., 2004], *Контрольные отпечатки* [М., 2007].

Михаил Яковлевич Визель
[р. 1970]. Книжный обозреватель, музыкальный критик, колумнист, переводчик с итальянского.

Создатель интернет-проекта *Невидимые города on-line* по роману Итало Кальвино [calvino.lib.ru]. В его переводе вышли два романа Дж. Куликкьи и сборник газетных заметок У. Эко.

Александра Юрьевна Лешневская
Переводчик с французского и английского языков. Аспирант ИВГИ РГГУ.

В *ИЛ* опубликована ее статья *Три "Гранде"* [2008, № 4].

Переводчики

Игорь Викторович Мокин
[р. 1986]. Переводчик с английского и скандинавских языков, преподаватель. Аспирант филологического факультета МГУ.

В *ИЛ* опубликован его перевод рассказа Р. О. Фримена *Послание со дна моря* [2008, № 1].

Анатолий Сергеевич Егоршев
[р. 1935]. Журналист, германист, переводчик с немецкого.

В его переводе выходили произведения Р. Леттау, П. Хэртлинга, К. Хайна. В *ИЛ* в его переводе напечатаны эссе Х. М. Энценсбергера *Великое переселение* [1994, № 9], *Взгляд на гражданскую войну* [1995, № 6] и *Роскошь — прежде и теперь, или Кое-что об излишествах* [1997, № 9], переписка Г. Грасса и Кэндзабуро Оэ *Вчера, полвека тому назад* [1997, № 2], очерк Марион Дёнхофф о Льве Копелеве [1998, № 2], фрагменты книги В. фон Штернбурга *Как будто всё в последний раз* — о жизни и творчестве Э. М. Ремарка [2000, № 10], очерк Б. Лаханн *Существовать и мыслить сквозь эпохи* — о жизни и философии Ф. Ницше [2001, № 11], эссе П. Бикселя *Швейцария глазами швейцарца* [2002, № 9], эссе У. Видмера *Небо Европы* [2006, № 6] и А. Коллерича *Попытки писать о небе. Предостережение* [2006, № 6], повесть Ю. Амана *В поисках блудного сына* — о жизни и творчестве Р. Вальзера [2007, № 7], несколько миниатюр Р. Вальзера [2007, № 7] и др. В Германии в его переводе на немецкий опубликована повесть В. Панова *Филипп фон Цезен*.

Надежда Федоровна Мечтаева
Кандидат филологических наук, переводчик с испанского.

В ее переводе опубликованы произведения Х. Мариаса, У. Ириарта, Р. Рея Росы. В *ИЛ* напечатаны ее переводы романа Х. Мариаса *В час битвы завтра вспомни обо мне...* [2002, № 5], рассказа Ш. Мендигурена *Фетиш* [2004, № 9] и рассказов Б. Ачаги [2004, № 10].

Жанна Владимировна Перковская
Переводчик со словенского, сербского, македонского и польского языков.

В ее переводе вышла книга М. Павича *Вывернутая рукавица* [в соавторстве с Е. Верижниковой; 2001], сборник поэзии А. Поповского [2003] и др. В *ИЛ* в ее переводе публиковались стихи А. Ихана [1999, № 4], А. Поповского [2000, № 2], М. Есиха [2001, № 5], Ф. Прешерна [2001, № 8], С. Макарович [2005, № 9], а также рассказы Г. Петровича [2000, № 9] и П. Андреевского [2001, № 7].

Татьяна Ивановна Жарова
Переводчик со словенского, сербского и хорватского языков.

Переводила произведения современных словенских прозаиков и драматургов А. Хинга, М. Бора, Д. Локара, Н. Габорович, И. Цанкара. В *ИЛ* публикуется впервые.

Василий Васильевич Тюхин
[р. 1963]. Переводчик с албанского и английского языков, прозаик, сценарист.

В его переводе выходили произведения Э. С. Гарднера *Оскал Гориллы* [1996], А. Кристи *Смерть в облаках* [2006] и др. В *ИЛ* в его переводе опубликован роман И. Кадарэ *Генерал армии мертвых* [1989, № 6].

Вадим Львович Климовский
[р. 1931]. Режиссер, критик, переводчик с польского и иврита.

Автор книг *Мы идем за кулисы* [М.: Детская литература, 1982], *Один день из жизни. Проза* [Тель-Авив: Ринат, 1995]. В его переводах опубликованы произведения польских писателей В. Гомбровича, Е. Шанявского, Т. Боровского, С. Виткевича, Я. Котта, С. Мрожека, Ч. Милоша, И. Иредыньского, П. Хюлле, израильских писателей Г. Шофмана, Ш. Ницана, Х. Левина. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Ксения Яковлевна Старосельская
Переводчик с польского, лауреат премий *ИЛ* [1986] и польского ПЕН-клуба [2004].

В ее переводе издавались произведения Г. Сенкевича, Я. Ивашкевича, М. Хороманьского, Т. Конвицкого, В. Шимборской, Т. Новака, В. Мысливского, С. Хвина, Г. Кралль, Е. Анджеевского, М. Хласко, Е. Пильха, О. Токарчук и др. В *ИЛ* напечатаны ее переводы романов Т. Новака *Черти* [1975, № 3—4], В. Мысливского *Камень на камень* [1986, № 7—9], М. Хласко *Красивые, двадцатилетние* [1993, № 12], С. Хвина *Ханеман* [1997, № 12], П. Хюлле *Касторп* [2005, № 12], повестей Е. Анджеевского *Врата рая* [1990, № 1] и З. Ментцеля *Все языки мира* [2006, № 10], теленовелл Т. Ружевича *Телетрендели* [2006, № 8], фрагментов из книги Я. Андермана *Фотографии* [2006, № 8], рассказа Я. Ю. Щепанского [2008, № 3] и др.

Юлия Клименова
Аспирант филологического факультета МГУ, переводчик, поэт.

Ее стихи опубликованы в альманахах *Тени странника* [1999, № 6; 2002, № 10] и *Орфей* [2001, № 1]; стихи, написанные ею на английском языке, помещены на сайте англоязычной поэзии [www.poemhunter.com]. В ее переводе вышли рассказы Дэна Роудса. В *ИЛ* опубликована ее рецензия *Рыцари со страхом и упреком* на книгу Дж. Барнса *Артур и Джордж* [2008, № 1] и перевод рассказа Г. Аллена *Рубины Реманетов* [2008, № 1].

Тина Васильева
Журналист. С 1997 г. живет в Австралии. Ведущая русской программы на радио SBS.

Ее статьи регулярно печатаются в сиднейском альманахе *Австралийская мозаика* и московском журнале *Популярная механика*. В *ИЛ* публикуется впервые.

RINET
Internet Service Provider

ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы

- оптимальные условия подключения,
- бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ← В ЦЕНТРЕ ГОРОДА → В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.
адрес
МОСКВА 1-Й ХВОСТОВ пер. д. 11А
подробности:
WWW.RINET.RU

В оформлении обложки использован фрагмент картины немецкого художника Маттиаса Вешнера (р. 1973) *Вымышленный человек* (2003)

Художественное оформление и макет Андрея Бондаренко, Дмитрия Черногаева.

Старший корректор Анна Михина.

Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежды Родиной.
Компьютерная верстка Вячеслава Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

119017, Москва, Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
http://www.inostranka.ru
e-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал можно приобрести: в редакции или в киоске "Новой газеты", расположенном по адресу: Страстной бульвар, дом 4; в книжной лавке ВГБИЛ им. М. И. Рудомино по адресу: Николоямская ул., д. 1 и книжной лавке МГУ (первый гуманитарный корпус).

Подписаться на журнал "Иностранная литература" можно во всех отделениях связи. Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.

Можно оформить льготную подписку в редакции по адресу: ул. Пятницкая, 41 (м. "Третьяковская", "Новокузнецкая") Подписка оформляется в понедельник, вторник, среду, четверг с 12.00 до 17.30.

(Справки по тел. 953-51-47).

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

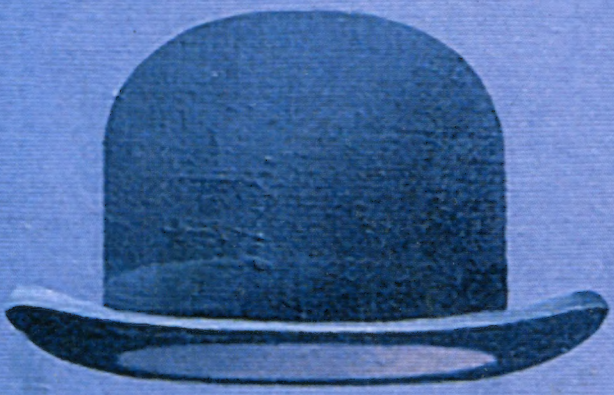
Подписано в печать 15.5.2008
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 1005.
Тираж 9650 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

Информационная поддержка

[7] 2008

ПОВЕСТЬ ИЭНА МАКЬЮЭНА “ЧИЗИЛ-БИЧ” / ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД: ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА. XXI ВЕК — ПЬЕСА ДОРОТЫ МАСЛОВСКОЙ, “БУМАЖНЫЙ ТЕАТР” МИЛОРАДА ПАВИЧА И ДР. / “IN MEMORIAM”: КУРТ ВОННЕГУТ / РАССКАЗЫ МЕЙВИС ГАЛЛАНТ / МИХАИЛ ШИШКИН В РУБРИКЕ “ИЗ БУДУЩЕЙ КНИГИ” / ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ: “КАТЫНЬ” АНДЖЕЯ ВАЙДЫ В МОСКВЕ

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



Узнай завтрашних классиков!

Подписка во всех отделениях связи России,
подписной индекс 70394

Адрес редакции журнала "Иностранная литература" :
г.Москва, ул.Пятницкая, д.41

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2008, №6, 1-288

ISSN 0130-6545 08006 9 770130 654770